ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения **№ 4 | 2023**

Татьяна Поспелова серия «Городские джунгли» | листы 5 и 6 | 2019

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №4 | 2023

В номере

ДиН юбилей

Александр Астраханцев
3 Проигрыши

Олег Ампилогов
12 Моя первая книга

Николай Ерёмин
32 Не бывает случайных друзей

ДиН память

Роман Солнцев
20 Игра

Алексей Аникин
27 Мурлыкая песню зверей

ДиН эпос

Эльдар Ахадов
29 Сказания о России

Николай Тимченко
33 Легенды Красноярья

ДиН стихи

Владимир Плёсов
40 Жизнь такая, как и есть

Георгий Попов
42 Лестница в небо

Екатерина Громова
44 Мир озарится знамением

Владимир Блинов
164 За что мне такая награда?

Алексей Саков
167 В полумраке ночном

Елена Величко
178 Мы выучили свой край

Мосты над облаками

Александр Барсуков
45 Родина

Светлана Живнач
61 В джунглях

Библиотека современного рассказа

Александр Орлов
65 Жажда возврата

Евгений Татарников
68 Игарка

Рашит Закиров
76 Стакан

Сергей Гошев
80 Пуговица

Наталья Бакирова
170 Пельмень на счастье

Денис Гербер
174 Павлиний глаз

Вадим Деревянский
176 На задержание
по одному не ходят

ДиН проза

Анастасия Астафьева
87 Глафира и Президент

Римма Чучилина
111 Миллион, миллион разных роз

Николай Толстиков
125 Искупление

Людмила Брагина
139 Домик у бассейна

ДиН ревю

124 Рой

163 Альманах «Культурная критика» №1

Сергей Хомутов
166 Я просто жил

173 Литературное будущее Московской области

ДиН штудии

Александр Костерев
179 А. Пушкин. История создания романа о Петре Великом

ДиН детям

Марат Валеев
183 Фёдор и золотой карась

195 ДиН авторы

к 85-летию со дня рождения

Александр Астраханцев

Проигрыши

Главы из романа

Главным героем своего второго подпольного романа, «Одинокого волка», Николай Мякишев сделал парня, вернувшегося с афганской войны (тут надо отметить, что, в отличие от романов об «афганцах», наводнивших книжный рынок позднее, в 90-х и 2000-х годах, «Одинокий волк» был написан одним из первых (если не первым?), в советское время, где-то в начале (или, может быть, в середине) 80-х годов, когда тема была ещё совершенно закрытой для публикаций. И не только сама тема, но и то, о чём рассказано в романе дальше, тоже было под запретом (да много ли было тем, не бывших в те годы запретными?).

Итак, даём его синопсис: главный герой, вчерашний школьник, восемнадцатилетний Олег, ещё не определившийся в жизни молодой человек, уходит в армию, попадает в составе десантных войск в Афганистан и через два года возвращается домой, в родной город, с изуродованным осколком мины лицом. Несмотря на доброе отношение к парню родителей: слава Богу, что хотя бы живым вернулся и почти невредимым (кроме, разве что, изуродованного лица, с которого, как известно, «не воду пить»),—парень начинает с горечью понимать в свои двадцать, что из-за этого лица может быть изуродована вся его будущая жизнь. Во всяком случае, девица, с которой он «дружил» до армии, от него отвернулась. Ему бы благодарить судьбу, что оберегла его от легкомысленной дуры,—а парень принял этот разрыв за роковой удар судьбы.

Одновременно, отоспавшись и отойдя от той жизни, что уже успела «пропахать» его, где вместе с бронежилетом постоянно, день за днём, носишь в себе сосущее чувство страха и предощущение нежданной встречи с болью и смертью и где ещё продолжали калечиться и гибнуть его *брательники* по службе, встретился он и с *дружбанами*, что остались в городе. И теперь—с высоты той жизни—эти, городские, стали настолько ему чужими, что он понял: больше встреч с ними уже не будет без риска оставить свои следы на их чистых личиках—у них, как и два года назад, в голове лишь *шмотки*, *лейблы*, *непыльная работёнка* официантами в ресторане или продавцами на какой-нибудь «базе», «отмазки» от армии, страх и перед «Афганом», и перед любой работой, где надо *вкалывать*…

В это самое время в глухой, полузаброшенной деревне на берегу большой таёжной реки умирает в полном одиночестве его бабушка, брошенная разъехавшимися по городам детьми и внуками. После бабушки остался большой, старый и при этом вполне добротный бревенчатый дом; однако продать его в деревне невозможно—их, таких брошенных домов, там и так уже полно; в то же время никто из бабушкиных потомков возвращаться в деревню на жительство не хочет. Олег бывал там в детстве, и детские воспоминания о том доме, о бабушке и о деревне (надо заметить, что описания этих воспоминаний занимают лучшие страницы романа,—значит, автор всё-таки был знатоком детской души и мастером детской книги) оставили в юном ветеране впечатление удивительной тишины и несуетного бытия людей среди природы, а, как известно, детские впечатления остаются в нас самыми яркими, манят нас потом всю жизнь и вводят в некую метафизическую тоску—как увиденный однажды в детстве и потом навсегда потерянный рай. Бедный, полунищий, но—светлый, прекрасный рай!

И вот молодой герой «Одинокого волка», съездив туда и поучаствовав в похоронах бабушки, решается оставить родителей и враз осточертевший ему город и остаться жить в той деревне, решительно прощается с родителями, обрывает все городские связи и поселяется в опустевшем доме.

Но надо же на что-то жить, а потому он решает поступить работать государственным инспектором рыбоохраны. И хотя он ещё совсем молод и неопытен и в жизни, и в совершенно новом для него занятии, его охотно берут туда как ветерана-«афганца», так что, ставши фактически единственным хозяином на участке реки длиной в полсотни километров, он начинает основательно обживаться: постепенно обзаводится дюралевой лодкой, мощным лодочным мотором «Вихрь», ружьём, приводит в порядок дом, охотится, рыбачит, борется с местными браконьерами, с удовольствием копается в свободное время в огороде, а зимой читает книги…

Но при взгляде издалека (тем более из города и из двухлетней солдатчины) полная тишины

и благостного сельского покоя деревенская жизнь, когда окунёшься в неё глубже, оборачивается своей новой, жестокой стороной: местные жители подозрительны и недоверчивы к чужаку; мужики, оставляя своё домашнее хозяйство на попечение жён, с весны до осени занимаются рыбной ловлей, лишь её считая настоящим мужским занятием, причём ловят рыбу только браконьерскими снастями—сетями и самоловами,—а зимой всё свободное от браконьерства время заняты лишь тем, что готовят браконьерские снасти, да ещё гонят и пьют самогон, и точно знают, что жить по-иному просто нет смысла… Местные браконьеры—а деревенские мужики, все без исключения, только ими и являются—норовят подкупить молодого инспектора рыбоохраны по дешёвке: «выставить пузырь» самогона и напоить,—а когда он отказывается, мелко ему пакостят: крадут и портят его снасти, дырявят лодку… Ему даже кличку дали: «волчара»,—и стали намекать, а то и угрожать исподтишка, что добром он не кончит: когда-нибудь «пообломают рога»… Но молодой инспектор спокойно сносит все их пакости, а угрозы их его не трогают—слишком многого он уже успел наглядеться и натерпеться на своём, пока ещё коротком, веку и хорошо усвоил инструкции перед приёмом на работу.

Как известно, солдаты, кроме травм телесных, неизбежно приносят с войны ещё и душевные травмы, которые порой, особенно ночами, ноют сильнее травм телесных… Живя теперь в деревне и будучи с утра до вечера занят, он как-то быстро привык к своему изуродованному лицу; да и селяне, видя его каждый день, тоже довольно быстро привыкли к нему такому. А вот душевные его травмы ежедневного риска, страха и постоянного ожидания смерти там, на войне, боли от ранения, от хирургических операций и от первоначальных переживаний своей уродливости,—эти травмы заживали куда медленней. Но—странное дело!—работа инспектора, хлопотная, рисковая, увлекающая его настолько, что в каждом нарушителе он готов был видеть врага, которого надо не просто упредить и остановить, как его наставляли, а непременно поймать и изобличить!—именно эта работа настолько увлекала его азартом, что, исполняя её истово, он совершенно избавлялся от всех своих былых душевных травм, казавшихся теперь страшно далёкими, даже смешными и ничтожными.

Особенно трудно ему было вживаться в деревенский быт поначалу; однако в течение года отношения его с селянами понемногу, с трудом, но сглаживаются, хотя бы внешне: сквозь недоверие и злобу в людях начинает просвечивать уважение к нему за его твёрдость и честность, невиданную здесь до сей поры. Его полюбила местная девушка, и всё у них «по-честному». Однако успевший обжечь не только лицо, но и душу парень боится *лохануться*: желая проверить и себя, и её, он не торопится сближаться с ней, осторожничает; за внешней бравадой и грубоватостью он даже не уверен в себе, робок и неумел: лишь гуляния по ночному селу, сиденье на речном берегу и—неумелые душевные разговоры, которых он раньше никогда ни с кем не вёл,—травма от измены городской девицы всё-таки бесследно не прошла.

Его отношения с девушкой осложняются тем, что отец её, тоже когда-то, в молодости, десантник, служивший на китайской границе, даже участвовавший там в боевых действиях и получивший медаль «За отвагу»,—самый удачливый в деревне браконьер, хитрый и сметливый, хотя и не лишённый своеобразного—примитивного и грубоватого—джентльменства. Просто этого старого десантника заставляют *крутиться* на реке привычка жить «как все» и отчаянное самолюбие: почему это он, родившийся и выросший здесь, не может быть законным хозяином реки и ему *качает права приезжий сопляк*?..

У браконьера завязывается с молодым инспектором сложный клубок отношений: борьба самолюбий, постоянное соперничество и состязание в ловкости, хитрости и скорости реакций. И когда инспектор в этом состязании побеждает—уязвлённый браконьер, грубый и насмешливый, своеобразно мстит ему: то, дразня инспектора за несмелость на любовном поприще (а может, и из желания поторопить события?), зовёт его «зятьком», то, напившись, вызывает на жестокие споры. Честно-то говоря, старому браконьеру-десантнику желалось бы не *базарить* с молодым инспектором на повышенных тонах, а просто калякать по душам—чтобы отмяк, расслабился этот ершистый чужак, весь как жёсткая стальная пружина, причём браконьер видит в нём себя самого, каким был когда-то: отчаянным, бесстрашным, а главное, честным,—но что-то в молодом инспекторе, там, где душа, *зачичеревело*, застыло, затвердело—не растопить, не расплавить никаким душевным словом, тем более—корявым и нескладным. Браконьер, хлебнув «для разговора» самогона, злит и заводит неподатливого инспектора:

—Ну вот чё ты, паря, везде лезешь? Больше всех надо, чё ли? Государству служишь? А нужен ты ему, этому государству? Смотри, нарываешься, в жмурки со смертью играешь—ох, прилетит!

—Может, и играю,—хмуро отвечал инспектор.—А вам-то что?

—А то, что ты ещё пацан, настоящей жизни не видал!

—Я, может, побольше вашего видал.

—Чё ты видал? Чё видал?—заводился браконьер.—Как стреляют, видал? Затмение у тебя в мозгах, вот чё я тебе скажу! С людьми уметь жить надо!

—Да вам-то что от того, чего мне надо?

— Ну ты чё такой-то, чё долбишься в одно место, как дятел всё равно? — злился браконьер. — Дурачок ты! Я тебе добра желаю! Не видишь, как люди живут? Ну на фиг тебе этот «принцип»? Ни мужикам, ни начальству, ни себе самому! Да над твоим «принципом» все, кому не лень, потешаются: «Во приехало чудо заморское!» — тебя тут даже не русским, а каким-то иностранцем считают! А тебе это надо, да?.. — все зудил браконьер, убеждая, что надо только вид делать, *козью морду* — как все рыбинспектора на реке до него; на том жизнь построена…

Но молодой инспектор не давал втягивать себя в *базар* — отвергал напрочь советы браконьера, на вопросы отвечал коротко: «да» или «нет», — и смотрел, не мигая, светлыми глазами в лёгком, без улыбок, прищуре на пьяного браконьера, поигрывая желваками на скулах, — а потом продолжал бесстрашно делать своё дело. Как-то не по-русски, в самом деле, это было, непривычно для деревни; машинным, железным холодом несло за километр от его несговорчивости. Презирал он их, что ли? *Выёживался?* Нарочно нарывался? Или уж настолько тупой и *убитый*, что ничем не проймёшь?..

А между тем «тестюшко»-браконьер, сам не шибко-то водясь с деревенскими мужиками, возносясь перед ними из-за своей боевой молодости, своей лихости и ловкости не по возрасту, всё больше увязал в непонятных отношениях с твёрдым, как листвяжный сутунок, молодым рыбинспектором. Недели не проходило, чтобы не зашёл «на огонёк», будто нечаянно, да ещё под шофе, — *побазарить*, заявляя с подмигом, что «взял шефство» над ним, «воспитать хочет», — но молодой инспектор был по-прежнему твёрд: отвечал только по делу, а то и вовсе помалкивал, будто знал что-то такое, чего *не в жилу* знать говоруну-браконьеру, и не умел ни откровенничать, ни жаловаться, хотя, может, ему в деревне и было потруднее всех… Отдувался, молол за обоих языком гость-браконьер, то жалуясь на собственную судьбу, то поучая, то насмехаясь над парнем, — хотя и понимал, что ничему парня уже не научишь: *сдвинутый*, *шизанутый*, — сам того не желая, браконьер выказывал перед ним слабость и злился за это и на себя, и на него…

Задиристый и болтливый, не умея при этом быть красноречивым и всё-таки жалея парня и желая быть ему товарищем и советчиком, всем своим бестолковым естеством браконьер подсказывал ему, умолял, протягивал руку: доверься, поверь, смотри добрее, учись жить!.. Хоть тут и деревня, тайга и река и столько свободы, что хоть режь её ножом и ешь с маслом, — а одиночке тут всё равно не выжить: затравят, потому как всё равно всё тут общее — даже тайга, даже река; и все давно уже, чуть не с рождения, а то и того раньше — с дедов-прадедов, определились, с кем и в каком *кодле* жить, как и в каком месте рыбачить, — а он, молодой, ничего понять в этом не может… Но парень, будто обухом ушибленный, отвергал начисто руку помощи: где-то отбили ему, что ли, напрочь орган, отвечающий за доверие к людям?.. Так и тянулся этот поединок характеров, должный чем-то когда-нибудь разрешиться.

А тем временем настаёт поздняя осень с северными резкими ветрами, от которых некуда увернуться на реке, с нудными ненастьями, ранним снегом, падающим ночами, а днём стаивающим, с ледяными *заберегами* на воде, рассыпающимися вдребезги прозрачными хрусткими льдинками шуги; именно тогда начинается время самой кипучей, драматически насыщенной жизни на реке: крупная рыба скатывается в глубокие ямы на дне реки на зимовку. Ямы эти испокон века известны и рыбакам, и инспекторам… Местные браконьеры изготовились к главному акту браконьерства, против которого всё летнее браконьерство — детская забава: они живут в лодках или в потаённых *берложках* по берегам, прячутся на островах или в глухих протоках и неделями не спят, чтобы в самую тёмную пору ночи приступить к этому главному акту года, работая в кромешной тьме, как сапёры, наощупь, расставляя поздно вечером, в холоде, почти в темноте, снасти, — а ранёхонько утречком, едва проклюнется заря, пока инспектор свои молодые сны досматривает, вытащить эту самую снасть вместе с уловом, рискуя при этом лодками, снастями и самой жизнью, — а потом изобретательно прячут улов в дерюжных мешках по глухим протокам, чтобы незаметно привезти этот улов домой, засолить, накоптить — и продать нахлынувшим отовсюду городским перекупщикам…

Естественно, у инспектора в эту пору хлопот на порядок больше: он каждый день, без выходных, барражирует по пятидесятикилометровому участку, уже наизусть зная и его географию, и все браконьерские хитрости, уловки и повадки, и места их стоянок, и характер каждого в отдельности браконьера, действуя главным образом актом своего присутствия, лишь в крайних случаях штрафуя или даже конфискуя запрещённые снасти: невода, сети, самоловы, а то и взрывчатку.

Но что местные браконьеры, пойманные на месте преступления с дюжиной ли стерлядок, с полупудовым ли осетром или тайменем, когда за душой у каждого семья и долговая запись в магазине, против хорошо при этом моторизованных, экипированных и вооружённых, хапающих рыбу тоннами, наглых и самоуверенных браконьеров районных и городских, держащих местных рыбаков и инспекторов *за фуфло?*

Рыбинспектор уже не однажды успел столкнуться и с этими, районными и городскими, причём гнать их с участка для него было делом чести:

за ним ревниво следили вездесущие глаза браконьеров местных; от них на реке не укрыться, она для них будто деревенская улица: пукни на одном конце — тут же известно на другом; дай потачку чужому — от своих не отобьёшься…

Первая серьёзная команда браконьеров, с которой он столкнулся той осенью, свалилась прямо с неба: вертолёт сел на прибрежный песок в десятке вёрст от деревни — гости решили, что глуше места уже нет, и целая ватага их, похоже, из вояк: в камуфляже, но без знаков отличия, — почти по-домашнему стала выгружать снасти, ящики с водкой, ставить палатки, надувать лодки, запаливать костёр и заваривать уху из ещё не пойманной рыбы… Инспектор нагрянул минут через сорок и, отрекомендовавшись, вежливо спросил, чем и как они собираются ловить. Гости снисходительно предложили ему сначала бутылку, потом, уважив за упрямство, — ящик водки. И, ни о чём так и не столковавшись, старший из них, костеря его в Бога и в душу мать, скомандовал своим:

— Сворачиваемся, полетели дальше — с этим бараном каши не сваришь!

— «Вот и валите, ищите овечек, раз с бараном не сладишь! — махал им на прощанье рукой рыбинспектор…

Другая команда оказалась серьёзнее: их было всего четверо, но мужики, сразу видать, упёртые; на двух машинах: огромный джип и автофургон-морозилка, — и экипировка классная: режёвая ставная сеть чуть не через всю реку, огромная десантная надувная лодка-катамаран с мощным двигателем, и никаких тебе костров и палаток — и козе понятно, что приехали не отдыхать, а работать; да уж, видно, и попотеть успели: когда он потребовал открыть фургон, заглянуть, что там есть, — отказались наотрез, вместо этого предъявив разрешение на отлов опытной партии осетров «для полевых исследований». Разрешение было откровенной *липой*, и он его изъял. Гости затребовали его обратно — видно, им очень не хотелось эту *липу* отдавать; да оно и понятно: какие-то там значились фамилии, чья-то расплывчатая синяя печать; начались стандартные уговоры: бутылка, ящик… Потом перешли к угрозам: кто он, вообще, такой против них? Да знает ли он, кто они такие? Да самому районному прокурору и начальнику милиции *не западло* с ними за одним столом сидеть, а начальник районной рыбоохраны перед ними *на цырлах* ходит и водку подносит…

Инспектор твёрдо и вежливо отвечал им на это, что они для него, независимо от знакомства с прокурорами, такие же граждане, как и все, и законы обязаны соблюдать… Отношения накалялись; команда *борзела*: пыталась его обступить, чтобы навалиться разом, разоружить и отобрать своё разрешение, а он, не давая себя обступать, тихонько отходил к воде, к своей лодке. К тому же заметил, как один из них достал из джипа карабин.

— Знаешь что, «красавец»? — наконец, отбрасывая условности и намекая на его искалеченное лицо, чтобы задеть побольнее, заявил самый наглый — коновод, видно. — Всё равно ведь по-твоему не будет. Давай-ка, пока цел, по-хорошему: верни разрешение — оно не для тебя писано — и гуляй!..

Инспектору уже некуда было отступать — оттеснили к самой воде; он впрыгнул в свою лодку, оттолкнулся от берега, завёл двигатель и крикнул им:

— Нет, господа, здесь всё равно будет не по-вашему! — взвёл курки и изрешетил зарядом дроби из обоих стволов надувной катамаран, из которого тут же со всхлипами начал выходить воздух; дюралька же инспектора легко рванула с места и понеслась прочь.

— Стреляй, т-твою мать! — заорал коновод державшему карабин; тот припал на колено, прицелился и три раз подряд выстрелил в удаляющуюся лодку.

Силуэт инспектора, видневшийся над лодкой, исчез… Может, упал на дно, чтоб не задело? Но почему-то лодка сразу сбилась с курса, сделала странный вираж на воде и пошла косо вниз по течению, пока тупо не врезалась в песчаную отмель на другом берегу, за длинным, заросшим ивняком островом в двух километрах ниже от злополучной стоянки чужаков, и не замерла…

«Тесть», занятый в тот день своими браконьерскими делами вдали от чужих глаз, в глухой протоке за тем самым *длинным* островом, услышал выстрелы. Он видел с утра машины на противоположном берегу, большую десантную лодку и сеть, которой перегораживали реку. «Нехилая команда — среди дня орудует, — подумал он. — И „зятёк“ куда-то как раз пропал. Матёрые, видать, — не по зубам ему».

Только подумал так, а «зятёк» уже вот он; далеко по реке слышно — зудит надсадно его «Вихрь»: мчится, значит, поддаёт газу — с чьей-то услужливой подачи, или просто плановая проверка?.. «Тесть» увидел затем, как инспектор проскочил мимо устья протоки на своей дюральке — только голубой служебный вымпелок Госрыбоохраны, закреплённый на её корме, мелькнул и исчез. «Ну, сейчас начнётся, — подумал он. — И ладненько; можно пока самому спокойно делом заняться — у „зятька“ сейчас запарка будет»…

И вот — минут двадцать прошло, не больше, — слышит: двустволка дуплетом бабахнула, а следом — уже из карабина пол-обоймы высадили; слух у браконьера был намётанный, и звуки эти он различал отлично. «Ох, не к добру расстрелялись!» — подумал, и на душе его стало тревожно.

Реакция старого десантника сработала мгновенно: бросил снасть как есть, быстренько, но — и соблюдая осторожность: тихо, не включая мотора, — на вёслах причалил лодку к узкому, заросшему

ивняком острову, отгородившему протоку от главного русла реки, быстро пробрался сквозь густой ивняк—глянуть, в чём там дело, и видит издалека: инспекторская лодка без седока пишет фигуры на воде; потом всё-таки пересекла главное русло, прошла наискось и ткнулась в отмель далеко на песчаном траверсе острова. Машины на том берегу, прямо напротив, стояли всё так же, а возле самой воды суетились люди: видно было, как вытаскивают из воды громоздкое, размякшее оранжевое тело резинового катамарана… «Тестю», кажется, стало понятно, что там произошло; скоренько вернулся в свою лодку, проплыл, уже на моторе, вдоль всего острова, до самой песчаной сырой косы на траверсе, пристал, по-хозяйски вытащил свою лодку из воды на песок. Дюралька инспектора легко покачивалась на песчаной же отмели по ту сторону косы, метрах в двадцати. «Тесть» поддёрнул свои резиновые бродни выше колен и ступил в воду…

Инспектор Олег, долговязый, в общем-то, парень, лежал на дне лодки ничком, странно уменьшившись в росте, с поджатыми коленями и крепко обхватив грудь руками крест-накрест—как озябший пацан, чтоб согреться, только—с залитой кровью телогрейкой и струйкой розовой пены изо рта, и уже остывал. Долго же он испытывал свою судьбу! Нашёл, наконец; успокоился… И закалённый браконьер, стоя над ним, закусив губу и сглатывая застрявший в горле горький, невпродых, ком, с гримасой горечи и каким-то звериным рычанием заскрипел зубами… Затем, встряхнувшись, решительно взялся за Олегову дюральку с телом: протащил её несколько метров по отмели и, словно игрушечную, легко выволок на песок, да—повыше, чтобы не стащило случайной крутой волной обратно. Затем вернулся к своей лодке, стащил в воду, завёл мотор, сплавился вниз по течению, обогнул косу, пересёк главное русло и уткнулся в противоположный берег в хорошо знакомом заливчике. Деловито вытащил из воды лодку, достал из носового люка старенькую свою двустволку с треснутым и туго перетянутым синей изолентой цевьём, затем—патронташ, перепоясался им—всё это не торопясь, однако при этом сноровисто и быстро,—и двинулся прямиком через поросший лесом бугор—туда, где машины.

Уже надвигались долгие, медленные осенние сумерки, усугублённые сырой погодой, но дальнее зрение у него пока что ещё работало прилично: увидел метров с двухсот, из-за кустов, как те вчетвером пытаются теперь вытащить на берег сеть. Странно: где же их фирменная лодка? Была ведь, сам видел… Тащили-тащили сеть—да только как же с такой махиной без лодки?—бросили и начали сворачивать лагерь, укладывая всё в фургон и что-то торопливо закапывая в песок. Теперь надо было только их задержать: уйдут сейчас—струсили, зайцы.

Подойти ближе не получится; стреляли явно из военного карабина; а лишние свидетели им, понятное дело, ни к чему. И место между ним и ними голое, ближе не подобраться, а отсюда двустволка не достанет…

Меж тем скоро стемнеет; надо торопиться. Он перебрал патроны в патронташе; те, что с пулями и картечью, расположил спереди—чтоб были под рукой, подтянул патронташ покрепче, закинул за спину ружьё и—прямиком в тайгу…

На той единственной лесной дороге, по которой те поедут, было только одно место, где можно их задержать: мостик через ручей, а перед мостиком—дорожная выемка в глинистом высоком берегу… В распоряжении у него оставалось минут двадцать.

Идти по тайге, да ещё в сумерках,—это не по дороге шагать; хорошо, что ему в том дуроломе едва ли не каждый пень был знаком. Хотя темнело довольно быстро, но он успел: только вышел, уже почти в темноте, к выемке и расположился на верху откоса, в густом невысоком соснячке, а они—уже вот они, перед мостиком, в этой самой выемке,—осторожно спускаются к мостику, подсвечивая корявую дорогу фарами: позади фургон, а впереди, в свете его фар—посверкивающий чёрным лаком и никелем большой иностранный джип. Осторожно едут, объезжают колдобины—берегут дорогую технику.

Он стрелял почти наверняка, метров с тридцати, сверху. Намеревался только по колёсам. Переднее у джипа прострелил сразу—заметно по свету фар, как тот дёрнулся и завихлял. А вместо заднего попал, видно, в бензобак—да-а, посочувствовал сам себе, что-то зрение стало всё чаще подводить!—бензин явно брызнул на выхлопную трубу; джип вспыхнул, как пороховой, и из него с воплями выскочили двое. Ну а уж фургону колёса прошить при свете такого факела—вообще пара пустяков. И, сделав своё дело, «тесть» тем же путём подался обратно, слыша сзади вопли, ругань и беспорядочную пальбу в глухую темь…

Только к полуночи он пригнал лодку с телом инспектора в деревню и сразу позвонил из конторы лесоучастка, что размещался в деревне, в головной леспромхоз, который никак не смогут миновать «гости», если только ещё сумеют залатать в темноте баллоны автофургона и ехать дальше: чтоб задержали (в леспромхозе был свой милицейский пункт) да чтоб передали об убитом ими рыбинспекторе в районную милицию.

Однако гостей там так и не задержали—проворонили: видно, те проскочили раньше, чем он позвонил. Или никому не было нужды задерживать их?

Их потом разыскали… Следствие тянулось больше года, хотя всё было ясно как божий день. Менялись следователи, и постепенно менялись местами «тесть»-свидетель и обвиняемые; кто-то

очень уж хотел их *отмазать*, и следователи с адвокатами старались вовсю; в результате получилось, что рыбинспектор стрелял в них и собирался убить; главным *вещдоком* служил в хлам продырявленный дробью катамаран; труп инспектора откапывали снова и повторно освидетельствовали, и смертельная винтовочная пуля из его тела была извлечена и приложена к делу, и была предъявлена дюралевая инспекторская лодка с простреленным бортом и со следами крови в ней; а судили свидетеля-«тестя»: было точно доказано, что стрелял в них, городских рыбаков-любителей, из чувства мести он, этот злобный деревенский браконьер, и не попал в них только из-за темноты; да ещё дорогой служебный джип иностранного происхождения заодно сжёг. *Вломили под завязку*—семь лет: за самосуд, за порчу в самом деле страшно дорогого государственного имущества (на суде фигурировала справка о его стоимости, произведшая на всех огромное впечатление) и за покушение на самое дорогое—на жизнь четверых горожан, случайно оказавшихся компанией авторитетных советских руководителей разных рангов; не смог бедолага-браконьер доказать, что не покушался, а всего лишь хотел задержать компанию хотя бы до утра… Чужаки же в ходе следствия превратились из убийц в несчастных, потерпевших и от злостного браконьера, и от злодея-инспектора… И столько свидетелей нашлось—подтвердить, что молодой рыбинспектор и в самом деле был *шизанутым*: «Да он бы нас всех там поубивал!.. Зверь зверем, и морда вся в шрамах!.. Ну да ведь *Афган* прошёл, на голову контуженный… Вон какой бугай вымахал—на местной-то рыбе, а ведь когда приехал—шкет шкетом был!.. И главное, не пил и ни у кого ничего брать не хотел, хоть и выглядел прямо-таки нищим—такой странный: явно ненормальный!..»

Теперь, когда вы знакомы с сюжетами двух мякишевских подпольных романов, то—точно так же, как, наверное, и я когда-то,—вполне можете задать резонный вопрос: отчего же в этих его романах столько критического внимания советским правоохранительной и судебной системам? Может, автор сам от них страдал, раз они вызвали в нём столько раздражения?

Я в своё время тоже пытался в этом разобраться и должен ответить на это: нет, прямого столкновения с этими системами в биографии Николая Мякишева я не нашёл,—но выяснил одну подробность: работая учителем в Предивном, первые три года там он снимал комнату у одного местного рыбака и охотника, вольного и строптивого человека с типичным, надо сказать, для сибиряка характером, каких нынче осталось—раз-два и обчёлся, да и то—лишь в самой глухой глубинке. Видимо, с того местного рыбака Мякишев и списал потом браконьера в своём «Одиноком волке» (хотя, говорят, в Предивном таких мужиков в те годы, на беду начальству, хватало).

Поскольку тот реальный предивенский рыбак был строптив, то частенько попадал по части рыбной ловли—чаще всего, конечно же, незаконной—в конфликты с районными властями, потому как власти эти, конфискуя его браконьерскую добычу и снасти, сами нарушали всякие правила и законы, забирая всю его добычу и браконьерские снасти себе, и сами же потом использовали их, и он прекрасно это знал—так же как знали об этом не только все местные браконьеры, а весь, можно сказать, район.

Мякишев же, будучи в молодости активным поборником справедливости, с огромным желанием помогал своему квартирному хозяину сочинять объяснительные, оправдательные и даже обвинительные письма в самые разные инстанции, вплоть до всесоюзных, а поскольку слава о человеке—плохая ли или хорошая—разносится в селе мгновенно, к молодому учителю за помощью по поводу сочинения разных жалоб стало обращаться чуть ли не всё Предивное, и за семь лет своей жизни там он успел написать уйму их, защищая местный люд от притеснений райрыбинспекции, раймилиции, райпрокуратуры, райсуда и прочих «райских» источников власти, вплоть до самых главных: райкома партии и райисполкома. При этом ему, невольно ставшему главным защитником односельчан, частенько приходилось сталкиваться с представителями этой власти лицом к лицу, так что со всей этой районной системой власти он, надо думать, познакомился очень даже неплохо, а познакомившись—конечно же, не смог не относиться к ней весьма критически, тем более что её представители были хорошо заметны на общем фоне: если только он нагл, хамоват и самоуверен, толстопуз и краснолиц, да ещё благоухает неиссякаемым водочным перегаром,—тут, как говорится, и к бабке не ходи: это районный начальник из таёжной глубинки… Надо ли к этому добавлять ещё одну яркую деталь?—при объяснении с «народом» они не чурались мата—им, по простоте душевной, казалось, наверное, что мат невольно приближает их к народу.

Мякишев, конечно же, понимал, что начальники эти—никакие не враги, засланные из-за границы, чтобы изводить местный люд и портить ему жизнь; что они—плоть от плоти этого люда: такие же тёмные и неотёсанные; ведь они родились здесь, выучились в местной школе, уехали в города и получили там кое-какое высшее образование под знаком упрощённого марксизма.

Но не только марксизм—само освоение городской жизни давалось им с трудом. Уж это-то хорошо знал и сам писатель: конечно же, он прекрасно помнил, как сложно эти ребята осваивают

в городе даже такое, к примеру, простое техническое устройство, как унитаз, и в одном небольшом, лирическом, так сказать, отступлении в «Одиноком волке» поведал нам о том, как некоторые из этих ребят не знали в детстве даже примитивных деревенских уборных и привыкли справлять нужду в необъятных своих огородах прямо на первозданно-чистом снегу, посреди бело-розово-голубого сияния зимней природы, или на зелёной травке, под щебет птах и стрекот кузнечиков, а потому—поведал дальше наш автор—стоит понять, сколько страхов и неудобств этим ребятам стоило на первых порах даже посещение обычной городской уборной: смущали их и напрягали чужие непривычные запахи, теснота кабины, в которой—не повернуться; смущал сам хитроумный аппарат, называемый «унитазом», глядя на который, неофит невольно задумывался о том, во-первых, как, с какого боку к нему подойти и как им пользоваться?—а во-вторых, каким образом его можно было бы использовать в деревенском хозяйстве?—но на ум ничего не приходило… Далее, пугал не только ревущий водопад в унитазе, который, казалось, сейчас вырвется, затопит уборную и окатит с ног до головы тебя самого; пугали и шумно наполняемый сливной бачок, и гудящие трубы вокруг… Далее, казалось кощунством пачкать рукодельную фаянсовую белизну унитаза: а ведь всем известно, что в уборной некогда решать умственные и душевные проблемы—её посещают, чтобы осуществить свои позывы немедленно,—так что сбитый с толку и напуганный неофит мог попервоначалу ходить по малой и большой нужде только на пол, рядом с унитазом, а после этого, понимая, что делает что-то не то, норовил побыстрее выскользнуть оттуда, однако, выскользнув, тут же напарывался на новую проблему: его отлавливали уже знакомые с повадками деревенских первокурсников бдительные уборщицы со швабрами в руках и во всю грубую мощь своих голосов перевоспитывали, а порой и охаживали не успевших увернуться шваброй по спине. Так что, даже освоив унитаз и другие городские блага и получив городское образование, эти ребята, конечно же, на всю жизнь сохраняли тайную неприязнь к городу.

И как вы думаете—куда они уезжали по окончании вузов? Да конечно же, если и не в родное село, то, во всяком случае, в родную глубинку, горную ли, таёжную или степную, где пока ещё царила истинная свобода для простого, цельного человека,—и, растворяясь в ней, принимались править подчинённым людом по своим понятиям, считая этот люд своим законным данником—как жили на этой земле поколения их предков, завещая им жить так же, как жили сами… Мало того, с младенчества привыкнув жить одной командой, будь то в детсаду, школьном классе, пионерской дружине или в комсомоле,—став теперь районными судьями, прокурорами, начальниками милиции, руководителями райкомов и райисполкомов, да непременно став перед этим ещё и коммунистами, они так и продолжали жить дальше: объединившись в одну дружную команду, где один за всех и все за одного,—причём дружные команды этих ребят, хорошо усвоив упрощённый марксизм, были уверены, что просто обязаны теперь жить в полном согласии с главным принципом коммунизма: работать—по возможности, а потреблять—по потребности,—и, в простоте своей, брали по потребности всё, что само идёт в руки, потихоньку обирая подвластный люд, окружающую природу и государство, тираня свой район и не желая делиться властью даже с областью, даже с Москвой…

Вот и ответьте мне после этого: насколько могло хватить впечатлений от того провинциального быта нашему писателю Николаю Мякишеву, прожившему семь лет в Предивном, посреди пышного великолепия действительно дивной сибирской природы? Смею вас заверить: впечатлений ему хватило надолго. Если не на всю жизнь.

Кстати, вы обратили внимание на то, что оба первых мякишевских романа носят «зоологические» названия? Что делать!—похоже, неизгладимое влияние на образ мышления нашего писателя наложило его биологическое образование; да и во всех проявлениях нашего *человейника* он, видимо, слишком часто находил аналоги в природе; во всяком случае, зооморфные ассоциации в его творчестве требуют дополнительных исследований, которыми мы обещаем тоже когда-нибудь заняться… Вот и третий, последний его «взрослый» роман тоже имеет зоологическое название: «Жуки и бабочки»,—хотя действующие лица в нём—никакие не насекомые, а всего лишь люди, мужчины и женщины.

Причём, судя и по романному времени, описанному в нём, и по изображённым в нём реалиям, роман этот, по моим прикидкам, написан или в конце так называемого «периода застоя», буквально окрашенного грязно-багровыми красками его заката (одна череда в чём-то даже выглядевших комически похорон дремуче-дряхлых властителей страны чего стоит!)—или уже в начале перестройки, с не менее багрово-мрачными красками её восхода.

В пользу перестройки говорит одна интересная деталь в том романе: где-то уже ближе к финалу его (похоже, что сочинялся этот финал в самом конце 80-х годов XX века) автор не преминул ввернуть в него абзац со смешным романным отступлением—о том, как во время этой самой перестройки, в теледиспуте советских женщин с американками, когда разговор у них дошёл до темы секса и одна наша категоричная дурёха (по повадке—явно

партийная функционерка) ляпнула во всеуслышание на весь мир, что «секса у нас нет!», и как обе стороны, и советская, и американская, на целую минуту застыли в изумлении, не в силах комментировать этот тезис, в то время как едва ли не половина советских телезрителей — тех, что понимали, о чём речь, — в тот момент попадала со стульев от хохота, потому как у нас много чего тогда не было, но вот этого-то было всегда, как говорится, по завязку; ведь в те времена всеобщих запретов в стране по-настоящему-то были широко доступны народу лишь два вида развлечений: алкоголь и секс.

Хотя нет, вру: партийные лидеры страны того времени порой затеивали масштабную борьбу с пьянством, используя при этом единственную меру: «Запретить!» — однако запреты эти, конечно же, продержаться долго не могли из-за глухого протестного движения, — а вот запретить народу секс было слабó даже самым строгим начальникам-моралистам (хотя, может быть, они этого и желали бы — для укрепления коммунистической морали), так что народ никогда не упускал возможности предаться обоим этим развлечениям со всей неистовостью русской души.

Короче, в своих «Жуках и бабочках» Мякишев рассказал (заглянувши, сдаётся мне, в столь необъятную тему лишь краем глаза) о бытовавшей в советское время полуподпольной бытовой проституции, каковую обычно, плюнув на «Кодекс строителя коммунизма», практиковали в городах не профессиональные ресторанные и гостиничные проститутки, а всего лишь уставшие от ожидания личного счастья перезревшие девицы, одинокие женщины, брошенные мужьями матери-одиночки, вдовушки, которым надоело вдовствовать, а также «соломенные вдовы» тюремных сидельцев и любителей покорять дальние края, моря и океаны; словом, Сольвейг, готовой полжизни ждать своего непутёвого Пера Гюнта, из них никак не получалось; хорошо зная нравы своих мужей-покорителей, всегда готовых заодно, мимоходом, покорить ещё и всех встречных бабёнок, они и сами хотели покорять кого-нибудь, хотя бы на ночь, взамен своих мужей.

Днём все они были швеями, ткачихами, сборщицами на конвейерах, мелкими служащими, медсёстрами, лаборантками и так далее — а вечерами, под задорным девизом: «Жить-то надо, а жить-то не с кем!» — хаживали на «подработку» со скромной таксой в три-пять рублей за вечер (цена бутылки водки, хорошего вина или дешёвенького коньяка в те годы), а то и «за просто так», даря себя на «вечерок» приятному на вид незнакомцу за плату в виде удовольствия разогнать скуку и получить свою часть маленькой утехи — потому как «клиентура» их тоже отнюдь не была богата и щедра: те же работяги, техники, рядовые инженеры… Правда, была ещё одна, и при этом большая, категория жадной до маленьких утех публики: разного рода командированные, которых в те времена почему-то водилось везде несметное множество, — а уж они-то точно знали, куда себя деть вечером в чужом городе, если в карманах мало деньжат на профессиональных шлюх.

Видимо, эту потаённую сторону советской жизни неплохо знавал и сам автор, довольно живо описывая в своих «Жуках и бабочках», как и в каких местах собиралась вечерами эта публика для встреч и знакомств.

Самая незамысловатая публика такого рода устраивала для этого настоящие всенародные гуляния или даже парады однодневных женихов и невест, в выходные дни под вечер заполняя собою, особенно в тёплое время года, центральные улицы и площади города. Более целеустремлённая — устраивала свои встречи в полутёмных аллеях парков, возле танцплощадок, в скверах неподалёку от центра или на благоустроенных набережных…

В местах этих встреч предусмотрительно бывали расставлены многочисленные крепкие и тяжёлые — дабы никаким хулиганам не под силу было сломать их или опрокинуть — скамьи со спинками, и на уличном жаргоне места эти именовались «пятачками», «пятаками», «бродвеями» или просто «бродом»… А потом, после знакомств, когда на город опускалась ночь, эта публика расползалась парочками по тёмным углам тех же скверов, общественных садов, парков, набережных с кое-какой растительностью, и начинался простой, незамысловатый, без изысков, зато широкомасштабный народный секс, обильный и энергичный, от напора которого трещали и опрокидывались тяжёлые скамьи, шумели ночные кусты и качались деревья, — это были настоящие народные празднества ликующего на серых камнях городов эроса.

Зимой же, в морозы, эта публика чаще всего кучковалась в столовых, вечерами работавших как второразрядные вечерние кафе с самообслуживанием, где подавались самые незатейливые блюда, вроде винегрета и селёдки с луком, а в буфете бывал «на разлив» небогатый набор простеньких алкогольных напитков: вездесущий «Агдам» или какая-нибудь мутная, местного производства, *бормотуха* с градусами под названием «Плодово-ягодное» (водку в таких заведениях не продавали ввиду отягчающих последствий: пьяных драк и пьяных же, до бесчувствия, тел под столами); играл там, *оттягиваясь* от души, небольшой, в три-четыре музыканта, самодеятельный оркестрик из местных *лабухов*-любителей, и даже пела иногда самодеятельная певичка, исполняя затрёпанные шлягеры тех времён, вроде «Мишки» («Мишка, Мишка, где твоя улыбка?..» — который слушатели, уставшие от простенького текста, вскоре переделывали на «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?») или «Миллиона алых роз»

(который слушатели, соответственно, переделывали на «Миллион алых рож»), и устраивались танцульки — то есть даже не «танцульки», а просто топтание в обнимку на крохотной свободной площадке в четыре-пять квадратных метров; за столиками, рассчитанными на четверых, сидело по шесть-восемь человек; набивалось там полным-полно самого простецкого люда, и начиналось ежевечернее действо, достойное кисти Брейгеля-старшего, «мужицкого»... А в финале вся эта развесёлая публика, опять же, расползалась парочками — куда придётся: по квартирам, у кого они имелись, или по квартирам с почасовым наймом, по койкам в многоместных комнатах общежитий, а то и вовсе по глухим городским углам, тёмным лестничным площадкам и подвалам... Причём для большинства простого люда занятие это — то бишь сидение, выпивка, танцульки, знакомства и затем расползание парами — было, скорее, просто маленькими развлечениями среди унылой скуки провинциального города.

Но эта потаённая ночная жизнь города совершенно ускользала от внимания благополучного жителя, днём занятого на «приличной» работе, а вечером отдыхающего в своей благоустроенной квартире перед телевизором или в компании таких же, как сам, благополучных друзей, или чинно гуляющего с супругой «для моциона» по хорошо освещённой улице или центральной парковой аллее, или шествующего с нею же в театр; этот благополучный житель и не подозревал о той, ночной, жизни своего города — а ведь она не всегда бывала благополучной: случались там и ссоры, и драки (главное оружие в которых, если нет крепких кулаков, — пустая бутылка или карманный ножик), а то и убийства, и частенько засвечивались в этих происшествиях двойники Кармен, Хозе, Сони Мармеладовой, Феди Протасова, Челкаша и всего длиннющего ряда других неустроенных в личной жизни персонажей, обозначенных во всемирной истории литератур; однако засвечивались эти наши с вами земляки (в роли литературных двойников) лишь в милицейских протоколах, и там же истории их умирали навсегда, на свет божий никоим образом не просачиваясь.

Но откуда, можете спросить вы, знал эту потаённую жизнь города наш монашествующий, можно сказать, писатель Мякишев? Может, он всё-таки пользовался услугами этой потаённой жизни, судя по тому, как, видно, знавал в ней толк?.. Не знаю! — твёрдо отвечаю я; во всяком случае, фактов, могущих как-то осветить этот вопрос, у меня — никаких... Хорошо; тогда, может быть, он просто изучил эту тему на расстоянии, из любви, так сказать, к «правде жизни»? — спро́сите вы. Может быть, — отвечу я уклончиво, потому что установить это предположение точнее теперь уже не представляется возможным; но факт остаётся фактом: роман написан, и — с довольно убедительным знанием деталей.

Правда, есть ещё одна косвенная причина его близкого знакомства с бытовой жизнью простого люда: жил Мякишев не в «стерильно чистом» центре города, где обитали все остальные наши писатели, а в типичном «рабочем» районе, где эта бытовая жизнь, в том числе и ночная, пышно цвела и буйствовала.

Однако всё то, о чём я успел поведать про этот роман, — всего лишь его фон, а ведь в нём есть ещё и конкретные персонажи, и сюжет, энергично движущий действие... А сюжет таков: жили-были в одном городе три товарища с «приличными», интеллигентными профессиями (опять три товарища! — без этого вечного сюжета и Мякишев не смог обойтись), и всем троим на момент главного романного действия исполняется лет примерно под сорок, причём первый из них — журналист, второй — кандидат технических наук и при этом заведующий лабораторией в полузакрытом НИИ, а третий — доцент в техническом вузе и тоже, разумеется, кандидат наук.

Поскольку главное действующее лицо в романе — журналист, буквально пунктиром следует биографическая информация о нём. Верней, начинает закручиваться эта история даже не с него — а с детства его мамы, причём рассказ о ней начинается этаким сказочным запевом: «Жила-была на свете умная, серьёзная девочка...» — а дальше — краткая, однако при этом и развёрнутая экспликация жизни этой девочки: выросла в глухом таёжном селе (похожем, кстати, на Предивное), и были у неё папа с мамой. Семья жила трудно, но дружно; все трое (включая дочку) много работали, кормились с маленького хозяйства, где главные хозяйственные единицы — огород да корова; правда, отец ещё промышлял рыбалкой. Но отцу такая жизнь однажды надоела; он *свалил* на Дальний Восток за заработками — и как в воду канул, так что маме вдвоём с дочкой жить стало ещё труднее. Но девочка была умна и старательна, хорошо училась в школе и составила себе твёрдый план на будущее: после школы непременно уехать в город, закончить институт, начать много зарабатывать, получить квартиру и забрать к себе мамочку — и тогда наконец-то они с ней станут счастливы...

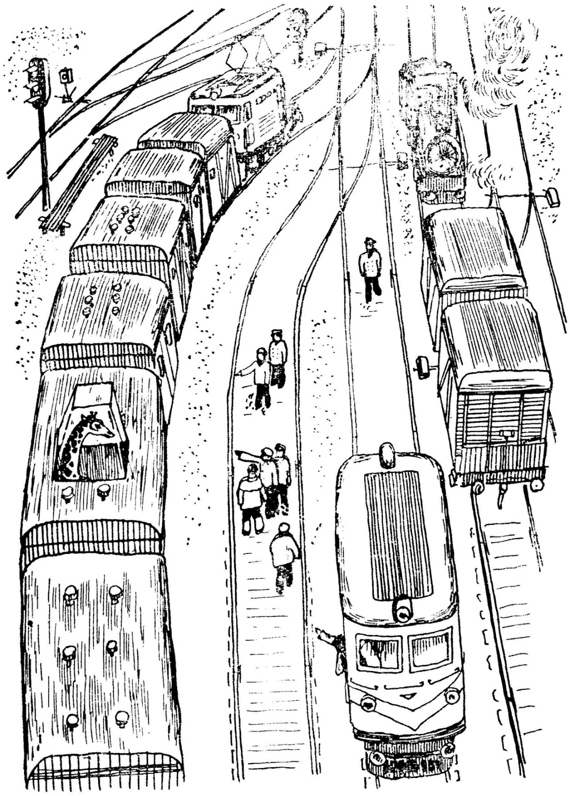
Олег Ампилогов

Моя первая книга

К 50-летию выхода книги М. Ефетова «Валдайские колокольцы»[1]

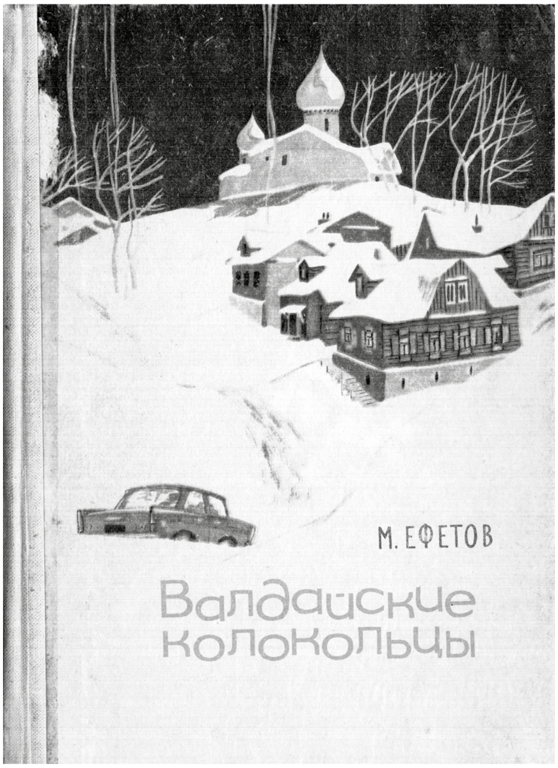
В этом году в творческой судьбе профессора СФУ О.К. Ампилогова, известного красноярского книжного графика, произошло знаменательное событие: пятьдесят лет назад, в 1973 году, в его оформлении вышла повесть М. Ефетова «Валдайские колокольцы», что означало начало творческой карьеры художника книги. Всего в дальнейшем им было оформлено свыше ста тридцати наименований книжных изданий. Напомним читателям наиболее известные: «Мы из Игарки» (ККИ, 1979); Е.Е. Сыроечковский, Э.В. Рогачёва, «Животный мир Красноярского края» (ККИ, 1980); Г.Н. Машкин, «Синее море—белый пароход (ККИ, 1981); «Погодой год припоминается» (ККИ, 1984); М.А. Булгаков, «Мастер и Маргарита» (КГУ, 1986); В. Высоцкий, «Клич» (ККИ, 1988); М.А. Булгаков, «Дьяволиада и другие невероятные истории» (ККИ, 1989); М. Зощенко, «Рассказы. Голубая книга» (КГУ. 1989); Б. Пастернак, «Стихотворения» (КГУ, 1992); «Русские романсы и песни» (VITA, 1994); «Красная книга Красноярского края» (ККИ, 1995); Р. Солнцев, «Волшебные годы» («Гротеск», 1997) и другие. Оформление его книг отмечено дипломами лауреата Всероссийского конкурса «Искусство книги», победителя регионального конкурса «Дизайн в полиграфии», благодарственным письмом губернатора Красноярского края А. Лебедя. Два издания, оформленные им, признаны лучшими в России—«Животный мир Красноярского края» (1981), «Красная книга Красноярского края» (1996). В связи с этой юбилейной датой мы попросили Олега Константиновича рассказать нашим читателя, как всё это было, о времени и о себе.

1. *М. Ефетов.* «Валдайские колокольцы». Красноярское книжное издательство, 1973. Художественный редактор М.Ф. Живило. Оформление и иллюстрации О.К. Ампилогова (при участии В.В. Бахтина).

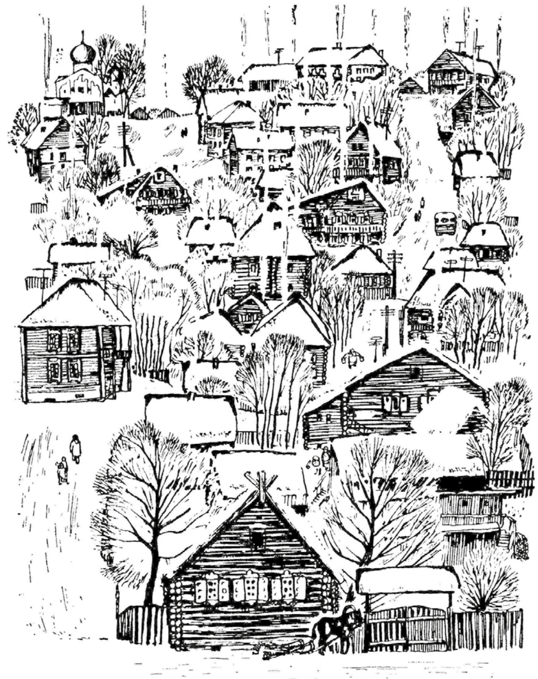


Судьба художника—всегда сложная история. И первый вопрос, который возникает, на который надо ответить: как я стал художником, как вообще становятся художниками? У каждого по-своему. Говорить о том, что я в детстве любил рисовать, вырос в рисующей семье, любил наблюдать, как братья что-то копируют по клеткам в стенгазету,—верно, но не существенно. Главное—те зрительные впечатления, которые получает художник в раннем детстве, формирующие его сознание, которые, собственно, и делают его художником.

Моё детство прошло у железной дороги. Помню паровоз, жгуче-чёрный, огромные красные колёса намного выше моего роста, клубы дыма и пара. Гудок—незабываемый звук! Вагоны, кран, разгрузка состава с грузовиками. Невероятная картина, которая запомнилась и стоит пред глазами.



Валдайские колокольцы



Балансировка на рельсе и открытие перспективы, линии рельсов сходятся вдали в одну точку. Чудо!

Другая, не менее яркая, картина возникла чуть позже. Братья летом отдыхали в пионерском лагере, мама брала меня с собой, когда навещала их в родительский день. Во время такой поездки неизгладимое впечатление произвели две переправы: через реку Абакан по понтонному мосту, его волнение во время переезда, и в особенности переправа через Енисей на пароме. Запомнились крутой спуск вдоль скального обрыва к парому — было жутко страшно, само плавание на пароме через бескрайний поток Енисея и гигантская очередь автомобилей по склону, в ожидании парома, на другом берегу. Осенью, когда я уже стал первоклассником, учительница на уроке рисования попросила изобразить свои воспоминания о прошедшем лете. И я сделал цветными карандашами два рисунка своих переправ, как я их запомнил. Рисунки до сих пор стоят у меня перед глазами. Судьба их неизвестна. Взяв их в руки, учительница с изменившимся лицом покинула класс. Больше я их не видел. Спустя шестьдесят лет, в графическом проекте «Рисующий мальчик», я, вообразив себя в возрасте шести лет, воспроизвёл эти рисунки.

Прошло время. В 1964 году в городе моего детства (мне тогда было уже двенадцать лет), в деревянном кинотеатре «Летний», что находился в центре городского парка, демонстрировался фильм, название и режиссёра которого я определил только спустя много лет: это были Андрей Тарковский и его знаменитое «Иваново детство». Мрачная атмосфера черноты, каплезвучной сырости как никогда соответствовала внутреннему пространству кинозала. Картина бликующей водной поверхности, отражения затопленных деревьев в ней в контрасте с духотой июльской жары снаружи подействовало как шок на детскую психику.

И, наконец, ещё одно *чрезвычайное* происшествие, непосредственно повлиявшее на выбор моей будущей судьбы художника-графика. Тогда же, буквально там же, рядом, в кинотеатре с символическим названием «Россия», на выставке самодеятельных художников (о профессиональных в ту пору говорить не приходилось) был представлен рисунок «Тополя», выполненный на бумаге тушью, пером (фамилию художника я не запомнил). Одно впечатление легло на другое. Волшебство преображения до боли знакомой реальности было настолько острым, что я твёрдо решил: буду художником. Что и произошло…

Для профильного художника актуальным становится вопрос, как я пришёл в книгу (в моём случае). Ответ на него как прост, так и сложен одновременно. Путь в книгу был далёк и долог. Я вырос в интеллигентной семье. Домашняя библиотека. Отец — геолог. Просмотры топографических карт в изданиях по геологии будоражили воображение. Книжка с картинками — предмет особого значения. Что такое книга для юного сознания? Культ почитания, источник знаний,

безусловно. Но и нечто большее — мир фантазии. Именно книга делает человека человеком! Выделю три из своей памяти.

«Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина, издание большого формата, твёрдый переплёт, корешок, офсетная печать с цветными иллюстрациями — это была *вещь!* Листание и поглаживание листов (см. А. Тарковский, «Солярис», «Зеркало», «Жертвоприношение»), рассматривание картинок вызывали душевный трепет. Как она появилась в доме, куда ушла — неизвестно. Увы, поиски этой книги в будущем, определить иллюстратора, оказались безуспешными. Так и осталась «Сказка о царе Салтане» тайной моего детства. Мифическое видение, таинственный остров в мире книг…

Следующая книга была уже небольшого стандартного формата, твёрдый переплёт, корешок, высокая печать, чёрно-белые штриховые иллюстрации. «Чуй-бай Нура, или Бурятские народные сказки» была мне торжественно вручена дирекцией школы как награда по окончании первого класса вместе с почётной грамотой за примерное поведение и отличную успеваемость. Неизвестный загадочный мир Востока в иллюстрациях этой книжки был представлен в обаятельной простоте чёрно-белой графики. Её я уже не только смотрел, но и читал самозабвенно.

И, наконец, книга особой гордости, приобретена мною самостоятельно на сэкономленные от завтраков деньги в книжном киоске (недостающую сумму добавила мама), что стоял на пути к школе, у него я всегда делал остановку. А. М. Волков, «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», иллюстрации художника Л. Владимирского. Солидное объёмное красочное издание — фолиант. Точнее, бриллиант в короне английского короля в моей коллекции. Уже тогда, к тому времени она была. Как я бежал домой, прижав это сокровище к своей груди, как перелистывал и погружался в волшебный мир приключений Изумрудного города — чистый Рэй Брэдбери! Думаю, именно эта книга склонила меня к выбору профиля будущей профессии художника — книжная иллюстрация. Воображение и фантазия являются решающими аргументами в его творчестве. А ведь сколько великих историй остались неизданными именно в этом качестве, книге художника, и существуют только в его воображении.

После окончания школы и «художки» встал вопрос: куда пойти учиться, кем стать? Курс был прямым: только художником. Однако чистым художником, то есть «станковистом», я не хотел однозначно, виделось будущее искусства с каким-то прикладным замесом. Увлечение архитектурой было следствием влияния моего друга и одноклассника. Архитектура — несбывшаяся мечта моего отца. И для меня она оказалась нереальной — слишком велик был догмат математики и черчения. Дизайн автомобилей — о чём мечтал я. Но Строгановское училище (мвхпу) выставило драконовское условие вступительных экзаменов — наличие диплома об окончании художественного училища. Выбрал Московский полиграфический институт, его графический факультет (хтопп). Он готовил художников книги, что меня вполне устраивало, так как я успел попробовать вкус книжной графики в издательском проекте «Жарки» (кки, 1968) в числе избранных одноклассников художественной школы под руководством её директора И. А. Фирера. Условия мпи были демократичны: брали всех, в расчёт брался только талант. И я поехал в Москву… И там, в столице, произошли обстоятельства, окончательно утвердившие мой, как оказалось, судьбоносный выбор. Как ни странно, первичный эффект произведён местом нахождения института, его локацией, как сейчас говорят. Т-образное в плане пятиэтажное здание красного кирпича эпохи промышленной революции в Англии находилось в роскоши Петровско-Разумовского заповедника, в тени реликтовой рощи, на берегу Екатерининского пруда. Тут же, впритык, располагался комплекс Сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева — гигантская территория с изумительными ландшафтами. Как не влюбиться?! Ничего подобного ни один вуз столицы не предлагал (за шесть лет обучения удостоверился лично). Другой факт, окончательно закрепивший выбор, — грандиозная

выставка в Сокольниках с громким именем «Инполиграфмаш-69», аккурат в профиле специальности ХТОПП (художественно-техническое оформление печатной продукции). То, что я там увидел (посетил много раз), смело́ окончательно оставшиеся сомнения в выборе профессии—художник-типограф. Больше ни о чём слышать не хотел. Спал и видел себя в мечтах студентом «полиграфа»—так на свой лад называли институт студенты. С третьей попытки—улыбнулась фортуна—я им стал. Но это отдельная история.

Как началась моя деятельность в книге? Книга—то же кино. В таком искусстве не обходится без счастливого случая. После двух безуспешных попыток поступления в МПИ был визит в книжное издательство с робкими предложениями услуг художника, служба в армии, повторный визит в издательство, надежды обещаний и безысходное ожидание. Казалось, безнадёжно, просвета нет. Впереди тускло маячила третья и заключительная попытка поступления в заветный ХТОПП. И вдруг—свершилось! Сказано: ищите и обрящете… В институт я поступил, уже имея на своём счету практический опыт оформленной и реально изданной книги. Моя первая книга подарила мне бесценный клад издательского процесса, понимания её духовной и эстетической сущности. Поэтому, оценивая весь пройденный творческий путь в книге, особое внимание я уделяю «Валдайским колокольцам». В ней всё началось, от неё покатилось. Но начну по порядку.

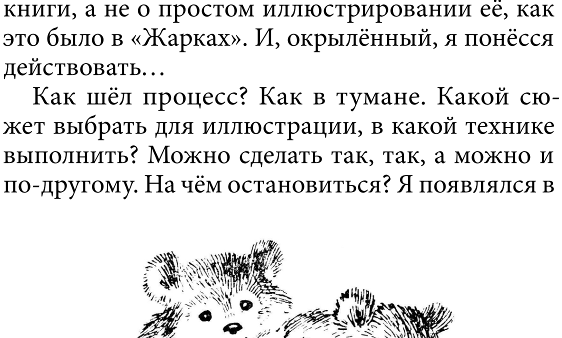
Первая книга—как первая любовь. И вспоминать о ней, как она делалась,—всё равно что погружаться в романтические воспоминания своей юности. Первая книга, первый опыт—как слёзы первые любви…

В начале осени 1972 года Марк Феодосьевич Живило, художественный редактор Красноярского книжного издательства (легендарная личность, требующая отдельного повествования), поручил мне оформление повести М. Ефетова «Валдайские колокольцы». Помог тот самый его величество случай. Изначально оно была предложено замечательному московскому художнику Ю. Ракше. Но он отказался (!), сославшись на занятость в постановке очередного фильма (с тех пор я считаю этого художника крёстным отцом своей книжной карьеры, о чём не преминул высказать ему при личной встрече). Много лет спустя я ознакомился с перепиской Живило и Ракши по поводу издания «Валдайских колокольцев». В ней художник набросал худреду примерные черты образа будущей книги, её оформления. Оказалось, я довольно точно воплотил его видение. Предложение другому, не менее яркому, красноярскому художнику О. Яхнину тоже не состоялось: на тот момент он выехал из Красноярска, и с ним не было связи. Издание перешло в категорию *горящих*, ждать было нельзя, надо было рисковать. И Марк Феодосьевич рискнул, вызвал меня. Сейчас точно не вспомню, как это произошло. Равно как и остались неясны подлинные мотивы его решения, ведь он доверил (рискнул) мне, тогда ещё совсем молодому, по сути, человеку с улицы, серьёзное дело—судьбу книги, со всеми вытекающими из этого поступка последствиями (в те времена подобные решения были не в ходу, государственное книжное издательство—плановое учреждение). Однако, убеждён, он не ошибся. Книга получилась, оформление состоялось. О нём чуть позже. Процесс её становления был извилистым и туманным (кстати, отмечу привлечение к нему ещё одной знаковой фигуры красноярской книжной графики—В. Бахтина). Марк Феодосьевич буквально вёл меня в темноте тоннеля книжной графики к еле светящемуся выходу до тех пор, пока не открылся свет в его конце. А дальше—начало карьеры в книжной графике полностью пройдено под его флагом. И не просто пройдено, а каждая книга являла собою новое открытие этого искусства, была яркой вехой на пути постижения её, книжной графики, удивительной и счастливой практики. Независимой и в то же время очень органичной в сфере освоения сущности этого художественного профиля в пространстве Московского полиграфического института.

Когда я был приглашён М. Ф. Живило для оформления «Колокольцев», у меня уже был некоторый опыт в книжной графике. Напомню, в издательском проекте «Жарки» в 1968 году его художественный руководитель, директор ДХШ имени В. И. Сурикова И. А. Фирер (ещё одна легендарная личность в культурной жизни Красноярска), поручил мне иллюстрирование целой повести. Наверное, этот опыт следовало отнести к романтической школьной любви, чистой, но незрелой. Но уже тогда я осмелился рисовать картинки из жизни маленького еврейского мальчика (действие повести происходило в военные годы в Одессе), спасающегося от преследования гитлеровских оккупантов, подражая линейной графике Матисса (по тем временам такой подход обладал большой степенью новизны и был напечатан!). Не исключено, что этот сборник попал на глаза Живило и предопределил его выбор на мне. Другим обстоятельством, дополнившим копилку опыта, были уже две экзаменационные попытки поступления в МПИ. Я был нацелен на профиль книжной графики, изучал и анализировал эту практику на примере других художников, успел собрать внушительную коллекцию книг с прекрасными образцами этого искусства. И так как я планировал третью попытку (последнюю), то целенаправленно готовился, изучал аналоги, что-то делал самостоятельно. То есть, можно сказать, я уже был вполне мотивирован на оформление книги.

Далее эта история выглядела следующим образом. Марк Феодосьевич объяснил мне задачу, снабдил необходимой технической информацией и дал команду к действию. Важным условием было комплексное оформление книги, включавшее переплёт, титул, два шмуцтитула, иллюстрации различного типа вёрстки (оборочные, полуполосные, полосные, разворотные), что меня особенно воодушевило. Ведь речь шла о полноценной книжной графике, создании целостной структуры книги, а не о простом иллюстрировании её, как это было в «Жарках». И, окрылённый, я понёсся действовать…

Как шёл процесс? Как в тумане. Какой сюжет выбрать для иллюстрации, в какой технике выполнить? Можно сделать так, так, а можно и по-другому. На чём остановиться? Я появлялся в



кабинете Живило каждые три дня, раскладывал иллюстрации на столе и ждал резюме. Надо отметить, уже в первой книге сложился мой творческий метод — никаких предварительных эскизов (исключение только для переплёта), показываю только законченные рисунки (оригиналы). Такой подход значительно облегчал жизнь редактору: оценивать чужую вещь всегда сложно, в эскиз ещё надо всматриваться, вдумываться, пытаться постичь замысел. В данном случае Марк Феодосиевич просто внимательно разглядывал мои перлы, а потом издавал суровый вердикт: «Не годится. Не то…» И никаких комментариев, никаких советов! Обескураженный, я уходил, с тем чтобы появиться через три дня вновь и услышать уже до боли привычное: «Не годится. Не то…» Так длилось довольно долго, как минимум полтора месяца, до середины октября (в декабре предстоял выезд в Москву на вступительные экзамены). Я был близок к отчаянию; что бы я ни приносил редактору, ответ был по-прежнему суров: «Не годится. Не то…» Казалось, моим наполеоновским мечтам суждено было также потерпеть крах. Дело шло к тому. Но тут я вспомнил своё увлечение линейной графикой Матисса, страсть к детализации среды в гравюрах Дюрера, полистал альбомы с их произведениями и неожиданно нашёл долгожданное решение проблемы — соединить в своих иллюстрациях стилистические особенности обоих мастеров. Выразительность условности — с одной стороны, предельная насыщенность повествования — с другой. Подобрал прекрасную сцену для иллюстрации в этой технике. Девочка-подросток

в коротком платье по моде *моего* времени (в повести это, скорее, конец пятидесятых), скрестив ноги с оголёнными коленками, сидит на стуле, нежно обняв маленького живого Мишку, как ребёнка (в повести главным героем был медвежонок), спиной к зрителю, напротив зеркала-трюмо, в котором они отражаются. Условность пустоты листа-фона, трюмо как антураж интерьера и фрагмент паркетного пола, на котором стоит стул. И всё! Но зато линией тщательно прорисованы контуры персонажей, акцентированы фактуры причёски девочки (в качестве модели послужила моя одноклассница (и любимая) Таня, она же послужила моделью для другой девочки, младше этой на восемь лет), мех Мишки, блеск зеркала, текстура трюмо, структура паркетной кладки. Повторяю, никакого эскизирования, рисунок был сделан сразу и начисто.

Не без волнения я понёс его шефу и выложил на стол. И услышал долгожданный вердикт: «Годится! То… Далее — в таком духе». В одобренном графическом ключе я буквально за неделю сделал все остальные иллюстрации. В них я постарался найти и выразить свои внутренние ощущения от пережитого мною в разные времена, включая раннее детство, а также предчувствие будущих реалий (поездка в ГДР в 1977 году удивительным образом подтвердила прогностическую точность моих сюжетов). Особенно я выделяю заглавную иллюстрацию, в которой показана атмосфера жизни, среды города Русского Севера (прототипом послужила наша красноярская Николаевка и мотивы окраин Пскова), навеянная фрагментом гениального фильма А. Тарковского «Андрей Рублёв». Сцена в кабинете районного начальника: он говорит кем-то телефону, а его на скамейке терпеливо ждут посетители. Сцена разделена текстом, но подана как единое целое. В этом суть книжной графики — в структурном членении всех её элементов. Уже упомянутая девочка с Мишкой, сидящим в коробке, она кормит его из соски. Образ Мишки навеян рисунками художника Е. Чарушина. Трогательный эпизод, в котором пожилая женщина несёт под мышками двух медвежат, так несут няни в яслях своих подопечных, очаровывает. Смотрины Мишки, устроенные героем повести своим одноклассникам. Разворот, где электровоз меняет паровоз, тоже из воспоминания моего детства. Мы с мамой ехали в поезде в Омск, и я реально её, смену, наблюдал. Своё отношение к паровозу я уже описывал в начале. Вспоминаются и другие сюжеты, всё не опишешь. Не могу сказать, что я абсолютно удовлетворён результатом, не все иллюстрации равноценны. Рисунок для переплёта (выполнен В. Бахтиным без моего контроля, я уже был в Москве) хоть и соблюдал придуманную мною композицию, но не в полной мере. Вместо русской старины, что была предложена в моём эскизе, он изобразил какой-то цивильный дачный посёлок. Церковь и деревья на заднем плане выглядят несколько искусственно (подозреваю, что в мой замысел вмешалась цензура, старое тогда однозначно трактовалось как дряхлое). Шрифт названия заменён и также меня не совсем устроил (в следующей книге «Капитаны

северных морей» рисунок на переплёте, включая шрифт, был выполнен мною полностью как задумано!). Но в остальном получилось так, как я ожидал, в некоторых примерах просто замечательно. И видеть свои творения отпечатанными в книге—это ли не счастье?

Два слова о Викторе Бахтине. Так случилось, что редакторский гений М.Ф. Живило свёл в одном издании двух будущих ведущих специалистов красноярской книжной графики. Процесс иллюстрирования шёл к успешному финалу, как вдруг возникло непредвиденное обстоятельство: в издание была добавлена вторая повесть—продолжение истории с Мишкой за границей. Физически для меня эта вводная была непреодолима, я и так намучился с первой. Она усугублялась тем, что если в первой повести был один персонаж фауны, медведь, с которым я с помощью Чарушина вполне справился, то в продолжении героями стал целый зоопарк. Задача Бахтина состояла в том, чтобы усилить команду оформителей и в этой части. Виктор с нею справился. Он без комплекса и натуги врисовывал зверюшек в мои сюжеты, сохраняя изначально заданную стилистику. Сохранял верность данному стилю в своих сюжетах и при этом сохранял в них свою индивидуальность (как тут не вспомнить «Битлз»? внимательный глаз без труда сможет выявить разницу между моими и его картинками, как в песнях Леннона и Маккартни). Виктор был виртуозный рисовальщик. Именно в этом издании выразился его талант изображения всякой живности (читатели, знакомые с творчеством Бахтина, знают, что в жанре анимализма ему не было равных), с таким блеском проявившийся в «Красной книге Красноярского края». А ведь для него, как и для меня, это был также первый опыт работы в книге. Он пришёл из газеты «Красноярский комсомолец», с которой сотрудничал на внештатной основе как шрифтовик заголовков, в издательстве же его держали как скромного техреда. В дальнейшем уникальный творческий тандем «А» и «Б» принёс книжному издательству Красноярска самые выдающиеся достижения в сфере книгоиздания. Получилось, что «Валдайские колокольцы» знаменательны и в данном факте.

Прошло пятьдесят лет... Настоящая книга в контексте полиграфической современности смотрится в большей степени как винтажный объект чистой типографии. Переплёт (блок книги вклеивался в него вручную!), бумага, набор, шрифт (шрифт «Журнально-рубленый» сейчас подаётся как эксклюзив!), клише цинкографии, высокая печать—налицо все атрибуты эстетики Гутенберга. Для меня «Валдайские колокольцы» стали средоточием симбиоза типографии и кино, что я последовательно воплощал в следующих книгах, независимо от формы и содержания.

Настало время дать оценку самой книге, её социокультурному феномену. Нередко я слышу из различных источников, в которых обсуждаются писатели, либо от самих писателей: он написал книгу, я работаю над книгой... То же про учёных: написал книгу о том-то... Весьма странные суждения, не соответствующие действительности. Любая книга—в первую очередь предмет со всеми его вещественными атрибутами: пропорции, (высота, ширина, толщина), объём в страницах и печатных листах. Вид переплёта, печати, фальцовки, брошюровки. Книга, как живой организм, состоит из определённой бумаги, конкретики набранного текста, выраженной в начертании шрифта, форматировании строки, полосы набора, вёрстке и многом другом. В случае иллюстрированного издания предмет трансформируется в изощрённую структуру. Так что никакой писатель, учёный при всём желании не в состоянии её написать. Этого не мог себе позволить даже А.С. Пушкин. Рукопись—единственно, что могут представить они на суд публике. «Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать». И если во времена классика русской словесности книга была в большей степени творением наборщика, печатника и переплётчика, то современная практика книгоиздания освящена цифровой технологией, книга делается художником (дизайнером) на столе, в компьютере, она есть продукт горения его творческого сознания. Он творит её таким же образом воображения, как режиссёр в кинематографе.

В комнате Якова Павловича сумеречно. Только зелёная лампа освещает стол и его руки, большие, жилистые. Он что-то пишет. Потом кричит нам в коридор:

— Не соскучились? Я сейчас!

Но «сейчас» это затягивается.

Входная дверь скрипнула и закрылась. Какой-то бородач смахнул с валенок снег и пошёл к Федотову. В руках у старика большие грабли.

— Что это? — спрашивает Славка.

Мы слышим, как сердито говорит старик:

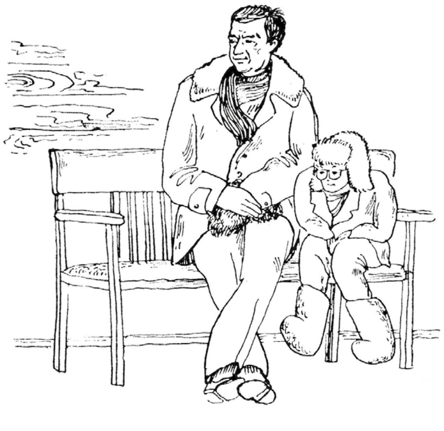
— Это им не колокольцы отливать под дугу. Вещь нужная для работы. Смотри, Яков Павлович, как сделали. Стыд!

Славка шёпотом спрашивает меня:

— Почему он сказал — колокольцы?

— Не знаю, — говорю я. — Наверное, звоночки так называются, а колокольчики — это цветы.

Старик уходит, а грабли остаются у Федотова. Яков Павлович появляется в прихожей, и мы поднимаемся, чтобы уйти с ним, но снова скрипит и бухает дверь, и в коридор, прямо к печке, торопливо входит человек с большой круглой головой и носом — ну точь-в-точь картошка.



— Ты что, Андрей Иванович? — спрашивает Федотов. — Горит где, что ли?

— Боялся опоздать! — Большеголовый снимает шапку, вытаскивает платок, вытирает лоб и шею. — Уф! Хорошо, что застал. У нас несчастье. — Он нагибается к Федотову так, что кажется, вот-вот заденет его носом, и говорит что-то вполголоса.

А печатнику остаётся лишь нажать на кнопку печатного станка с программным обеспечением. Процесс полностью автоматизирован. Это факт, от него не отвернуться. Я ни в коем случае не отрицаю роль писателя (автора-составителя), создающего контент, книга — продукт синтетический. Контент же не гречневая каша на тарелочке с голубой каёмкой. И когда я вижу телевизионную передачу о писателях, презентацию победителей конкурса «Большая книга» (дичайшая в своей безграмотности «формула» литературного деяния), витрины литературного музея, в которых демонстрируются достижения литераторов, но почему-то показывают объекты творческой деятельности художников без всяких ссылок на них, мне становится обидно за своих собратьев по цеху и за себя лично. Бороться и противостоять косности не представляется возможным. Мириться с нею — тем более. Поэтому я принял решение, подобно персонажу Высоцкого, выйти из дела, более книгой не занимаюсь. Надоело убеждать и спорить. Произошло это в 2007 (окончательно — в 2009-м) году после того, когда мне было заявлено заказчиком, что он не намерен оплачивать за свои деньги моё творчество («как будто в бурях есть покой»). Думаю, у него был свой резон. Хотя мне более памятен другой отзыв о моей работе. Булат Окуджава успел написать перед своей смертью записку Роману Солнцеву — отзыв на сборник его стихов «Волшебные годы» в моём оформлении, дошедший до шорт-листа Государственной премии России: «Дорогой Роман! Спасибо тебе за присланную книгу. Стихи хорошие, а оформление просто замечательное!» Отдаю должное Роману Харисовичу, подарившему мне ксерокопию теперь уже посмертного послания великого русского поэта. Есть чем гордиться.

Думаю, я могу закончить свой рассказ на светлой ноте о книге, о времени и о себе. Было время, и были книги… Сейчас я занят непосредственно своим прямым призванием. Творю собственную линию графики, и никто не может мне ничего сказать.

P. S.

И ещё одно удивительное обстоятельство. Как выяснилось не так давно, М. Ф. Живило (оказалось, мы земляки, оба вышли из Черногорска) в своём творчестве был первым *живым* примером художника, непосредственно повлиявшим на выбор моей будущей судьбы художника-графика. Это именно его рисунок «Тополя» (бумага, тушь, перо) был выставлен на выставке черногорских художников в фойе кинотеатра с символическим названием «Россия». *Волшебство преображения до боли знакомой реальности было настолько острым, что я твёрдо решил: буду художником. Что и произошло…*

Опубликовано в журнале «День и ночь» №7/2006

Роман Солнцев

Игра

1.

— Что так согнулся? У тебя что-то за ночь отросло? — хихикнула сестрёнка, глядя на Антошу, который проковылял, стыдливо сломавшись в поясе, из постели к ванной.

Ужасно смутившись, братик прошипел:

— Д-дура! — и исчез за дверью. И добавил со злостью: — Мочалка!..

Но это слово он пробормотал, лишь когда закрылся. Он никогда не сказал бы этого в глаза — Антоша обожает свою сестру-красавицу.

А она всё равно, конечно, догадалась, что он продолжает за дверью сердиться.

— Да ладно уж!.. — засмеялась во всё горло и, утвердив перед собой на столе зеркальце с картонным откидным хвостиком, принялась очень серьёзно намазывать кремами и румянами своё юное личико.

Все знали — и мама, и Антошка, и соседи по лестничной площадке, и подруги по школе: у Калабутиных грядёт свадьба. Обещал и отец из тайги приехать, где он зарабатывает, валя для китайцев лес.

Жених — классный паренёк Сашка Беглов, со смеющимися зубами, они у него чуть спутаны спереди, как лапшинки. Говорит быстро, скороговоркой — время экономит. И голова обрита наголо (такая у крутых мальчишек нынче мода). Он с серебряной медалью окончил школу, и через год его должны взять в армию. Только не должны бы взять — он один у своей матери. Отца-то у него нет. А если Сашка женится да ещё ребёнка родит, то в армию не возьмут долго. Говорят, до двадцати семи лет.

Вот у соседей дылда Никитка — уже года три бегает от армии... то в деревню к бабушке укатит на попутных машинах, нацепив для маскировки тёмные очки, то в больницу его родители положат, а недавно он ещё и справку купил, что гомосексуалист. Теперь уж точно не возьмут, а если и возьмут, то отправят с такими же что-нибудь строить. Только что он построит, вялый, хилый, с красными губами, под два метра росту?..

А Сашка — мужчина. Ходит — как железный: цок-цок. И не оглядывается при этом, а попробуй сзади прыгни на него — схватит за уши и через себя перебросит. Был такой случай в школе...

А сейчас — жениться ему самое время. И есть на что жить: он — «мастер золотые руки», так говорят взрослые. Любую машину починит, любой ремонт осилит.

Ходит с железным кейсом в руке. Антоша несколько раз поднимал этот кейс — ой, тяжеленный, будто ведро с водой. Там внутри — инструмент. Когда Сашка набирает код замка и откидывает крышку, Антоша жмурится — здесь всё так сверкает. И молоточки разного размера в ряд, и отвёртки разного размера, и плоскогубцы, и ножницы... чего только нет! И все они прижаты с боков особыми губами: часть — к нижней половине кейса, часть — к верхней, — и не выпадают, даже если потрясти...

Сашка недавно купил мотоцикл «Хонда», носится вихрем по городу, зарабатывает на свадьбу да на подарки будущей жене и её родителям.

— Сань, у нас труба гудит...

— Уговорим!

— Сашка, нам бы дверь железную...

— Чтобы куда открывалась? В светлое будущее?

— Сашка, нам бы паркет... какой лучше купить?

— Лиственничный. Дешевле дубового в три раза и гробом не пахнет.

Конечно, первым делом Сашка произвёл полный ремонт в двухкомнатной квартире невесты. Натка ему помогала — квас приносила из магазина, обои мазала клеем, шурупы-саморезы подавала. Да и Антоше дело нашлось — перетаскивал стремянку, как прикажут.

Жильё стало как игрушка, такие по телевизору показывают. Причём свет можно включать из любого угла: вот тут нажмёшь — в ванной загорится, а на кухне погаснет. И наоборот.

Потом Сашка поработал у соседей, где живёт дылда Никитка, а потом выше — в двухъярусном логове бизнесмена Куфтика. Багровый дед с вишнёвой бабочкой на шее и синими буквами «ВИТЯ» на левом кулаке заплатил щедро и уговорил навести «марафет» на его даче. Можешь помощников набрать, сказал Сашке, это твои проблемы, закончишь — получишь на руки три тысячи баксов. Сашка съездил, осмотрел дачу и ответил: семь тысяч. Или я не берусь. Богач дёрнул животом, хохотнул и согласился.

И вот сегодня Сашка должен приехать уже богатый, получив расчёт. Чтобы договориться с Наташей, когда венчаться пойдут и когда свадьба. А до этого, наверное, предстоит поход в загс. Как пошутил Сашка, это Зал Автоматического Государственного Соединения. Или Завод Агромадной Глупости Сибиряков.

Да разве только сибиряков? Да и не глупость это—жениться. Хорошее дело.

Антоша понимает перспективы.

2.

Они вошли вдвоём (за дверью, кажется, это они хохотали… а чего, плакать, что ли?): Сашка и священник с жидкой рыжеватой бородкой в два ручья, на нём чёрная длинная ряса, в руке икона.

Переступив порог, раскрасневшийся поп погасил свой звонкий, почти женский смех, смиренно потупил глаза, поклонился:

— Мир дому вашему. Да пребудет Господь с нами.

Сашка явился в белом пиджаке и белых брюках, уже купил где-то, только штиблеты прежние, жёлтые, а через руку перекинуто, в прозрачной плёнке, сияющее, как первый снег, подвенечное платье для Натки.

— Держи, мадмуазель,—он подал его и два раза быстро улыбнулся—Елене Игнатьевне и Антошке: смущался, что ли?—Поторопись, мадмуазель.

— А разве не в церкви?—растерянно спросила мама, кивком здороваясь с молодым попом.

— А сейчас допускается, мода такая, на дому, эксклюзив,—скороговоркой пояснил Сашка.—Садитесь, батюшка.

Священник улыбнулся, степенно сел на стул и принялся оглядывать жильё.

Наташа ушла в комнату, где она спала рядом с Антошкой все последние годы.

Священник спросил у Сашки:

— И сколько времени ты здесь работал, сын мой?

— Неделю.

— У меня сделаешь подобное?

— Сделаю.

Мать понимающе кивнула:

— Он не пьёт, не курит.

— Знаю. Высоконравственный человек.

— В церкви-то, пожалуй, большие труды понадобятся.

— В церкви-то? Конечно,—священник ответил, нажимая на «о». И повторил:—Конечно,—и зажурчал весёлым смешком. Увидев удивлённые глаза женщины, тут же серьёзно пояснил:—Красота нужна. Духовность воспитывает…

Из спальни выпорхнула Наташа, став необычайно красивой в новом платье. Священник поднялся и насупился, поправил большой тусклый крест на груди.

— Встаньте рядом,—попросил он жениха и невесту.

И когда Сашка и Наташа встали рядышком, переглядываясь и улыбаясь—скуластая Натка чуть угрюмо, а Сашка отчаянно, поп спросил:

— А никаких мужчин поблизости сейчас нету?

— Нету!..—огорчённо откликнулась мама.—А надо?

— Надо. Конечно, в нашем бывшем Советском Союзе и женщина как мужчина… по трудам своим… но всё же…—и странный поп поманил Антошу:—Ты давай встань слева от сестры. Кого бы ещё позвать?.. И в соседях нет?

Сашка хмыкнул, глянул на мать Наташи.

— Можно Никитку. Дурень, но если помолчит…

— А что с ним?—спросил поп.

Сашка подмигнул Антоше, и Антоша не удержался:

— Свиной язык варёный сунул в рот, высунул кончик, две иголки воткнул… мамка его—в обморок.

Священник закашлялся—его, наверное, душил смех. Действительно смешно. Однако, насупившись, важный гость попросил:

— Позови его, сын мой.

И Антошу назвал сыном. Так у них, у церковных деятелей, принято. И всё же странного, странного священника нашёл Сашка для венчания. Очень уж молодой. Но ведь и времена новые. Говорят, даже по интернету венчаются. А кто венчает—и не узнаешь.

Антоша сбегал к соседям—Никитка сидел дома и с полу смотрел мультик. Зевая и спотыкаясь в разболтанных тапочках, он поплёлся за Антошей.

Негромко объяснив ему задачу, священник поднял икону и, осенив ею Наташу, торжественно вопросил:

— Раба Божия Наталия, согласна ли ты стать женой раба Божьего Александра, помогать ему в горестях и болезнях до самого смертного часа?

Помедлив, побледнев, Натка тихо ответила:

— Да.

Осенив иконой Сашку, священник спросил:

— Раб Божий Александр, согласен ли ты взять в жёны рабу Божию Наталию, быть ей верным супругом и помощником во всех делах житейских, в горестях и болезнях до самого смертного часа?

— Ага,—как-то по-детски ответил Сашка.—Ну.

— Целуйте!—произнёс священник, и Наталья с Сашкой по очереди приложились к иконе, на которой Антоша никак не мог толком сбоку разглядеть, что изображено, какой-то суровый лик на чёрном.—Итак, именем Господа нашего объявляю вас мужем и женой.

Мать, утирая слёзы, подошла к дочери.

— Поздравляю доченька…—обняла её, затряслась. Потом смятенно поникла перед Сашкой.—Ты уж береги её..

— А то!—Сашка весело поцеловал Наташу в щёку. Торопясь, проговорил:—По-настоящему на свадьбе. Бегу договариваться в ресторане: на пятницу или субботу?

Мать с дочерью не нашлись что сказать.
— Наверное, на пятницу,— ответил сам себе жених, счастливо смеясь и глядя на наручные часики.— Я позвоню…

И они со священником поспешили из квартиры, Сашка весь в белом, как трудящийся дневной ангел, а поп в чёрном, как ангел сладострастных ночей… Между прочим, даже имени своего не назвал, не представился. Важный какой.

3.

Прошла неделя — Сашка всё не появлялся.

Мать вечером после работы спрашивала у дочери:
— Ещё не решили, когда?

А Натка в ответ, пожимая плечами, смеялась:
— Зарабатывает!

В самом деле: свадьба свадьбой, а куда потом идти молодожёнам?

Сашка обитает со своей матерью на окраине, в «полуторке», так называется квартира маленькая, с проходной узкой комнаткой. И конечно же, стеснять родительницу не хочет. А устраиваться в двухкомнатной квартире Калабутиных — да никогда! Он гордый. Натка сказала, что он заявил: «Жених должен вести невесту к себе, а не на её территорию».

Но чтобы заработать на новую квартиру, это сколько же надо потрудиться по чужим квартирам и дачам?! Говорят, нынче стоимость двухкомнатной больше полумиллиона. Может быть, Сашка снимет в аренду чужую пустующую квартиру, если не терпится связать судьбу свою и Натки.

Кто бы объяснил их планы. Но Сашка словно исчез из города, только иногда звонит невесте, видимо, смешит, потому что она, разговаривая с ним, хохочет, как дура, даже попрыгивает, как коза. Сашка очень остроумный. Хоть бы пересказала сестра братцу, о чём они говорили. Но после разговора Натка сразу же утыкается в учебники — собралась поступать в университет.

Главное, что они с Сашкой повенчаны. Это имеет огромное значение, если, конечно, Бог есть.

Однажды Антоша вышел за кефиром по приказу мамы и увидел знакомого священника. Да, это он, весёленький молодой поп, ехал в серебристой машине «Lexus», рядом с ним откинулась на спинку сиденья кудрявая, как пудель, девица в красном и курила, а он хохотал и в одежде был совсем не церковной.

И никакой бороды — сбрил её священник. Видимо, плохо растёт: чего уж позориться?

А через пару дней, когда Антоша играл с пацанами во дворе в футбол, во двор вкатилась та самая иномарка. Рядом с попом, облачённым в зеленоватый костюм и сверкающий галстук с золотой иголкой, сидел Сашка, только Сашка был не похож сам на себя — хмурый, губы кусал.

Они о чём-то говорили.
— Не жди меня,— донеслось до Антоши.
— Нет уж, подожду,— отвечал тоненьким голоском поп.

Раздражённо помедлив, Сашка кивнул и вошёл в дом, а Антоша приблизился с мячом к машине.
— Здрасьте,— окликнул он священника.

Тот недоуменно дёрнул румяной щекой, узнал подростка — и глаза его сверкнули.
— Привет, сын мой,— он засмеялся.
— А чё сбрили?— спросил Сашка, показывая на подбородок.
— А сейчас все бреют,— отвечал дружески поп.— Я и волосы хочу — как Сашка. Он утверждает: мысли так лучше работают.

Говорить больше было не о чем. Не спрашивать же, есть Бог или нет?

А Сашка всё не возвращался.
— Ну, как ты учишься?— спросил безбородый поп.— Ты в восьмом?
— В девятом!— поправил Антоша.
— Учись, мой сын, наука сокращает…— и молодой священник снова рассыпался бисером смеха.

Антоша помнил эти строки из сочинения Пушкина, и там не совсем так. Там что-то про трудности жизни.
— А сколько бензина жрёт?— спросил Антоша, кивнув на машину.
— Немного. А что, мечтаешь о колёсах?— и поскольку подросток молчал, подмигнул ему.— Будет у тебя машина. Со временем. Вот договоримся с Сашкой о работе…
— А что, много запросил?— удивился Антошка.
— Очень много!— весело отвечал поп.— Очень! Я понимаю, краска, клей, с точки зрения экологии вред…

Он не договорил, потому что из подъезда выскочил Сашка. Он был угрюм, но, увидев возле машины Антона, озарил его своими спутанными, как лапша, зубами.
— Ты чего тут? Всё хорошо,— он быстро пожал Антошке руку.— Поехал дальше ковать жёлтый металл.

И «Lexus» укатил, увозя Сашку и забавного попа.

4.

И вдруг сомнения начали одолевать Антошу. Какой-то уж больно легкомысленный поп. Взял и бороду сбрил. А Сашка, добрая душа, с ним будто бы в ссоре. Почему?! Сашка всегда всем улыбается, даже дуракам вроде Никитки, а с этим уехал — будто тёмный чулок натянул на лицо.

Вечером Антоша отпросился у матери в кино, а сам, немного пугаясь, пошёл к Николаевской церкви. Возле маленького старого храма с синими стенами и облупленным золотом кривоватых куполов сидели на скамейках старухи, они торговала свечками и маленькими иконками, со спичечный

коробок. Антоша купил одну свечку и скользнул за тяжёлую дверь.

В храме было сумеречно, пахло подсолнечным маслом, шла служба, старухи и даже вполне молодые женщины низко кланялись, шептали молитвы, крестили себя сложенными в щепоть пальцами. Антоша зажёг свою свечу о свечу, воткнутую в какой-то ящик с дырочками, и подступил ближе к священнику.

Поп в этой церкви был тоже не старый, но глаза у него были скорбные, щёки впалые, борода тяжёлая. Он ни разу не улыбнулся, голос его, негромкий и очень внятный, заполнял пространство:

— Господу нашему помолимся…

И ему подпевали:

— Помолимся…

Антоша впал в непонятное состояние, словно в сон. Такое чувство наваливалось на него на уроках истории — мечты уносили Антошу через века.

Он и не заметил, как все женщины покинули храм, на прощание приложившись губами к кресту. И лишь тогда очнулся, когда поп положил тёплую ладонь ему на голову и тихо спросил:

— У тебя что-нибудь случилось?

Антоша никогда не был ябедой, а всё же хотелось, хотелось спросить, почему такой потешный поп приходил к нему домой. Настоящий ли он, получил ли диплом. Вместо этого вопроса Антоша задал другой:

— А дома венчать можно? Это меня просили старшие ребята узнать.

— Дома? — удивился священник. — Нет, таинство венчания происходит всегда в храме, — он задумчиво смотрел на подростка. — Разве что в исключительных случаях… если один из венчаемых или оба по болезни не в состоянии сами прийти к храм… Но я не помню такого случая.

— А обратно не делают?

— Ты имеешь в виду — не развенчивают ли? Снимают венец, но это вновь — в редчайших случаях, и только в том храме, где венчали, и делает это только протоиерей.

— Так и передам… — пробормотал Антошка. И, чтобы что-то ещё спросить, теперь уже как бы от своего имени, повёл рукой в сторону иконостаса: — Это алтарь?

Он слышал такое слово, да и в художественной литературе оно часто встречается. Говорят: жизнь положить на алтарь отечества. Наверное, все эти святые как раз и положили жизнь на алтарь отечества.

Священник не улыбнулся наивному вопросу подростка, мягко ответил:

— Алтарь — вся вот эта часть храма, восточная часть. Она отделена иконостасом. Там находится престол, жертвенник. Туда проходить можно только мужчинам. Не хочешь ли ты, сын мой, в церковную школу нашу?

— Я подумаю.

Покраснев от невольной лжи, оттого, что вдруг узнал страшную тайну: неправильно поступил поп, придя домой венчать Сашку с Наткой, — Антоша быстро покинул церковь, забыв оставить там свечку.

Он брёл по тротуару, сжав её, уже согнувшуюся в его кулаке, и думал про себя: «Надо открыть глаза Сашке. Сегодня же! А если встретится безбородый, экзамен ему устроить…»

5.

Антоша вечером у сестрёнки спросил:

— Сашка был?

— Не! — мотнула головой Натка и продолжала с улыбкой читать учебник физики.

Почему они все такие легкомысленные?! И этот странный поп (хорошо, если он протоирей, ему простится. А может, только ещё учится в церковной школе?), и сама Натка! Ну, Сашка — понятно, у него такой характер. Хотя с чего бы ему веселиться, если венчание может оказаться неправильным, а свадьба откладывается третью неделю?!

Антоша решил отыскать, где работает Сашка. Он сказал матери, что утром к восьми побежит на субботник, сажать деревья возле школы, мать удивилась и разрешила. Он закрутил до упора будильник, поднялся раньше звонка, в половине седьмого, и на велосипеде покатил на окраину, где жил Сашка.

Вот его дом, серый, бетонный, в четыре этажа. На торце красными и синими красками намалёвана всякая всячина: пасть крокодила, задница слона с хвостом, «ЛЮБА + ВАСЯ =…» — дальше всё зачёркнуто, чьи-то инициалы, размашистое — с метр высотой — дурное слово. Вокруг толпятся железные гаражи, собачьи конуры. Возле маленькой детской площадки стоят ворота для качелей, а сами подвески без сидений скручены в разные стороны, как скручивается лопнувшая гитарная струна. Большие парни бесились. Сашка рассказывал, что много раз налаживал, но «против лома нет приёма».

Антоша помнит, Сашка начинает ремонтные работы ровно в девять. Значит, он ещё завтракает, выйдет через полчаса и помчится на своей «Хонде». У него мотоцикл синий с жёлтой полоской, на бензобаке — красотка Мэрилин Монро.

Но что это? К подъезду подрулила знакомая серенькая иномарка, за рулём сидит поп. Тот самый!

Антоша почему-то испугался, отвёл велосипед за деревянную беседку. Поп был рассеян, он чиркнул зажигалкой, закурил и тут же выбросил сигарету через окно дверцы. Сигаретка валялась, дымя, среди всякого сора. Вот так и возникают пожары.

«Не бойся, иди узнать правду!» — сказал сам себе Антоша и с усилием, заставляя себя, толкая велосипед, приблизился к дорогой машине.

— А, это ты опять?—ухмыльнулся розовощёкий священник, пристально глядя на подростка.
— Натка просила с Сашкой поговорить...—соврал Антоша.—Чё-то про пироги.
— Пироги?..—священник глянул на часы. Достал сотовый телефон и набрал номер, позёвывая, спросил:—Ты скоро, милый? Я здесь.

И вновь с улыбкой уставился на Антошу.

— А вот можно вопрос?—подступил ближе Антоша, разглядывая сверкающую приборную доску машины.—А как называется этажерка... которая в церкви? Я заходил однажды в церковь—спросить постеснялся.
— Что за этажерка?—нахмурился поп.
— Ну, такая покатая... на ней книжка лежит...

Священник еще больше нахмурился.

— О таких вещах на улице не говорят.
— А вот алтарь... он с южной стороны или северной? Я с девочкой одной поспорил.
— С девочкой?—снова заулыбался поп.—С южной, с южной. Ну, иди, иди, вон твой Сашка.

Антоша поспешил к подъезду, бренча велосипедом и соображая, о чём же спросить у Сашки. А в голове звенело: «Поп не знает, с какой стороны алтарь! И ничего не знает про аналой!»

— Привет!—почему-то осердился жених Натки, исподлобья глядя на Антошу.—Ты чего тут делаешь?

Он был в синем комбинезоне, на голову нахлобучена синяя кепочка с прозрачным козырьком.

— Саш...—зашептал, стреляя глазами в сторону, Антоша.—Саш... он не тот... не поп... я точно выяснил... я в церковь ходил...
— Ну и что?—хмыкнул Сашка.—Мы же играли. Чтобы маме угодить. И Наташка знает.
— Наташка знает?!—Антоша ничего не понимал.—А почему не по-настоящему?

Сашка вылупил зубы, снова их замкнул губами, помолчал, глядя куда-то вдаль.

— Долго объяснять. Мы же некрещёные. Как можно венчать людей некрещёных? А во-вторых...—он вновь помолчал.—Ладно, тебе скажу. Мы поссорились...
— С кем? С Наткой?!

Сашка кивнул. Он кусал ногти и, кажется, избегал взгляда Антоши. Смотрел как-то странно, тускло.

— Ладно, скажу правду,—наконец торопливо забормотал он.—Понимаешь, этот тип... ну, поп... моя крыша. Я брякнул ему дезу, что мы поссорились... дескать, она задружилась с сыном Куфтика из вашего подъезда...
— Зачем деза?!
— Чтобы этот её не тронул,—Сашка кивнул в сторону машины, которая уже мигала фарами.—Хотел у меня её забрать за долги. А теперь не посмеет. Но всё это временно... Пока!—и, потрепав Антошу по голове, Саша открыл дверцу, сел на сиденье рядом с мнимым священником, и «Lexus», нетерпеливо взвыв, улетел в город.

Ничего не понимая, Антоша покатил на велосипеде к своему дому.

6.

Что же это получается?! Сашка говорит, что они понарошку венчались, чтобы успокоить верующую маму. Мама каждый вечер стоит под картонной иконкой, лампадку жжёт, молится и плачет. А ещё недавно, говорят, комсомолкой была. Ей сон приснился, что Натка будет несчастна. Особенно часто она молилась и плакала, когда во время ремонта ей пришлось с Антошей уходить на две ночи к соседям, к тёте Марине, у которой как раз недавно умер муж, и старушка боялась спать одна в пустой квартире.

А Сашка с Наткой, поскольку уже привыкли к запаху красок и клея, оставались ночевать в обновляемой квартире. Но, как они говорили, спали в разных комнатах.

Ой, правда ли это? Утром, когда все собирались за чаем у соседки, глаза у Натки были масляные, как у мамы, когда ей капли глазные накапают. А Сашка всё ложечку с мёдом крутил, разглядывал да всякими историями сыпал.

— Тут один дядька из района машину оставил возле мэрии... ну, думает, здесь-то не украдут... а сам по магазинам... А в мэрии переполох. Стоит полдня машина—вдруг заминирована? Вызвали сапёров... шуму было...

Натка визжала от смеха, хотя чего уж тут смешного? Мать качала головой.

— А в нашем доме,—продолжал Сашка,—радио играет в одной квартире уже неделю. Бабки испугались: наверное, жилец помер. Милицию позвали, дверь взломали—а там никого. Оказывается, он в санаторий уехал, а чтобы воры не залезли, радио оставил включённым. Мне пришлось дверь менять... за свой счёт, конечно... да ладно, не обеднеем. Верно, Натка?

Натка от смеха захлебнулась чаем. Любит она этого Сашку.

Да ведь и он непростой парень. Как-то, забежав во время ремонта в квартиру, Антоша услышал с порога торопливые слова:

— Всё будет красиво в нашей жизни, Наташа... вчера уснуть не могу... сейчас такие светлые ночи...

В ответ—шёпот Натки:

— А я в лесок ходила, там лилии, мёдом пахнут. Только усыхают мгновенно. Я принесла домой... валяются на полу, как шнурки...
— Их не надо рвать. Господи, а я вчера сижу дома... а за окном, над рекой, над садами, белая ночь царит, красота великая воды и небес движется. И из-за того, что мы врозь, это ещё сильнее слепит, мучит меня... словно ты мстишь этой красотой. Мсти! И за это спасибо!

— Я не могу мстить. Я могу только любить.

Ах, как он элегантно работал! Например, Сашка стягивал полы, натянув проволочки вдоль и поперёк, а затем, как бульдозер, двигаясь над жидким цементом с деревянной планочкой, ровнял. А двери красил — ни тёмной ниточки! Белые, как снег на свету. Шурупы ввинчивал чем-то вроде маленькой дрели и весело тараторил:

— Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем… мировой пожар в крови, Господи, благослови!

Его на улице останавливали городские сантехники:

— Санька, дай червонец, ты ж не пьёшь! Что ли, спишь на деньгах?

— Да держите, отвяжитесь! — и Сашка весело подавал деньги.

Его никто никогда не обижал. Так ему ли бояться какого-то мнимого попа? Или этот румяный тип с девичьим голосом вооружён?

На следующее утро после ужасного разговора с Сашкой Антоша сел на велосипед и вновь принялся караулить у его подъезда. Только, чтобы быть неузнанным, надел кепку и чёрные очки.

Вскоре серебристая иномарка вновь подкатила к дому Сашки. А вот и сам мастер по ремонту, но почему-то не в комбинезоне, а весь в белом, ну точно такой, каким приходил венчаться, только, помимо белого пиджака и белых брюк, на нём и туфли белые. Видно, уже купил. Но зачем он так оделся, если на работу?

Низко опустив голову, Антоша погнал свой велосипед вслед за машиной, отставая ненамного, на два-три дома.

Вдруг иномарка свернула за город, вот она гонит по шоссе со скоростью как минимум девяносто… её уже почти не видно… Антоша вовсю крутит педали, да, кажется, напрасно — потерял он Сашку с попом…

Только что это? Машина выскочила вправо, на просёлочную дорогу, и над ней повисло серое облако пыли — прекрасный ориентир.

Антоша вслед за «Lexus'ом» влетел в лес и оказался в дачном посёлке.

Да, да, пацаны говорили, в сосновом бору живут в красных коттеджах большие начальники. Тут у них своё озеро с рыбой, своя охрана. Перед иномаркой поползло в сторону зелёное железо ворот, и Сашка с попом въехали во двор с фонтаном и цветочными клумбами — с велосипеда видно.

Антоша подрулил к белой бетонной стене забора со стороны соседнего строящегося дома, положил железного коня в крапиву и вскочил на гору кирпичей. Ага, Сашка и мнимый поп стоят во дворе, весело смеются, а перед ними пожилой громила в спортивном синем костюме и девица в белой майке и белой юбке, с ракеткой в руке.

Что это? Она, подпрыгивая, целует румяного верзилу, а потом и Сашку в щёку.

— Наконец-то!.. Так скучно без вас! — голос тоненький, как у маленькой девочки, глазками моргает, а сама крупная, груди — как буферы у вагона.

— Да, да, да!.. — гулко отзывается толстяк. — Особенно, конечно, без нашего красавца! Вот мужчина! — он толкает Сашку в плечо, но тот стоит, почти не качнувшись, как столб. — Нам бы таких в милицию. А что, может быть, ещё и надумаешь?

— Посмотрим, папа, — отвечает нагло девица. И поворачивается к мнимому попу: — А ты, брателло, жиденький какой! Говорю: играй со мной, — а он!.. — и Сашке: — Пойдём?

И Сашка с девицей идут на корт, Сашка вешает пиджак на столбик с крючком, и красивые молодые люди начинают перебрасываться шариком. Пожилой громила (наверное, генерал) с улыбкой смотрит на них.

— Н-на!.. — стонет, отбиваясь, девица.

— Н-на!.. — отвечает Сашка.

— Н-ня!..

— Н-н-ня-я!..

Оба хохочут, как будто в этом есть что-то смешное.

— Пап, — обращается к старику мнимый поп.

— Чего тебе? — у пожилого дядьки гаснет улыбка. — Денег не дам.

— Ну на пиво!

— Пиво расслабляет. Иди траву покоси. Спалил косилку — руками поработай.

Свесив ушастую голову, рослый сыночек уходит за коттедж.

Антоша устал стоять, вытянувшись в струнку, на кирпичах, сел подумать.

«Это что же получается? У Сашка здесь новая подруга. Никаким он ремонтом не занят, играет в теннис, веселится. А Натка его ждёт не дождётся. А мне наврал: дескать, крыша у него… а эту крышу пальцем можно проткнуть…»

Антоша вновь поднялся на кирпичную горку — генерала (или полковника) не было, а Сашка с девицей целовались.

Под ногами у Антоши поехал кирпич, и он, размахивая руками, скатился вниз, больно оцарапав через брючину колено. Подтянул брючину посмотреть — ого, кожа содрана, кровь алая течёт. Ладно, заживёт.

А вот как быть с изменником?

Утирая слёзы (больно! Да и стыдно: обманули и сестру, и его самого!), Антоша поехал обратно в город.

7.

Однако то ли его заметили, то ли такое совпадение, но вскоре Антошу догнал мотоцикл, а на нём Сашка.

Обогнал, засигналил, остановился. Спешился и Антоша.

— Это ты?! Что тут делаешь?

— Ничего,— пробурчал, плохо видя его, Антоша. И более твёрдо, зло повторил: — Еду!
— А я тут мотоцикл оставил... как закончили ремонт, выпил маленько... уговорили за руль не садиться...
— Так ты пьёшь?
— Нет. Пьяных я презираю. Пусть скорее вымрут— нам больше работы. И воздух чище. Но случилось, уговорили, поднял рюмку...— он погладил руль «Хонды».— И вот забрал. Хочешь прокатиться?
— Нет.
— Я тебе предлагаю прокатиться! Я— на велике, а ты— на мотоцикле.
— Сказал— не хочу!..

Сашка снова как-то странно, криво смотрел на Антошу.

— Милый ты пацан... ты же ничего не понимаешь... а тоже! У меня украли инструменты... кейс и ящик из гаража... это две тысячи долларов. И мне бы хана, если бы не эти люди.

Антоша, насупясь, молчал.

— Ну и этот, Валька... длинный... привязался к Натке... Знаешь, когда к кусту подойдёшь, где гнездо, птица отлетает в сторону, начинает чирикать. Мол, тут я, бери меня. Ты— к ней, а она дальше в сторону... отваживает от гнезда бандита... Вот и я... я же тебе объяснял...
— Какой он бандит?— наконец вырвалось у Антоши.— Он макарон. Против тебя.
— Он макарон, да вот дружки у него... из ментовки... страшные мужики.

Это походило на правду. Почувствовав, что Антоша поверил, Сашка повеселел, потрепал его по голове. Кепка слетела в пыль.

— Что ты как азербайджанец? Что ты надел? Давай я тебе вот эту отдам,— и напялил на Антошку свой кепарь с прозрачным козырьком.— Я и мотоцикл могу подарить. Хочешь? Прямо сейчас! Ты садишься на моего коня, я на твоего?

Антоша испугался. Такие невероятные подарки вдруг— ни к чему. Что-то тут есть страшное. Он потребует что-нибудь не говорить или что-нибудь сказать. Ой, неладно что-то, неладно в отношениях Сашки с Наткой...

— Анекдот хочешь?— засиял спутанными зубами Сашка.— Сидят два еврея в камере. Один другому: слышь, зачем тут решётки. Кто сюда полезет?
— Привет Натке передать?— угрюмо спросил Антоша.

Сашка вдруг переменился в лице.

— Нет, я позвоню сам,— и, вновь вылупив зубы, скороговоркой: — Не хотел говорить, не хотел, да тебе скажу... Она в самом деле дружит с Оскаром, сыном Куфтика, в кино ходили, люди видели.
— Этого не может быть!— затрепетал Антоша.
— Что ты понимаешь!— Сашка зло сплюнул.— Всё может быть. Может, решила мне подыграть... да увлеклась.

И что-то ещё он говорил, быстро-быстро.

На языке крутилось: а чего ж ты с девчонкой сейчас целовался?! Но, может быть, это как раз игра? По телеку показывают: целуются все подряд с кем ни попадя, да ещё секундомером время засекают. Мама права: распустились люди.

8.

Антоша приехал домой омрачённый, в тоске.
— Что с тобой?— спросила мать.— Ты хромаешь! Ой, у тебя коленка чёрная! Подрался?!
— Да ерунда, упал!.. А где Натка?
— Быстро в ванную, промыть и йодом!.. Она пошла звонить Саше.

Натка вернулась, улыбается. Она сегодня очень красивая, только губы лишнего бордовой краской намазала. И скулы— розовой пудрой.

— Наташа, с тобой можно поговорить?
— Говори,— засмеялась Натка.

Они сидели в детской комнате. Сестра вытянула из угла любимого тряпичного жёлтого льва за лапу и положила на колени.

— Ну? Чего молчишь? Скажи «мяу».
— Брось со мной как с маленьким. Я всё знаю. Ты сама-то знаешь, что всё это игра... поп... и прочее?
— Конечно,— она вскинула огромные глаза юной женщины и снисходительно улыбнулась братишке.— Всё хорошо. Всё о'кей.
— О'кей?
— О'кей.
— А тебе известно, что «кей»— это «ключ»? И что за дверью может ничего не оказаться, как в какой-то, не помню, сказке? Дверь нарисована.
— Нет,— Натка вскочила, швырнула в угол льва и, схватив братишку за уши, поцеловала в губы.— Нет!

Антоша смятенно сник.

— А что дальше будет?
— И дальше будет всё хорошо.

Она улыбалась во все зубы. Пошла помогать матери готовить ужин.

Как же так?! И ночью не плакала— Антоша подолгу притворялся спящим, следил. Не плакала. С улыбкой спала.

Только через пару дней он увидел: сестра стоит на чужой улице, в стеклянной будке телефона-автомата, прижала чёрную трубку к уху... и всё лицо у неё блестит, мокрое от слёз.

Вот она медленно повесила трубку, обтёрла платочком щёки и вышла к прохожим, показывая зубы всему миру.

Всё хорошо. Жизнь прекрасна.

(1989–2006)

Алексей Аникин

Мурлыкая песню зверей

Алёша Аникин, выпускник Красноярского литературного лицея, погиб на «Столбах», сорвавшись со скалы, осенью 2006 года, не дожив около трёх месяцев до своих семнадцати. С самого начала, будучи ещё первоклассником, он сочинял удивительные стихи и трогательные, мудрые особой младенческой мудростью маленькие рассказы. Стихи, проза, а позднее и поэтические переводы Алексея Аникина не раз обретали благодарных читателей на страницах журнала «День и ночь»—в нашей «Синей тетради». Вспоминая лучшие публикации в год тридцатилетия журнала, отдаём дань памяти юному литератору, ушедшему так рано и оставившему в сердцах всех, кто его знал, светлый луч надежды и радости.

Редакция «ДиН»

Оранжевый

Я хотел бы проснуться и увидеть оранжевую лампочку, есть из оранжевой тарелки и смотреть в яркие весенние глаза оранжевому солнышку. Нет, я не сумасшедший. Я просто такой родился… оранжевый.

Алёша и лошади

Лошадь

У лошадей были не очень похожие на них предки. Всего их восемь. Тарпан—один из них. Он больше всего похож на современную лошадь.

Раньше, до нашей эры, лошади водились в лесах. Они жили большими табунами. Современные лошади живут в деревне или в городе, а в природе встречаются редко.

Лошадь—очень сильное животное. У лошади три вида бега: галоп, рысь и шаг. Мне нравятся серые в яблоках кони, они красивые, с лёгким бегом.

У лошадей есть враги. Это волки, лисы, шакалы. Если враг один, то лошадь сможет защититься от него не только бегом, но и задними копытами. У лошади очень сильные ноги.

Есть у лошади и друг. Это человек. Он использует лошадь для верховой езды, ухаживает за ней, разводит на конюшнях. Лошадь любит есть овёс и сено. За один раз она выпивает четыре ведра воды. Больше всего лошади любят сырой овёс, перемешанный с отрубями,—кашу для лошадей. Всё это я узнал от конюхов, когда провёл на конюшне один из выходных дней. Правда, я заметил, что маленькие жеребята больше любят молоко кобылицы, но конюхи приучают их есть лошадиную кашу и овёс.

Грета

Грета—это не очень старая лошадь. Она добрая, спокойная и послушная. У неё было много жеребят.

Обычно с Гретой занимается младшая группа. Когда я был маленький, она меня возила часто, а я из дома приносил ей морковку. Теперь я занимаюсь в средней группе, и мы общаемся реже. Но во вторник, когда я пришёл на конюшню, мне предложили оседлать Грету и поездить на моей давнишней знакомой. Я взял уздечку с седлом и пошёл к деннику. Но лошади там не было. Тогда я положил седло на ванну с овсом, взял с собой уздечку и вышел в леваду. Грета с жеребёнком стояли на холме, который недавно воздвигнул трактор. Я положил узду на борт у края левады и подошёл к лошади. Был очень сильный ветер. Я кое-как ухватил Грету за чёлку и подвёл к бортику левады. Я накинул на неё узду, подвёл к её деннику и почистил. Накинул на её хребет вальтрап и седло. Я хотел затянуть подпругу и вдруг почувствовал, что мои ноги, обутые в кирзовые сапоги, стали мокрые. Я обернулся. Жеребёнок стоял ко мне задом с поднятым хвостом, из-под которого бежала вода.

Долго надо мной смеялся мой друг Димка, но потом похожая история случилась и с ним. Я не смеялся, потому что знал, как это неприятно.

На занятиях мы с Гретой делали «сбор», «крестовые шаги», «вольты», «серпантин» и разные другие вещи. Грета удивлённо и радостно поглядывала на меня. И это понятно, так как в младшей группе таких упражнений нет.

Душик

Душик—белый мохнатый пони с длинной вьющейся гривой и таким же хвостом. Он очень своенравный и упорный, ему девять лет с половиной.

Однажды, когда его гоняли на корде, Наташка села на него, проехала два круга, а на третий упала и сказала: «Дурень ты мохнатый!» И Душик зажал её между ног своих и начал кусать Наташу. Душика отбили бичом.

Жеребята

Однажды, я переделал на конюшне все свои дела и решил отдохнуть. Я вышел в леваду, уселся на опилки и зажмурил глаза от яркого солнца. Я просидел таким образом около минуты.

Я открыл глаза и увидел прямо перед собой, и сзади, и сбоку, то есть вокруг себя, жеребят. Они нюхали меня, рыли около меня землю и валялись в опилках от радости и любопытства. Наверное, они думали, что я инопланетный гость.

Я тихо встал и быстро вышмыгнул из левады, потому что жеребята хоть и маленькие, да удаленькие: в один миг могут затоптать кого угодно.

Пена

Пена—лошадь очень добрая. Она любит детей. Это моя любимая лошадка, я всегда делаю что-нибудь для неё. Вчера, например, я принёс маленькие бутылочки и соски для её жеребёнка, а для самой Пены—морковку.

Каждый раз, когда я прихожу на конюшню, я стараюсь почистить её денник, дать ей сена и расправить гриву. Иногда я приношу ленточки и резиночки и плету ей гриву и хвост в косы. Но так было не всегда, потому что характер у Пены непростой. Когда шесть лет назад я впервые пришёл на конюшню, Пена повернулась ко мне задом и не давала зайти к ней в денник. А теперь она меня любит не только за доброту и уменье, но и за вежливость.

Вы спросите, как она выглядит? Пена сама рыжая-рыжая, грива вьётся, хвост чуть-чуть не достаёт до земли, белые чулочки на ножках, а на голове звезда с широкой проточкой, захватывающей правую ноздрю. Вот такая у нас Пена!

Кобылка

Я уже говорил в прошлом рассказе о Пене. У неё был рак матки, и жеребята рождались не сильные, а слабые и потом умирали. Но вот недавно у Пены родился сильный и красивый жеребёнок.

Когда я зашёл в Пенин денник, то новорождённый закряхтел, попытался заржать и подняться на ножки. Он взглянул на мать и немножко подождал, пока она одобрит его действия. И Пена одобрила—кивнула головой. Он подошёл ко мне, протянул голову на сильной шее и понюхал меня. Потом он развернулся к маме, то есть к Пене, и начал пить молоко. И вот сейчас-то я заметил, что жеребёнок—кобылка.

Мадера

Мадера—это рыжая пони с длинной чёлкой, но с короткой гривой. Она очень добрая и трудолюбивая. Когда я прихожу на конюшню и подхожу к Пене, то заглядываю и к Мадере.

Мадере мы придумали второе имя—Бабулька, так как от неё вышло семеро детей, а от её детей—ещё потомки.

Когда Мадера в смене, то на ней можно ездить без хлыста, потому что она знает, что требуется, и возит ребят спокойно.

● ● ●

Ласточка, белый снежок,
Ястреб иль ветерок—
В воздухе плавно парят,
Падают прямо на парад,
А на параде—снег,
Сто там седых человек…

(8 лет)

● ● ●

Чёрная ночь.
Мать кладёт свою дочь,
мурлыкает песню зверей
и думает о ней,
а звери хохочут, смеются…

Осень на «Столбах»

Лес и скалы…
Как прекрасно!
Небо, солнце, ручеёк…
На секунды мне неясно:
Кто же листья уволок?
Вспомнил!
Осень наступила,
Вся листва траву покрыла…

Город мокнет

Город мокнет, дождь идёт.
Разбегается народ:
Кто под крышу, под навес,
Кто под ряслый куст залез.
Кто в ветровке дождь встречает,
Кто с зонтом бежит бегом…
Ну а я, не замечая,
Просто топаю пешком.

Эльдар Ахадов

Сказания о России

Русский мост

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.
Николай Рубцов

Минувших лет правдивое сказанье,
Забытых слов нетленное дыханье—
Таится в книгах летописный век.
И, зачитавшись древнею былиной,
Вникает в строки повести старинной
Всяк чтящий предков добрый человек…

Из-под земли задумчивой и тёмной
Восходит шар малиновый, огромный.
Плывёт туман. Струятся облака.
Шумит листва. Колышутся дубравы.
Блестят росой осыпанные травы.
И, полыхая, движется река…

По ней в ладьях купцы спешат честны́е
Скорей пристать под стены крепостные—
Сполна тревог досталось им в пути,
Но здесь лихие не смутят их встречи…
Чу!.. Созывает колокол на вече.
Явились все, кто только мог идти…

Рек Гостомысл, отечества радетель:
«Защитник нужен нам и благодетель,
От бед премногих мир он оградит…
Нам ныне Рюрик, доблестью известный,
Готов служить своей дружиной честной,
В пределы наши с Русью он спешит…»

И лишь умолк премудрый на мгновенье—
Явилось вдруг небесное знаменье:
Вознёсся мост в нетленной синеве,
Под ним кипело огненное море,
Но длился он в неистовом просторе—
Один подобный прочной тетиве.

Вот по нему, смотрите, всадник мчится:
И конь под ним стремительный, как птица,
И сам он дерзок и неукротим…
Что значит он? Куда свой путь он правит?
Над чем тот мост? Какой народ он славит?
Не я скажу… Мы вместе поглядим…

Куда стремится всадник наш—понятно:
Туда, где Русь светла и необъятна,
Где радуга восходит над землёй,
Где ангелы поют над куполами:
«Войдите в храм и оставайтесь в храме»,—
А над водою реет дух святой.

Плывут над Русью облака седые,
Меняясь, дуют ветры молодые,
Искрится в небе колокольный звон…
А по мосту всё так же всадник скачет:
Сияет день, иль дождь полночный плачет,—
Но избран путь и не прервётся он.

Как по морям корабль идёт летучий,
Как месяц ясный движется за тучей,
Как гул восходит из земных глубин,—
Так о России крепнет всюду слава,
И верит в Бога русского держава,
И дух её по-прежнему един.

Небесный витязь скачет на просторе.
Шумит под ним бушующее море,
Грохочет буря, вьётся вороньё…
Но нет к мосту дороги силе чёрной:
Хранят Россию Спас нерукотворный
И Божья Мать, заступница её…

Сказание о Енисейске

На белом свете много славных мест,
Их посетить хотелось бы любому,
Но, собираясь в радостный отъезд,
Заглянем в душу городу родному.

В чужих краях тоскуют журавли,
В стране чужой свою мы вспоминаем:
Наш Енисейск—любимый край земли,
Сомкнувшийся с реки великой краем.

Что помним мы о городе своём?
Что о реке великой нам известно?
Среди тайги сибирской мы живём,
Но всё ль о ней мы знаем, если честно?

Пока под солнцем августовский день
Беспечно дремлет, словно кот-мурлыка,
Войди в лесную благостную тень,
Туда, где зреет алая брусника,

Где от морошки светятся луга,
Где клюква всюду на болотных кочках…
Коврами ягод щедрая тайга
Зовёт к себе сейчас же и бессрочно.

Среди берёзок, сосен и осин,
Высоких елей, лиственниц и кедров
У многих путь по осени один—
К местам грибным, бесчисленным и щедрым.

Здесь ждут тебя грибы-боровики,
Ещё—маслята, рыжики, опята,
Лисички, грузди и моховики…
Их столько здесь, что хватит всем, ребята!

К зиме увянут травы и цветы,
Но птицы никогда не умолкают:
Кедровки, свиристели, и клесты,
И снегири—звенят, поют, летают!

Весной проснётся увалень-медведь,
Бурундуки припасами займутся,
И белочки, разыскивая снедь,
На солнышке весеннем встрепенутся.

Таёжный мир—он звуками объят,
Здесь гнёзда вьют, пасутся, роют норы,
Здесь в соснах ветры вольные шумят,
И не смолкают птичьи разговоры!

Куда ведут звериные следы?
Над чем кружат крикливые халеи?
Где край земли касается воды—
Там речь пойдёт о нашем Енисее…

В путь от Саян до океана льда
Меж Западной Сибирью и Восточной
Спешит его волшебная вода
И шумным днём, и в тихий час полночный.

Какие тайны бег её хранит
За бездной лет, спиралью отзвеневшей,
Где жил когда-то древний аммонит,
Музейный экспонат окаменевший?

Был океан, затем возникла твердь:
Леса, холмы, болота, степи, горы,
Восторг весны и осень, жизнь и смерть,
И снова жизнь—во все её просторы!

Течёт река, пасутся в ней стада
Ленков, тайменей, тугунов, стерлядки…
Вот хариус проворный, как всегда,
От щуки удирает без оглядки!

Вот рыба-царь—астафьевский осётр:
На самом дне он шевелит усами,
Своим речным владениям осмотр,
Как добрый доктор, проводя часами.

Вот на илимках кеты по реке,
Всем племенем собравшись утром рано,
Плывут, как будто слышат вдалеке
Призывный бубен мудрого шамана.

Звенит мошки назойливая взвесь,
Плывущим в лодках лица обжигая,
Но кетский бог, хозяин неба Есь,
Всех милует, ветрами обдувая.

В зеленоватой глубине веков,
Где кеты назывались остяками,
Мелькают очертанья челноков
Над рыбьими речными косяками.

Тунгусом прежде звавшийся эвенк,
Кочуя по волнам на берестянке,
С детишками живой рекой легенд
Делился вечерами на стоянке.

Где миру реки Таз и Енисей
Открыл поморов беспокойный гений,
Возникли стены первых мангазей—
Российских приполярных поселений.

Тогда спешить был дух людской охоч
За горностаем, соболем, куницей…
Казачий струг, поморский крепкий коч
Служили славе многих экспедиций…

Их трое там, на площади, сейчас,
Глядящих в даль речную недвижимо:
Казачий сотник прозвищем Черкас,
Пётр Албычев—боярский сын с Пелыма—

И странник Божий инок Тимофей.
Любой из них умом и сердцем зорок.
Здесь, на холме, где виден Енисей,
Задумали они воздвигнуть город.

И он возник. Столетия прошли.
И в нашем веке памятником стали
Вот эти трое жителей Земли,
Которые сей город основали.

Плывёт по небу колокольный звон,
Гостям желанным пушки салютуют,
К причалам корабли со всех сторон
Носы, кормы и прочее швартуют.

О, сколько здесь перебывало их,
Судов гребных и парусных,—без счёта,
Степенных барж, буксиров удалых,
Всего, что есть в рядах речного флота!

Давал гудки колёсный пароход,
Другой ему ответствовал далече,
И грузчики мелькали взад-вперёд—
Неутомимы и широкоплечи.

Здесь по речным притокам кораблям
Творцы Обь-Енисейского канала
Путь водный проложить сумели там,
Где прежде жизнь путей таких не знала.

Со всех концов кормилицы-Земли
Сюда китайцы, немцы, англичане
Свои товары к ярмарке везли
И барыши большие выручали.

Пушнину, осетрину, чесучу,
Колокола, шелка и самовары,
Железо, хлеб, посуду и парчу
Хранили трёхэтажные амбары.

Здесь в августе собравшийся народ
Рядился, выторговывая цену,
Купцы преумножали оборот
По сбыту и товарному обмену.

С намоленных святителями мест,
С сияющих церковных колоколен
Струится звон малиновый окрест—
Над дальним лесом, ярмаркой и полем.

Стоит собор над берегом речным—
Торжественный, святой, Богоявленский,
И бездны звёзд, сверкающих над ним,
Собою освещают Храм Вселенский.

Всего одна в глухие времена
Успенская здесь не закрылась церковь,
За веру пострадавших имена
В молитвах поминальных не померкнут…

Вот Троицкой Живоначальной звон,
Вот слышен монастырь Преображенский,
Над Иверской звенящий небосклон
Подхватывает храм Богоявленский..

О мир души, пусть дорог ты не всем,
Но кто коснулся—тот вернётся снова
К Захарьевской Надвратной, а затем
И к церкви Воскресения Христова…

А вот стоит прекрасная мечеть,
И муэдзин взывает с минарета:
Аллах велик! Об этом вечно петь
Готов он сверху на четыре света.

Звонят колокола во все концы
От берегов до келий монастырских…
Работают с металлом кузнецы,
Добытым из окрестных руд сибирских.

То гром, то треск над кузнями стоит,
Когда металл из огненного горна
Под молотом пылает и звенит—
И в горне раскаляется повторно.

Остроги, и отряды казаков,
И рыбаки, и местные народы—
Все признают, что им без кузнецов
Исполнить сложно нужные работы.

Всё так бы продолжалось чередом,
Но жизнь сошла с привычного порядка,
Когда почти что в каждый двор и дом
Явилась «золотая лихорадка»!

Участками на сотни вёрст тайги
Испещрена заявочная карта!
Весна. Ручьи. И тут же вслед—шаги
Искателей старательского фарта.

В речной воде всё ярче и видней
Блестят золотоносные породы,
Блестят, как память о делах людей,
До нас с тобой дошедшая сквозь годы.

Даниловым, Востротиным фартит,
Баландиным опять везёт, однако!
Но был не этим каждый знаменит,
А тем, что тратил для людского блага.

Музей, театр, первый пароход,
Гимназия, больница и аптека…
Купцами время двигалось вперёд—
Во имя и на благо человека!

Прекрасна ты, сибирская земля,
Как вешняя заря над Енисеем!
Здесь Аввакум спускался с корабля,
А Беринг был задумчив и рассеян,

Вслед за Дежнёвым он войдёт в пролив,
Откроет миру Берингово море…
И Норденшельд, других опередив,
Возникнет первым на его просторе.

Натуралист-учёный Мессершмидт,
Начальник экспедиции Лопатин—
Открытиями каждый знаменит,
И подвиг жизни каждого понятен.

На «Омуле»—российском корабле—
Известнейший полярник Фритьоф Нансен
Сюда в прозрачном жёлтом сентябре
Однажды из Норвегии добрался.

Затем, с уходом царственных имён,
Настали времена иного рода—
С багрянцем государственных знамён
И пятилеткой за четыре года.

Полз по реке на Север лесосплав,
Плоты сплошным тянулись караваном,
Пока не грянет крепкий ледостав,
Всё на реке служило светлым планам…

Гордилась новой баржей судоверфь,
Страна мечтала, крепла и трудилась,
Но вдруг война ногой открыла дверь
И в дом вошла. И время изменилось.

«Всё для Победы!»—помнит Енисей,
Её он приближал трудом усердно.
С войны вернулись далеко не все:
Навеки имя каждого бессмертно.

Святое место славится людьми,
И Енисейск нам их делами дорог,
Он каждый день купается в любви
Всех, кто своим считает этот город.

На их любви к тайге родной, к реке,
К июньским грозам и январским звёздам,
Как на душевной песне вдалеке,—
Здесь хлеб замешан и настоян воздух.

К примеру, много ль в мире городов,
В которых председатель исполкома
Отдал однажды так же, как Шашков,
Весь исполком под здание роддома?

И протоиерей Геннадий Фаст,
И альпинист Владимир Каратаев—
Они меж тех, кто стал уже сейчас
Лицом и честью для родного края!

Проходят годы, каждый—в свой черёд,
За веком век меняется степенно,
Но снова смена юная растёт
Влюблённых в край. И это—неизменно.

Спит над рекой сибирская земля,
Как парусник, окутанный туманом:
Лишь купола на мачтах корабля
Сияют над белёсым океаном.

Встаёт заря над дивным кораблём—
Над городом и колокольным звоном…
Запомни быль о городе родном
И передай, пожалуйста, знакомым.

Николай Ерёмин

Не бывает случайных друзей

Николаю Николаевичу Ерёмину, давнему другу и автору нашего журнала, в июле 2023 года исполнилось 80 лет. Редакция «ДиН» желает юбиляру долгих плодотворных лет жизни и творчества, негасающего оптимизма и благодарных читателей!

• • •

Хорошо, что тихо между нами
В сновиденьях—эхо или зов—
Музыка, рождённая словами,
Продолжает жить,—уже без слов…

• • •

В ожидании января
Я ловлю, точно маг, каждый миг,
Вдохновение благодаря
И страницы прочитанных книг…
Ах, и счастлив, что снова пою,
Добавляя страницу свою…

• • •

Не бывает случайных гостей.
Не бывает случайных друзей.
Не бывает случайных врагов
На просторах родных берегов…
Не случайно я понял нечаянно,
Что причалил сюда не случайно.

• • •

О, полёт меж ночных светил
В отраженьях земных зеркал…
Суд людей меня осудил—
Божий суд меня оправдал…

Сила слова

Он мне зубы заговаривал
Так, что боль—скажи на милость!—
Хоть ему совсем не верил я,—
Постепенно прекратилась…

Императивный романс

Как хорошо-то! Вот ведь как бывает…
Поэзия—у жизни на краю—
В душе моей живёт, не убывает…
И я, как прежде, вместе с ней пою…
Поскольку от рождения—поэт,
Которому важней всего дуэт…

Читай стихи! Играй на фортепьяно!
Танцуй и пой, ни слова не таи!

Зови непоправимо и упрямо—
Мне по душе фантазии твои!

Вперёд! Сквозь вдохновенные года…
Откуда не вернуться никогда…

Николай Тимченко

Легенды Красноярья

Алтайская быль

В очень давние времена это было. Да и было ли? Прямых доказательств не сохранилось, но есть легенда. О ней-то я и поведаю вам. В те времена люди ещё учились ремёслам, не умели добывать огонь и готовить на нём пищу. Тогда и спустились с небес на землю Белые Боги. Добрыми они были — учили всему людей.

Люди на доброту тоже добром отвечали, а в общении с богами вели себя как с равными себе. И было это взаимно, оттого брали Белые Боги в жёны земных женщин. Все радовались, когда рождались дети. А как не радоваться? Дети росли здоровыми — любая болезнь миновала их. Становясь взрослыми, вырастали до трёх метров, сильными, выносливыми и смышлёными. Почти как Боги, только бессмертия не унаследовали от небесных отцов.

Рослых сынов божеств люди называли великанами. Неизвестно, как долго длилась мирная пора заимствования необходимых людям знаний и неведомых ранее умений. Вдруг, нежданно-негаданно даже для Белых Богов, в край мира и созидания спустились Тёмные Боги. Это были носители зла, неискренности, лицемерия, предательства и ещё многих пороков, которые можно встретить у людей в наши дни.

Тёмные Боги спустились, чтобы вершить беззаконие и вселять в умы юного ещё человечества низменные качества: трусость, корысть, ложь, лень, жадность, зависть, жестокость, эгоизм, тщеславие… И это далеко не всё, что, как ржавчина, разъедает душу человека, превращает его в безнравственное, алчное существо. Белые Боги, учившие людей добру, справедливости, коллективизму — всему, что должно противостоять основам тёмных сил, оградили людей от носителей зла и невежества, вступили в смертельную схватку с Тёмными Богами.

Вам, наверное, приходилось видеть, как дерутся люди. Они ударяют друг друга, кто-то при этом падает, потом встаёт и наносит свои удары. Драка — это жестокое действо озлобленных существ, нередко теряющих человеческие качества и облик. Это неприятное зрелище, которое хочется немедленно прекратить. Но как, если не участием в этой самой драке?

Учить людей хорошим манерам в это время бесполезно, уговоры прекратить проявления звериных инстинктов тоже безуспешны. Как же прекратить драку? Растащить дерущихся, если их мало, а окружающих много? Крикнуть: «Разбегайтесь, полиция рядом»? Выстрелить вверх из ружья, если оно есть? Среди людей наступает момент, когда силы дерущихся кончаются, их не остаётся для продолжения драки. А каково, если в беспощадную схватку вступили бессмертные и всесильные не устающие Боги? Я не представляю исход такого сражения.

Но вернёмся к легенде. Белых Богов стали теснить. Они приказали всем уходить под землю. Люди послушно спрятались в пещеры, что по соседству от места сражения, а старший из божественных сыновей, Алтай, остался защищать те пещеры.

Остальные великаны с их матерями и сёстрами выполнили приказ по-своему. Трое из божественных сыновей приподняли огромную скалу так, что под ней образовалось пространство. Подставив под скалу свои сильные плечи, великаны удерживали часть горы над скалой у входа в образовавшуюся пещеру. Матери и сёстры вошли под глыбу.

Когда другие братья-великаны подняли на свои плечи скалу в глубине пещеры и все прошли дальше, первые божественные сыновья сбросили с себя скалу. Гора с грохотом обрушилась, закрыв вход в рукотворную пещеру. Шабала — так назвали люди замурованный вход, в котором исчезли великаны. Долго ещё слышался удаляющийся подземный грохот.

Белые Боги, убедившись, что сыновья неуязвимы, стали действовать решительнее. Молнии, порождаемые их гневом, как частые струи дождя, летели в неприятелей. Некоторые из тех молний рикошетили от противников, какие-то, ударяясь в плоть Тёмных Богов, изгибались причудливыми зигзагами. Другие — пронзали неприятелей, обжигая их, ненадолго ослабляя.

Грохот ли потревоженных гор или усилившийся натиск Белых Богов, но что-то заставило Тёмных Богов отступить, а потом и вовсе покинуть землю. Белые Боги пустились преследовать противника в небесах, дав Алтаю наказ — хранить всё земное.

Лишь спустя время узнали люди, что и Тёмные Боги исчезли не все. Оставили они Лиходея творить лихие дела, делать людям пакости и мерзости. Именно по проделкам и прознали о его существовании.

Небесные отцы наделили сына божественной властью и мудростью, но не бессмертием. Прошли годы, а быть может, и столетия столетий, но пришла пора Алтаю покинуть наш мир. Обессиленный, он лёг на самую высокую гору, чтобы перед смертью посмотреть на мир с высоты. С той поры горы называют Алтайскими, по имени сына Белых Богов, не давших Тёмным Богам всецело властвовать над человечеством.

Позже люди узнали, что в горном Тибете есть буддийская страна Шамбала. С созвучием названий имеем мы дело, или великаны прошли под горами от Алтая до Тибета и обосновались там,— остаётся только гадать. Говорят, что иногда над Тибетом появляется белое свечение, теряющееся высоко в небесах. Предполагают, что это Белые Боги спускаются навестить своих потомков.

А как вы думаете, сколько лет может быть этой легенде? Может оказаться, что и десяти тысяч лет не хватит для отсчёта хождения её по свету. Знаю точно, что ей больше пяти тысячелетий. Иначе речь шла бы не о множестве Белых и Тёмных Богов, а об одном—Будде, например.

Хождение за судьбой

В стародавние времена жили-были на земле… Похоже начало на сказку? Нет, дедом и бабкой они стали потом, а сначала были молодыми мужем и женой. Вместе радовались маленьким совместным успехам, вместе терпеливо переживали тяготы да невзгоды. Десяток лет во взаимной помощи прожили, да вот незадача—детей у них на ту пору не было.

Чтобы решать, как им дальше жить, пошли к старцу — всезнающему ведуну Алтаю, хранителю всего живого на земле и под землёй. Старец внимательно выслушал супругов и поведал тайну их будущего:

— Будет у вас два сына, которых назовёте вы Саянами. Будут они расти на радость вам да на зависть другим. Как пора подойдёт, повзрослеют отроки ваши, так пошлите их ко мне, я им дальнейшую судьбу поведаю.

Возвратились муж и жена на место, застолблённое ими перед уходом к ведуну. Поправили жильё в ущелье, обветшавшее за время странствий, стали обживаться. В гранитной скале, которую Первым столбом назвали, пещеру сделали. Звуки в ней усиливались так, будто колокол в набат бил.

«Никто неуслышанным не подберётся, Колокол непременно оповестит нас о пришельцах. Пусть воюют соседи между собой, не оповещённые о внезапном нападении»,—думали знакомые нам муж и жена.

На вершине Второго столба округлый камень Яйцо стражем поставили.

«Сорвётся с вершины камень, загремит, ударяясь о скальные выступы, громом отзовётся в поднебесье, разбудит нас в любую пору крепкого сна»,—решили тогда уверенные в своей безопасности хозяева.

Вскоре и сыновья родились, ровно по заверению старца-ведуна. Когда родился старший сын, по ущелью пролетал западный ветер. Заглянул на ходу в людское жилище. Отозвалось ущелье:

— Западный Саян предстал свету белому. Сильным вырастет.

Услышали эти слова родители и назвали сына по сказанному ведуном и ущельем. Когда второй сын родился, мимо жилища пролетал восточный ветер. Потому-то нарекли младшенького сыночка Восточным Саяном.

В трудах и заботах, в радости и печали незаметно летит время. Подошла пора—пошли сыновья к старику Алтаю. Самим интересно было, какую правду ведун про их судьбы расскажет. Перед уходом отец с матерью пути-дороги рассказали, чтобы не плутали повзрослевшие дети, не теряли время на бесполезные хождения. Верного пса богатыри в дальний путь взяли.

Там, где пошли братья от отеческой обители, за ними каменная стена выросла из-под земли. Люди её Китайской Стенкой назвали. Долог ли, короток путь был, но предстали богатыри Саяны перед ликом ведуна Алтая. Внимательно осмотрел старец братьев, но не открылось ему будущее юношей. Неведомые тёмные силы мешали ясновидящему старцу сосредоточиться. Не исключено, что это чары Лиходея затмили ясновидение ведуна.

Послал Алтай братьев к убелённому сединой повелителю и стражу жизни морской—старику Байкалу. Не любопытством полны, а выполняя родительский наказ—узнать о судьбах своих, пошли Саяны к Байкалу. Непрост дальний неизвестный путь. Притомился старший брат, прилёг. Договорились братья: если случится что, разбудит младший старшего. Быстро сморил крепкий богатырский сон Западного Саяна. И здесь не обошлось без Лиходеевых чар. А Восточный Саян с собакой дальше пошёл.

Сколько прошёл он, то неведомо, только и на него дрёма навалилась. И не простая дрёма, а силы богатырские отнимающая. Слабеющей рукой взял он огромный камень и бросил, чтобы старшего брата разбудить, о неведомых тёмных силах сообщить. Близко от брата упал камень. Наполовину в землю ушёл. Камень тот пиком Грандиозным зовётся, над всеми вершинами возвышается. Содрогнулась земля, гром от падения по округе разлетелся, а брат спит непробудным сном.

Крепки тёмные силы—старшего брата одолели, и младшему беда грозит. Догадался Восточный Саян, что не разбудил брата. Взял несколько стрел, натянул тетиву лука и пустил стрелы к родному дому. Хотел Яйцо со Второго столба сбить, чтобы загромыхало оно и оповестило о беде родителей. Немного отклонились в полёте стрелы. Вошли в землю до самого оперения. Те скалы-стрелы люди теперь Перьями называют.

Понял младший из Саян, что и стрелы не помогли. Послал он верного пса, чтобы тот из родных мест людей на помощь привёл. Помчался пёс кратчайшими путями. Горы преодолевал, реки переплывал, близок дом, но тёмные силы, чтобы помешать быстрому собачьему бегу, наперерез стаю волков отправили. Долго отбивался пёс, да только неравным тот бой был. Пёс, истерзанный в драке с волками, понял: не отбиться ему от дикой стаи. Вскочил верный друг и слуга Саян на высокий камень, поднял морду и жалобно завыл.

Разнёсся вой до поднебесья, но не услышали люди. Так и окаменел пёс с поднятой к небу головой. В морозные ветреные дни и теперь прилетают в те места отзвуки пёсьего воя, но люди думают, что это голодные волки среди тайги воют. Это теперь слышится вой, а тогда некому услышать было. Тёмные силы на всё живое мор навели. И состарившиеся к тому времени родители, ставшие дедом и бабкой, и соседи их, и звери, и птицы—все окаменели.

Стоят теперь каменные великаны с образами людей, птиц и зверей, напоминая о далёкой жестокой поре. Дед с Бабкой так и стоят в ожидании сыновей. Дед смотрит на запад, откуда не смог прийти старший, а Бабка—на восток, где уснул вечным сном её младший сын, Восточный Саян. В последние мгновения смыкающимися глазами видел он воды Байкала. Немного не дошёл, но не нашлось сил идти или ползти дальше.

Вот такой оказалась судьба братьев. Но и это ещё не конец древней были. Узнал старик Байкал о ходоках к нему, а узнав, обессмертил братьев. Но не в человеческом обличии знаем мы их теперь. Горами стали богатыри Саяны.

Семейство Тубы

Много ль, мало ли времени минуло после тех событий, но узнали люди, что у Лиходея есть взрослый сын. Звался он Тофаларом. Сын впитал в себя те же качества, которыми обладал отец. Но одно он не унаследовал, а перенять это было невозможно: как и сыновья Белых Богов, он родился смертным. Об этой малости отец умолчал, скрыл от сына.

И вот настала пора предоставления Тофалару полной самостоятельности. Отец решил оставить сына поближе к себе—в горах Восточного Саяна. Довольный свершённым, Лиходей поехал в собственные владения. Не сдержался злодей Лиходей от причинения зла там, докуда раньше добирался редко.

Тиберкуль издали увидел спускающегося с гор всадника. Весь в чёрном и на чёрной лошади, приближающийся со стороны безлюдья, он настороживал хозяина семейства. Крикнул старший брат младшего на помощь. Кинзелюк, хоть и далеко в горах был, услышал зов, но не смог прийти на помощь. Сам отбивался от кровожадного Тофалара, решившего немедля убрать соперника.

Времена были неспокойные. Рядом с сохой и бороной всегда ждали свой черёд копьё, меч, палица, щит, шлем и кольчуга. Хлебопашец крикнул жене Тубе, чтобы укрыла детей в укромном месте, а сам перепряг тягловую лошадь Рыжуху в ездовую. Снарядился для встречи незваного гостя.

Не знал богатырь о силе и коварстве Лиходея. Но и знал бы—всё равно принял бы бой за жену свою и детей малых. Лиходей—в доспехах из воронёной стали, но и Тиберкуль не лыком шит. Сближались и вздыбливались лошади.

Крепки щиты и кольчуги, не выдержали копья. Сломав их в верховом, конном бою, оба сошлись пешими. Долгим и тяжёлым был бой Тиберкуля с бессмертным носителем зла, коварства и всяких других непотребных людям качеств. На месте того боя ногами выбили землю на несколько саженей вглубь и не на одну версту в разные стороны. Лишь изредка возвышались каменные глыбы, на которые не ступала нога ратников. Лиходей был уверен, что победит мужика, но не удержался и применил коварство. Навёл чары, а с ними с каждым ударом меча или палицы часть богатырской силы переходила к нему, Лиходею.

Хорошо укрыла мать малолетних сынишек. Вот только удержать непосед в укромном месте Туба не смогла. Выскочили пострелята из укрытия в самое неподходящее время. Попыталась мать остановить несмышлёнышей, но и сама попалась на глаза Тёмному Богу. Привязал злодей к седлу Тубу, связанную по рукам и ногам. Детей же, как котят, в свой кожаный мешок поскидал и рядом к седлу тот мешок прикрепил.

Трудно было матери на ходу с тряской и качкой дотянуться до мешка с притихшими в нём детьми. Но не только дотянулась, а ещё и умудрилась зубами прогрызть в нём отверстие. Не для света проделала его, а чтобы не задохнулись малыши. Тогда же и взмолилась Туба:
— Устала я висеть, связанная. Руки, ноги затекли затянувшимися узлами безжалостными. Развяжи меня, непобедимый витязь, да посади на лошадиный круп. А я тебе петь буду, чтобы дальний путь скоротать.

«Пусть слух услаждает, поёт. Всё лучше, чем её причитания слушать»,—решил злодей, поверив, что пленница его за славного витязя приняла.

Развязал и усадил, как просила женщина. И полились песнопения. Подобно таёжному ручейку в густой и высокой траве, тихо переливались слова. Их сменяли те, что негромко звенят от лёгкой струи, перекатывающейся по мелким камушкам. Были в том песнопении и звуки, похожие на шелест речной волны, набегающей на песчаный берег. Не до гимнов было несчастной матери. Не звучали звучные песни речных порогов, шивер и перекатов. А негромкие мелодичные песнопения расслабили коварного пленителя, усыпили сначала его бдительность, а потом и самого злодея.

Попыталась Туба мешок развязать, чтобы детей из плена вызволить. Мудрёным узлом завязал Лиходей походную темницу с детьми в ней. Чем дольше пыталась мать развязывать узел, тем сильнее он затягивался. Нельзя было медлить, злодей мог проснуться в любой миг. Мать шепнула мальчикам:

— Выбирайтесь из своей темницы, да только без шума и спешки. Идите всегда только вниз. Там я вас и встречу.

Кинзелюк был силён, несмотря на молодость. К тому же был он красив и строен. Ещё до появления в горах Тофалара приметил юный богатырь двух сестриц красоты неописуемой — Бирюсу и Чуну. Да только незадача случилась: не знал добрый молодец, к какой из них подойти, на ком остановить свой выбор. Обе так прекрасны, что непрост был выбор.

Зато Тофалар, сын басурмана и сам басурман, с выбором не заморачивался. По басурманским традициям он мог иметь и двух жён, и трёх, и даже больше. Посадил он красавиц в охотничьих зимовьях. Каждой строго-настрого наказал ждать его для проявления ласки да преданности. Тогда же решил убрать с пути своего Кинзелюка.

Бой между ними произошёл на краю обрыва. Долго бился молодой богатырь с сыном Тёмного Бога. Каменная твердь под ногами прогибалась, уходила глубже и глубже. При этом каменными глыбами, вдавленными на месте сражения, вокруг сражающихся стали выдавливаться другие скалы. Из тех скал выросли четыре пика высотой более двух тысяч метров каждый.

Сын Тёмного Бога покинул место сражения, когда израненный богатырь упал на дно образовавшейся ямы. Освободившись от тяжёлых доспехов, Кинзелюк выполз из ямы, но оказался на краю обрыва. Не удержался, сорвался богатырь. Более трёхсот метров было то падение.

С той далёкой поры на склонах кинзелюкских пиков образовались ледники. Ручьи с тех ледников принесли на место сражения ледниковую воду. Заполнив яму, вода выплеснулась за край обрыва. Без страха и устали непрерывно падает она с огромной высоты и в наши дни. Это и есть Кинзелюкский водопад. Триста тридцать метров летит вода в том водопаде, ударяясь о скалы, разбиваясь о них в брызги, образуя туман.

О глубине озера, возникшего в яме от былого сражения, никто не может знать и сегодня. Пытались люди измерить её, но ничем не смогли достать до дна. А место сражения и озеро то находятся на высоте тысяча шестьсот метров.

Оставила мать сыночков в надежде, что выберутся они. Сама она спустилась с гор к дому. Со смертельными ранами недолго жил Тиберкуль. Разыскав бесстрашного защитника, жена перенесла его, положила на самый высокий камень, а потом долго оплакивала любящего мужа и ласкового к детям отца.

На месте этого сражения теперь тоже озеро. Тающие ледники и снежники питают его чистейшей водой. В кристально чистой воде днём отражаются лёгкие облака, а ночью — звёзды. А ещё в лунную ночь ложится на воду серебристая дорожка. Чист был Тиберкуль душой и помыслами, оттого и озеро такой необыкновенной чистоты. Тот высокий камень не затоплен, островом стал. Вековой кедр украшает теперь тот остров.

Первым из темницы выбрался средний из сыновей, Кизир. Страшно было, потому и покинул мешок-темницу так тихо, будто просочился сквозь дырку, проделанную матерью. Последовал мальчишка наказу материнскому — пошёл только вниз. Нежданно-негаданно повстречались малолетний племянник и искалеченный, обескровленный и обессиленный дядя его, Кинзелюк. Решили, что вместе будет легче Тубу отыскать. Потому и пошли, поддерживая друг друга.

Старший из сыновей, Казыр, хоть и проворный, нескоро смог просочиться в отверстие. Невдомёк ему было, что сначала следовало помочь младшенькому избавиться от ненавистного плена. Просочился Казыр и побежал вниз. Как и Кизир, он то спрыгивал с круч, то пробивался сквозь скалы, то плутал по глухоманям и дебрям. Нет в дикой тайге ни дорог просёлочных, ни троп торных. Если и есть в низинах звериные тропы, то все они в горы уходят, а мать сказала, что всех детей внизу ждёт. От Кизира его отделял высоченный хребет Крыжина, который некоторые называют Центральным Саяном.

Самый маленький из братьев, Амыл, выбирался из плена дольше своих братьев. Умный конь вёз спящего Лиходея уже по Западному Саяну, когда Амылу удалось выбраться. Петляя сквозь дремучую тайгу и скалы, он тоже шёл всё ниже и ниже. Ему было страшно настолько, что он боялся даже плакать.

Всему бывает конец. Вот и Центральный Саян наконец-то дал Кизиру и Кинзелюку повстречаться с Казыром. Проследовав какой-то путь вместе, они повстречали Амыла. Там и ждала их мать. Чтобы защитить от Лиходея детей, себя и искалеченного

Кинзелюка, она пошла искать покровительства у славного витязя Енисея. По всем Саянам давно прошла весть о его непобедимости.

Сёстры

В те далёкие времена знали люди о всесилии двух братьев. Байкал был повелителем и стражем жизни морской, а брат его Тасей — повелитель тайги и всего живого в ней. И была у Тасея единственная дочь. Сейчас никто не помнит имени её. А всё потому, что не по имени звали её, а по принадлежности к влиятельному отцу: Тасеева дочь, или просто — Тасеева. Не из-за принадлежности к могущественному роду, а за красоту и стать девушки сватались к ней видные собой сибиряки.

Только не хотел отец отдавать дочь за невесть кого, ждал жениха, достойного дочери влиятельного отца. Жил тогда в Восточном Саяне молодой хан по имени Канг. И он пришёл на поклон к Тасею — просить руки единственной и драгоценной дочери. Тогда-то стала Тасеева женой Канга, и родились у них две дочки — Бирюса и Чуна.

Ещё тогда, когда Тофалар был маленьким, Лиходей повстречал на своём пути молодого Канга. Не задумываясь, злодей напал на смертного. Не устоять бы Кангу, но вмешался всемогущий Тасей. Пришлось Лиходею отступить с затаённой злобой на всё семейство Тасея, со страстным желанием мстить за позор поражения.

Долго залечивал кровоточащие раны хан. Канг оставался ханом, но после памятного всем сражения его стали называть Каном. Если «кан» — это «кровь», то имя Кан с той поры означает «окровавленный». Справился молодой организм с недугом, а через много лет после того сражения появились у взрослеющих сестриц Бирюсы и Чуны маленькие братья — Агул и Кунгус.

Среди подданных Кана были и братья-хлебопашцы богатырского сложения — Тиберкуль и молодой брат его. Стал заглядываться Кинзелюк на красавиц, только никак не мог определиться, на ком из дочерей Тасеевой и Кана остановить свой выбор. Не просто было и собраться с духом, чтобы пойти к хану, просить в жёны одну из дочерей. Кан казался строгим и неприступным.

Раздумья богатыря Кинзелюка прервал Тофалар, злобно-воинственный сын Лиходея. Не из любви к красавицам, а из прихоти, что всё красивое должно принадлежать ему, заточил злодей девушек в глуши тайги и гор для собственных утех. От кого-то прознав о влюблённом богатыре Кинзелюке, Тофалар навёл ужас во всей округе, победив юного витязя из рода хлебопашцев.

Кан, узнав о заточении дочерей, понял, что молодой сын Лиходея непременно сведёт счёты с родителями и малыми братишками Бирюсы и Чуны. Едва оправившись от прошлого сражения со злобным и коварным Лиходеем, Кан не мог защитить дочерей, но он полагался на их собственную сообразительность в вызволении из плена. Не смог бы он противостоять злу и для защиты остальных членов семьи. Вот и пустились все они в бегство. Побежали разными бездорожьями, чтобы спастись остальным, если Тофалар пустится по следу кого-нибудь из них.

Долог ли, короток был путь каждого, но снова помог Тасей. Замёл он следы дочери так далеко, что даже родные не скоро смогли бы найти её. Помог старый Тасей и племянницам. Принёс он Чуне дурманящей сон-травы, чтобы та подала Тофалару её крепкий настой вместо чая. Сказал Чуне и о том, что Бирюсу о возможности побега можно оповестить через перелётных лесных сплетниц — сорок.

После нелёгкого сражения с Кинзелюком посетил Тофалар зимовье Чуны. Сделав вид, что проявляет заботу о господине, девушка напоила его чудодейственным отваром. Крепко уснул ненавистный прелюбодей. Не скоро должен был проснуться. Сбежала девушка сама и сообщила сестрице о возможности побега.

Непросто бежать сквозь буреломы. Нелегко было перепрыгивать через валуны и глыбы, встающие на пути. Все преграды преодолели беглецы, каждый на своём пути. Первыми повстречались Кунгус и Агул. Вместе они нашли отца Кана. Он и вывел сыновей под покровительство непобедимого витязя Енисея.

Своими путями спасались бывшие наложницы Тофалара. Чтобы сбить злодея со следа, если отправится вдогонку, при встречах с людьми называли себя другими именами. Только отдалившись от Саян, Óна вновь стала Бирюсой, а Уда — Чуной. Девушки вернули себе прежние имена. Проплутав немалые расстояния, сёстры встретились. Мать чутьём определила место встречи — там и ждала дочерей. Вместе они в пути повстречали двоюродную сестру Тасеевой — дочь Байкала Ангару. О том, зачем бежала Ангара, — это уже другая история. Но все беглянки объединились в едином стремлении встретить Енисея.

Одинаково далеко и быстро разлетаются и добрые, и худые вести. Узнав о победе сына над Кинзелюком, позлорадствовал Лиходей над поражением юного витязя-хлебопашца, порадовался, что достойным отца вырос сын. Но радость его постепенно сменилась беспокойством. Слишком долго не поступали к нему вести о новых злодеяниях сына Тёмного Бога.

Долго спал Тофалар, напившись чудодейственного отвара из сон-травы. Настолько долго спал, что так и не проснулся. Силы и сама жизнь покинули его от полного истощения. Бездыханным застал Лиходей Тофалара. Забрал бессмертный тело сына и помчался разыскивать собратьев своих — Тёмных Богов. Только общими усилиями могли они вернуть зловещую жизнь смертному.

Тогда же узнал Лиходей, что все обездоленные им самим и сыном его ушли под покровительство Енисея. Мог бы бессмертный сразиться с ним, не откладывая, но торопился вернуть к жизни сына. А позже, когда Енисей пришёл к отцу, желание поквитаться и вовсе покинуло Лиходея. Всемогущ Ледовитый Океан. Хоть не мог он лишить жизни бессмертного, но навечно заковать его в толщи своих льдов было по силам Океану.

В память о непростых временах места тех бесчинств в Саянах теперь Тофаларией зовутся. Ныне живут там добрые охотники тофалары, или просто — тофы.

Заклятие

Любят сибиряки свои прекрасные реки, любят и главную из них — Енисей. Потому и слагают легенды о любви. В легендах эти реки сквозь века несут взаимную любовь. Жители разных мест влюблены в свои реки и красоты, слагают предания о неповторимости своих уголков огромного мира. Расскажу я вам о Мане с Енисеем и о заповеднике «Красноярские Столбы».

Случилось это в очень давние времена у нас в Сибири. И в те времена было всякое — любовь и ненависть, отвага и трусость, преданность и коварство… Было тогда два царства, а царями в них были братья Саяны. Уже тогда никто не помнил их молодыми. И в ту пору их мудрые головы убеляли седины.

В царстве Западного Саяна слагались легенды об отважном богатыре Енисее. Несмотря на молодость, он не проиграл ни одного сражения, выходил победителем в любом поединке с завоевателями. Бесстрашным, честным и удачливым знали Енисея. За кажущееся недостаточное почтение царской персоны, своеволие или за что-то ещё, но был витязь в опале у царя.

В царстве Восточного Саяна ходили легенды о красоте царевны со сладкозвучным именем Мана. До управления государственными делами девушка не доросла, а потому беззаботно порхала и резвилась, мечтая повстречать смелого витязя. Молве о красоте и смелости нет ни границ, ни преград. Запреты не помеха любви — они не гасят вспыхнувшее в сердцах пламя, а ещё сильнее разжигают его.

То же произошло с заочной любовью Енисея и Маны. Взаимной любви богатыря и красавицы стали чиниться препятствия.

— Нельзя допустить, чтобы опальный воин женился на царевне, — решили братья Саяны.

В ту пору красавицу Ману приметил злой и коварный воевода Такмак. Но не люб он девушке, не обращала она внимания на дорогие подарки воеводы. Даже волшебство поклонника, омолаживающее его, не давало результатов. Узнал Такмак, что сердце прекрасной девушки стремится к молодому Енисею, стал и он препятствовать этой любви.

Велико коварство старого прелюбодея, но и оно не помогло. Чтобы устранить соперника, вызвал Такмак на бой Енисея. Не знал молодой богатырь ни о коварстве противника, ни о его чародействе. Только если бы и знал, то принял бы вызов, чтобы постоять за любовь, защитить любимую девушку от ненавистного ей злодея. А воевода подговорил в союзники Монгола, чтобы победить наверняка.

О желании Такмака стать женихом Маны узнали её родные. Теперь и седые Саяны готовы помогать Енисею. Собою заслонили красавицу Прадед и Дед с Бабкой, чтобы не видела девушка смертный бой Енисея с Такмаком. Даже Будда и Митра оберегали влюблённую от ненавистного чародея.

Долго бился молодой витязь с сильным своими чарами злодеем. Слабеет Такмак. На пути к отступлению любящий отец, Саян, преграду поставил, Китайскую Стенку. Предчувствуя своё поражение, безжалостный чародей превратил в каменные глыбы всех, кто помогал Енисею, укрывал Ману или просто оказался рядом.

И сам колдун от злобы своей превратился в скалу, но перед тем наложил на влюблённых заклятие превращения.

— Лишь только Енисей и Мана сольются в поцелуе, тут же станут реками, — предрёк злой волшебник.

Издали увидел витязь бегущую к нему девушку и поразился её возрасту.

«Какая же она юная! Даже ещё маленькая девочка, если быть точным. Не спасти её от посягательств коварного старика было бы проявлением полнейшего бездушия. Но и до моей любви не доросла юная красавица. Вот только как сказать ей об этом? Посоветую оставаться друзьями, быть рядом, пока подрастёт», — размышлял Енисей.

Не зная участи от исполнения заклятия, бросилась девушка к витязю, обняла его, но не пригнулся витязь для поцелуя, а сама она не дотянулась до губ любимого. Как и прежде, стремится Мана к любимому Енисею. И никакая сила не сможет разлучить их. Идут они теперь рядом, рука об руку, в ожидании, когда подрастёт юная красавица. Жаль только, что время словно остановилось для них.

А на месте битвы, кроме упомянутых, и теперь стоят каменные изваяния: Ермак, Беркут, Пёс, Дикарь, Гиф, Монах, Каин, Грешник, Перья… Порядка сотни столбов возвышаются над тайгой на десятки метров. Говорят, что свидетелю той битвы за любовь, Деду, уже десять миллионов лет.

Беглянка

С незапамятных времён шли к нам легенды. Если хотите, то сказками, а захочется, так былями их называйте. Каждая такая легенда наши сибирские места прославляет, о силе воли и духа сибиряков

готова поведать. И вам, друзья мои, не вредно знать о родных местах. О Байкале и дочери его Ангаре поведаю я вам.

Давно это было. Наверное, не один десяток тысячелетий с той поры успело отсчитать время. Давно, да только и по сей день живы герои этого предания. Вы знаете о них, хоть и в не человеческих обличиях они теперь. Жил когда-то седой, умудрённый долгим жизненным опытом старик Байкал—богатырь, равного которому во всей округе не сыскать. И было у него триста тридцать шесть сынков и дочек. Все они любили отца, были послушными и трудолюбивыми. Все заботливо приносили ему водицы напиться.

И он всех любил. Более остальных любил он младшенькую дочурку—Ангару. Резва и говорлива Ангара. Характер своенравный, непокорный. Во всех спорах с сестрицами всегда её верх был. Потому и звали её не просто, а Верхней Ангарой. Услыхала она как-то раз от неугомонных чаек, что где-то живёт могучий, добрый сердцем богатырь Енисей. Заинтересовалась Ангара, расспросила у птиц, что ещё известно им о Енисее.

Рассказали белокрылые пернатые:

— Светлый лик богатыря омрачён одиночеством. Странствует он в тоске и раздумье от южных гор к отцу своему, Северному Океану, который ещё Ледовитым зовётся. Степи прошёл Енисей, Красный Яр миновал, а судьбой наречённую не повстречал. На пути трудности преодолевает, чтобы встретить красавицу, которой в него суждено влюбиться и которую он сам полюбит.

«И я преодолею все преграды, а встречу светлоокого»,—решила влюблённая девушка.

Не прошла мимо юного сердца добрая молва чаек. Решила девушка дождаться подходящей минуты, чтобы сбежать от старца,—разрешения отец не даст, а без любимого свет не мил стал. Сильнее других любил седой Байкал Ангару, но и на неё распространялись отцовские запреты. Отец слышать не хотел ни о Енисее, ни о дочерней любви.

Однажды ранней весной, когда старик крепко спал, укрытый своим белым ледовым одеялом, дочь сбежала от отца. Проснулся старик, рассердился на дочь за непослушание. Чтобы преградить беглянке путь, бросил огромный камень. Упала скальная глыба на пути, но нашлась девушка, обогнула препятствие. И теперь возвышается утёс Шаман-камень над водами водохранилища Иркутской гэс.

Несколько дней и ночей бежит влюблённая девушка по непроходимой тайге, сопки обходит, но держит путь к Северному Океану. Вдруг спохватилась:

—Что же это я всё к Океану бегу? Где любимый Енисей? Можно ли его средь Океана отыскать? Надо бежать наперерез.

И повернула беглянка на запад. А старик зол, громы и молнии мечет, чтобы остановить, вернуть к себе дочь. От грома и молний небо непроглядными тучами затянулось. Темно стало. Заблудилась Ангара в незнакомой тайге. О Кодинске и Кежме тогда и не слыхивали, а девушка как раз в этих краях плутала.

Затянулся нелёгкий путь к Енисею. Силён Байкал, да и у него силам предел имеется. Устал он громы и молнии извергать. Пролились дождями тучи, просветлело небо, появилось солнце ласковое. Перестала плутать, почти прямо на запад побежала Ангара.

После долгих странствий по тайге сибирской встретилась с сестрой и племянницами, бежавшими от злодея. Вскоре все вместе они повстречались с тем, в кого по рассказам чаек влюбилась Ангара. А повстречавшись, не захотела расставаться Ангара. И Енисею приглянулась красавица. Понял он, что нашёл ту, которую так долго искал. Обнявшись, Енисей и Ангара дошли до Ледовитого Океана. Всем страждущим дал защиту Енисей.

Оценил Океан трудный путь каждого, обессмертил их. По пути пройденному потекли реки. Они вечны. Не иссякнут их воды, пока щедрое на тепло солнце будет растапливать ледники и снега, а земля-матушка даже в лютую сибирскую стужу родниками поить их будет.

Чтобы задобрить старого Байкала, послал ему Океан нерп. А Ангара с Енисеем послали отцу икряного омуля. Трудно было добираться нерпам и омулю по быстрой и порожистой Ангаре. Пока в пути были да о камни бились, обтёрся мех нерпы, светлее стал. Пришлась по вкусу пресная вода Байкала и нерпам, и омулю, размножились они. И теперь живут, радуя туристов и жителей Прибайкалья.

А Байкал после побега любимицы ещё строже стал. Ещё зорче и ревностнее охраняет он своих дочек. Так стережёт, что никто не замышляет покинуть старого отца. Но означает ли дошедшая до нас легенда, что следует приветствовать непослушание? В подтверждение этому в легенде нет ни единого слова. Верность своей мечте, целеустремлённость в достижении цели ради любви, необходимость преодоления всех трудностей, встающих на пути,—вот в чём главная идея легенды.

И вам предстоит познать любовь. И вы будете преодолевать преграды, препятствующие быть рядом с любимой или любимым. Всё непременно будет у вас, когда повзрослеете.

Владимир Плёсов

Жизнь такая, как и есть

● ● ●

Искали русскую идею
Три мужика в одном краю.
Один сказал: «В неё не верю…»
Второй ответил: «Потерплю…»

А третий вспомнил лес и поле
И молча «Приму» закурил.
Замял окурок о мозоли,
Вздохнул и в пачку положил.

● ● ●

Если нет кого-то в жизни
у тебя—то нет печали.
Мы дорогами отчизны
очень многих не встречали.

Тех, кого хотелось встретить,
хоть не видели их ли́ца.
Береги душевный трепет—
он тебе ещё сгодится.

Для знакомых и понятных,
повстречавшихся однажды.
А отчизна—в белых пятнах.
Человечек—в каждом, в каждом.

● ● ●

Отковали меч булатный—
Да забыли второпях.
Лили колокол набатный—
Потеряли в ковылях.

Снаряжали ло́дьи, струги—
Да не сшили паруса.
Выли матери, подруги—
Да пропали голоса.

Вороных коней седлали—
Да забыли напоить.
Пушки туго заряжали—
Спичек нету запалить.

Шли усталые, без песен,
Без оружья, без сапог,
Перед миром—каждый честен,
Перед Богом—одинок.

● ● ●

И я убит на той войне
и воскрешён сто раз был снова,
лежал под Ладогой, на дне,
был в окружении у Пскова.
У Курска или у Орла
горел уже в четвёртом танке
и спирт разбавленный,
до дна,
с товарищами пил в землянке.
Переступал границы стран,
в больничной корчился постели,
потом не мог уснуть от ран…

Я так привык ещё к шинели.

● ● ●

От фасада старой церкви
Отлетает штукатурка,
Краски выцвели, померкли,
Как к зиме у белки шкурка.

Наверху, где крест,—потёки
Зеленеют, наплывают.
Галок быстрые потоки
Из-под купола взмывают

И, закрыв собою тучи
И заполнив воздух криком,
Улетают чёрной кучей
В вековом порыве диком,

Оставляя запустенье,
Тишину опавших листьев.
На столетние ступени
Известь падает—как выстрел.

● ● ●

Уходящая натура,
Приходящая печаль.
Уходящая культура,
Приходящая мораль.
Уходящая возможность,
Приходящая в совет.
Уходящая безбожность,
Приходящая в Завет.

● ● ●

Мечта должна не сбыться,
Не сбыться никогда—
Иначе всё случится.
Зачем тебе беда?

Зачем тебе причалы?
Душа должна творить,
Она должна отчалить
И только плыть и плыть.

Пусть где-то будет берег—
Далёко-далеко,
Ты должен в это верить,
Но не искать его.

Огромным океаном—
И штормами, и в штиль—
Будь юнгой, капитаном,
Рождая свой лишь стиль.

Редеть команда станет,
И ты уж поседел,
Волна стеною встанет…
Но это всех удел.

Греби, плыви по звёздам
В далёкие края,
Как в детстве, веря грёзам,
Подняв все якоря.

И ветерок попутный
Тебе чтоб помогал,
Но чтобы берег смутный
В бинокль не увидал.

Пусть кто-то крикнет рядом
От радости: «Земля!»—
Ни сердцем и ни взглядом
Не радуйся: «Моя!..»

Твоя ещё далече,
Встречай за валом вал,
Заделай в трюмах течи
И вновь сожми штурвал.

Семь футов—и не меньше,
И шире паруса,
И дел, и слов—простейших,
И неба—как роса.

Пусть годы силы съели
И суша так зовёт,
Не приближайся к цели—
О скалы разобьёт.

● ● ●

Если в берег бьёт волна—
Значит, так и надо,
Значит, жизнь ещё полна
И сама—награда:

За старанья, за труды
Или от избытка.
Только ждать не должен ты
От неё прибытка.

Жизнь такая, как и есть,—
Пусть она пребудет,—
Даст попить и даст поесть,
Выпустит, осудит.

И возьмёт себя сама—
Ведь она хозяйка…
Не спеши сходить с ума.
Жалко?..
       Что же, жалко.

● ● ●

Пролетают птицы
выше колокольни.
Мне б испить водицы
из простой часовни—
Белого Колодца,
бьющего сквозь глины;
сердце в небо рвётся
вслед за птичьим клином,
что летит стрелою,
поднебесной, грустной,
за другой водою,
тоже, может, вкусной,
тоже, может, чистой
и родной отчасти;
выпью из канистры,
замерев от счастья
и не дав пролиться
капле влаги, света…
Пусть запас хранится
до другого лета,
когда птичьи стаи
возвратятся к дому;
я приеду в мае
к роднику простому,
чтоб набрать водицы,
чтоб набраться силой…
Пролетают птицы
стороною милой.

Георгий Попов

Лестница в небо

Говорят

Говорят, будто небо приклеено к пустоте
То ли клеем «БФ», то ли клейстером (может, врут?),
Будто к небу прибиты десятки небесных тел
(Это кто же летал и творил этот адский труд?),
А на стороны света приверчены рычажки:
Щёлкнешь левый—восход, щёлкнешь правый—горит закат.
А ещё ходят слухи, что есть в небесах мешки:
В тех мешках для зимы сохраняются снег и град.
Я смеялся над этим, но позже увидел сам,
Как срывается небо под тяжестью зимних вьюг:
Даже клей не удержит свинцовые небеса,
Если им захотелось, качнувшись, слететь на юг.
И тогда до весны будет падать и падать снег:
Из небесных мешков будут звёзды слетать, кружа…
…Говорят, будто небо приклеят опять к весне.
Может, суперцементом, чтоб крепче его держал…

Осенний вечер

Глаза открываю и вижу абстрактный холст,
Как будто нетрезвый художник по небу полз:
Местами пролил облака на ночную мглу
И солнце свекольное кистью мазнул в углу,
А пятна повсюду—от рук и от ног следы—
Свиваются в небе в тоскливо горчащий дым
Осенних костров, согревающих чьи-то сны.
…И россыпью звёзд на лугу доцветает сныть.

Ты спутал, художник, все жанры в сюжет один.
Ведь звёзды—лишь звёзды, а сныть—только сныть. Гляди.
Ведь солнце—не свёкла, врастающая в закат…
Подумай, художник, и грёзы врисуй назад.
Ведь небо—лишь воздух. Обычный бесцветный газ.
Над небом—Луна, словно Божий неспящий глаз.
Под небом—ворона. Черна, словно ангел тьмы.
Чуть ниже—песчинки. Наверное, это мы…

Художник, в картинах нельзя ни мгновеньем лгать!
…И вот на земле нарисована лужи гладь:
Небесное зеркало? Тайный портал в мечту?
Абстрактные образы вижу теперь и тут.
А лужа распахнутой пастью глотает вдруг
И тёмное небо, и мёрзлый осенний луг;
И только луна, словно Божий неспящий глаз,
Из водного чрева сурово глядит на нас…

Старый рыбак

Перламутровой пуговицей на сером шёлке воды
Крупного карпа бок блеснул под луной…
То ли туман рождается, то ли от трубки дым—
Дремлет рыбак, с виду древнее, чем допотопный Ной.

Он рыбачит сколько живёт и рыбу ценить привык—
И отец, и дед кормились всю жизнь с реки,
Но тут—чудо для глаз: крупного карпа блик
И складки по шёлку воды, словно не карп, а кит

Ушёл в глубину, к луне, упавшей на донный песок.
Раскрошит рыбак весь хлеб, что взял для себя поесть,
И кинет в воду. Ведь карп мудрее лет, пожалуй, на сто,
А уважать стариков рыбак считает за честь.

Лестница в небо

Тим Ви́льсон почти совсем не умел мечтать:
К чему мечты, когда работы навалом?
На́ ночь прилечь, не думая ни черта,
А утром идти трудиться сразу усталым,
Чтоб к вечеру дали доллар, от силы два
(Разнорабочим даётся меньше, чем попрошайкам),—
Траншеи копать, колоть старикам дрова
И слышать в спину: «Эй ты, веселей давай-ка!»

Уехать бы в город, но денег у Тима нет.
Одно хорошо: одинокому надо ли много?
Бывало, к концу недели имелась пара монет,
И Тим спешил в варьете—глазеть на женские ноги.
А утром он плёлся по новой копать да рубить:
За что хоть мелочь давали, тем и бывал он занят.
Но в трудные годы Тим не скопил обид,
Не смытых с души дурными ночными слезами.

И вот однажды—видно, судьбе назло́,—
С Улиссом Грантом[1] дали бумажку Тиму,
А он подумал: «Вот свезло так свезло!
Неделю могу кутить, не ломая, как дурень, спину».
Мечты улетели, как с ветки осенний лист:
Пропи́л он всё разом, а утром не встал с кровати.
Глядь, ангел Господень слетает кругами вниз
И громко кричит: «Отдохнул маленько, и хватит!

Давай,—голосит,—вставай: дела! Повсюду—дела!
Тебя доставить наверх положено мне бы,
Да так осточертели ваши людские тела…
Ты сам построй-ка лестницу прямо в небо!»
И Тим Ви́льсон по́днял топор да пилу:
Он привык трудиться, что бы с ним ни случалось.
Для начала поймал скользящий солнечный луч
И прибил, чтоб в будущем лестница не качалась…

1. 50 USD.

Не о тебе

Не о тебе пишу, не для тебя—
Для круглого с мороза воробья,
Для лавки, нарядившейся сугробом,
И брошу лист. А кто-нибудь прочтёт,
Воскликнув удивлённо: «Что за чёрт?!
Кто так клянётся в нелюбви до гроба?»

И в урну лист забросит, смяв в руке,
Но воробей быстрее всех ракет
Мои стихи промчит по околотку.
Вдруг чёрный кот мигнёт: мол, проходи;
Я подожду; я после; позади;
Твой путь пересекать мне—не в охотку.

Дурное счастье—думать о другом,
Смотреть, как утром всходит солнца ком
Из дальнего мороженого леса—
Ведь даже этим солнцем душу жжёт.
А воробей горланит: «Заживёт!
Она ведь—не Париж. Не стоит мессы!»

И лавка манит: «Снег раздвинь, присядь.
Когда один—повсюду тишь да гладь.
Ты слишком на влюблённого похожий».
Тогда по бели снежного листа
Пишу для лавки, воробья, Христа…
Не для тебя, не о тебе, но всё же…

Вместе

Я видел, как вечер играл в листве,
Спешащей в осенний гам,
Я видел, как старый седой рассвет
Улёгся к твоим ногам,
Как птицы спешили собраться в клин,
Чтоб плыть на югá сквозь дрожь,
И яблоки с веток к земле текли,
Как нудный осенний дождь.

Я видел ворону в её гнезде
Кидающей в печь дрова.
(Вороны уют создают везде,
Имея на то права.)
Но ты говорила: всё сон-обман,
И мир не такой, как есть.
Что осень и вечер свели с ума,
Что я сумасбродный весь.

Но рядом сидела, одной рукой
Моё обхватив плечо,
Другой же ловила закат легко,
Всем бликам ведя учёт.
А после мы грелись вдвоём с тобой
Теплом предстоящих дней.
Я думал: «Наверно, у нас любовь…»
И ты улыбалась мне.

Екатерина Громова

Мир озарится знамением

● ● ●

Солнца очаг в пелене антрацитного смога:
Чтоб задохнуться—не нужно особых причин…
Встань, уходи из убитого бурей чертога
Нагом, плывущим по каменным волнам руин.

Магия дня перед ночью бессильна, как невод
Против мальков, рассекающих стаями Ганг,—
Так же и ты, иссыхаясь от жаркого гнева,
Будешь слаба, если взор твой направлен назад:

В гиблых садах, что остались от дома и храма,
Тленом земли осквернённой отравит пыльца
Душных соцветий, а вирусам нового штамма
Будет легко превращенье тебя в мертвеца.

С мангровых древ угрожающе скалятся петли
Чёрных лиан—извиваются, капает яд…
Будешь слаба, обездвижена, съедена, если
Их голоса здесь остаться тебя убедят.

● ● ●

В небе, чернее, чем вóроны,
Зимней неласковой ночью
Звёзды глядят зачарованно
В Севера синие очи.

Ветер разносит смятение
Пред наступающей вьюгой;
Мир озарится знамением
И задрожит от испуга.

В блеске искрящего инея
Встретится тайное слово—
Ты наречёшь меня именем,
Выжженным светом Сверхновой.

Александр Барсуков

Родина

Записки эмигранта

Я не знаю имён птиц и названий деревьев, поэтому восклицания вроде: «Смотрите, вон иволга!» — настолько не моё, что ничего подобного никто от меня и не ожидает. Так же и с бескрайними просторами бывшего Союза — познания отрывочны: Поронайск на Сахалине — если начинать с востока, с восхода светила, затем что-то в Хабаровске и Спасске-Дальнем, какие-то сопки, потом вдруг Алайский базар в Ташкенте и загадочная «Старая Кашгарка», авиамоторный завод, махалли с невысокими саманными стенами, за которыми при моём немалом росте видны местные жительницы — усатые плотные узбечки в глянцевитых халатах в продольную ритмичную стрелку, с суровыми и сердитыми лицами, с тазами какой-то снеди на коленях, подрезающие туда то ли лук, то ли какую-то зелень, узбечки-подростки, все на подбор хрупкие и тоненькие, как стебельки, в шароварцах по щиколотку, выглядывающих из-под платьиц, занятые своими немудрёными игрушками — палочками, щепочками, усевшиеся внутри дворика махалли на коврике в две ладони размером, а то и прямо на твёрдой, как стекло, глинистой, убитой-утрамбованной и дочиста выметенной земле, в тени тут же ветвящейся обильной лозы, всей в отливающих на солнце матовым заленоватых гроздьях ягод. Чем они поливают всё это своё сельское хозяйство? Таскают воду вёдрами из колонки? Так и колонки вроде, куда ни кинь взгляд, не видно на этой истомлённой зноем бесконечной окраинной ташкентской улочке, где не слыхать даже насекомых, настолько всё кругом устало от жары и пыли.

Подростки-мальчишки где-то шкодят, мужчины-узбеки либо тяжело работают, либо сидят, потея и отдуваясь, в чайхане, которая на местном пишется через «о» — «чойхона»; таксисты в Ташкенте суровы, неприветливы, загадочная табличка «илтимос суянмангыз» перед носом у пассажира на деле всего лишь запрещает курить в машине — да и кому придёт в голову курить, если на улице тридцать пять в тени и не продохнуть? «Ишиклар ёблады, — сообщает приятным голосом из динамиков женщина в метро. — Двери закрываются. Кинги станция — „Ленин номли майдон“». У узбеков, видишь ли, площадь тоже — майдан. Как в оранжевой революции.

В метро вообще клёво — прохладно, пустынно. После Ленинграда как-то не верится, что такое возможно, в этом метро хочется поселиться — улечься на красивой полированной лавочке на станции и дать холодному мрамору не спеша вытянуть жар из перегретого тела.

Мне двадцать восемь, каждое утро мы с техником Иркой выходим на трассу на окраине города, машем КАМАЗу-попутке и за рубль через час оказываемся на заводе, в Ахангаране, где целый день что-то настраиваем и измеряем в отведённом для нас и приборов уголке цеха. Потом обедаем в заводской столовой — и снова до пяти крутим верньеры на наших учёных коробочках.

Ирка записывает показания чётким ученическим почерком. Ей девятнадцать, и никакой она не техник, а пришла к нам на работу прямо после школы. Это вообще первая её командировка. Моя помощница полненькая и богато одарена многими женскими прелестями. Но всё это мило и хорошо в прохладном Ленинграде, здесь же у Ирки постоянно пунцовое от жара лицо, приоткрытый рот, мокрые, тёмные подмышки и какое-то совсем детское от постоянного дискомфорта выражение лица. Средняя Азия летом — явно не для неё.

Она оживает, только когда мы в полседьмого вновь выбираемся на трассу, направляясь в Ташкент. Здесь ветерок. В КАМАЗе Ирка быстро подсыхает и принимается незаметно почёсываться от солёного пота, и так до самого душа в гостинице — точнее, до комнатки в общаге какого-то техникума, куда нас устроили задёшево наши ташкентские смежники.

Вечером мы блаженствуем на балкончике, едим огромные сладчайшие дыни и виноград-мускат, затем немножко, как бы нехотя, грешим — и к полуночи расходимся по своим каморкам, чтобы назавтра продолжить нашу не слишком тяжёлую, но скучноватую и муторную работу. В выходной, в воскресенье, я вожу Ирину смотреть город, кормлю её разными местными вкусностями: лагманом, пловом, самсой. Моя помощница — из совсем простой семьи, из очень небогатого круга, кафе и рестораны для неё в диковину, они кажутся чем-то волшебным, сказочным.

Девичье любопытство не даёт ей вовремя остановиться, держит на улице далеко за полдень — и вот опять у Ирины пунцовое лицо, капельки пота на лбу и верхней губе, ледяные ладони: она на грани обморока от жары. Я усаживаю её на скамейку под деревом у тепловатого фонтанчика, обмахиваю лицо газетой, обтираю ей смоченным в фонтане платком все доступные для этого места.

— Извини… — стесняясь, жалобно шепчет мне наша техник, постепенно приходя в себя.

Над головами тихонько потрескивает своими стручками акация — или, возможно, чинара… мне это, как всегда, безразлично.

Толмачёво, новосибирский аэропорт. Минус двадцать, пронизывающий ветер, кругом снежные заносы, обледеневшая, вся в увесистых сосульках, остановка автобуса. В Академгородке, в гостинице, — ресторан с кичливым названием «Золотой олень», доступного вида девицы-красавицы у стойки бара, моложавые учёные, стаскивающие с себя в гардеробе «фирменные» дублёнки, вывезенные из заграничных командировок, и мохнатые шапки из пушного зверя, сработанные местными умельцами, — дичь для девиц у стойки… не шапки, конечно, а сами учёные, желанный объект, благорасположение которого может позволить разом «устроить жизнь».

У меня целая папка допусков и справок из «Большого дома» — в Институт теплофизики меня пускают без проволочек. Затея подключить плазму к нашим скорбным промышленным недостаточностям принадлежит не мне — моего шефа, Василия Васильевича, все запросто зовут на работе Васей, он лыс, рыж, веснушчат и кипит идеями. Партия велит развивать эффективность, а что может быть эффективнее для производства, чем плазма? Ионизированный газ всё-таки, тридцать пять тысяч градусов…

Встреч с разработчиками приходится порой ждать до полудня: все они заняты делом, а не фантазиями. Я часами скучаю, сидя с бумажками и инструкциями за отведённым мне на время командировки столом в углу полупустой рабочей комнаты; молодые учёные хмурят брови, склонившись над расчётами, звонят по телефону, разговаривая о непонятном, входят, выходят — и только я продолжаю сидеть как вкопанный, лениво перебирая бумаги с грифом «для служебного пользования» или просматривая список абонентов местной телефонной сети на предмет поиска забавных имён и фамилий. Записные книжки литератора — вот как это, наверное, называется.

«Дандарон… — стоит в одной из строчек перед трёхзначным местным номером. — Гунга-Нимбу Бидьяевич».

«Как же так? — неспешно думаю я. — Как же такое возможно?»

История с плазмой внезапно кончается на Днестре, в Молдавии. Нас водят экскурсией по Дубоссарской ГЭС, показывают по очереди все восемь генераторов — здоровенных, уходящих под потолок зала конических машин, поблёскивающих своими боками и какими-то проволочками. Мощность станции — восемьдесят мегаватт, как раз столько, сколько требуется плазмотрону, отобранному мной в Новосибирске для нашего заводского объекта под Питером. «Что-то тут не так…» — скривившись, думаю я.

А вот ещё эпизодики — из моих командировок по российскому Северо-Западу.

В редакции мне дали тогда задание — сделать материал о менонитах. Вовсю катила перестройка, народ интересовался… чем он теперь только не интересовался… Я даже попробовал как-то подсунуть в номер свои давнишние стишки. Не взяли… А там были некоторые ничего… Вот, к примеру:

Ежу — погожу, а тебе —
Ну что ж, расскажу,
Как жива́ла девочка…
Ну, скажем, Матрёночка:
Окончила техникум
Пищевой промышленности,
Купила туфельки
И поясок узкий,
Вечерами
Отправлялась в кроватку,
Имела где положено…

Ну и дальше в том же духе — как она «мечтала, конечно же, быть счастливой», но подавилась сливой и умерла, не успев состариться. Стихи при этом заканчивались оптимистической формулой: «Оставшимся, кстати, — прямой интерес, поскольку счастья — в обрез…» Сочувствующие уверяли, что это апологетика Хлебникова, я же беззлобно отпирался…

…Курьер в редакции вручил мне билеты, бухгалтер — командировочные, с вечера я побрился, в полтретьего ночи вызвал по телефону такси и вскоре уже разыскивал своё место в слабо освещённом ночниками вагоне, затем улёгся, почти не раздеваясь, дождался отправления, неспешно перебрал в голове заготовки текста и вскоре провалился в сон…

Проснулся поздно. В купе возились попутчики, недавно подсевшие на каком-то полустанке, — от их висящих на крюке у двери зимних пальто с добротными каракулевыми воротниками ещё внятно тянуло холодком. Я поздоровался и снова было задремал, а когда приоткрыл глаза, мужчина уже лежал на верхней полке и осторожно высказывал опасение, что спуститься с такой высоты ему больше не удастся. Женщина возражала, странно собирая слова в предложение:

— Когда ты залез, так я думаю что ты уже и слезешь…

«Шпионы…» — подумал я, помнится, со сна. Мы медленно, но верно приближались к финской погранзоне.

Третий вскоре подсевший к нам попутчик, рыжеватый пятнадцатилетний паренёк, следовал от родных осин в областной город, в физматинтернат. Парнишка тыкал пальцем в стекло — мы как раз стояли вдвоём в вагонном коридоре и глазели в окно — и, указывая на голову изогнувшегося в повороте состава, вещал бойким поставленным голосом:

— Тепловоз толкает перед собой воздушную подушку, а следом за ним образуется разрежение… Поэтому людям с бронхитом и астмой не следует брать билеты в первый вагон.

Я не нашёлся что возразить. Поезд мягко отстукивал рельсовые стыки. Они попадались редко — путь на этом участке был, как это тогда называлось, бархатный. Вроде бы не новинка, но если долго вслушиваться, ожидая стыка, возникает состояние какой-то недобуженности, а с закрытыми глазами — полная иллюзия известных сновидений, когда нужно убегать или догонять, а ноги едва двигаются с места; всё это, я полагаю, из-за акустического стереотипа, рождённого глухоманными поездками на разболтанных электричках по «небархатным» рельсам.

…Солнце перевалило зенит. В небе вовсю носились мелкие птички, из лесосек выползали подёрнутые инеем бульдозеры, попыхивая синими дымками труб.

Из коридора тянуло особым железнодорожным дымком — проводник растапливал титан под обеденный чай.

Вообще я по утрам ничего не ем, но в поезде происходят странные вещи… хотя это явление веснушчатый парнишка мне тоже объяснил. Лежащий на полке человек, сообщил он, подвергается в поезде воздействию совершенно необычных для организма ускорений, и желудочный сок омывает те отделы желудка, которые в привычной жизни нормального гражданина недосягаемы. От неожиданности у человека возникает чудовищный аппетит. Сходные явления бывают у акробатов и космонавтов.

Уяснив себе ситуацию с нестандартными ускорениями, я притащил из ресторана пять бутылок пива и кучу разнообразной снеди. От хорошей порции пива ощущение недобуженности постепенно возникло снова. Даже ландшафт за окном, кажется, побежал медленнее.

Ландшафт, кстати, сильно изменился. Всё свободное от деревьев пространство занимали теперь одноэтажные серые строения с редкими оконцами. Они вплотную подступали к дороге и уходили вдаль нестройными рядами.

Замелькали станционные постройки, и поезд остановился. Я перегнулся поудобнее и прижал лоб к стеклу…

Вдоль путей шагал мужичишка в ватнике. Увидев меня в окне, он задрал голову, показав щетинистый кадык, и что-то проговорил. Я дёрнул вниз оконную раму. Она шла туго, но всё-таки подавалась. Мужичок терпеливо ждал. Наконец я справился с рамой и, высунувшись, спросил дружелюбно:

— Чего тебе, папаша?

— Што шмотришь? Слазь! — шепелявя, сурово ответил мужик, помотал головой на тонкой жилистой шее и, внезапно отвернувшись, торопливо зашагал прочь.

И сейчас же по коридору загрохотали шаги.

— Шевелись! Шевелись! — кричали какие-то люди и колотили в двери купе.

— Шевелись! — забарабанили в нашу дверь.

Я скользнул в штаны, соскочил с полки и открыл дверь. В конце коридора рысцой двигалась группа мужчин, колотящих кулаками в двери.

— Что случилось? — крикнул я.

— Шевелись! Шабаш! — откликнулся один из них и хмуро погрозил мне кулаком.

Остальные добрались до последнего купе и двинулись в тамбур. Тогда то тут, то там возникали постперестроечные инциденты… Мы въезжали в погранзону.

…А ещё через час я попрощался с соседями и вышел на мелкой, незначительной станции.

На самой окраине этого городка, затерявшегося среди унылых по зимнему времени полей и безлистных перелесков, приютился ветхий домишко, вросший тылом в полуразрушенную, проросшую вьюном стену старого пакгауза. Автобус приходит сюда, на конечную остановку, лишь раз в два часа, а по выходным и вовсе раз в день.

Суббота. Голубеет небо, на окрестных, здесь и там слегка припорошённых снегом полях заметен первый лёгкий оттенок зелени — это сквозь мёрзлую ещё землю пробивают себе дорогу к солнцу всходы озимых.

Подъезжает и останавливается автобус. Не торопясь, степенно, с просветлёнными лицами, из него друг за другом выбираются два-три десятка пассажиров. Так же степенно направляются они к скромному домику у пакгауза. Женщины стройны и одеты с пуританской строгостью, мужчины подтянуты, широкоплечи, почти в каждом чувствуется недюжинная сила воителя, привычного к тревогам и лишениям нашей беспокойной жизни.

Я присоединяюсь к ним возле дверей домика. «Здравствуйте! — говорю я, ни к кому конкретно не обращаясь. — Я журналист, вам обо мне звонили. Вы позволите мне присутствовать на службе?»

Ответом мне—открытые, заинтересованные, улыбающиеся лица. Пожилой, убелённый сединами прихожанин, ста́тью и одеждой напоминающий бывалого моряка, радушно растворяет двери домика, пропуская меня вперёд.

Я представляюсь «хозяину» дома, средних лет человеку с открытым, полным любви взором, облачённому в длинные просторные одежды. «…?—переспрашивает он, бегло взглянув в моё удостоверение.—Как же, как же… читал ваши заметки. Многое очень верно ухвачено… Проходите, устраивайтесь».

Наскоро записав начало очерка, предназначавшегося для клерикального журнальчика, я действительно прошёл в молитвенный зал и сорок минут проповеди вертел головой и предавался размышлениям.

Местные женщины сложены своеобразно. Темноволосные примеси в крови сказываются у них только в форме и выражении лица. Встречаются очень изящные, точёные личики. Вероятно, и кожа до преклонного возраста остаётся довольно гладкой и упругой, выпирающее «здоровье» только разглаживает её. Я думаю, это оттого, что здесь полно и картошки, и яблок, Инь и Ян, как это по-модному называет наш завред, матёрый публицист Ларка Володимерова. На стыке полярных начал и возникает своеобразный генотип…

Наконец я прощаюсь с паствой и отправляюсь шарить по местным магазинчикам: на периферии порой удаётся ухватить немыслимый дефицит—книги, автомобильную краску редких цветов, какие-то копчушки… Завтра мне предстоит на целую неделю отправиться в район и таскаться по нему, собирая фольклор,—это уже для другой организации…

Летом—а у меня, как у факультетского ассистента, отпуск два месяца—благодаря знакомым мне удалось получить заказ на работу в Комарово, сразу на нескольких дачах известных в Ленинграде личностей—можно сказать, знаменитостей. Я наклеивал по периметру оконных рам серебристую фольгу, прокладывал провода, устанавливал и подключал коробочки сигнализации—в общем, оборудовал недвижимость по последнему слову тогдашней техники, в то же время косвенно понижая уровень комаровской преступности, а именно ту его часть, которая касалась краж со взломом,—явления, увы, в тех краях нередкого. Этот социальный аспект моей деятельности приятно грел душу, и с каждой поставленной под сигнализацию оконницей таяло тоскливое беспокойство по поводу оставшейся в Питере на лето Саши. Ну что ж—Саша и Саша… Существо по-своему редкостное, но… Будем искать. Не одна же она такая…

Дело с сигнализацией было выгодным и спокойным. Владельцы одной из дач уехали к морю, я жил в их хоромах и отлучался в Ленинград лишь изредка, уже к концу второй недели заметив, что ощущаю раздражение от необходимости хлопотать и двигаться. Бытие определяет сознание, это научный факт. И моё бытие постепенно превращало меня в сытого, неспешного и готового к приключениям дачника: работа отнимала не более шести-семи часов в день, в остальном я был предоставлен самому себе…

Сперва появилась Гюльнара, ввиду миниатюрности вскоре редуцированная до Гульки, причём безо всякого ущерба для теплоты отношений. Девица училась в провинциальном театральном училище «на артистку» и приходилась дальней родственницей кому-то из комаровских.

Покрыв дефицит в аспекте плотском, я тут же принялся озираться в поисках ценностей духовных.

С этим, однако, долгое время не клеилось. Маститые петербургские дамы, музы и вдохновительницы молодых дарований, верные (или неверные) подруги петербургских мэтров—в Комарово совершенно расхлюстывались, переставали поддевать лифчики и выгуливали свои анабасисы от дачи к пляжу и с пляжа в магазин в немыслимо обтягивающих пёстрых заграничных лосинах и таких же заграничных футболках-безрукавках. Рубенсовские формы в такт ходьбе колыхались… в общем, после случайного разговора в очереди у сельпо с Модестом Аполлоновичем и ещё пары таких же случайных встреч с ним на комаровских «пятачках» я решил прекратить поиски духовного. Мой отпуск полностью упорядочился: несколько часов работы рано утром, так чтобы часам к десяти оклеить фольгой и подключить к охране очередные окно или дверь. Затем пляж, потом обед—и следом за ним потная сиеста с Гулькой. Отправив домой мою пассию и часок отдохнув, я подключал ещё одно окно и затем отправлялся к Аполлонычу. Вечером в выходные приходилось порой уступать Гулькиной потребности подвигаться на людях—мы шли на танцы в Дом писателей, я откровенно скучал, а Гулька радостно впитывала дань внимания и восторгов со стороны мужского писательского бомонда.

У Модеста Аполлоновича страшно интересная судьба. Он начинал ещё с Лениным: я сам видел фото, на котором подросток в фуражке ремесленного училища Модест с выпученными от важности глазами стоит на краю шеренги советских работников, снявшихся вместе с Ильичём. Вождь—степенный, в жилетке и при галстуке; и это не какой-нибудь субботник на московском или петербургском заводишке, где он решил поиграть в пиар,—на снимке кадровые партийцы, управленческий персонал, единомышленники и сподвижники.

Аполлоныч—наверняка гэбэшник. Не то чтобы он об этом как-то намекнул или обмолвился, но уж

слишком много он знает — и это не сермяжное, плебейское знание типа «белые плохие, красные хорошие», нет, это знание человека, над массой вознесённого и стоящего от неё как бы слегка в стороне. Знание наблюдателя, шпиона.

Модест Аполлонович начинал в Наркомате продовольствия и, по сути, готовил там под руководством Амалии Лазаревны Селивёрстовой почву для будущих мичуринских опытов. До сих пор он охотно цитирует приписываемый (и, кстати, ошибочно) Мичурину слоган: «Мы не можем ждать милости от природы».

— Это как вы, Алик, с вашей Гулей... — замечает он. — Взял и... трахнул, как теперь это называется. Часы идут; нет времени дожидаться, пока груша дозреет.

— Она совершеннолетняя, Модест Аполлонович... — возражаю я.

— Жизнь прожить... — раздумчиво щурится мой собеседник, — это вам не поле перейти.

— Извините за банальность... — вставляю я.

— Вы знаете, что Луна удаляется от Земли? — без перехода замечает он. — На изрядное расстояние ежегодно. И происходит это из-за приливов и отливов. Попусту переливающаяся вода что-то оттягивает из гармоничной системы вращающихся планет. А мы ещё собираемся строить приливные электростанции... Усугубляем, так сказать...

— Вряд ли эта модель переносима на повседневность. Если, конечно, вы не намекаете на прелести прогуливающихся по Комарово матрон. Как у них обстоит дело с сохранением импульса?

— А вы порой грубоваты... Нехорошо... Представьте... вы отправились с Гулей поплавать. Не здесь, в Комарово, а дома, посреди зимы, — в какой-нибудь уютный спортивный бассейн. Скажем, общества «Трудовые резервы»...

— Гуля не ленинградка, она здесь на каникулах...

— Не важно, отправьтесь под Новый год навестить её в её тьмутаракани и пойдите там в «Трудовые резервы». Представьте: пурга за окнами, шубы и шапки сданы в гардероб, а вы, полунагие, плещетесь и резвитесь в лазурных струях...

— Хлора... — снова вставляю я, как будто чёрт подталкивает меня изнутри противоречить.

— Хлор не лазурный, — степенно возражает Модест. — Хлор — хороший окислитель и очень удушлив. Порой я сержусь на вашу потребность эпатировать. Надеюсь, что это у вас лёгкая возрастная простуда... Итак, вы резвитесь в струях; ваша спутница, желая развлечь вас, делает, задержав дыхание, сложный пируэт под водой и, счастливая, выныривает на поверхность прямо перед вашим носом. Радостная, открытая улыбка, лучащиеся чувством глаза... настолько, насколько можно лучиться, будучи заливаемым потоками текущей с купальной шапочки воды. Или ваша подруга плавает, так сказать, простоволосой? Далее... При прочистке носа в дыхательных каналах вашей спутницы отделяется от богатой сосудами стенки слизистая корочка грязновато-оливкового цвета, называемая в просторечии соплёй. «Соплёй перешибёшь» — вы слышали, конечно, эту характеристику по адресу людей хрупких, слабых и тощих...

— Кажется, мой эпатаж заразителен... Гулька не сопливая, Модест Аполлонович. Хотя я, кажется, понимаю, куда вы клоните...

— Верю, надеюсь, дорогой мой. «Амбивалентная логика материально-телесного низа», как выражался учёный Бахтин.

— При чём же здесь низ? Низ под водой...

— Я ценю ваш юмор... — Модест Аполлонович радостно всхохатывает. — «Низ под водой...» Это здорово! Даже если это получилось у вас случайно...

Если ехать в Германии в поезде местного следования и не в час пик — запросто может привидеться родина. А тут, как на грех, и остановка на месте нашего конторского пикника называлась знакомо и незатейливо: «68er km»... «68-й километр»... От Финляндского вокзала электричка тащится до него не меньше полутора часов. Входят и выходят пассажиры. Ленинградская публика, в городской одежде и со столичными выговором и манерами, постепенно сякнет числом, стушёвывается, редеет или, наоборот, группируется где-то в углу вагона, независимо от исходной, при посадке на вокзале, совместимости или несовместимости, всё более вытесняемая «областными» — пьянчугами, рассчитывающими в обеденный перерыв закупить пару «фугасов» портвейна на соседней станции, усталым агрономом или землемером, сопровождаемым едва созревшей девчонкой-нарядчицей с холщовой сумкой на ремне через плечо и в замызганных резиновых сапогах, совхозным снабженцем в «немарком» костюмчике моды пятидесятых, так ни разу и не отданном в чистку, дачниками, рассчитывающими, как и пьянчуги, на большее изобилие в магазине потребсоюза на соседней станции («возможно, завезут сосиски!»), — это совсем иной, нестоличный контингент, встречающийся в транспорте, вероятно, повсеместно на некотором отдалении от крупных городов и составляющий в этнографическом смысле серединку на половинку нашего пёстрого народа — немыслимо далеко от арбатских кривляк и так же далеко от упитой и поколениями укатанной неурожаями череповецкой глубинки. О дальних палестинах, вроде Сибири, распространяться не станем — это тема особая, отдельная. Да и есть у российского Северо-Запада своя неповторимая специфика, свои ландшафты, свои каноны, свои человеческие типы. Что нам до Сибири?..

К этой публике в майско-июньское время добавляются стайки студентов с рюкзаками и неизбежными гитарами. Молодёжь отправляется

в ближний поход: взяты напрокат палатки и спальные мешки; запасены крупы и картошка; спички и соль тщательно обёрнуты полиэтиленовой плёнкой и перехвачены резинкой; прогуливаются лекции, семинары и лабораторки — всё это с каким-то весёлым отчаянием: сессия на носу, зачётов сдано едва ли половина — как тут не махнуть на всё рукой и не слиться хотя бы на пару деньков с ненавязчивой северной природой?

Гитарист-недоучка бренчит подходящее к случаю туристическое *(«Люди идут по свету, им вроде немного надо…»)*; студенточки зримо томятся и с трудом ворочают очами; парни, примерив ещё на вокзальной платформе антураж защитников и рыцарей, так и тащат его в поезде, нимало, кажется, им не тяготясь… а если к тому же ещё и вечереет, и небо за поездными стёклами розовеет, краснеет, а затем лиловеет (агрономы и девчонки-нарядчицы к этому времени уже сидят в своих бревенчатых домишках перед мигающими серо-голубыми экранами), то обстановка делается мреющей, романтической. Особенно если на Финляндском была предусмотрительно прихвачена пара пива и вторая бутылка как раз подходит к концу, а до шестьдесят восьмого километра ехать осталось ровно четверть часа… Романтика тут легко трансформируется в умиление.

Можно снова выйти покурить в тамбур, поглазеть на мелькающие под сцепкой вагонов шпалы и снова, как впервой, поразиться одарённости народных сказителей и боянов. Вот из надписи «Двери открываются автоматически» путём простого сцарапывания лишних букв и их элементов возник очередной шедевр фольклора: «Двери отрыгаются магически». Потрясающе! Вместо «магически» может стоять «ароматически», при этом «р» изготовлена подскабливанием «в» и несколько выпадает из строки графически… но не семантически.

Бывает, что надпись-предупреждение предваряется императивом «не прислоняться». Тут творческая задача оказывается не по зубам народной самодеятельности, и от надписи остаётся банальное и бессвязное «слон», либо она соскабливается до безвкусного «не писоть», требующего от читающего воображения и известной меры испорченности.

В конце 1954 года Модеста Аполлоновича взяли в ведомство Молотова. Вячеслав Михайлович, не досыпая ночей, перекраивал концепцию и структуру мида, и мой тогда совсем ещё молодой собеседник оказался свидетелем и соучастником больших перемен. «Композитор», — ласково отзывался он о министре, намекая на не менее, чем польский стратег, знаменитого однофамильца Скрябина. Монгольской поездки Молотова Аполлонычу удалось, однако, счастливо избежать, и вот тут, я подозреваю, произошёл его переход в «органы». Ну что ж, во все времена кому-то приходилось браться и за эту работу, бороться с тем, что мешало стране строить коммунизм. Хороша ли была затея? Тут выбирать не приходится. Ведь насаждали её не татаро-монголы, не оккупанты, не Рюриковичи какие-нибудь, а свои же — лучшие из лучших, горластейшие из горластых. И Сахарову, и Солженицыну дали бесплатно выучиться в вузе, а Сахарову так ещё и не раз помогали на учёных советах, на защитах диссертаций. Откуда он получил деньги на бомбу? Уж точно не от Рюриковичей…

Каждое формирование по интересам имеет свои «геополитические» цели. Группа лгбт претендует на недорогое удобное помещение в коммунальном клубе — правда, тогда там придётся потеснить корякский фольклорный ансамбль. Мéста, денег, грантов, ископаемых, красивых пляжей — всего этого не так много, на каждого не хватает. Некоторые вообще столетиями живут без пляжей, купаются в проруби — как когда-то, помнится, Григорий Распутин. Люди всегда дерутся, с самого детства. За место за партой у окна, за право нести девочкин портфель из школы. Выхода нет. Товара маловато, «по справедливости» его не поделить.

Как если бы геморроя и так было недостаточно, постоянно возникают какие-то новые группы. И тоже со своими интересами. Они, понятное дело, тут же заводят себе маркеры — чтобы отличать своих от чужих. Ну вроде как если ты в Евросоюзе — будь добр принимать и кормить беженцев отовсюду, откуда в Брюсселе прикажут. Или любить всей душой лгбт, только что тут помянутых. Это маркер. Без него ты — чужой, неведомо откуда затесавшийся.

Я родился давно, в баснословные времена, в апреле приснопамятного 1956-го, когда начались реабилитации и освобождения из сталинских лагерей. Моего отца, военного связиста со специализацией по радиолокации, захватившего год войны с немцами и затем несколько месяцев войны японской, по окончании боевых действий оставили служить на Сахалине. Аэродром был совсем свеженький, выстроенный в 1943 году. Неизвестно, всё ли с ним обстояло благополучно в 1946-м, когда там появился отец, известно, однако, что посёлок, в котором мне через десять лет надлежало родиться, был взорван отходящими с острова японцами, людьми, очевидно, довольно жестокими, поскольку незадолго до взрывов, а именно восемнадцатого августа 1945-го, они подчистую расстреляли в Камисикуке, как он по-японски назывался, всех этнических корейцев, подозревая их в шпионаже в пользу ссср. Ничего удивительного — ни в отношении несчастных корейцев, к которым на Дальнем Востоке вообще относятся с большим предубеждением, ни в отношении лютости японцев: со времени взрывов в Хиросиме и Нагасаки на момент расстрела прошло соответственно чуть

больше и чуть меньше недели; японские офицеры, безусловно, получили об этом сводку и необходимые распоряжения.

Но вернёмся в Комарово, а то получится путаница.

Иногда набегали события, дела: кто-нибудь звонил из Ленинграда на вверенную моим заботам дачу, требовал встречи, или денег, или чего-то давно обещанного. Я собирался, тщательно запирал все окна и двери, затем находил Гульку и после горячей минутки в её объятиях отправлялся на станцию. Модесту Аполлоновичу я оставлял записку: «Уехал в Л-д. Буду завтра к вечеру».

Жена отправилась на всё лето к родственникам в деревню, в квартире царили полумрак и запустение. Да я, по сути, и не бывал в ней во время моих коротких наездов в город: прямо на Финляндском нырял в метро и целый день затем раскатывал по городу, устраивая и улаживая дела. Иногда оставался переночевать у какой-нибудь подружки, упрямо минуя Сашу, или, если было по пути, закатывался под вечер домой с парой приятелей. Мы пили «сухач», трепались о музыке и целомудренно обсуждали научные проблемы, а в полпервого приятели браво отправлялись к метро.

Надо сознаться, что Гулька изрядно меня выматывала, поэтому дополнительные супружеские измены совершались не от приапической неугомонности, а скорее по инерции тела, привыкшего в Комарово изо дня в день дважды, а то и трижды освобождаться, так сказать, от бремени. Как если бы организм у меня теперь сам собой выработал антитела на воздержание. До сих пор некоторые из моих ленинградских подружек того лета поминают мне эти мои доблести в койке, относя их по девичьей наивности к тому, что я, как они полагают, «соскучился»... Нет-нет, просто Гулька растормошила мне организм.

Отлучки в Ленинград, естественно, вредили моей дачной упорядоченности. Гулька что-то подозревала и тоже теребила глагол «соскучиться», а Модест Аполлонович, пожалуй, даже ревновал: мой собеседник жил в Комарово весь год, и зимой тоже, мои отъезды, очевидно, напоминали ему, что лето преходяще и что на девять грядущих месяцев круг его светского общения будет снова до обидного сужен. Я тоже порою скучал по нему в городе, по нашей неторопливо текущей трепотне в тёплых надвигающихся сумерках со стрекотом цикад, поскрипыванием приоткрытой в соседнем доме двери и ночными бабочками, уже собиравшимися стайками у начинавших тут и там зажигаться фонарей; прочая мошкара рассаживалась на ночёвку на белеющие в сумраке квадраты затянутых марлей окон.

Но раньше всех появлялись они—бич дачников в северных широтах. Кстати, комары в Комарово, как я установил тем летом, значительно более кусачие, чем в самом Ленинграде: в городе они, очевидно, слабеют от чада автомобилей и смога.

Во всяком случае, назойливый писк и отдельные хлопки ладонью по собственной щеке, шее или коленке составляли неизменный фон наших диалогов, а чесавшиеся весь следующий день укусы привели в конце концов к тому, что мы сместили время наших диспутов на послеобеденное. Это, в свою очередь, ударило по графику наших с Гулькой совокуплений, а когда она через некоторое время докопалась до причины сдвига графика, то затрещали и сами отношения, и так вобравшие к этому моменту достаточно неразрешимых несвязностей из-за особенностей наших с Гулькой характеров.

И хорошо. Девчонке следовало заканчивать училище и становиться актрисой, чему взрослый и технически образованный дядька с ленинградским снобизмом и капризами мог скорее помешать, чем помочь. Да и о неуклонно надвигающемся возвращении из отпуска моей законной супруги тоже следовало подумать.

...Посёлок Камисикука имел японскую жандармерию, куда поначалу и приволокли арестованных корейцев,—и это на острове, который мы привычно считаем давним русским владением. Расстреляно-то было «всего» восемнадцать человек, что в ходе боевых действий (Советская армия как раз наступала с севера острова), конечно, порою случается. Сама Камисикука являлась тогда обычным шахтёрским посёлком, относящимся к губернаторству Карафуто. Это не весь Сахалин, а только южная его часть, начиная от пятидесятой широты и ниже, примерно половина. Земли эти по 1945 год входили в состав Японской империи, а потеряли мы их в ходе Русско-японской войны 1904–1905 годов и отдали японцами по Портсмутскому мирному договору, который с российской стороны подписывали С. Ю. Витте, председатель «комитета» министров, и Р. Р. Розен, гофмейстер. Вообще, как я понимаю, гофмейстеры следят при дворе за порядком и протоколом—а тут вот барон Роман Романович (отца его звали Роберт-Готлиб) отправился в город Портсмут, штат Нью-Хемпшир, отдавать японцам пол-Сахалина. Ну... видимо, такие были времена—Распутин, гемофилия наследника престола и прочее.

Портсмут, небольшой городок, расположен в устье реки Пискатака, название которой по случайности как бы перекликается с Сикукагавой—так называется речка, на которой стоит Камисикука. Отсюда мораль: построенный в 1943 году в Камисикуке аэродром вовсе не был советским—отец, как это называется, принял бывшее японское хозяйство. Чьи ему под начало достались радары, теперь уже неизвестно: радарной техникой ещё до начала вторжения в Польшу в 1939-м владели

и наши, и американцы, и японцы, и даже французы, итальянцы и голландцы.

— …Кстати,— вдруг подхватил Аполлоныч недавно мелькнувшую у меня мысль.— Я давно хотел вас спросить… А что супруга? Раз уж вы, так сказать, как-то о ней упомянули… Нет-нет, если вам неприятно…
— А что супруга, Модест Аполлоныч? Супруга в деревне. Баба с возу… другая баба, конечно, сразу на воз. Не «навоз», а «на воз».
— Да-да, каламбур. И неважный, простите… Вы иногда бываете по-настоящему грубы. Это не цинизм, не эпатаж. Это именно грубость, если позволите.
— Здесь совесть моя чиста: я груб, если предмет разговора меня к этому вынуждает.

Комары постепенно зверели — эта «ложка дёгтя» северных широт, заставляющая мечтать об океанском муссоне, сдувающем к чёртовой матери пищащую кровососущую нечисть. Хотя на океанском берегу — свои погремушки: Хемингуэй, к примеру, пил до посинения. Отчего это, спрашивается?

— Вы думаете, у нас возможно предпринимательство?— спросил однажды Модест Аполлонович, когда закончилась случайная радиопередача о новаторах и инициаторах.
— Почему же нет? Мамонтовы и Морозовы если и перевелись, то в любой момент снова могут народиться. Если социум дозреет…
— Нет-нет, я имею в виду некий специальный национальный дефект. Эту особую потребность быть хотя бы для себя на голову умнее других. Обдурить, обмишулить. Помните этого унылого мальчика в «Двенадцати стульях», который таскал вёдрами воду из одной бочки в другую? Мне кажется, в каждом нашем предприятии, в каждом начинании забито, запрограммировано это звено: мальчик с вёдрами. А когда приходит налоговая инспекция, предпринимателю становится… обидно, что ли: как же, его шутку с мальчиком не оценили. Недооценили. Ведь он так хорошо, классно всё придумал. А мальчик? Ну как же без шутки? Что мы, немцы, что ли? Русскую душу не загнать в бизнес, в рамки производства, заказов, стабильности и надёжности. Ей нужна отдушина…
— Не знаю,— ответил я, потянувшись.— Я бываю в паре домов, где есть большие деньги. Они не вполне бандиты — эти люди. Но и не счетоводы с пасеки, конечно. Там другое. На бытовом, семейном уровне…
— Что же?

Аполлоныч тревожно повёл головой на комариный писк, но, не разглядев в сумерках обидчика, снова повернулся ко мне.
— Здоровенные мужики, Модест Аполлонович,— при деньгах, заметьте, и при деле — позволяют орать на себя спутницам жизни: жёнам или просто подружкам, существам зачастую вполне средним, легко заменяемым и, так сказать, не вполне соответствующим. И физически мелким. Знаете, у офицеров бывает такая беда по службе: предупреждение о неполном служебном соответствии?
— Оставим пока в стороне офицеров. Прошу вас, не виляйте…
— Так что же движет этими мужчинами?— продолжал я.— О женщинах я не говорю…
— Разные вещи,— задумчиво проговорил Аполлоныч.— Разные. Во-первых, они боятся разрушить образ. Ими самими же созданный образ хрупкости и беззащитности. Во-вторых, не признают в партнёрше — особенно в мелкой, как вы выразились,— ровню, с которой можно говорить по-свойски.
— Два — ноль в вашу пользу. Мне нравится этот экспромт. И дальше?..
— В третьих, они, безусловно, опасаются признать-таки в партнёрше ровню, а значит — реагировать соответственно.
— Как?
— Ударить… И ввиду большой разницы в весе убить или, хуже того, безнадёжно покалечить. Кому это нужно?

Аполлоныч наотмашь врезал себя по уху. На ладони остался длинный кровавый след.
— Сволочь,— прошипел он, отирая останки насекомого о свои холщовые «садовые» штаны.
— С коммуникацией вообще не всё так просто, как кажется,— заявил я, слегка кокетничая.
— Это точно…
— Я имею в виду, что каждый мешает каждому.
— Как?
— Нас мальтузиански много. Мы загораживаем солнце друг другу, если можно так выразиться.
— Вы имеете в виду очереди?
— Нет, Модест Аполлонович. В любом людном месте, за малыми исключениями, человек думающий, скромный не может не ощущать себя помехой. Поэтому такое патологическое желание дома, собственности, крепости…
— Интересно…
— Человек мешает окружающим как бы уже самим фактом своего существования, тем, что он стоит и отсвечивает. А того хуже — говорит. Вам не знакомо это ощущение? Оно здорово передано в «Лолите»: помните, когда любовник польской жены Гумберта, кажется, Валечки, не сливает воду в сортире, чтобы грохотом слива не дать почувствовать хозяевам, как ничтожно мала их квартира? Этого, возможно, не понять человеку, повзрослевшему в трамвае, где все слабы и каждый поэтому открывает пасть… дерёт глотку…
— Ну-ну… Трамвай — не худшее изобретение человечества.

Тут Аполлоныч звучно хлопнул себя по щеке, затем по лодыжке, а также попробовал дотянуться до лопатки. Наваливалась комаровская ночь.

…В октябре сорок седьмого посёлок переименовали в Леонидово, а речку — в Леонидовку, в честь погибшего здесь Героя Советского Союза Леонида Смирных, комбата 179-го стрелкового полка, особо отличившегося в боях за «освобождение» Южного Сахалина. Смирных, только что взявшего со своими бойцами японский укрепрайон, подстрелил снайпер. Произошло это шестнадцатого августа 1945 года, за два дня до «камисикукского расстрела», и укрепрайон находился не в будущем Леонидово, где вовсю ещё бесчинствовала японская префектура, а у посёлка Котон, нынешнего Победино, Поронайского района. В округе сейчас тринадцать сёл и посёлок городского типа с названием Смирных. Это и есть Котон (или Кетон), где подстрелили комбата. Кетону, таким образом, досталась фамилия героя, а Камисикуке — его имя. Вот такая история…

Я родился в женский праздник, восьмого марта, — неудивительно, что гетеросексуальность надолго, если не навсегда, сделалась моим кредо: звёзды не обманешь, а если ещё и Сатурн в Козероге — то, в общем-то, всё, сливай воду, как говорилось в народе до введения в обиход антифриза. И в ретроградной фазе тут не обойтись без разборов, анализов — что, собственно, и занимает меня чуть ли не всё время досуга, лишая сна и покоя. Хочется знать правду… хотя где её, правду, найдёшь, когда всё везде зашлаковано и закислено безвозвратно?

Отец что-то мерил прибором по службе, находясь в краткосрочной командировке «на островах», как наши местные граждане называли Курилы, а мать в тот день поехала с кумушками на толкучку в городок Мисикуру в бывшем японском секторе Сахалина, и там, прямо на рынке, у неё пошли схватки — японцам ничего не оставалось, как пригнать санитарный фургон и отвезти мать рожать в свой местный госпиталь, оставшийся от военных.

Отец, вернувшись, увидел меня уже вполне крепким и самодостаточным десятидневным подростком: японцы перевезли мать на четвёртый день после родов к бывшей границе и сдали под роспись нашим военным властям. Кстати, гражданское право трактует ребёнка до девяти дней от роду как существо неосмысленное, по-прежнему, как и в ходе беременности, называя его неприятным словом «плод»; на десятый же день, при встрече с отцом, я уже сменил статус, превратившись из плода в юного советского гражданина, пусть и сомнительного — в смысле места рождения — происхождения.

И отец, и мать получили по службе взбучку, но приграничная торговля у нас тогда не возбранялась, поэтому и взбучка была несильной: отцу достались несколько внеочередных дежурств у себя на станции и запись в личное дело, а матери влепили выговор с невнятной формулировкой. Этим всё и кончилось, если не считать особиста из военной части, который, переписывая мою содержащую сплошные иероглифы японскую метрику в бланк свидетельства о рождении, на чём свет стоит ругал либеральные сахалинские порядки и обещал жаловаться «на самый верх». В целом же моему появлению на свет все были рады — детей тогда просто и бескорыстно любили.

Тяга к другому полу дала знать о себе весьма рано, а первые опыты плотского принесли нехарактерные для мальчикового возраста хлопоты: айны, коренной народ Сахалина, всё ещё в массе своей существа девственной культуры; раннее созревание девочек воспринимается у них впрямую, знаково, а таких девчонок-айно в классе у нас было пятеро. Но об этом здесь лучше умолчать, чтобы не перегружать, так сказать, ткань повествования…

Потом отца перевели служить в Ленинград, город нервный и пасмурный. Целомудрием, как известно, Питер тоже не отличается; тут мои впечатления стало просто некогда осмысливать: мальчик, как говорится у классиков, «навидался видóв». Что же до теории, то она долгое время оставалась для меня совершенно закрытой книгой: Франсуазу Саган я прочёл уже вполне взрослым и долго недоумевал, долистав книжку до последней страницы: неужели всё *у них* действительно так? «Ты наивный, просто как дурак!» — заметила мне тогда супруга, с которой я неосмотрительно поделился впечатлениями…

…Тем временем в городе назревали перемены. Вовсю ходили анекдоты о перестройке, самые шустрые из цеховиков, ко всеобщему удивлению, становились легальными миллионерами и уверенно двигались в политику, блатные «общаки» вылезали на поверхность и удесятерялись в считаные месяцы, на улицах запестрели атласные спортивные костюмы и обритые головы новой национальной гвардии — телохранителей и вышибал всех мастей и весовых категорий. Как грибы росли и множились школы восточных боевых искусств. Популярными и общеизвестными стали словечко «кидала» и коренной его глагол «кинуть».

Супруге в деревне было, безусловно, хорошо. Ростки новой жизни пока не набрали достаточно сил, чтобы пробиться сквозь плетни и околицы в сердцевину отечественной глубинки. Парное молоко имело соответствующий наименованию вкус, а доярки по-прежнему не задумывались о предохранении.

В середине августа я снова оказался по делам в Ленинграде и, намотавшись два полных дня по потным и липким улицам, в одиннадцатом часу вечера дотащился наконец до супружеского ложа. Наша высотка хорошо продувалась ветерком с залива: дома было почти прохладно. Я неторопливо

обошёл комнаты, проводя на ходу пальцем по верху серванта, комода и тумбочек. Пыли собралось предостаточно—к приезду супруги следовало запланировать полный день на уборку. Из трёх настенных часов (дешёвые импортные поделки: большой циферблат и слабенький механизм на тощей батарейке) двое стояли. Этот факт на удивление сильно меня растревожил: я вспомнил оставленную в Комарово Гульку, пляж в знойный полдень, вечерние танцульки по выходным—и на сердце неприятно заскребло.

А вот ещё тоже вспомнилось… Одной моей давнишней подружке было, ввиду её замужнего статуса, страшно трудно выкраивать время для наших свиданий, при том что вообще-то она отлучалась с работы часто, поскольку «заведовала информацией» у себя в отделе и поневоле регулярно бывала в библиотеках и патентном ведомстве. Ясно, что человек в библиотеке недосягаем ни для мужа, ни для начальства—по крайней мере, по телефону. Это открытие навело нас в один прекрасный день на счастливую мысль превратить бездарно улетающие библиотечные дни в праздник любви. К тому времени мы уже попробовали и гостиничные номера, и взятые у приятелей на пару часов ключи от квартир, но эти похождения оставляли явственное послевкусие брезгливости… после таких свиданий мы расходились скорее усталыми, чем довольными: какие-то бесконечные шумы и шорохи за стенкой, чужая грязь…

А идея родилась вот какая. На утренний поезд в Москву брались билеты в СВ. Такие же или слегка попроще приобретались на встречный поезд, выходивший из Москвы утром того же дня. И в Бологом происходила пересадка. «Это что за остановка? Бологое иль Поповка?»—как писал классик. В результате—три часа сладкого единения, обед и неторопливая прогулка вокруг вокзала в Бологом и—неспешная, ласковая дорога назад. Народу везде было мало: кому охота проводить в московском поезде светлый день?.. С тех самых пор у меня дома хранился толстенный железнодорожный справочник.

Недолго полистав его, я нашёл сравнительно удобный поезд в сторону супругиной деревни. Трамваи ещё ходили. Собравшись и уложив какие-то мелочи в старый потёртый портфель, я запер квартиру на два замка и двинулся на вокзал.

Билетов в кассе на мой поезд не было, но я, прогулявшись вдоль поданного на посадку поезда, выбрал проводника поприятнее и, когда вагон тронулся, легко шагнул с перрона в дверь, выставив вперёд ладонь с прижатой к ней большим пальцем на манер пропуска купюрой. Банкнота перекочевала в карман к железнодорожнику, а я оказался в узком служебном купе, через стенку от купе проводника. Здесь всё было завалено матрацами и одеялами, я быстро организовал себе поистине царское лежбище и с удовольствием вытянул ноги: сходить мне следовало в полчетвёртого.

На полузнакомой-полузабытой станции мне сперва пришлось помаяться до первого автобуса, а затем я славно подремал в нём самом, несмотря на толчки и тряску, вызванные скверной сельской дорогой.

…Машу я увидел ещё за три дома. Нагибаясь, она обрывала с грядки в огороде огурцы и складывала их в прижатое к животу небольшое пластмассовое ведёрко без ручки. Сердце у меня ёкнуло, диафрагма сама собой подтянулась—ничто человеческое нам не чуждо: она уехала в середине мая, значит, я не видел, не чувствовал её почти два месяца. Соскучился, как свидетельствовала диафрагма.

—Маша!..

Она медленно, плавно обернулась. Я сиял из-за калитки глупой и радостной физиономией.

—Вы-ы?—протянула она, всё шире раскрывая глаза.—Да входите же! Что же вы стоите?!

Порывисто и мягко—босиком—она шагнула мне навстречу по выложенной старыми черепицами дорожке, а я уже открывал скрипучую калитку и втискивался в неё со своим портфелем, цепляясь за проволочные щеколды, ржавые гвозди и не видя ничего, кроме её огромных, бездонных зрачков.

—Радостно…—прошептала она тихо, повисая у меня на шее.

—Машенька…

Пахло рекой, травой, молоком. Женщиной.

…Маша—виолончелистка в одном солидном струнном квартете. Фамилия у неё диковинная и очень известная, приводить её здесь я не буду. Внутренние поверхности бёдер у Маши—то, что немцы зовут Samt und Seide… Это нельзя объяснить…

К слову, о немцах: Ленин—по свидетельствам биографов—выучил в тюрьме немецкий язык. Немецкий я уже знал, поэтому, попав в тюрьму в Крефельде, почти сразу принялся за дело—наведение мостов, постановку удара и прочее.

Одиночку мне дали за нервный характер. В следственной камере у меня был сосед. Как только за охранником закрылись двери, я принялся настаивать на своих привилегиях в настолько жёсткой форме, что вскоре глаза у моего противника закатились, и он мягко повалился на пол. Тут же, откуда ни возьмись, появились охранники, грубо и жестоко отлупили меня, разбив все губы и наставив синяков на рёбрах, и под руки выволокли моего сокамерника в светлый и просторный тюремный коридор.

Первую прогулку я получил лишь неделю спустя после этого случая и был приятно удивлён интересом и вниманием, которые оказывали мне прочие выпущенные во двор заключённые,—история

с моим бывшим сокамерником, безусловно, уже распространилась среди сидельцев.
— Na, russische Mafia?..— полуспросил-полуотметил с головы до пят татуированный и изрезанный по всем возможным местам крепкий, пахнущий дорогим парфюмом субъект с длинной русой гривой, забранной сзади в хвост.

Неторопливо оглядев меня, он вразвалку ретировался к кучке таких же коренастых ублюдков, каждый из которых был, по моим вывезенным из незабвенного отечества меркам, несколько жирноват.

...Ещё пару часов мы с Машей были заняты обычной дачной рутиной: я таскал воду из колодца, она что-то месила в кухне, старушка-хозяйка появлялась то тут, то там и безмятежно-радостно, как родному внуку, улыбалась мне беззубым ртом. После молока, ягод, реки и бурной близости в потаённой ложбинке на мягких, резко пахнущих мхах я наконец сообщил Маше, что к вечеру должен снова попасть на вокзал.
— Это не очень-то любезно...— протянула она, смешно и по-детски надувая пунцовые закусанные губы.— Вы могли бы сказать об этом раньше или...вообще не говорить. Вы, возможно, станете смеяться, но я по вам скучала.

Я сделал глупую гримасу.
— Да-да, мой дорогой, я вспоминала некоторые наши с вами тамошние,— она повела головой в сторону, где, по её мнению, за лесами и долами лежала Северная Пальмира,— наши тамошние споры и сердилась и возражала вам. Вам действительно нужно уехать?
— Я не буду смеяться, Маша. Видите, я совсем не смеюсь...

В восемь вечера из-за дальнего, тёмного косяка леса вынырнул, приближаясь, автобус — смешной, коротенький, глупо подпрыгивающий на ухабах «пазик». Мы обнялись и коснулись друг друга губами. Да... В глаза ей лучше было не смотреть...

В автобусе я слегка вздремнул и в вагон подошедшего к перрону поезда взобрался бодро и уверенно. Попив чаю с нарезанным квадратами пирогом, который дала мне в дорогу Маша, я с усилием отогнал мысли о ней в дальний угол сознания и заставил себя лечь. Наутро мне предстояла встреча с супругой.

...Вечером следующего дня меня усаживала в поезд вся женина деревенская родня. Свой сдувшийся портфель я уложил на дно чемодана, набитого тёплыми вещами жены, не нужными более по причине установившейся погоды, а также связками грибов и банками с вареньем. Второй чемодан содержимым напоминал первый, а довеском шла перевязанная верёвкой картонная коробка, заполненная только банками с вареньем — без грибов и тёплых вещей. Весь этот груз надлежало отвезти в Ленинград, чтобы супруга могла приехать попозже и налегке. Благородное дело!.. Все так и говорили: «Вот какой молодец мужчина, это надо же догадаться — приехать пораньше и забрать вещи! Какое женщине облегчение...» Они называли супругу женщиной, используя форму третьего лица и нисколько не смущаясь её присутствием, она же посматривала то поверх их голов, то — вскользь — на меня. Какое всё же чутье!.. Потрясающе...

...Аполлоныч кинулся меня обнимать. Не знаю, возможно, я как-то незаметно для себя натерпелся в дороге, устал... Может быть, расшатал нервы — но глаза защипало, я отвернулся, а тут и Аполлоныч кстати осёкся, обмяк и сконфуженно отступил.
— Да-а...— проговорил он, странно разводя руками.— У меня для вас... скажем, неприятная новость. Вы, наверное, сразу к Гуле?
— Да, надо бы... А то обид потом не оберёшься...
— Не ходите. Она не обидится... Теперь уже...

Я скроил раздражённую гримасу, натянув угол рта кверху и сощурив глаз.
— Да что тут у вас происходит? Поветрие?
— Почему же поветрие? Это очень локально. Гуля, судя по всему, вам больше не верна. А уж ждёт ли она вашего возвращения — это вы выясните самостоятельно. Когда осмотритесь...
— Осмотритесь?
— Да. Надеюсь, вы не помчитесь сразу же выяснять отношения с шестнадцатилетней девчонкой?
— Восемнадцатилетней, Модест Аполлонович. Я уже говорил вам: Гуля совершеннолетняя.
— Да-да,— промямлил собеседник.— Послушайте...— он снова замялся.— А не хотите ли, как это говорится, дёрнуть пивка? Я взял тут по случаю в сельпо целую авоську.

Наши взгляды встретились.
— Разыграли...— проговорил я с плохо скрытой надеждой.
— А вот и нет...— Аполлоныч больше не улыбался.
— Раздраили вы меня, Модест Аполлонович,— грустно заметил я.— Раздраили и оконфузили.
— Вот разве что оконфузил,— проговорил он и двинулся к веранде.

Обычного нашего разговора в тот вечер не получилось: мы уничтожили всю запасённую Аполлонычем авоську пива, формально и поверхностно обменялись новостями, сдобрили пиво найденной в холодильнике полбутылкой «Столичной», после чего я отправился на танцульки и вскоре снял там какую-то несвежую гостью комаровских аборигенов, которая потом, в чаще, очень шумела, называя меня «милым» и «Серёжей».
— Если хочешь Серёжу, так и шла бы к Серёже...— наконец вяло проговорил я, поднимаясь с иглистой лесной подстилки.

Следовало подумать о сне, а также о моих оконницах и фольге — поездка к жене за вареньем здорово выбила меня из графика…

По тёмным сосновым аллеям я вскоре добрёл до своей резиденции… и тут чуть не споткнулся о Гулю, мирно дремавшую у меня на ступеньках.

— Ты что — дура? — с перепугу завопил я. — Чего ты одна таскаешься ночью? Хочешь, чтоб тебя изнасиловали?

— Пожалуйста… — проговорила она неприятным голосом. — Пожалуйста, не шуми.

— Ещё бы! — снова заорал я. — Кавалер услышит, в кустах дожидается! Кавале-е-ер! — и я, приставив ладонь рупором ко рту, повёл головой из стороны в сторону.

— Я его отправила, — жёстко и как-то тупо проговорила моя юная пассия.

— Отправила… — передразнил я. — Будь ты постарше, я бы не тратил на тебя сейчас ни минуты. Я только что наставил тебе рога и иду спать. Вопросы есть?

— Мы переспали всего четыре раза… — она с достоинством подняла глаза, в которых тут же отразилась невысокая луна. — Давай конструктивнее…

Я поморщился.

— Тебя не было пять дней…

— Четыре раза… — я многозначительно кивнул. — И ты усаживаешься в полночь у меня на крылечке и хочешь конструктивного диалога. Сегодня что же — не вышло?

— Сегодня как раз вышло. Два раза.

— Нерегулярность тебя погубит. Ты больна! Больна головой!

— Мне можно войти?..

Что я всё-таки нахожу потрясающим у творческой интеллигенции, так это способность бороздить бытовую эмоциональную пучину наподобие ледокола. Там, где плебей хватается за топор или салатницу, задыхаясь от нехватки аргументов, вербально полноценная, пусть даже пока и восемнадцатилетняя актрисочка с лёгкостью переключает доминанту. «Вы управляете сферами», — как говорил Хармс какой-то своей подружке.

«Примирение» с Гулькой прошло без эксцессов, и вскоре она уже спала, уткнувшись носом мне в подмышку, а я пялил глаза в дачную темноту, потихоньку пытаясь вытянуть свою руку из-под её головы, чтобы встать и покурить на крыльце. После Аполлонычева угощения страшно хотелось пить. Как же опьяняюще пахнут ночью у Гульки волосы…

…Но вернёмся к дежавю. Когда ездишь часто, типажи из ближнего к городу транспорта систематизируются и упорядочиваются, а в память впечатываются штампы — куски разговоров, жесты, коротенькие сюжеты. Потом — по необходимости или, наоборот, непрошено — они выныривают из глубины сознания и дублируют, чуть опережая, ситуацию реальную. Конечно, это не дежавю в привычном смысле — хотя бы из-за реальности и оригинала, и его дублёра в сознании, — это скорее накатанные рельсы первичного восприятия, навязчивые и повторяющиеся рефлексии, не забирающиеся, однако, чересчур глубоко в мозг и всплывающие сами собой при любом формальном повторении цепочек событий. Сложно… Неохота разбираться. Во всяком случае, когда сельская нарядчица в заляпанной обуви сходит на остановку раньше усталого агронома, я знаю, что она скажет ему при прощании. И почти никогда не ошибаюсь. А если приходится ошибиться, не расстраиваюсь и не прислушиваюсь — не хочу портить себе клише. Жить и так непросто — пусть хоть в мелочах всё идёт по-накатанному…

…Как-то — это было, наверное, в третьем классе — нас сняли с уроков и повезли на экскурсию на фабрику, «к шефам», как тогда говорили.

Мы все сгрудились в проходе между станками, внимая объяснениям взрослых. Из-за малого роста мне пришлось протиснуться за решётчатую клетку, поскольку иначе не было видно солидно поблёскивающих чугунных железок — гордости социалистической индустрии, а главное, нашей учительницы, скрывавшей под громоздким тёмным пиджаком свою невиданных размеров и, очевидно, немыслимой мягкости и теплоты грудь, к которой меня непроизвольно тянуло… мечты, мечты!.. Короче: иначе всего этого мне было просто не видно.

Минутой спустя что-то звякнуло, зажужжало, и в следующее мгновение тяжеленная, заполненная железками тележка переехала мне пальцы левой стопы: большой, средний и указательный. Конечно, указательный палец на ноге — это нонсенс, но что я тогда в этом понимал?!

Я завизжал, из расплющенного ботинка толчками забила кровь. В общем, с тех пор я здорово хромаю, хотя с годами и привык к этому: то, что вся картинка прыгает перед глазами с каждым моим шагом, я замечаю теперь, только когда крепко выпью.

В период созревания хромота мешала. В то время как сверстники группами и поодиночке гоняли по школьному двору одноклассниц, мои неловкие попытки не отставать от дружков всегда оканчивались неудачей: с моей покорёженной ступнёй девчонок было просто не догнать, а подначки и дурацкие шуточки со стороны моих здоровых, набиравших силу приятелей приходилось хлебать полной ложкой.

Зато я здорово натренировался швырять в цель кухонный нож или же с бешеной скоростью тыкать перочинным между пальцами прижатой к столу ладони — мы все тогда благоговели перед романтикой «зоны». Однако забавы с ножиком мало помогали в подвижных играх на переменах; в них мне отводились, конечно, последние роли.

«Писатель хренов...—скептически скажет тут, тяжело вздыхая, читатель.—И всё-то, поди, врёт...»

А вот и нет! И Комарово в сюжете отнюдь не случайно. К концу августа я тогда полностью справился со своим заданием, попрощался с Модестом и, жарко расцеловавшись на станции с Гулькой, отправился домой, в Питер.

С Катечкой мы познакомились в этой самой электричке до города—и, подъезжая к «Финбану», уже болтали как давние знакомые. Её родители сентябрь планировали провести на даче, и в пустой квартире мы ещё месяц затем наслаждались жизнью в своё удовольствие.

Катечка была сильно повёрнута головой в смысле ревности, и моя хромота её очень устраивала или убаюкивала... кто, мол, на хромого позарится?.. Наверное, у неё были на меня какие-то планы: во всяком случае, вскоре она забеременела. Мы, правда, сделали аборт, но тут вдруг супруга моя как-то нежданно подала на развод.

Нас развели быстро—уж очень много накопилось фактов о «несходстве характеров».

...Катя, кажется, снова была беременна. Мы решили пожениться. В ходе предсвадебной кутерьмы я сперва обнаружил, что невеста моя не блондинка, красит волосы,—а потом мне попалась на глаза её метрика, из которой явственно следовало, что Катя еврейка.

— Как же так, Катечка?—подъехал я к ней с вопросом.—Принадлежность к Богом избранному... и ты скрыла?..

— Дурак, поедем в Германию, наших туда впускают,—сказала она.—Представь: всё даром—сидишь себе дома и выходишь только в банк за деньгами или чтоб сдать пустые бутылки. А не хочешь, так и не сдавай...

Нас впустили через полгода после сдачи анкет, и всё так и оказалось, по-Каткиному: нас поселили в общаге, дали отдельную комнату, и деньги начали поступать на счёт. Соседи сказали, что на счету всегда должно быть пусто, поэтому мы сразу снимали все деньги, накупали еды и водки и месяц сидели тихо, пока снова из ниоткуда не появлялись деньги.

Так прошло три месяца. Супруга изнывала от скуки в общаге—я был даже рад, когда она стала целыми днями пропадать на курсах по изучению местного языка. Мне в курсах отказали: кто-то настучал чиновникам, что я говорю по-немецки.

Наконец-то у меня появилось время немного осмотреться, а то от скуки все эти три месяца мы тискались с Катькой в койке до послеобеда. Вообще-то я не бездельник, положение сытого безработного мне тягостно.

И я стал осматриваться.

Смотреть, однако, оказалось почти не на что. Вот старикашка, ходит с палочкой по асфальтированной дорожке взад-вперёд мимо общаги. И лет ему под сто, и висят вокруг рта жирные ефрейторские складки. Я сижу во дворе общаги за столиком и потягиваю из стакана бренди. С немецким бренди—тоже своя история: оно по-немецки—«вайнбранд», буквально—«винный пожар»,—ну что за дикость такая?! И этот «пожар» в местном сельпо называется «Шарлахберг», то есть «Скарлатиновая гора»—как в «Бриллиантовой руке», ей-богу: «Нью-Йорк—город контрастов».

Я смотрю на старикашку и его ефрейторские брылы, представляю себе скарлатину и как этот ефрейтор в Померании целился из окопа в моего деда. И попал...

На душе тут вообще часто тревожно. Возле общаги на газоне собираются всякие асоциальные типы: бездомные, наркота, панки,—усядутся на поребрик, расставят свои банки с пивом и сидят так весь божий день, лениво переговариваются, вычёсывают друг другу дрянь из волос, гогочут... И я во дворе общаги за столиком со стаканом «скарлатины» и несложным немецким романчиком-триллером.

Как же они меня нервировали!..

Тут мы впрямую подходим к моей тюремной истории.

Не стану вдаваться в подробности, но после моих решительных действий асоциальный элемент у забора общаги сдуло как ветром. Вначале некоторые бездельники прилегли на соседнем газоне, затем наиболее крепкие поднялись на четвереньки и попытались блевать, потом приехали скорая помощь и полиция. Пара придурков показала на меня немытыми пальцами, полицейские вошли во двор общаги и сцепили мои запястья наручниками. Ловко!

И вот теперь у меня отдельная комната в Крефельде. Правда, тюремный доктор считает, что я невменяем, так что меня, наверное, скоро выпустят. И Катька как раз оканчивает курсы.

А вообще, я считаю, жить надо дома, среди своих. Тевтоны чужие, учиться у них нечему, живут они тускло, так что смотреть не на что: всю неделю батрачат как проклятые, встают в четыре, едут на перекладных за сотню вёрст на свой немецкий заводик и потом так же обратно—серые, измотанные, бесцветные. Зато в выходные радуются, как дети, белёсым местным колбаскам на гриле у садового домика-будки и пиву без меры—вот и вся здесь наука...

Мне с моим немецким было, конечно, полегче, чем остальным: Германия мягко влилась в сознание, не вызывая ущерба. В лагере переселенцев на третий день, как из-под земли, вдруг обнаружились Люська с мужем, благодаря чему три недели ожидания промелькнули как один день, а в предписанном к проживанию городке разом навалились обстановка квартиры и мелкие побочные заработки. А потом к этому добавились всё же

языковые курсы и Соня… Имя русифицировано, по-местному надо говорить «Зонья».

Она была нативная немка, происходившая из крупного по германским меркам города, известного своим охватывающим центр транспортным кольцом, наподобие Садового в Москве, а также кокаиновыми дилерами и игорными домами—eine Stadt mit Flair, то есть с «флёром». Носительница местного языка постоянно подшмыгивала излишне розовыми ноздрями, наводившими на мысль о её тайной привязанности к белым кристалликам, и настаивала космополитически на замене чисто немецкого «з» интернациональным «с»—так что получалось всё-таки снова «Соня».

—Зоньетшка…—обращался к ней я, когда хотел поддразнить или позлить.

—Найн!—возмущённо выкрикивала розовоносая.—Кайне Зоньетшка, Сонья.

—Окей, окей,—миролюбиво соглашался я и лез к немке ласкаться: крупные, налитые ляжки и демократический резиновый «боди» сверху, охватывающий крепкую упругую грудь тридцатилетней бездельницы из «неблагополучной» семьи—разведённые и давно живущие порознь отец, владелец автомастерской, и мать, получательница соцпособия.

—Она звонит мне, только когда ей нужно перевезти что-нибудь тяжёлое, типа я её шофёр,—жаловалась Соня на родителей.—А отцу я вообще не нужна, у него другая семья и дети от новой бабы.

Соня служила училкой в параллельной группе на немецких курсах и хотела сэкономить на смене масла в двигателе её лохматого «Вольво». Я как раз собирался прочесть перед группой свой реферат, когда в дверь аудитории постучали и на пороге появилась она. «Партнёрства и их психологические основы»—так назывался реферат, и на перемене в курилке Соня, назвав меня «коллегой», доверительно сообщила, что уже восьмой год учится на психфаке и что дипломная работа её называется «Готовность женщины к страданию в любви и отношениях»… и что ей нужно сменить в моторе масло. На большой перемене она вызвала меня в близлежащий парк и тут же, едва обогнув первый куст, алчно впилась мне в уста, ухватив крепкой немецкой ладонью за… называла меня «мой ковбой»—в общем, вела себя странно… Масло я, конечно, ей поменял, а потом, через полгода, побелил её новую нанятую квартиру. И это, пожалуй, всё… просто эпизод.

А через год немецкие власти в порыве непонятного великодушия предложили мне чиновничье место в своём социальном ведомстве. Теперь я с утра сидел в кабинете общаги для переселенцев на полтысячи мест, а потом полдня таскался с подопечными по немецким учреждениям. Моя трёхмесячная отсидка в Крефельде почти забылась, инстанции меня реабилитировали и даже находили в отбытой судимости и неполной моей вменяемости какой-то положительный социальный контекст.

—Чем вы занимались в Казахстане?—спросил я симпатичного сорокалетнего немецкого переселенца, заглянувшего по делу ко мне в кабинет и внимательно разглядывающего меня со своего посетительского места.

«А чем ты занимался в Ленинграде?»—спрашивал его взгляд, но к тому времени я уже сделался бывалым чиновником и научился внушительной сдержанности.

Через четверть часа, однако, наш разговор выбрался далеко за официальные рамки. Мой собеседник, как выяснилось, строил электростанции и кочевал по республике вместе со своими рабочими, техникой и вагончиками-бытовками. Постепенно мы добрались до красот казахской степи, и тут я упомянул степи востока Крыма с кучно разбросанными там и сям кустарниками дикого шиповника и крупной бирюзового пера птицей, называемой местными жителями «гусар». Небольшой добротный военный городок, в часе езды на автобусе от самой Керчи. Когда-то давно я прожил там около полугода.

—…И самолёты…—продолжил я.—«Банда Чернореза».

—Это к нам…—ответил собеседник, не задумываясь.

—Что?—не понял я.

Полк тяжёлых бомбардировщиков в шестидесятых возил из Крыма ничем внешне не примечательные заряды на полигон у Семипалатинска. Там заряды с большой высоты отпускали, а затем, как говорится, «рвали когти». Внизу возникал атомный взрыв, и специальные службы отслеживали на помещённых в бункере самописцах его параметры. Полковник Виктор Черноорез командовал этим крымским хозяйством под Керчью, и «вражьи голоса» поминали его имя к месту и не к месту. Нас вообще как-то не очень любят в этом подлунном мире…

Я вспоминаю Керчь совсем иначе. Достаточно пройти немного в гору и почувствовать характерное напряжение ступней и голеностопов, как воспоминание приходит само собой.

«Скелки»—этим этимологически невнятным словом называли каменоломни. Не керченские, исхоженные бесчисленными курортниками и перемазанные копотью свечей и факелов, с характерным запахом многолетнего человеческого присутствия, вскриками зажимаемых в темноте дамочек, нет… наши скелки находились в закрытой зоне, в черте военного городка, многие годы бывшего абсолютно засекреченным и строго охраняемым объектом. Дамочки в наших скелках не визжали.

Раз в год кто-нибудь из подростков непременно терялся в пещерах. Солдат и курсантов части поднимали по тревоге на поиски, и оживлённые

нежданным приключением «срочники», вооружённые мощными армейскими фонарями, пару дней обшаривали пещеры, подкрепляемые сухим пайком и доброй армейской шуткой. Подростка находили, расходы списывали на помощь гражданскому населению, и спокойная жизнь быстро восстанавливалась. Но долго ещё и виновника происшествия, и его спасителей можно было узнать издали по характерной, «из скелок», походке: неуверенный, нащупывающий упор на пятку вынос вперёд ступни в шаге и высокий, по крутой дуге, перенос второй ступни сзади вперёд—с тем чтобы снова, нащупывая, приземлить её спереди на пятку.

Особенно нехороши были лунки. В некоторых местах своды пещер так близко подходили к поверхности земли, что в один прекрасный день пласт пропитанной дождями породы обрывался со свода, почва на поверхности проседала, а то и разом вдруг проваливалась в глубь пещеры. Возникала лунка. Новые лунки выглядели неопрятно, даже опасно. Новых лунок боялись, и по поверхности над пещерами отваживались разгуливать только самые сорвиголовы. Рассказывали сомнительные истории о провалившихся на дно сорокаметровых шахт без входов и выходов и выбравшихся затем—через пять лет—наверх по ступенькам, выцарапанным в отвесных стенах перочинным ножом. Рассказчики так увлекались, что без стеснения называли имена героев, а слушатели, в свою очередь, почти верили россказням и уж во всяком случае не стеснялись пересказать их своим знакомым и родственникам. Героическое не обязательно инспирировать централизованно, героическое живёт и, наверное, всегда будет жить в фольклоре…

Я отряхнулся… и снова оказался в моём кабинете в общаге. Надо было идти в «зал»—в послеобеденные часы мне вменялось в обязанность помогать родителям адаптировать их малолетних детей к немецкой школе.

В дверях щурился Наум Блюм, беженец из Бердичева, шустрый семидесятилетний дядька с не сходящей с лица радостной, почти детской улыбкой.

— А я решил взяться за грамматику!—задорно сообщил он.

— Достойно…—ответил я, пытаясь пройти.

— Начал с азов!—не унимался Блюм, трогая меня за рукав.—Уселся за стол, обложился тетрадками, вставил учебную кассету, знаете… И—первая буква: «А-а-а-а…»

«Х… на!»—подумал я неодобрительно.

— Сидел целый день, пока не выучил весь алфавит…

Я всё кивал… Мысли были далеко. Некстати вспомнилась моя первая свадьба, свадебный пиджак—не ровного тона, как следовало бы ожидать, а светло-серый в крупную неяркую синюю клетку. Для того бракосочетания, происходившего довольно скомканно, я не стал ничего шить на заказ, как тогда это было принято, а просто купил готовое. Пиджак попался мне на глаза в универмаге на северо-восточной окраине города, на Ржевке—это там, где второй аэропорт, что принимал тогда вертолёты областной скорой помощи и «кукурузники» Ан-2. Универмаг остроумно назвали «Ржевский». Анекдоты про поручика Ржевского вольно ходили в народе, что сообщало покупке, впрямую относящейся к браку, некую щекотливость. Сказать, что брак тот вершился на небесах или что пиджак отличало предельное качество, было бы преувеличением—ткань рыхлая, крупно переплетённая, шерсти мало; но вопрос, собственно, так и не стоял: мол, даёшь чистую шерсть.

Бракосочетание происходило душным августом, в это время дамские каблуки оставляют в асфальте глубокие и неромантические вмятины-дыры. Смотришь издали—лёгкая, грациозная и манящая походка. Летит, плывёт, волосы развеваются… Диана, да и только. Но вглядишься, сощуришься—и чувствуешь: что-то не так. Угадываются натянутость и вымученность в лице. А это просто каблуки застревают, вязнут в асфальте, и она, вся в принятом с утра стереотипе чаровницы, героически, со всей мощью национального характера сражается за цельность образа, напрягает, бедненькая, до боли, до «не могу» лодыжки и икры и рвёт, рвёт из асфальта проклятые увязающие каблуки. И вглядывается, не отрываясь, тебе в глаза—с надеждой, с сомнением: «У нас ведь всё хорошо?» В носу начинает щипать от умиления и нежности, и хочется и обнять, и подхватить, и прижать… И смех тут же разбирает: ну сняла бы туфли, дурочка, и шла босиком. Лето ведь…

Тут всё иначе…

История эта началась—точнее, получила свою печальную развязку—из-за трубы-подзорки: небольшой, с ладошку размером, восьмикратной трубки, вывезенной мною вкупе с прочими милыми сердцу безделушками из России.

Саша тогда уже пошла налево. Будучи зажатой в угол моим дедуктивным методом, она во всём созналась, уверив меня, однако, что в новую связь она была втянута чуть ли не силой, или, как она выразилась, силами чар, что кавалер выказал ей свою влюблённость таким эксцентрическим способом, что ей ничего не оставалось как уступить его домогательствам. Что это был за способ—а здесь у меня был естественный донжуанский интерес,—подружка рассказывать наотрез отказалась, сославшись на суверенность интимной сферы.

— Дура!—сказал я ей веско, устав угрожать и упрашивать.—Смотри у меня!

На следующий день после разговора я заехал в большой магазин и приобрёл там в отделе фотооптики восьмикратную трубу. Теперь, когда выпадала минутка и позволяли обстоятельства,

я устраивался в одной из телефонных будок в сквере напротив Сашиной работы. Чтобы не возбуждать подозрений, я листал записную книжку, время от времени снимал трубку или изображал, что опускаю в автомат монету.

За Сашей являлся её эксцентричный кавалер. С трубой подружкина мимика читалась до мельчайших деталей. А кавалер… ну что мне за дело до какого-то эксцентрика? Тем более что тогда как раз сперва навалились Комарово с Гулей, а затем Катечка с её долбаной Германией.

Заграница завертела, затуркала, поматросила, навалилась и. ..отползла—поскольку в новой, нанятой, а не жэковской квартире всё поневоле устроилось по-старому. Что нам заграница! За окном то же солнце, в розетке—двести двадцать, колбасы полно… И трубка-подзорка угнездилась на подоконнике в модном заграничном стакане, вместе с нерусскими карандашами и советской, со школьных времён сбережённой линейкой.

И тут я заметил рыженькую…

Девчонка была что надо: волосы светленькие, икры толстенькие, попка оттопырена. И над губою—как видно было в подзорку—любопытный пушок.

Потом я оказался с ней рядом в очереди в кассу в соседнем магазине, специально подгадав со своей закупочной тележкой констелляцию у пункта оплаты и несколько неделикатно отпихнув соперников. Волосики на губе были тоненькие, нежные, кожица так и светилась. И запах… Чем, конечно, заграница нас уела—так это гигиеной тела…

Труба теперь была без надобности—улица узкая, видно всё невооружённым глазом, да и в торговой точке регулярно встречаемся. Я уже и кивать ей при случае начал, и глазами этак делать: дескать, надо же, такие люди—и без охраны…

Она постоянно покупала пиво. И не то чтобы бутылочку, а есть тут здесь такой половинный ящик, на одиннадцать штук. Что же это?—думал я тревожно… Насосётся такая пушистая прелесть пива… Отвратительно!

И вдруг в один прекрасный день замечаю: папашка с лысиной. Выходят вместе из парадного, он её за плечики обнимает, в носик целует—и расходятся. Он затискивается в свой «гольф», а она дует в лабаз или же по своим иным девичьим делишкам. Так вот куда пиво! Мне тогда сразу полегчало…

И вот я сижу у окошка, поглядываю на улицу и неторопливо выдумываю себе трогательную историю о почившей супруге лысого папаши. А окна чаровницы—прямо напротив и этажом ниже… И тут мой взгляд падает на заграничный стакан с трубой-подзоркой. Подглядывать нехорошо—это я выучил с детства. Но для того и писаны правила, чтобы не принимать их уж очень всерьёз…

Здесь начинается грустное. Пару дней я не видел ничего, кроме спорадически мелькающей там и сям по квартире девчушки. Наблюдать её, не будучи увиденным, было не менее зажигательно, чем дышать ей в затылок в очереди в кассу. Труба теперь не возвращалась в стакан, а лежала на подоконнике наизготовку.

И тут появился папашка. То есть он, конечно, уже не раз появлялся в моём окуляре. Но в такой ипостаси… Родитель вдруг обхватил мою девочку, стянул с неё майку и принялся мять и тискать её груди… Я отставил трубу и протёр глаза. Потом взглянул ещё… Я хотел звонить в полицию!

Не знаю, как я уснул в эту ночь…

Наутро я снова встретил девчонку… и что же? ни следов борьбы, ни царапин… ни-че-го! С трудом кивнув, я проследовал за ней в торговую точку, сопровождая её незримо во всех её эскападах, и затем снова подвёл к дому…

И тут появился этот! Опять обхватил, опять целовал… затем втиснулся в «гольф» и, наконец, отчалил.

Понятно, что я не выдержал. Выждав минут двадцать, я пересёк улицу и, наугад потыкав кнопки звонков на домофоне, добился, чтобы мне открыли. Крикнул дурным голосом:

— Post![1],—поднялся на заветный этаж, постучал в дверь.

Открыла она. Вскинула ресницы.

— Brauchst du Hilfe?.. Komm rein![2]

И, едва захлопнув дверь, обхватила меня, закружила, таща внутрь, вглубь, в одеяла, в расхлюстанную не ко времени постель. И да, верно, волосики над губой. Всё как я ожидал.

Мы снова стояли в дверях… Я, кажется, мигал.

— Komm wieder[3]…—прошептала она и приложила палец к губам, указав на соседские двери.—Папка старый уже… Приходи!

— Отче наш…—бормотал я, спускаясь по лестнице.—Иже еси на небесех…

Вот оно. Ностальгия ли это, парадигма ли—или, наоборот, некий левый дискурс… роли это большой не играет. Клаусу пускай достаётся Клаусово, а нам подай-таки квасу, да луку зелёного, да солянки сборной с каким-нибудь каперсом или чем там ещё… Суетно всё в европах, глупо и суетно. Дома надо жить! Дома.

1. Почта! *(нем.)*
2. Тебе чем-то помочь? Входи! *(нем.)*
3. Приходи ещё… *(нем.)*

Светлана Живнач

В джунглях

Пробуждение

— Эт-но-гра-фи-че-ска-я экс-пе-ди-ци-я,— по слогам нараспев протянула Нелли и рассмеялась.

«Что я там забыла? Зачем мне это надо?»— то и дело всплывали вопросы в голове девушки, пока она старательно укладывала вещи перед завтрашним отъездом в глухую полесскую деревушку. Причину неожиданного для многих участия второкурсницы в экспедиции четвёртого курса по сбору традиционных весенних песен звали Дима. Парень увлекался этнографией, которую и выбрал своей специализацией на курсе.

Дорога до нужной деревни оказалась весёлой, особенно последние километры, которые компания преодолела на попутном тракторе. Разместившись в отведённой им хате, студенты собрались в одной комнате обсудить планы с руководителем. Нелли раздражало, что возле Димы постоянно мельтешит Агата. «Вот привязалась, а ещё выдумала— называть Диму, на народный манер, Змитром,— мысленно возмущалась Нелли.— А ему, похоже, нравится».

— Завтра с самого утра местные для нас проведут «Гуканне вясны»[1], так что ужинаем и расходимся спать,— объявил в конце обсуждения начальник экспедиции.

Конечно, ужин затянулся, перерос в посиделки с песнями под гитару, смехом, долгими разговорами. Только далеко за полночь все разбрелись спать.

Проснулась Нелли оттого, что кто-то тормошил её. Разлепив глаза, она непонимающе уставилась на нависшего над ней Диму.

— О, проснулась. Доброе утро. Давай вставай, скоро выходим. Возьмёшь камеру. И запасной диктофон.

И ушёл, по пути раздавая задания другим студентам. «Больше других ему надо,— сонно ворчала Нелли, проклиная всё на свете.— Зачем я вообще сюда припёрлась? Деревенских рассветов под завывание местных бабок мне в жизни не хватало?»

Вскоре вся команда двинулась на край деревни, где простиралось поле, а чуть поодаль начинался лес. Тут и собирались «гукаць вясну». Женщины выглядели нарядно в цветастых платках и длинных юбках с вышитыми передниками. Немногочисленные мужчины стояли в стороне. Нелли указали место, откуда снимать. Праздник начался. Женщины выстроились в ряд и затянули:

Вол бушуе, вясну чуе… Гу-у-у-у…

Нелли хмыкнула, подкрутила настройки резкости фотоаппарата и продолжила снимать. Зазвучала следующая песня:

Жавароначкі, прыляціце, вясну красную прынясіце…

Песня лилась, сопровождаемая традиционным «гу-у-у-у», так веселившим Нелли поначалу. Женщины пели без какого-либо музыкального сопровождения, самозабвенно отдаваясь происходящему, выпуская на волю народные напевы. Мелодия расплывалась и окутывала всё вокруг. Нелли невольно залюбовалась и заслушалась, продолжая снимать. После небольшой паузы, переведя дыхание, женщины запели:

Вясна, дзе бувала…

Песня проникала глубоко в сердце, гулко отзывалась внутри, вырывалась наружу. Нелли прислушивалась к себе и не понимала, что происходит. Она попыталась стряхнуть неясное ощущение, оглянулась по сторонам: тёмный лес подступал к поляне с проталинами, на которой стояли люди и пели, ничего не было в этом сверхъестественного. «Откуда это? Что происходит?»— руки начали слегка дрожать. Нелли передала камеру вовремя оказавшемуся рядом парню из экспедиции. А сама застыла, слушала, впитывала:

Вясна, дзе бувала…

Потом завели хоровод, в который попала и Нелли. Мелодия, напеваемая десятками голосов, слившимися в один поток, неслась по околицам. Нелли шла в хороводе, боялась споткнуться и расплескать

1. «Гуканне вясны»— древний праздник прощания с зимой и встречи весны. Сопровождается обрядовыми весенними песнями, хороводами. Одна из особенностей традиционных песен-веснянок в том, что каждый куплет заканчивается удлинённым звуком «гу-у-у-у». Люди зовут весну быстрее прийти, радуются первому весеннему солнцу и прогоняют зиму. Все приведённые строки взяты из песен-веснянок.

переполнявшие до краёв новые эмоции, ощущения. Здесь, под просторным весенним небом, среди леса и только начинающей дышать земли, шли люди по кругу и пели, как много веков до них делали их предки, и всё те же были небо, лес, песни. Нелли делала шаг за шагом в этом бесконечном хороводе, отдаваясь звучавшей природе, она и сама звучала, чувствуя себя маленькой частью того вечного космоса, обрушившегося на неё в полесской глуши.

«Гуканне вясны» продолжалось. Не в силах совладать с собой, Нелли отошла в сторону. Её мелко трясло. Внезапные слёзы полились рекой. Она прислонилась к старому дубу и неожиданно ощутила движение, биение жизни под сухой морщинистой корой. Пробудившиеся древние силы жизни струились по стволу, лились по корням, текли мощным потоком, пронизывая прижавшуюся к дереву, замершую в необъяснимом восторге Нелли.

Рядом оказался встревоженный Дима:

— Ты в порядке, Нелька? Что с тобой?

Нелли подняла на него глаза и улыбнулась:

— Всё хорошо, Змитрок. Это весна!

В джунглях

«Как же так? За что? Где, в каких жизнях я столько нагрешила, чтоб оказаться в итоге здесь?» — с такими мыслями молодая девушка с огромным рюкзаком на плечах и не уступавшим в размерах рюкзаку чемоданом в руках стояла на главной площади маленького городка, с которым её жизнь будет связана ближайшие два года, и внимательно, не спеша оглядывалась по сторонам. А посмотреть было на что: всё вокруг напоминало малый филиал заброшенной части Детройта с поправкой на местные традиции архитектуры и организации городского пространства.

«Джунгли, самые настоящие джунгли. Что ж они не бросят это место и не уйдут отсюда совсем? Нет же, живут, где-то работают, рождаются, умирают и, ко всему, ещё и учатся…» А именно с такой целью — сеять разумное, доброе, вечное — в городок, о существовании которого она и не подозревала до этого, была направлена по распределению молодая учительница, только что выпущенная из стен филфака университета с громким красивым названием.

Если сам город вызывал у неё стойкую ассоциацию с джунглями, то школа была концентрированной моделью этих джунглей со своими законами выживания. Она так и воспринимала происходящее: приходишь на урок, продираешься, продираешься, кажется даже, вот уже и тропа и полянка получилась, а на следующий урок приходишь — а там порой ещё более дикие заросли. Так и протекали будни молодого педагога. Утешением для неё было думать, что уже меньше чем через два года она сбежит отсюда. Пусть даже здесь у неё случались и радостные моменты, и встретились хорошие люди, но она покинет это место, как только можно будет, только бы продержаться эти пару лет.

Классное руководство в классе, где некоторые выглядели старше неё самой, оказалось тем ещё испытанием для молодой учительницы, но она честно старалась; иногда ей казалось, что даже удаётся, что её слышат, что она их понимает, что всё не зря, а потом резко снова — джунгли… В классе у неё вызывала беспокойство ситуация с одним учеником, которому часто доставалось от одноклассников, вроде бы без причин. Сам тихий, незаметный, такой длинный, тощий, нескладный, всегда в стороне, витающий в своих мыслях. Но она видела, как ему в классе непросто, и собиралась как-нибудь поговорить с ним серьёзно, главным образом о литературе, к которой у парня имелась явная склонность и способности, а может, даже талант, слишком уж необычные сочинения он сдавал, читая которые, учительница тихонько радовалась своей возможности как учителя: помочь ученику и, что ещё важнее, не навредить. Вот только подходящего случая пока не представлялось, находилось много текущих неотложных учебных и околоучебных дел, да ещё плюс сбрасываемые, как посылки с самолёта на дикий остров, ценные указания сверху, на которые надо было хоть как-то успевать реагировать. Всевозможные постановления и рекомендации от тех, кому, естественно, виднее, как правильнее расчищать джунгли.

Однажды, возвращаясь домой, в своё временное пристанище — общежитие для молодых и немолодых специалистов (те ещё, по её мнению, джунгли, одни лианы белья, сушившегося в душных коридорах, чего стоили), — учительница заметила своих старшеклассников, стоящих толпой. С зародившейся смутной тревогой она направилась в их сторону. С приближением к группе учеников тревога уступила место страху, так как ей показалось, что она заметила у одного из учеников нож. Но, вопреки страху, она пошла к ним ещё быстрее, практически побежала. Оказалось, парни столпились вокруг того самого, которому часто доставалось — скорее всего, за непохожесть, но точно не за зло или вред, кому-либо причинённый, как она успела за время работы в классе понять.

— Что вы здесь делаете? — громко прокричала она и как-то незаметно для себя самой оказалась в центре полукруга рядом с поникшим парнем.

— Слушай, училка, мы сейчас не в школе. Шла бы ты отсюда. Знаешь главный закон джунглей? Каждый сам за себя. Так что побереги себя, не встревай, — это оскалился один из самых сложных её учеников, практически не посещающий уроки, а если и появляющийся, то почти всегда напрочь их срывающий.

— Нет! И, кстати, нож есть не только у тебя,— она прижала к груди сумку, представляя, что где-то там на дне валяется перочинный ножик, в её мыслях разросшийся до увесистого тесака, что казалось даже — сумка потяжелела.— Но кровь не прольётся, слышишь?! И ты не знаешь главный закон джунглей, он гласит: мы с тобой одной крови, ты и я! — не отдавая себе толком отчёта, почему именно эти слова она сейчас так яростно прокричала, она смело посмотрела ему прямо в глаза, а потом обвела взглядом всех остальных.

Если бы ей как-нибудь раньше показали такую картинку с её участием, она бы только удивлённо рассмеялась: «Ну бред же какой-то киношный». Ещё больше бы она удивилась, посмотрев на себя со стороны сейчас, той силе, которая от неё исходит, которую почувствовали эти ребята с острыми колючими взглядами.

— Ну даёшь, училка! — это было сказано уже иным, чем вначале, голосом.— Ладно, будет порядок тебе на уроках, ну и ты живи, очкарик! — отвернулся и зашагал прочь вожак, а за ним и вся стая подростков.

— А ты завтра покажешь мне свои стихи, ладно? — это она уже совсем тихо сказала растерявшемуся, потрясённому, избежавшему расправы парню.

— Но я не… Откуда вы?..

— Мы с тобой одной крови,— слабо улыбнулась она, пожимая плечами, и пробормотала: — То ли я в джунглях, то ли джунгли во мне.

Снежное прикосновение

Наконец после затянувшихся тёмных ноябрьских дней начался снегопад. Не мокрый снег с дождём, не редкие снежинки, напоминающие стряхиваемый с облаков пепел, а настоящий, медленный, густой снегопад. Белые хлопья несколько часов укрывали городскую серость, засиявшую в итоге нарядной, нетронутой белизной.

Ванда с самого утра, как только её пересадили в кресло, не отрываясь, смотрела в окно на снег. Около месяца с упрямым, настойчивым нетерпением она ждала именно снега. Увидеть снег — стало для неё навязчивой мыслью. Не только увидеть: женщине хотелось прикоснуться к снегу. Это желание сейчас навалилось настолько отчаянно, что Ванда не могла с ним бороться, кроме как сбежав в воспоминания о десятках, сотнях прожитых снежных дней. Вспоминалось наиболее яркое. Вот они, ещё дети, катаются с огромных снежных гор, ныряют чуть ли не с головой в сугробы, выгрызают слипшиеся снежные комки из варежек. А вот прогулка под вечерним снегопадом с любимым мужем, когда они, совсем ещё молодые, дурачились, опрокидывали друг друга в снег, забрасывали снежками, просто лежали на снегу, глядя, как снежное небо обрушивается на землю и на них. Вот другой снежный день, когда уже со своими маленькими детьми они всей семьёй катаются с горки, шумные, раскрасневшиеся, весёлые, а после лепят огромного снеговика.

Воспоминания не очень помогали отделаться от желания прикоснуться к снегу, хотя Ванда понимала, что это невозможно. Со случившимся весной полным параличом и невозможностью что-либо чувствовать она примирилась относительно спокойно: ничего не поделаешь, раз вот так ей выпало доживать свою долгую жизнь. Жалела только, что и мозг не парализовало вместе с телом.

Но падающий долгожданный снег лишил её покоя, будто, именно потрогав снег, можно было наконец умирать спокойно. Буйствовавшая летняя зелень, яркие цветы и запахи, красно-жёлтые осенние листья — всё это и многое другое оставляло Ванду равнодушным наблюдателем происходящего, непреодолимо манил лишь снег.

— Сейчас время проветривания. Давайте я отвезу вас в коридор? — новая молоденькая медсестра обратилась к замершей у окна Ванде.

— Не надо,— тихо отозвалась та.— Укройте шалью и подвиньте ближе к окну, пожалуйста.

Оставшись одна у открытого окна, Ванда продолжала, словно загипнотизированная, смотреть на падающий снег. «Вот он, совсем близко, а недосягаем. Даже если сестру уговорить вывезти на улицу, всё равно ведь ничего не почувствую». Собственное бессилие заставило Ванду совершить неожиданное — резкую попытку рвануться вперёд, но, несоизмеримо с затраченными чудовищными усилиями сдвинуться с места, она осталась неподвижной. Внутренне заставляя себя собраться и повторить попытку, женщина понимала её бесполезность. Однако отчаянно снова рванулась из кресла. Немыслимым образом тело её послушалось и двинулось вперёд, но ровно настолько, чтоб тряпичной куклой повиснуть на подоконнике. Теперь голова Ванды была на улице. Не обращая больше внимания на невозможность происходящего, она кое-как повернула лицо к снегу, на большее сил у неё не хватило. Так она и осталась в окне — глядя на падающий в лицо снег, ощущая лёгкое покалывание снежинок и почти незаметно улыбаясь.

«Океан»

В сумеречной комнате запах стоявшей в углу ели смешался с долетающими ароматами праздничных угощений, готовящихся на кухне под оживлённую беседу собравшейся вместе в родительском доме семьи. Стайка детишек разного возраста, поразглядывав некоторое время украшенную ёлку, переместилась в угол комнаты, где всё их внимание приковал стоящий на комоде старый дедушкин радиоприёмник «Океан».

— О-ке-ан,— прочитал вслух самый старший.

— Почему? Что такое океан? — пропищала младшая девочка лет четырёх.

— Потому что там волны из звуков, как на море. Знаешь море? Только океан намного больше моря,— разумно пояснил ей и двум другим детям мальчик своё открытие.

Несколько раз рука старшего тянулась к заветному переключателю с зашифрованными словами «дв», «кв», «укв» и к переключателю, двигавшему указатель по шкале, где были выписаны названия далёких и загадочных городов: Хельсинки, Будапешт, Лейпциг и прочие.

— Давайте на минутку, аккуратно, только чтоб никто дедушке не проболтался?— строго оглядел младших, дожидаясь от каждого согласия, старший.

Из старого приёмника раздался треск, а вслед за тем иностранная речь. Дети, конечно, ничего не понимали, но замерли и вслушивались в незнакомые звуки из далёких стран. Одному из них захотелось попробовать переключить приёмник на другую волну. Только он начал поворачивать ручку, как что-то щёлкнуло и стало оглушительно тихо. После затянувшейся тишины старший, глядя на хмурые, грустные лица остальных, сказал полушёпотом:

— Сломали. Надо идти признаваться дедушке.

— Что без спросу приёмник крутили — плохо, но что решили сознаться — молодцы,— дети обернулись на голос дедушки, который, оказывается, уже некоторое время находился в комнате и наблюдал за ничего вокруг не замечающими, поглощёнными приёмником внуками.

Подойдя ближе и внимательно оглядев поломку, дедушка удовлетворённо улыбнулся:

— Не беда, дело поправимое. Кто со мной за инструментами?

Через некоторое время дети с любопытством наблюдали, как ловко дед разобрал приёмник и принялся за ремонт. В комнате ко всем прочим добавился запах канифоли, который понравился детям, зачарованно ловящим каждое действие дедушки.

— А научишь паять?— восхищённо попросил внук.

— И меня, и меня,— присоединились голоса других к просьбе.

— Научу,— улыбнулся дед.— И с «Океаном» обращаться тоже научу.

Закончив работу, дедушка торжественно вернул радиоприёмник на место.

— Послушаем?— подмигнул внукам.

Радостный гул детских голосов был ему ответом.

— Вот здесь переключаются волны — короткие, длинные, а здесь можно искать разные радиостанции,— пояснял дед, ловко щёлкая переключателями.

После перебивающих друг друга, говорящих на разных языках дикторов из приёмника послышалась песня. Дед перестал переключать, зажмурился и стал слушать. Ощущая важность момента, внуки тоже притихли, чтоб не мешать дедушке. Когда песня закончилась, дед, заговорщицки понизив голос, сказал:

— Сейчас расскажу вам секрет. Этот приёмник на самом деле не простой. В нём есть совершенно особая волна, которую не всегда поймаешь, где можно услышать совершенно удивительные вещи. Например, иногда на этой волне ваша бабушка, которой, к сожалению, больше с нами нет, передаёт мне привет. Вот сейчас — эта песня была точно от неё. Когда-нибудь вы тоже непременно научитесь ловить эту волну.

Дети молча слушали.

Они верили.

Александр Орлов

Жажда возврата

Гори, Донецк неопалимый,
И не сгорай…
Священник Дмитрий Трибушный

За то недолгое время, что я живу в столице нашей Родины, я понял, что для москвичей или вообще для всех жителей России три вокзала—место в определённом роде мистическое или святое. Оно хранит тайны встреч и расставаний неимоверного количества людей. Мы едем в метро на Казанский вокзал, и, наверное, Аня обижается на моё молчание. По крайней мере, мне кажется: это читается в её глазах. Она не знает, что я не просто молчалив: пока её взгляды скользят между моим лицом и экраном айфона, я мысленно готовлюсь к экзамену по истории. Совсем скоро ЕГЭ, и я должен сдать свой выпускной как можно лучше. Я нужен своей стране, я обязан быть одним из лучших, я вернусь и буду восстанавливать мой город, рассказывать историю моей страны всем, кто младше меня и кто остался в Донецке, ту настоящую историю, которую пытались отнять у моего народа.

Итак, немного мысленного тренинга. Казанский до 1894 года назывался Рязанским, современное здание было построено по проекту Щусева, работа над ним началась в 1913-м, а закончилась в 1940-м годах. Возведён в стиле русского модерна, в ЕГЭ ещё встречался на марках и монетах, в создании интерьеров участвовали Рерих, Бенуа, Кустодиев, Лансаре и кто-то ещё, не помню. Старейший вокзал Москвы—это Ленинградский, именовался Петербургским, Николаевским и Октябрьским, построен по проекту Тона, а впоследствии его усовершенствовал Желязевич. Строительство началось при Николае I в 1842 году. Ярославский вокзал, он же Троицкий или Северный, построен по проекту Кузьмина в 1862 году, а перестраивал его уже Шехтель, стиль неорусский, есть монета банка России с изображением Ярославского вокзала. Как бы это всё не забыть в самый ответственный момент; надеюсь, Бог не выдаст.

Всё, я должен остановиться, а то Аня обидится. Слышится объявление, и мы выходим на нашей остановке. В метро немноголюдно, и это неудивительно: уже половина первого только что наступившего летнего дня. Мы быстро оказываемся на вокзале, немного спешим, я сжимаю ручку чемодана моей девушки, поправляю лямку рюкзака за спиной и успокаиваю её, что мы успеем, что всё будет хорошо. Мы и правда опаздываем, и я виноват в этом, наше домашнее прощание затянулось. Вдали показались Анины родители. Её приветливый папа крепко жмёт мне руку и забирает вещи, а взволнованная мама целует меня в щёку и говорит, чтобы мы быстро прощались. Не люблю время расставаний, всё время хочется сказать что-то особенно важное. Мы молча обнялись. Она ещё ничего не знает о том, что известно мне; когда я поцеловал её, то чуть не заплакал, но сдержался, я же мужчина.
— Я буду очень сильно ждать нашей встречи,—и это единственное, что я смог сказать.

Моя мама права: я суховат в общении, и я помню, когда появилась эта сдержанность.

Той июньской ночью я проснулся от взрывов. Я ничего не мог понять, но в окне я увидел что-то светящееся, пролетающее над домами. Мне стало так страшно, что я сдался, я сразу принял надвигающуюся на меня смерть; я прыгнул в кровать, спрятался под одеяло, закрыл глаза и сквозь слёзы стал просить Бога пощадить меня, ведь я ещё маленький и хочу жить; но ждал я смерти, а под одеялом было темно, и я покрывался по́том и думал, что так приходит смерть. Я ждал её, а она не приходила, словно хотела насладиться моим страхом, радовалась моей беспомощности, она играла со мной, и я стал понимать, что смерть играет со всеми нами, и этому нет завершения. Как я выпрыгнул из кровати, я не помню: скорее всего, я выпал из неё. Стены тряслись, будто бы готовы были распасться в разные стороны, я не мог удержаться на ногах, пол ходил ходуном подо мной, всё вокруг пришло в неуправляемое движение, а над головой раскачивалась по неимоверной траектории огромная люстра, которую покупал ещё мой дед, и казалось, что она упадёт и раздавит меня. Я упал посредине комнаты и закрыл голову руками, я опять унизительно ждал смерти, а она оттягивала момент нашей встречи, наслаждаясь моим детским страхом, горючими слезами и ледяными мурашками. Мне захотелось убежать от неё, это было первое чувство непокорства пришедшей за мной и моим городом

смерти, я словно осмелел, я вскочил и побежал. Лестничные пролёты я не помню, но, как только я выскочил из подъезда, крепкие руки подхватили меня и прижали к себе. Это был отец, который уже успел вынести двух младших сестрёнок. Он держал меня так крепко, что казалось, никогда не отпустит; я плакал, но вдруг понял, что бабушка осталась там, там, где смерть, одна с ней наедине, а она такая хрупкая, совсем старенькая, она едва передвигается после двух инсультов, и я стал кричать: «Папа, папа, папа, а бабушка, а бабушка как же? Она там! Папа спаси её!» Отец не выпускал меня из рук, и я почувствовал, что он плачет. Его мама осталась там, со смертью, и, может быть, навсегда. Всей семьёй мы укрылись в подвале, а когда опасность миновала, то вернулись домой.

Я смотрел, как удаляется от меня фирменный поезд «Таврия», и думал о том, что моя Аня скоро увидит в окно поезда всю красоту новой железнодорожной линии, будет радоваться пейзажам Кубани, которая отошла России по Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 года и хранит славные победы екатерининских полководцев: Долгорукова, Румянцева, Суворова,—восхищаться Керченским проливом, где непобедимый русский флот святого праведного Фёдора Ушакова в 1791 году уничтожил турецкую армаду, а потом Крым, присоединённый Россией в 1783 году и не забывший славного Потёмкина, сделает её счастливой до того мгновенья, когда я буду вынужден рассказать ей всю правду; главное, чтобы хватило сил именно сказать, не написать, не воспользоваться голосовым сообщением, а произнести слова, которые, возможно, сделают её несчастной, и она поймёт, почему я был так сдержан последнее время. Но что делать мне? Так надо, я должен, я не могу иначе…

Не могу понять почему, но именно сейчас я вспомнил, как в первую ночь знакомства со смертью после обстрела мы вернулись домой и я увидел бабушку, которая улыбалась. На мгновенье мне показалась, что она сошла с ума, но, видимо, бабушка уловила семейное смущение и сказала: «Слава Богу, все живы! А я за всех нас Богородицу молила, ни на секунду не останавливалась». Бабушка всегда почитала икону «Умягчение злых сердец». Теперь этот любимый бабушкин образ плачет или мироточит, но главное—Донецкая икона Божьей Матери «Умягчение злых сердец» путешествует по линии фронта. Вернусь в Донецк—и сразу к бабушке на могилу, а потом хочу посмотреть на памятник императору Николаю II, который установили в посёлке Горняк на территории храма в честь Святых Царственных Страстотерпцев, и к отцу Виктору за благословением.

На Донбассе жизнь и смерть живут по соседству и, кажется, заходят друг другу в гости. Не могу забыть, как после всего пережитого в первую ночь мы с папой пошли копать червей, потом отправились на рыбалку. Дорога пролегала мимо частного дома, который принадлежал учителю английского языка из моей школы. Я увидел, что его дом повреждён, а в огороде осталось несколько воронок от попадания снарядов. Сдержаться я не смог, ведь этого учителя никто не любил. Мой подлый смех прервал отец, который сказал, что чужая беда должна восприниматься как своя, что мы живём сердцем и в этом главное отличие между нами и врагами, и поэтому мы победим. Вскоре мы вернулись домой с хорошим уловом. Одного из трёх сазанов мы отдали нашей соседке, белого амура выменяли на три литра молока для сестёр и бабушки, остальное съели сами всей семьёй.

Вспомнив бабушку, я подумал, что в ту ночь я молился с ней одновременно и что я не верил раньше в Бога, но уже под утро поверил сразу и на всю жизнь, которая мне отведена. Мы всей семьёй крестились уже в Москве, в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи Новодевичьего монастыря. Перед тем как мы крестились, я узнал, что этот храм был ранее взорван во время наполеоновского нашествия по личному приказу императора Франции. Как мне всё это напомнило Донбасс, особенно тот факт, что солдаты первого корпуса маршала Франции Даву, которые базировались в Новодевичьем монастыре, отбирались исключительно по национальному признаку, это были подлинные французские националисты, и они так же, как и сейчас нацисты по всей Украине, оскверняют, взрывают и уничтожают наши святыни. Ничего не изменилось за двести лет, только вот есть такие личности, как наш президент, как мне рассказал священник, который нас крестил, что восстановление этого храма по прошествии двух столетий—это инициатива главы нашего государства.

Быстро покинуть вокзал мне не удалось. Вокруг я насчитал несколько десятков человек в военной форме. Это были многочисленные разрозненные группы, которые отправлялись на фронт. Между дверьми в разные помещения вокзала в круг встали более двадцати казаков. Были развёрнуты знамёна, двое держали большой образ Богородицы, рядом был священник, и ещё один из казаков держал Евангелие. В кругу стоял старший, который подзывал к себе по одному. Слышалась клятва казака, потом казацкая плеть охаживала новобранца. Я засмотрелся.

— Давай с нами, служивый!—весело крикнул мне один из казачьего круга.

— Вам меня осталось ждать недолго, у меня впереди последний экзамен,—ответил я.

— Кадетский корпус?—поинтересовался ещё один из казаков.

— Никак нет. Московское кадетское школьное образование. Выпускной класс,— продолжил отвечать я.
— Москвич?— продолжил расспрос весельчак.
— Никак нет. Дончанин,— отчеканил я словно в строю.
— Ангела-хранителя тебе, служивый,— перекрестил меня вмешавшийся в разговор высокий и крепкий священник.
— Аминь, и храни вас Господь,— бросил я напоследок.

Мне вспомнилось, как ещё три часа назад я встретил Аню и она, внимательно посмотрев на меня, с улыбкой сказала: «Толкунов, а у тебя, кроме кадетской формы, вообще ещё какая-нибудь одежда есть?»— «Анюта, да форма уже для меня— вторая кожа. Понимаешь?»— спросил виновато я. «Нет, не понимаю и понимать не хочу. Мог бы и не в белой форменной рубашке меня проводить, я на твои погоны и лычки в школе нагляделась. А в фуражке не жарко?»— не уставала посмеиваться моя девушка. «Не хочу быть банальным и говорить…» Но Аня меня успела перебить: «Что? Фуражка— часть твоей головы?» Мы оба рассмеялись, и я крепко обнял Аню. Я не мог выпустить её из объятий, я знал, что теперь долго не обниму её, а возможно, и никогда больше… «Женя, ты любишь меня?»— спросила Аня, едва прикоснувшись губами моего уха. Я молчал, и только мои руки ещё крепче сжали её, словно отвечая ей, раскрывая все тайны моего сердца, все планы моего ума… Но Аня теперь далеко…

Осмотревшись внимательно вокруг, я понял, что все, кто отправляется на войну, разных национальностей и, скорее всего, разных религиозных конфессий; в моей голове мгновенно вспыхнули строки стихотворения Инны Кучеровой— той, которая сейчас в Донецке, той, которая постоянно отправляется в самые горячие точки, чтобы читать свои стихи:

На призыв многолетний, серьёзный,
Чтобы спасти непреклонный Донбасс,
Отозвались и Нальчик, и Грозный,
Элиста, Чебоксары, Магас,
Благоденствия Владикавказу,
Сыктывкару и Махачкале!
Не пустили вы наци-заразу
Расползаться по русской земле…

Всё мной уже решено. Я ничего никому не буду говорить. Знаю, что разорву сердце мамы, но как по-другому? Я должен, нет, я обязан вернуться в Донецк. До Ростова-на-Дону поездом, а там— как в другом кучеровском стихотворении:

Арифметика проще простого,
И моей никакой нет вины,
Что по той же прямой от Ростова
Два часа. Два часа до войны.

Я вернусь и уйду добровольцем. Хочу взять себе позывной «Проводник», чтобы навсегда остались в сердце Казанский вокзал и железные дороги встреч и расставаний. Буду гнать нацистскую нечисть, как мой дед во время войны в составе 62-й армии Чуйкова, как мой прадед, воевавший у Щорса; буду уничтожать американцев и немцев, поляков и румын и всех, кто осмелился прийти с оружием в руках в наш родной дом. Я должен проводить их туда, где всё пылает и кипит, где запах серы и пепла не перестаёт распространяться, туда, откуда нет возврата на святую русскую землю. О появлении этих посланников вечной тьмы нас предупреждал старец Зосима. Я буду мстить за каждого, чьё имя есть на Аллее ангелов, я отомщу за все материнские и отцовские слёзы, я вернусь с победой, даже если мне будет не суждено вернуться. Маме позвоню из поезда, потом Ане; мне сейчас уже тяжелее, чем им, но иначе как считать себя мужчиной? Верю, что они меня простят. Две моих самых любимых женщины на земле. Даже если простят и поймут не сразу.

Взглянув на знаменитые часы Казанского вокзала с бронзовыми знаками зодиака вместо цифр, я подумал, что остаётся два часа и тридцать восемь минут до моего совершеннолетия и три дня до последнего выпускного экзамена, а историю я выбрал сам. Я выбрал её потому, что вся история великого Русского мира— и моя история.

Евгений Татарников

Игарка

Россказни бывалого мента о своей командировке в порт Игарка

Игарка — порт всех морей, город счастливых и трагичных судеб.

Предисловие

Конец восьмидесятых годов, когда Советский Союз ещё был жив, но болел, видимо, давно, с тех пор, когда развитой социализм Брежнева не смог плавно перейти в обещанный Хрущёвым коммунизм, про который молодой Горбачёв сознательно забыл и взял курс на звериный капитализм. Светлые идеи Томмазо Кампанеллы описаны им в «Городе Солнца», где основой социального уклада в Городе является общинность всей жизни. Её осуществление контролируется администрацией. Практически всё у жителей общее, кроме жён, детей и жилища. Даже едят все жители Города вместе. При этом производство основано на всеобщей трудовой повинности, рабовладение отсутствует. Каждый гражданин обязан работать четыре часа в день. Причём имеется в виду только физический труд, так как далее указано, что всё остальное время жители проводят за чтением и занимаясь наукой. Под контролем государства находятся отношения между мужчинами и женщинами. Производство потомства называется государственным интересом. При этом рождение детей сравнивается с выведением скота…

«Всё, Женя, остановись уже. Это же всё утопия, как и коммунизм Хрущёва. Не будет никогда никакого Города Солнца. Давай иди в кабинет начальника управления, у него к тебе есть какое-то дело»,— сказал мой разум, и я пошёл к своему начальнику Сергею Клавдиевичу.

Лето 1989 года. Ижевск

— Жень, придётся вам с Володей поехать в командировку… Фу ты, блин, забыл куда. Ну, этот город… он где-то на Енисее, около Норильска,

— Сергей Клавдиевич, может, это Город Солнца? — спросил я.

— Жень, мне кажется это Город вечной мерзлоты, там ещё есть большой порт. Имя у него такое простое… русское. Не знаете, что за порт? — спросил начальник управления почему-то нас.

Мы пожали плечами, а он продолжил:

— Ладно, идите к следователю Вараксиной, возьмите у неё отдельное поручение по уголовному делу, она сама вам всё объяснит, и езжайте с Богом. Ну а куда — сами разберётесь.

— Алевтина, куда это ты нас хочешь отправить, что даже Клавдиевич не знает? — спросили мы следачку Вараксину.

Алевтина была недурна собой — и лицом, и фигурой — и не была замечена в дурных поступках. Как ни странно, в следственном отделе было две Алевтины, примерно одного возраста, обе высокие, и фигуры ладные,—худосочные такие и стервозные по характеру, и обе с остервенением относились к работе. Но вот Вараксина Алевтина была семейной, как говорят, до мозга костей, а другая — старой девой, непонятно отчего. Мужики-то ей нравились. Одну дома ждали и любили муж и дети, а другая домой не торопилась, высиживая на работе до последнего, и любовь у неё была «приходяще-уходящая». Но с обеими было приятно работать, ибо, как говорится, профессионализм в ментовке не пропьёшь. А если пропьёшь — сразу уволят к едрене фене. Алевтина Вараксина — как всегда, вся в бумаге, не переставая стучит, как дятел, на своей пишущей машинке, у которой иногда западают буквы, а у Альки тут же вылетают матерные слова, которые я вам пересказывать не стану.

— Алевтина, оторвись хоть на минуту.

— Мужики, некогда мне, у меня в производстве сейчас находится шесть уголовных дел, сроки поджимают, аж челюсти сводит. Сегодня ещё два опознания, встреча с адвокатом, прокурором, выезд в следственный изолятор. Тьфу, пообедать некогда. Мужики, идите на фиг… Хотя нет, сходите в столовку, купите мне хоть пирожков какихнибудь. Бля, всё, сейчас умру прямо здесь от голода или этой нервотрёпки,—так она закончила свой монолог, как в театре.

Даже захотелось зааплодировать и крикнуть: «Браво!» Мне кажется, из неё бы вторая Фаина Раневская вышла… Но, кстати, Алевтина взяла от Фаины самую лучшую её черту, а именно: «Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью».

Мы переглянулись с Володькой и пошли в столовую, как раз обеденный перерыв настал.

— Алевтина, на, поешь пирожков с мясом, стакан кофе ещё тебе принесли. Пей, пока горячий.
— Спасибо, мужики, поставьте всё на стол и возьмите своё отдельное поручение в Игарку,— сказала она, стуча по пишущей машинке.— Идите, идите, мужики, не до вас сейчас… Мне бы сегодня обвинительное заключение по уголовному делу закончить… Добить его, проклятое.

На столе у неё зазвонил телефон.
— Да, слушаю, Вараксина… Нет, сроки ещё не вышли, завтра проведу очную ставку… Пишу обвиниловку… До свидания.

Смотрит на нас и говорит устало:
— Всё, зашиваюсь, сроки душат. Мужики, когда я умру на работе, похороните меня и на памятнике напишите: «Умерла от отвращения к уголовным делам»… Вечером, наверное, напьюсь. У вас водка есть?.. Мужики, я бы сама туда поехала, это «удивительный деревянный город с деревянными тротуарами и мостовыми — город, в котором самая почва состоит из слежавшихся опилок»… Вы чё на меня, как на сумасшедшую, уставились? Так в романе «Два капитана» написано. Неужели не читали, неучи?.. Северное сияние посмотрите…

Идём по коридору, Вовка спрашивает меня:
— Жень, где эта Игарка?
— Где, где… Клавдиевич ведь сказал: на Енисее, около Норильска. Сейчас карту СССР посмотрим и всё найдём,— ответил я.

Игарка — не иголка, её не потерять,
На атласе недолго Игарку отыскать!
Зимой Игарка — заводь, весной Игарка — порт,
Пусти Игарку плавать — возьмёт и уплывёт…

Стоя у карты во всю стену, отыскали Игарку.
— Почти край Земли, недалеко Северный полюс… И как туда добираться? — спросил Вовка и добавил: — Наверное, на оленях… а может, на собаках.
— Как, как? Чё, в первый раз, что ли, в командировку едешь? Доедем на поезде до Красноярска, а там два варианта: или водой по Енисею, или воздухом по стратосфере,— ответил я.

От Красноярска летели часа три самолётом. Так далеко от дома меня ещё не заносила судьба.

Ворота Сибири за границу

…Говорят, что это селение основал тунгус, у русских его звали Егором, а в тунгусском произношении «Егор» звучит как «Игар». И эта версия не имеет под собой научного обоснования, просто красивая легенда, и не более.

Что за страна — Игарка?..
И что за город такой,
где стих не рифмуется
словом «жарко»,
где музыка —
ветра вой?
<…>
Что за страна —
Игарка?
Кто в ней песни поёт?
Мороз под сорок, а в зале
жарко:
о поэзии спор идёт.
Просим поэтов
Москвы и Волги
край заполярный
в песнях воспеть.
Молчит Мокроусов,
молчит Игорь Волгин…
А в Игарке поэзия
всё-таки есть!
Её направлял ещё
пламенный Горький,
её одобрял друг наш лучший
Роллан.
И с этих времён
от зимовья Егорки
игарские песни
плывут в океан.

*(Л. Гришанов.
Это стихотворение
было опубликовано в игарской
газете «Коммунист Заполярья»
1 мая 1964 года)*

В мемуарах, опубликованных в игарской газете «Коммунист Заполярья» в 1966 году, инженер М. Н. Мелешко писал, что их встретил в 1929 году десятник Батенин:

«Это был старый, опытный строитель, москвич, прибывший в Игарку по заданию „Северстроя“ ещё зимним путём на собаках. Батенин с помощью жителей из Игарского станка соорудил на возвышенном берегу протоки (в начале будущей биржи пиломатериалов) хижину-времянку наподобие лесной избушки, в которой и поселился вместе с двумя жителями из станка. Это было первое строение Игарки. Больше Батенин ничего сделать не смог и так жил полудикарём в ожидании прибытия первых строителей».

А буквально всего через несколько лет читаем мнение об Игарке журналистки из США Рут Грубер:

«Новый индустриальный Север — это больше не мечта Кремля. Игарка сегодня похожа на Чикаго на первых ступенях его развития. Стоит только посмотреть на Игарку, чтобы представить себе, что сделала техника, превратившая дикий Север в новую индустриальную страну. Здесь открывается новая эпоха».

Летом в порту развеваются флаги
Индии, Африки, северных стран,
Зной из Египта, сказанья Эллады
К нам присылает седой океан.

И, уплывая в далёкие страны,
Помнят матросы игарские дни,
В рейсе полярном, сквозь льды и туманы
Долго им светят Игарки огни…
(В. Горбунов. «Песня об Игарке»)

За игарским лесом в короткий период летней навигации из Англии, Бельгии, Дании, Финляндии и Норвегии ежегодно приходят десятки судов. Когда Карское море сбрасывает ледяные оковы, на лесозаводах наступают горячие дни. Океанские корабли шли от Игарки в сотни портов мира. Пятидесятые-шестидесятые годы—это расцвет Игарки. В шестидесятых годах в Игарку перестали заходить иностранные корабли. Но это не означает, что Игарка перестала работать на экспорт. Напротив! С 1968 года объём отгрузки экспортной продукции в Игарском порту за короткий период навигации (сто десять—сто тридцать суток) превышал один миллион двести тысяч кубометров (вспомним десять тысяч кубов в 1928 году). Сибирский лес вывозился в десятки стран мира на советских судах.

Мы прилетели в заполярную Игарку. Деревянный аэропорт, построенный в 1946 году, производил, конечно, впечатление… Вечная мерзлота, которая местами доходит до шестидесяти метров, и как раз Игарка праздновала свой шестидесятилетний юбилей, у магазина «Рассвет» стояла стела, напоминая городу его пенсионный возраст. Поселились мы в деревянной гостинице, больше похожей на барак зэков. И то хорошо, другого-то жилья для гостей в городе нет, кирпичную гостиницу ещё не достроили. Город—наверное, громко сказано, лучше сказать тихо—городок, городишко. Сходить больно-то некуда. Вот мы сходили в местную милицию, доложились, что прилетели, и попросили их, чтобы они нас оповестили, когда придёт по реке лесовоз из Клайпеды, на который нам надо подняться. Хорошие такие игарские менты, они ещё нас для приличия спросили, где мы остановились, как будто в Игарке был выбор, кроме этого барака-гостиницы, что стояла на берегу Енисея, ещё, наверное, со времён первопроходца—Егорки. А может, свой «обезьянник» хотели предложить. Нет уж, спасибо. Я хотел спросить их, как тут насчёт рыбы, но, увидев их кислые лица, как будто они объелись морошки, передумал. Всё равно вся рыба, какая есть в Енисее, она есть и в столовой «Снежинка», которую мы уже заприметили.

Столовая «Снежинка»

Когда мы пришли в «Снежинку», уже вечерело, хотя в Заполярье летом это слово вряд ли уместно. Я думал, что сейчас поедим здесь какой-нибудь экзотической рыбы типа тайменя, хариуса, муксуна, нельмы, которую я видел только в телепередаче «В мире животных» и, видимо, больше нигде и не увижу, так как в столовой подавали, как тут говорят, сорную рыбу—щуку. Её я и в Ижевске могу поесть. У нас её в пруду—как лягушек в болоте… Мы сидели за столом, и Вовка болтал, нет, не языком всякую чушь, а чайной ложкой в стакане, создавая в нём «чайную воронку», глядя, в которую, он, как Сократ, громко произнёс театральную фразу:

—Скучно как здесь!!! Ни цыган, ни медведей, рюмку водки никто не подаст тебе…

Я молчал, мне здесь всё нравилось, я как будто попал в другой мир. Мир, которого раньше не знал. Молодые поварихи—кровь с молоком, выращенные в дикой природе, на северных деликатесах,—пристально наблюдали за нами. И, видимо, подумали, что скучно нам, молодым оболтусам, без девчонок. Только старая повариха что-то колдовала у плиты, не обращала на нас никакого внимания, будто мы—звёздная пыль…

—Мальчики, что вам скучно-то? У нас девчонки хорошие есть в Игарке. Познакомить?—предложила одна из молодых поварих, видимо, самая бойкая.

—Да нет. Скучно в том смысле, что некуда у вас вечером сходить,—начал оправдываться Вовка.

—Вы кинотеатр «Север» видели?—опять спросила она.

—Нет,—хором ответили мы, думая, что сейчас нас пригласят на вечерний киносеанс.

—Ну, увидите ещё…—сказала она же пугающим тоном.—Так вот, в тысяча девятьсот тридцать шестом году на его месте был первый в Заполярье народный Арктический театр, создателем и первым художественным руководителем которого была известная актриса из Москвы Вера Пашенная.

Мне эта фамилия ни о чём не говорила, но я промолчал и слушал.

—Она осталась в Игарке после гастролей. Как нам рассказывали в школе, это был уютный театр на восемьсот мест, с вертящейся сценой, имелись партер, бельэтаж, ложи бенуара. Ну всё как в Большом театре в Москве, в котором я никогда не была…

—Света, только театр назывался не Арктический, а Заполярный номер один, а Заполярный номер два был в Норильске. Наш театр просуществовал до тысяча девятьсот пятидесятого года. Потом его сменил лагерный театр, он, мне помнится, назывался театр музкомедии, в нём было сто девять артистов из них—сто два зэка,—поправила её старая повариха, помешивая большой поварёшкой что-то в большом чане.

—Простите, а что стало с лагерным театром?—спросил Вовка, которому вдруг стало интересно.

—В этом театре играли слишком эмоциональные люди, и однажды в нём произошла трагедия. О ней я прочитала в воспоминаниях писателя Роберта

Штильмарка, который написал роман «Наследник из Калькутты»… Не читали? Он был осуждён «тройкой» по статье пятьдесят восьмой на десять лет. За то, что назвал какие-то из новых зданий Москвы «спичечными коробками», как тогда говорили, за болтовню попался. И был направлен на строительство печально знаменитой железной дороги Салехард—Игарка—Норильск, которая получила название «Мёртвой дороги». Её строили с сорок седьмого по пятьдесят третий год. И вот писатель в своих мемуарах рассказывает, что шёл спектакль «Раскинулось море широко»… Кстати, моя мать, которая в то время работала в буфете этого театра, тоже знала эту историю… Так вот, на этом спектакле были очень красивые декорации, которые изготовил известный московский художник-зэк. Его декорации так понравились зрителям, что те начали кричать, чтобы он вышел на сцену и его как-то поприветствовать. А мужик из политотдела запретил художнику выходить на сцену. Ну, у того не выдержали нервы, и он повесился в артистической уборной. А ему оставалось до освобождения три месяца. Жалко и художника, и жалко театр, так как его после этого случая закрыли. А через неделю театр в Игарке сгорел дотла. Пожар начался с чердака. Причину точно не установили, но подозревали, что здание подожгли детдомовцы, очень любившие детские утренники и горевавшие, что театр закрыт. Артистов же отправили на общие работы. Вот такая грустная история, ребята, с нашим театром вышла… Ну что, котлеты из щуки будете?.. Зря отказываетесь.

Поняв, что ни в какой театр мы уже никогда не попадём, мы поблагодарили пожилую повариху за интересный рассказ. Кроме музея вечной мерзлоты, смотреть здесь, оказывается, нечего. Правда, молодая повариха Вера сообщила, что в городе в детском доме когда-то жил известный писатель Виктор Астафьев.

— Девчонки, а как известный писатель в детдоме оказался?—спросил я.

— Как нам ещё в школе рассказывали, родился Виктор Астафьев в Красноярском крае. Когда ему исполнилось семь лет, его отца посадили в тюрьму «за вредительство». Чтобы попасть к нему на свидание, матери приходилось переправляться на лодке через Енисей. Однажды лодка перевернулась, и она утонула. Писателя воспитывали бабушка и дедушка. Когда отец освободился, он женился во второй раз. Виктора забрал к себе. Вскоре их семью раскулачили, и отца с его новой женой, новорождённым сыном Колей и Витей выслали в Игарку. Вместе с отцом Виктор занимался промыслом рыбы. Но по окончании сезона отец серьёзно заболел и попал в больницу. Мачехе Витя был не нужен, кормить чужого ребёнка она не собиралась. В итоге в тысяча девятьсот тридцать седьмом году Виктор оказался на улице, беспризорничал. Вскоре его поместили в детский дом. Там он встретил учителя Игнатия Рождественского, который писал стихи, он открыл литературный талант в мальчике. Рождественский стал известным поэтом, много писал про сибирский край. Я даже до сих пор помню его одно стихотворение, правда, не всё. Счас я вам его прочту:

Где ещё найдёшь края такие,
Хоть пройди полсвета, полземли?
Здесь у нас потоки буревые,
Соболя, пшеницы наливные,
Лиственницы, скалы, хрустали.
Здесь у нас морошка и черника,
Сливы, не боящиеся зим,
Люди здесь от мала до велика
Хлебосольством славятся своим…

Я спросил:

— А какие произведения он написал?

Повара ответили почти хором:

— Повесть «Васюткино озеро».

Я читал его роман «Царь-рыба», но ничего об этом им не сказал. Доев свой ужин, мы засобирались в гостиницу.

— Девчонки, не скучайте, мы придём к вам завтра на обед, так что чао,—сказал Вовка, направляясь к выходу.

В местной гостинице

После обеда к нам в комнату в гостинице, где мы с Вовкой жили вдвоём в четырёхместном номере, поселили деда, довольно ещё крепкого мужика. Он приехал, а вернее, приплыл на теплоходе по Енисею из Хатанги (это где-то в районе Дудинки, Норильска). Дед приплыл за мотоциклом. Мы спросили его:

— За «Уралом»?

— Нет, за «ижонком», за «Иж-Планетой-5»,—ответил он и искоса посмотрел на нас, как будто мы были какие-то прохиндеи.

Он, наверное, боялся за свои денежки, сумма-то немалая. Мотоцикл с коляской в то время стоил порядка тысячи рублей. Но когда мы сказали, что мы работники МВД и здесь находимся в командировке, а этого «ижонка» делают у нас в Ижевске на «Ижмаше», на котором мы с Вовкой до ментовки работали (Вовка закончил МАМИ—Московский автомеханический институт—и работал в отделе главного конструктора, я закончил МВТУ имени Баумана и работал в отделе главного технолога), дед успокоился, вернее, обрадовался такой встрече. Он быстренько привёл себя в порядок, сходил в туалет, а потом куда- то исчез. Вернулся он через час и с порога радостно сообщил:

— Вот, обегал все магазины Игарки от «Рассвета» до «Даров природы», ничего нет. Хоть шаром покати…

Мы подумали, что он про мотоцикл говорит. А он:

— Вот, пришлось в ресторане «Северное сияние» купить, переплатил, конечно, кому надо. Зашёл в фирменный магазин «Дары природы», а там одна бормотушка. Что мы, будем ей травиться, что ли?

И трясёт двумя бутылками водки.

— Сейчас бабахнем с вами за встречу, посидим, поговорим не спеша. Ребята, Север спешки и суматошности не любит…

«Ну ладно, посидим. Мы и так тут уже два дня сидим всухую»,— подумали мы и стали наводить на столе порядок. Дед развязал свой выцветший рюкзак, достал банку мясных консервов, малосольных огурцов и пакет с пирожками, которые ему бабка в дорогу напекла. Накрыли стол, получилось даже ничего, почти как в местном ресторане, в котором мы, правда, не были, но ведь водка из него. Первый тост бабахнули за знакомство. Николай Петрович оказался очень общительным мужиком и после первого стакана долго рассказывал нам про природу Таймырского края, про его увлечения охотой и рыбалкой. По-моему, этим делом здесь увлекаются поголовно все, больше-то заняться нечем, в огородах ничего не вызревает, а садов здесь с ледникового периода нет. Его рассказ остановила только реплика Вовки:

— Между первой и второй перерывчик небольшой.

Дед заулыбался, намёк понял и разлил беленькую по стаканам. Чокнулись и бабахнули за красóты Таймыра, о которых у нас было смутное представление: озёра и реки, кишащие рыбой, карликовые берёзки и снег, который выпадает уже в сентябре. Закусили пирожками; я думал, что они с мясом, оказалось с какой-то ягодой. Дед, видя нерешительные действия наших челюстей, с ухмылкой говорит:

— Это фирменное блюдо моей бабки — пирожки с морошкой. Очень вкусные и полезные, особенно после водки. Сивушные маслá напрочь отбивают.

И начал рассказывать про северные ягоды, об их пользе для организма, про долган.

— Долганы — это малочисленная племенная группа, говорящая на особом диалекте якутского языка, живут в основном в восточной части Таймыра, на территории, расположенной между реками Енисеем, Хатангой. В отличие от других народов Таймыра, долганы хоронят умерших в земле, но на могилу сваливают дерево (на западе) или ставят деревянный сруб, украшенный резьбой (на востоке). На всех могилах устанавливают кресты, однако возле них оставляют принадлежавшую умершему одежду, разрубленные пополам нарты, у оленеводов — ставят шест с головой оленя.

Дед даже хотел, чтобы мы записали пару народных рецептов долган.

Деда надо было опять останавливать, и Вовка предложил третий тост выпить за будущий мотоцикл. Чокнулись, бабахнули, пирожками уже не закусывали, налегли на тушёнку и малосольные огурчики. Огурчики — это нашенский закусон.

Сталинская Курейка

Дед осоловел немного, задумался, видимо, что-то вспомнил, а потом спросил:

— А вы, ребята, в Курейке уже были?

Мы его вопрос поняли и ответили:

— Да, мы в курилке уже были час назад, посидели, «Стюардессу» покурили. Дед, ты не переживай, мы в комнате не курим.

— Я спросил не про курилку, а про посёлок Курейка, где Сталин ссылку отбывал,— ответил дед и, видя, что мы про неё никогда не слышали, начал рассказывать:— Он там появился в марте тысяча девятьсот четырнадцатого года вместе с Яковом Свердловым. Дореволюционная Курейка была страшнее казематов и одиночек Шлиссельбурга и Петропавловской крепости. Прибыв в Курейку, Сталин и Свердлов некоторое время квартировал у деда Тарасеева, но разбежались из-за бытовых проблем, Сталин стал улынивать от домашней работы… Ссылка в Туруханской край была тяжёлым наказанием. Но всё же это была не каторга, и многие политические использовали вынужденное безделье для пополнения своих знаний. Потом его поселили в семью Перепрыгиных, к детям-сиротам. Дети жили одни, их было семеро. Им очень нравился новый постоялец, а старшая, Лида, которой было четырнадцать лет, просто в него влюбилась. Сталину было тридцать шесть лет, и он обещал жениться на ней, когда она достигнет совершеннолетия. Местные жители строго блюли чалдонскую мораль: браки с политическими ссыльными сурово осуждались. В царской Руси русское население Сибири разделялось на две категории: чалдонов и самоходов. Чалдоны — это коренное население Сибири или предки казаков с Дона. А самоходы — русские, которые прибыли в Сибирь на лошадях или пешком в девятнадцатом и начале двадцатого века. Иосиф Сталин уехал из Курейки в декабре тысяча девятьсот шестнадцатого года. Пристав выдал Сталину фальшивую справку, после чего Сталин и ещё восемь «призывников» ехали около двух месяцев в разгар сибирской зимы из Монастырского села, которое было в то время центром Туруханского края, до Красноярска две тысячи километров. Поскольку самих жителей Туруханского края в армию вообще не призывали, то ссыльных «призывников» провожали из села Монастырского торжественно, как истинных патриотов. Для девяти человек был организован целый караван из десяти-двенадцати саней. Каждый ехал в специально оборудованном и утеплённом возке. Сопровождало их два стражника. Из казны всем выдали «сибирские шубы, оленьи сапоги… такие же рукавицы, шапки оленьи». И везде, где ехали, гуляли и пили. Разумеется, в Красноярске из-за физических недостатков и болезней Сталина признали непригодным к военной службе. Сталину до окончания срока

ссылки оставалось ещё несколько месяцев, но он упросил начальство, чтобы его поселили в городе Ачинске. Он почему-то не захотел возвращаться в Курейку, к женщине, которая имела или ждала от него ребёнка и на которой как будто бы обещал жениться. Выходит, большой любви не было…
— Ничего себе. Выходит, что у Сталина в Курейке были дети, а потом внуки?—спросил я, мне стало интересно.
— Возможный внук Сталина, Юрий, говорил, что его отец, Александр Давыдов, будто бы знал о своём происхождении, но всю жизнь дико боялся репрессий. Сталин дважды пытался забрать его в Москву. Первый раз после окончания Гражданской войны, а второй—в начале тридцатых годов. Первый раз ребёнка не отдала мать, потому что Сталин требовал, чтобы сама она оставалась в Сибири, так как у него была жена—Надежда Аллилуева, и появление неграмотной таёжницы в Москве было нежелательно. Второй раз сын якобы убежал в тайгу, узнав, что его разыскивает нквд. В тысяча девятьсот семнадцатом году у Лидии Перепрыгиной в Курейке родился сын Александр. Лида, не имея от Сталина вестей, решила, что он потерян для неё навсегда. На её руках был грудной Саша, надо было растить младших братьев и сестёр. Молодой рыбак из соседней деревни полюбил Лиду. Она вышла за него замуж. Давыдов усыновил Сашу. От отчима он взял фамилию и отчество—Давыдов Александр Яковлевич. Александр Яковлевич прошёл всю войну, имел награды. Часто бывал в Игарке у родственников.
— А как музей-то в Курейке появился?—спросил я, мне стало интересно.

Дед улыбнулся, довольный, что возбудил во мне интерес, и начал рассказывать:
— В декабре тысяча девятьсот сорок девятого года с большим размахом отпраздновали семидесятилетие генералиссимуса. Тогда же решено было на средства и силами Норильского горно-металлургического комбината выстроить в Курейке павильон-музей И. В. Сталина. Сохранилась в целости изба, где он жил. Туда, на берег Енисея, к лету тысяча девятьсот пятидесятого года отправили из Норильска бригаду опытных строителей-заключённых с небольшими сроками, около двухсот человек. Новый музей—большое здание серого цвета. Под зданием были проложены траншеи и подземные ходы. Специально были построены котельная для отопления музея и электростанция. Поэтому пантеон и окружающая его территория освещались сотнями различного вида осветительных приборов, что на фоне не имеющей света Курейки действительно вызывало какой-то восторг. Вокруг пантеона было всё заасфальтировано. Это в такой-то глуши. А голубые ели были привезены аж из Москвы. Внутри всё было сделано очень красиво. Огромные окна имели тройные стёкла, между которыми постоянно циркулировал тёплый воздух, чтобы окна не замерзали в суровые зимы и чтобы постоянно была видна избушка. Было два входа. Когда заходишь внутрь—паркетный пол, он располагался квадратом вокруг стоящей в центре избушки. В избушку входили по скрипучим сеням. Затем проходили тёплые сени, а потом была первая комната—большая, с русской печкой, вторая была пустой—там лежали только дорожки, в ней жили хозяева. Обстановку там не воссоздавали. Сбоку от первой комнаты была комната, где жил Сталин. Она была перегорожена, посетителям во вторую часть входить не разрешали, можно было смотреть только из первой. Там стояли кровать, стол, на столе керосиновая лампа, рядом очень старый стул, типа кресла. На стенах висели капканы деревянные, снасти, которыми он рыбачил. А рядом с сенями в комнате располагалась библиотека, но не все книги там находились, а книги, связанные со старинными уральскими сказаниями, с Сибирью. При входе в библиотеку стоял под стеклянным колпаком макет домика, в строительстве которого принимал участие Сталин. Справа стоял ещё один стол и мягкие кресла. Музей был открыт весь день, и в библиотеке разрешалось брать книги. В ту пору книги в красивых переплётах были редкостью, и разрешали смотреть их только там. В музее принимали в пионеры, в октябрята, там проходили торжественные собрания, если они были посвящены Сталину, октябрьским датам,—то есть самые торжественные мероприятия. Потолок был сделан как чаша или свод, а по краям обрамлён как бы лавровым венком, переплетённым лентой. За лентой были спрятаны лампы дневного света, разноцветные и поочерёдно мигающие, которые, освещая этот голубой свод, создавали впечатление северного сияния. Музей был самым красивым зданием Курейки, сюда любили приходить и днём, и вечером. Здание построено было так, что стенами являлись огромные окна, и потому для стендов оставались только углы. Абсолютно все пароходы останавливались на два часа в обязательном порядке, и все пассажиры, ехавшие в Дудинку или в Красноярск, посещали музей и знакомились с жизнью Сталина. В тысяча девятьсот пятьдесят шестом году, на двадцатом съезде кпсс, начали говорить о культе личности Сталина, но музей не был закрыт и продолжал принимать посетителей. По-прежнему останавливались пароходы, возлагались цветы к памятнику, разбивались цветочные клумбы, сторожа и директор были, как и прежде, библиотека пополнялась редкими изданиями. С пятьдесят шестого по шестьдесят первый год всё постепенно стало сходить на нет. И в декабре тысяча девятьсот шестьдесят первого года было принято решение о ликвидации музея Сталина. В самом пантеоне разобрали избушку

и сожгли её, а скульптуру долго стаскивали тросами. Часа два-три возились два трактора, кое-как стянули скульптуру, волоком потащили на Енисей и туда её столкнули в прорубь. Экспонаты после закрытия музея перевезли в школу, и они там находились в школьном музее, но она сгорела, и всё, что осталось от стендов пантеона,—тоже. Но некоторые экспонаты были отправлены в музей города Ачинска и до сих пор там находятся. Так за одну ночь решилась судьба музея. Очень часто пишут неправильно, что статуя Сталина была сделана из мрамора. На самом деле она была из гипса, так как, когда её стянули, она упала и развалилась. На фотографиях можно увидеть на стене над входом в музей барельеф Сталину—вот он чисто бронзовый. Здание без избушки стояло очень долго, вместо неё был котлован. Внутри было ощущение страшного разорения: побиты стёкла, всё развалено. Пять лет назад неизвестно кто поджёг музей, и всё сгорело. С тысяча девятьсот восемьдесят девятого года в Курейку снова стали приезжать туристы, но на стенах уже стали писать «тиран», «убийца», «враг народа».

Поиски трёхколёсного «Юпитера»

Слушать его было интересно, было видно, что историю своего края он знает на «отлично». После пятой «бабаховки» дед уже ничего не рассказывал, а только сидел и клевал носом морошку из пирожка. Мы положили его спать на кровать. Утром он был как огурчик, но только малосольный. Выпили чаю; могли и пива, но где его взять в этой тундре? Потом пошли искать Петровичу трёхколёсного коня—мотоцикл с коляской. Обошли все спорткульттовары, хозтовары и ещё какие-то товары, но везде нам объясняли, что с материка их ещё не завезли. С какого материка, мы с Вовкой понять не могли, потом нам объяснили, что материк—это Красноярск, или, как ещё его называют, Большая земля. А мы, значит, сейчас на Малой земле. А дед даже не расстроился, что мотоцикл не купил. Он даже был весел непонятно почему. Может, потому, что макмыр у него прошёл незаметно, или что вырвался от бабки на Большую землю, это так у них в Хатанге Игарку зовут.

После обеда дед опять куда-то исчез. Вернулся в гостиницу через час, держа в руках авоську с закуской и две бутылки беленькой. Где он их взял, было понятно уже без слов. Сидим, бабахаем. Я его и спрашиваю:

— Петрович, ну скажи, зачем тебе нужен этот мотоцикл?

— Ребята, там, где я живу, дорог почти нет, посажу бабку в люльку, если, конечно, залезет, и махну за грибами или ягодами…

Махнули по стакану, закусили дарами природы из магазина. Так продолжалось три дня. Смотрим, Петрович начал сдавать, настроение уже не то, нет прежней весёлости. Спрашиваем его, что случилось, не заболел ли… Он и говорит:

— Смысла мне уже нет мотоцикл здесь ждать, денег осталось только на одну коляску, да и по бабке соскучился.

Ладно, делать нечего, дед прав. Позвонили местным ментам и отвезли Петровича на «воронкé» с мигалкой и другими почестями в аэропорт, где и отправили его рейсом Игарка—Хатанга домой.

Допрос с пристрастием

Мы с Вовкой сидели в гостинице, меня от безделья что-то на поэзию пробило, и из местной газеты «Игарские новости» я вслух читал:

Ночи длинные здесь и рубли,
Их получат за то, что пейзаж убог.
На полгода здесь свет вырубил
С перепоя, наверное, скряга-Бог.
И берёзы не в рост—здесь не юг,
И природы удел—молчание.
А домашний уют? Весь уют—
Над тобой в небесах сияние…

Обсудить прочитанные стихи не успели, а хотели. И тут нам в гостиницу позвонили погранцы и сообщили, что прибыл лесовоз «Литва» и встал на рейде под погрузку. Рейд находился в нейтральных водах, достаточно далеко от берега, и без помощи пограничников мы не имели права вступить на его палубу, иначе—нарушение границы, а ещё хуже—мы диверсанты. Вовка прихватил с собой зачем-то бутылку водки, и мы пошли на берег Енисея, где нас ждал уже пограничный катер. Был вечер, часов восемь, но было светло. Белые ночи, они и в Игарке—белые. Катер прыгал по волнам, как по стиральной доске, задрав кверху нос. Я крепко держался за борт катера, чтобы не упасть за него. Ветер раздувал мои волосы, как «сивые паруса», а брызги от волн колошматили меня по лицу. Эта гонка с ветром продолжалась недолго, минут десять, и вскоре мы пришвартовались к борту большого лесовоза.

Нам бросили верёвочный трап, и мы полезли на палубу. Да, тут надо, оказывается, иметь силу и сноровку. Капитан лесовоза был предупреждён заранее о нашем визите и принял нас радушно. Это был средних лет мужчина, приятной наружности. Он нас сразу приятно удивил, пригласив для начала поужинать. Отвёл нас на камбуз, где кок обслужил нас, как дорогих гостей. Мы сначала с Вовкой стеснялись, но, видя, что капитан свой, простецкий мужик, налегли на еду. Капитан ничего не ел, а только рассказывал нам о своём судне, куда плавал в последнее время. Камбуз был большим и чистым, отделан ценными породами дерева. Чувствовалось, что здесь во всём порядок. В конце ужина капитан выпил с нами кофейку и поинтересовался о цели нашего приезда. Мы вкратце ему

рассказали, что страшного ничего нет, нам просто надо допросить радиста в качестве свидетеля по вопросам, не связанным с сухогрузом. Погранцы тоже доложили капитану, что шмон судна закончили, запрещённых предметов не обнаружили и посему удалились восвояси. А капитан отвёл нас в рубку радиста, где в наушниках сидел кучерявый мужик и крутил ручки каких-то приборов.

— Вот, радист Николай, он в вашем полном распоряжении. Когда закончите, сообщите,—сказал капитан и удалился по своим делам.

Эта рубка, видимо, служила радисту и каютой, так как здесь стояла металлическая кровать, которая крепилась к полу. Володя вызвался допрашивать радиста сам, а мне отвёл роль, о которой я и не догадывался. Он достал бутылку водки и два стакана—радисту и мне. Разлил её по стаканам, и я чокнулся с радистом. Николай опешил, сделал удивлённые глаза, но выпил. Я понял: моя роль—пить с радистом и вывести его на откровенный разговор, развязав ему таким образом язык. Сейчас мы проверим старую мудрую поговорку: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. После третьего стакана язык почему- то развязался у меня, я порол всякую чушь, мешая только допросу.

И тут я вдруг запел:

Как провожают пароходы? Совсем не так, как поезда.
Морские медленные воды—не то что рельсы в два ряда.
Как ни суди, волнений больше—ведь ты уже не на земле.
Как ни ряди, разлука дольше, когда плывёшь на корабле…

Ещё зачем-то посмотрел в иллюминатор, а Вовка с радистом—на меня.

Вода, вода, кругом вода. Вода, вода, шумит вода…

Вовка не выдержал моих песнопений и отправил меня спать на койку радиста. Я проснулся только утром, когда Вовка меня разбудил и сказал, что допрос закончен. Протерев глаза, я глянул на часы, было пять минут девятого. «Ничего себе допрос устроили»,—подумал я. Он длился половину суток, да ещё и с нарушением УПК. Вид у обоих был измученный, как будто они всю ночь вручную загружали сухогруз лесом. В принципе, я и не видел, чем они там занимались всю ночь, но бутылка из-под водки была пустой. Минут через десять в рубку заглянул капитан и, узнав, что мы закончили свои дела, отвёл нас в умывальник, а потом на тот же камбуз. Яичница с ветчиной и крепкий кофе вернули нас к нормальной жизни. Напоследок капитан подарил на память каждому из нас по вымпелу и значку с изображением его судна и по записной книжке с ручкой. В катере, который нас вёз к берегу, погранцы спросили:

— Ну, как у вас дела?

Я молчал, не зная, что сказать.

— Клиент раскололся,—глядя на берег, коротко сказал Вовка и добавил:—Мавр своё дело сделал…

«Ну, слава Богу, не зря я там спал на границе»,—подумал я и крепче вцепился в борт, чтобы не упасть за него.

Был конец августа. На следующий день вечером мы вылетели в Красноярск, а в Игарке перед вылетом самолёта выпал снег и температура резко упала. Я испугался, что так рано началась зима. Через четыре часа мы были в Красноярске, там было лето, оно и подняло нам настроение. А мне понравилась Игарка, и я бы вернулся туда, но это уже невозможно. Два раза в одну реку—Енисей—не войдёшь.

Рашит Закиров

Стакан

Юбилей отметили скромно, без особой помпы, гостей было мало, приехали лишь старые друзья: Володька Платонов и Серёга Скрябин, сын со снохой, дочь с зятем и близкие родственники со стороны супруги. Своих родных почти уже не осталось.

Утром хозяйка устраняла последствия вчерашнего пиршества: мыла посуду, пылесосила ковры, а вчерашний юбиляр рассматривал подарки. Свояченица Нина подарила комплект постельного белья, будто у Сипкиных своего не хватало.

— Глянь-ка, Аня,— окликнул он супругу, рассматривая в руках пакет с бельём.— Не тот ли это комплект белья, который Нинке ещё на новоселье подарила Галка? Как ты думаешь?

Супруга ничего не ответила, потому что такой вариант был вполне вероятен, лишь пожала плечами. Нинка никогда не тратилась на ценные подарки, экономя каждую копейку, дарила то, что самой не пригодилось. Полученные подарки бережно прятала в шкафы и сундуки, надеясь всучить это кому-нибудь по случаю. Сёстры знали её повадки и достойный подарок от неё никогда не ждали.

Другая свояченица, также лишённая фантазии, подарила чайный сервиз. При поверхностном рассмотрении вчерашний именинник без труда выяснил, что сервиз был бракованный. Видимо, на заводе его забраковали, ушлый коммерсант купил его за бесценок в надежде толкануть на рынке какому-нибудь простаку. И этим простаком, конечно же, оказалась Верка, которая никогда бы не осмелилась купить подобный сервиз в магазине, где он стоил бы в разы дороже.

— Ни хрена путного твои сёстры никогда не подарят, даже своим родным,— без особого огорчения констатировал Сипкин, давно привыкший к такой традиции.— Уж лучше бы ничего не дарили. Такие чашки на стол перед гостями не поставишь, засмеют. Придётся выбросить, только место занимают… или Нинке всучить на очередной день рождения, глядишь, лет через несколько обратно к Верке и вернётся.

Среди прочих подарков был столовый набор: вилка, столовая и чайная ложки и подстаканник из серебра восемьсот семьдесят пятой пробы. На каждой была гравировка: «Папе от сына» и «С юбилеем».

Подарки сына обрадовали отца: вещи в быту полезные, красивые, дорогие, из драгметалла. «Тыщ двадцать, поди, стоят,— подумал он,— считай, месячный заработок. Не поскупился сынок».

Ему вспомнилось, как сам в ранней юности подарил отцу, тоже на пятидесятилетие, золотые часы «Полёт» стоимостью сто восемьдесят рублей— полторы своей месячной зарплаты. Сипкин их надевал редко, берёг как реликвию, которая, по его мнению, будет переходить из поколения в поколение. Носить на руке дедовские золотые часы с надписью «Сделано в СССР», тем более часы прадеда— это дорогого стоит, и не каждый может этим похвастать.

— Под старость буду жить по-царски, на злате-серебре едать,— пошутил вчерашний именинник.— Опять же, по наследству внукам достанется от деда, вечная ценность. В самый чёрный день хоть на буханку хлеба да сменяешь.

Нацепив на нос очки, он вертел подстаканник в руках, осматривая его со всех сторон, цокал языком, прикидывая его на вес.

— Нас у деда было пятнадцать: пять внучек и десять внуков,— а никому дед ничего на память не оставил, хоть бы по какой-нибудь мелочёвке каждому с надписью «Антону от деда» или ещё там чего. Какая бы всё-таки память от предка осталась.

— Серебро положено на серебряную свадьбу дарить,— поделилась своим мнением хозяйка, вытирая полотенцем посуду.

— А мы отмечали хоть её?— повернулся к жене Антон Лукич, посмотрел на неё поверх очков и с укоризной добавил:— Эх ты, тютя-матютя, прошла— и не заметили даже.

— Стакан к нему нужен тонкостенный,— молвила супруга,— в каких раньше чай в вагонах разносили.

— Да с этим-то какие проблемы?— отмахнулся он, убирая сыновний подарок в буфет.— Уж в магазинах теперь всё есть, были бы деньги, не то что при социализме.

— Ну да,— возразила супруга.— А помнишь, ты недавно жаловался, что опасную бритву не можешь найти в магазине? А говоришь, всё есть.

— Да кто теперь опасной бритвой бреется? Всё «жилеты» там всякие разные, с плавающими ножами, с программным управлением, лазерным питанием, ядерной накачкой и чёрт-те что ещё.

Спроса нет, потому и не продают, как чернильницы-непроливашки, например.

Ложки и вилка сразу нашли своё применение, радуя своего обладателя, а подстаканник долго стоял в буфете, напоминая хозяину о необходимости приобретения стакана.

Сипкин иной раз глядел на подарок и представлял, как он заварит чай с душицей, нальёт его в стакан, кинет дольку лимона, плеснёт ложечку коньяка, ликёра или рижского бальзама и будет наслаждаться ароматом.

Его супруга всегда пила чай с молоком, лишая себя настоящего удовольствия, чем постоянно раздражала своего благоверного, снижая его аппетит за чаепитием.

— Ну что это за напиток?..—кривил он губы, пытаясь образумить жену и направить на путь истинный.—Лимона не положишь, коньячку или ликёра не плеснёшь... Опять же, не видно, что там плавает, в этой мутной субстанции,—может, муха какая или козявка. Проглотишь и не заметишь. Чай и молоко—ингредиенты несовместные,—делал он философское умозаключение.

Но супруга была непоколебима в этом вопросе, потому что родилась и выросла в далёкой глухой деревне и с раннего детства её приучили пить непрозрачный чай, в котором могло скрываться всё, что угодно. Она бы скорее выпила чай без заварки, чем без молока.

Антон Лукич по случаю посещал в магазинах отделы посуды, но то, что его интересовало, не попадалось. Казалось, что всё есть: фужеры, бокалы, с ручками и без, с надписями, аппликациями, гранёные и хрустальные, всяких форм и объёмов, но нужного тонкостенного стакана с каёмочкой не попадалось.

Прошло два месяца. В один из погожих сентябрьских дней, когда солнце ещё радует своими лучами, а ветер уже грозит простудой, Анна Сипкина, в спортивном трико и выцветшей футболке, совершала плановую стирку и развешивала на балконе бельё для просушки. Всецело поглощённая процессом, она не заметила возвращения супруга и, услышав его голос, вздрогнула от неожиданности.

— Нет, ты глянь, а...—начал он высказывать ей своё возмущение, энергично жестикулируя.—Ну нет нужных стаканов, и всё тут. Всякие есть, а вот для подстаканника нет нигде, ни в ЦУМе, ни в «Торговом центре», всё обошёл—одно золото и сотовые телефоны, будто нам для полного счастья только это и надо.

— А на рынке смотрел?—не оборачиваясь, спросила хозяйка.

— Смотрел. Да толку-то...—безнадёжно махнул он рукой.—Выпускать их перестали, что ли?.. В оружейном всякие автоматы, пулемёты, только плати... А стаканов нет.

— Не только стаканов,—возразила супруга, не отрываясь от своей работы.—Вот я тебе майки искала, тоже нет нигде, даже на рынке у китайцев.

— Какие майки?—не понял муж.

— Обыкновенные, хлопчатобумажные,—она ткнула на майку, висевшую на верёвке.—Твои же давно износились, стыдно одеть. Ладно хоть не видит никто.

— Надеть,—поправил по привычке Сипкин.—Сколько тебя можно поправлять?..

Она повернулась к мужу и продолжила:

— Футболки спортивные, с надписями, аппликациями, майки пляжные с трафаретами—тех полно везде, а обыкновенных маек нет. Где искать, даже не представляю.

— Вот тебе и капитализм,—поддержал её муж,—чего не было при социализме, того полно, а чего было навалом, хрен найдёшь.

— Или вот тёплых шерстяных чулок тоже нигде нет, а раньше в любой галантерее завались было. Только синтетика с кружевной резинкой на силиконе, чтоб мужиков соблазнять.

— Да кто их сейчас носит? Кому они на фиг нужны?—возразил супруг.—Разве что старухам. Тоже нет спроса, все на колготки перешли, да и те носят под штанами. Вон глянь,—он показал пальцем на улицу.—Все в штанах, и молодые, и старухи. Одни ангелы кругом.

— Каво?..—не поняла супруга, повернув голову в сторону мужа.—Какие ангелы?

—Да я говорю, мода какая-то пошла, что ли, на Ангелу Меркель? Так похожа на нашего президента.

— В смысле?—опешила супруга.—На Путина, что ли?

— Ну да. Его тоже никто не видел в платье или в юбке, везде и всегда в штанах, без макияжа, без причёски, без маникюра, и тоже серёжек не носит. Прямо канцлер-трансвестит. Выбрали же, блин... самую красивую.

Сипкин сплюнул от досады и посмотрел вниз, не попал ли случайно на прохожего, помолчал немного и продолжил тему, опёршись на перила балкона:

— Видишь хоть кого-нибудь в чулках? Даже вон та бомбёжка, что на остановке стоит... Как только она свой зад в штаны втиснула?—удивлялся он, покачивая головой.—И где она такие брюки отыскала?.. Платье хоть сгладило бы дефекты её фигуры, и она не выглядела бы так карикатурно.

Внимательно посмотрев туда, где у жены должна располагаться талия, Антон Лукич поморщился и продолжил:

— Или вон мамаша в джинсах и дочь-школьница тоже в джинсах. Никого в платье или в юбке нет.

Супруга посмотрела вниз с балкона, слепо щурясь, огляделась по сторонам.

— Правда что...—удивилась она.—Никогда не обращала внимания.

— А я давно уже стал обращать внимание. Стреляешь глазами по улице в поисках пары стройных ножек и даже одну ногу не находишь. Нечем удовлетворить свой утончённый эстетический вкус.

Сипкин покосился на ноги жены, опять скорчив гримасу.

— Эх, кобель старый! — повернулась к нему супруга и замахнулась на него мокрым полотенцем. — Шестой десяток разменял, а всё налево тебя тянет.

— Да ладно ты, — протянул муж, слегка подавшись телом назад, уклоняясь от мнимой угрозы. — Я же внимание обращаю на всё, что меня окружает, анализирую, пытаюсь получить наслаждение от красоты окружающего мира. Да и мужик же я всё-таки, а не просто представитель мужского пола. Обрати внимание, на остановке тоже все в штанах, курят всего двое, и то бабы. Видишь?..

Он опять показал пальцем в сторону остановки.

Сипкина, прищурившись, тоже посмотрела в ту сторону, заслонив солнце ладонью.

— Я и вблизи не различу, баба это или мужик, — пробормотала она, — когда без очков. Одеты одинаково, причёски тоже, серьги в ушах.

— Ну... если курит, значит, баба, — констатировал Сипкин и показал пальцем в сторону. — Вон молодуха коляску толкает, и возле ларька две продавщицы курят, больше курящих нет. Мужики, видимо, уже давно побросали, не хотят сосать всякую гадость, надеясь получить сомнительное удовольствие.

— Да ей просто морду бить некому. Небось, ещё грудью кормит, — пробурчала супруга, защемляя прищепками простыню. — А вот у нас в Тырныаузе...

— А в Саудовской Аравии или в Иране... — перебил её муж. — Распустили мы вас, в наше время даже шалавы стеснялись курить прилюдно.

— Ты езжай лучше в «Посуда-центр», — прервала его жена и вернулась к началу разговора, — магазин всё-таки специализированный, и там есть всё, как в Греции.

Вняв совету бывалой хозяйки, наш герой в ближайший выходной посетил «Посуда-центр» и увидел на бесчисленных стеллажах много всяких круглых стаканов без ручек, правда, не было тонкостенных. Но это было лучше, чем ничего, к тому же стоили совсем ничего.

Выбрав понравившийся стакан стоимостью пятнадцать рублей, Антон Лукич пошёл оплачивать покупку. Кассирша, не обращая внимания на покупателя, взяла из его рук пятидесятирублёвую купюру, потыкала пальцами по калькулятору и, глянув на результат, выдала сдачу. Сипкин, не считая, сгрёб мелочь, сунул в карман и покинул магазин.

Вернувшись домой в приподнятом настроении, он разулся и первым делом проследовал на кухню, достал из буфета подстаканник и... покупка оказалась намного шире подстаканника. Глазомер сильно подвёл нашего героя.

— А, ч-ч-чёрт... — пробурчал он от огорчения, вспомнив недобрым словом врага рода человеческого. — Надо было подстаканник взять с собой или диаметр замерить.

В следующий выходной Сипкин взял с собой подаренный подстаканник и поехал туда же, где без труда выбрал себе стакан, точно подходящий по размеру, стоимостью всего лишь одиннадцать рублей пятьдесят копеек.

— Надо же, — высказывал он кассирше, выписывавшей чек, — одиннадцать рублей стакан, а на дорогу тридцать восемь рублей, более чем втрое больше. Как говорится, за морем телушка — полушка...

Вынув из кармана сторублёвку, Сипкин добавил к ней полтора рубля мелочью, чтобы кассирше легче было сосчитать причитающуюся сдачу. Кассирша по привычке, не поднимая глаз на посетителя, потыкала на кнопки калькулятора и вернула сдачу. Положив стакан с подстаканником в пакет, Антон Лукич в хорошем расположении духа поехал домой, в надежде за ужином попить чаю с лимоном из стакана в серебряном подстаканнике.

Открывая ключом дверь квартиры, Сипкин неосторожно стукнул металлической дверью о пакет, и звон разбитого стекла известил его о случившемся.

— А, ч-ч-чёрт... — вырвалось у него, и наверняка вновь икнулось лукавому.

Он заглянул в пакет, сунул туда руку и с сожалением вынул осколки. В ту же минуту покупка оказалась в мусорном ведре. «Ещё на пятьдесят рублей придётся раскошелиться», — мелькнуло в голове.

Но теперь наш герой не стал утруждать себя ношением при себе подстаканника, он свернул копию чека, по которому приобрёл покупку и сунул его в карман, чтобы, мимоходом зайдя в «Посуда-центр», купить точно такой же.

Однако через неделю в магазине не оказалось стаканов такого артикула. Молодая женщина-менеджер торгового зала добросовестно пыталась помочь, стараясь угодить покупателю, но тщетно.

— Возьмите другой, — советовала она потребителю. — Какая разница?

— Да мне нужен именно такой, — объяснял покупатель продавцу свою привередливость, — чтобы в подстаканник влез, точно по диаметру совпадал.

— Надо было тогда взять его с собой, — укоряла дама такого безалаберного, по её мнению, покупателя, — сразу и подобрали бы.

— Ну, если бы знал... — огорчённо развёл руками покупатель, оправдывая свою оплошность. — Чек есть, параметры стакана указаны, чего ещё?.. Не таскать же всегда при себе подстаканник.

— Приходите в другой раз,— решила дамочка избавиться от проблемного покупателя.— Будут поступления, тогда и купите.

Прошло несколько недель, пока Сипкин не выкроил свободное время для посещения магазина. Предъявив уже изрядно потрёпанную копию чека менеджеру торгового зала, он поинтересовался наличием искомого.

Дамочка-менеджер без труда нашла нужный товар, на этикетке которого были указаны те же шифры: код товара, наименование товара, стоимость и прочие числа, значение которых покупатель не стал уточнять, и направила его в кассу.

Сипкин протянул кассирше сторублёвку и подумал, как кассирша стала бы высчитывать сдачу, если бы вышел из строя калькулятор: на бумажке или при помощи спичек.

Получив желаемое и сдачу, покупатель направился домой, предвкушая долгожданное чаепитие из серебряного подарка. Закрыв за собой входную дверь, не спеша разувшись, он проследовал на кухню и, вынув из буфета подстаканник, стал вставлять в него покупку.

Стакан упорно не желал подчиняться хозяину, какие-то доли микрон не позволяли этого сделать. Инженер Сипкин, хорошо зная законы термодинамики, ещё надеялся, что в руках подстаканник нагреется, его диаметр увеличится хоть на пару-другую ангстрем, и его маниакальное упорство инженера в достижении цели будет вознаграждено по достоинству.

— А, ч-ч-чёрт,— чертыхнулся герой нашего рассказа, заставив нечистого в очередной раз поперхнуться, и, прекратив бесплодные попытки, попытался выяснить причину неудачи.

Сличение чеков привело к выводу об идентичности купленных стаканов, совпадали все параметры: наименование поставщика, код товара, его наименование, артикул, объём, цена. Но факт оставался фактом, и он был упрямее стакана, оказавшегося чуть-чуть шире подстаканника, и исправить этот дефект было невозможно.

Антон Лукич опустился на стул и задумался. Видимо, ГОСТы не действуют, а изготовляют по техническим условиям, догадался он. Столько потрачено времени, усилий, денег, но результат оказался нулевым. Отказываясь признать своё поражение, он перебирал в уме возможные варианты решения проблемы: можно было ещё попробовать подержать в морозилке стакан, а на плите нагреть подстаканник, что могло дать недостающие микроны…

«Не будь я Сипкиным, если сдамся какому-то там подстаканнику,— решил он про себя.— Пусть ещё пятьдесят рублей уйдёт на это, но чай сегодня буду пить из серебра!»

Он резко встал, пискнул:

— Сипкины не сдаются,— сунул за пазуху подстаканник и пошёл в прихожую обуваться.

Менеджер его узнала ещё при входе и приготовилась к неприятностям; покупатель был возбуждён и решителен, хотя выглядел миролюбивым.

— Вот вам подстаканник,— услышала она от посетителя,— подберите, пожалуйста, подходящий по размеру стакан. Уже столько времени, денег на дорогу потратил.

Подходящий стакан нашёлся быстро, хотя другого артикула и цены, но Антон Лукич был безмерно рад своей победе. Оплатив покупку мелочью без сдачи, чтобы кассирша не насиловала электронику по пустякам, и поблагодарив дамочку за содействие, он, довольный тем, что наконец-то добился желаемого, поехал домой воплощать в жизнь свою мечту — пить чай с лимоном и коньяком из стакана в серебряном подстаканнике.

Сергей Гошев

Пуговица

Клуб настоящих мужчин

Любопытству мальчишек нет предела. Ну интересно же: почему всегда встаёт неваляшка (ванька-встанька), почему машина движется, почему мотоцикл рычит, как работает калейдоскоп. Что-то ломаем, что-то чиним, при этом остаются лишние детали. Но именно так, докапываясь до истины, мы становимся настоящими мужчинами, которые умеют всё!

В далёких шестидесятых машин во дворах было мало. У нас, например, между многоэтажками был всего один гараж, где стояла «инвалидка». Иногда приезжала белая «Волга». Мы стайкой кружили возле неё. Уж очень хотелось погладить блестящего оленя на капоте. Он застыл в прыжке и как будто говорил нам: «Не каждый может догнать, а тем более быть хозяином такой машины!»

«Тах-тах-тах!» — затарахтит машина у гаража дяди Вани на всю жилую «коробку». Мы, не раздумывая, как вспорхнувшие воробьи несёмся туда. Ведь там много чего интересного можно сейчас увидеть. Прибежали, обступили трясущийся зелёный автомобильчик, пытаемся отдышаться.

— Ну, сорванцы! Пришли поговорить или помочь? — из темноты гаража раздаётся сначала бархатный голос, а потом появляется на костылях пожилой мужчина.

Он и есть хозяин «инвалидки». Перед маленькой машиной с ручным управлением, опершись на костыли, он раскуривает папиросу, окидывает нас добрым взглядом. Хитро прищуренные глаза искрятся внимательным любопытством.

— И то, и другое, дядя Ваня! У нас времени много. Каникулы! — отвечает за всех нас рослый Петька Петухов.

Он учился с нами в пятом классе. Дважды оставался на второй год. На голову выше нас, но никогда никого не обижал. Почему ему не давалась учёба? Был ведь любознательным. Мы всегда держались вместе и многому учились у него.

— Это всё с тобой, Петя?

— Да, дядя Ваня! — говорит наш вожак. — Можно, они тоже будут помогать? — Петька расплылся в улыбке.

— Отчего ж нельзя? Заходите, мастера! Только, чур, без разрешения никуда не лезть. Если что, спросите Петра, теперь не меньше моего в технике разбирается. И лудить, и паять, и утюг чинить умеет. Он, наверное, и в школе из-за этого слабо учится. Ему проще коляску детскую починить, велосипед мальцу наладить.

Лицо друга омрачилось, когда заговорили о школе. Дядя Ваня похлопал его по плечу:

— Ничего, Петро, пристроим тебя в ФЗУ (фабрично-заводское училище). Погодь немного. Я тут с кем надо переговорил. Я ведь, ребята, с его отцом в одном танке воевал…

Помолчал.

— Живым вот остался благодаря мужеству батьки твоего, Петя. Подумаешь, ноги нет. Так другая же есть. Вот хожу, танцевать даже могу! — он, опираясь на костыли, притопнул здоровой ногой. — А Валерий-то к постели прикован. Вот такая петрушка, братцы, получилась. Значит, мы, однополчане твоего папки, тебе помогать должны! — подвёл итог ветеран.

У меня от услышанного пробежал колючий холодок по спине. Набравшись храбрости, я спросил:

— Дядя Ваня, а страшно на войне?

— Конечно, страшно, сынок. Но если рядом надёжный товарищ и друг, который в любую минуту готов подставить своё плечо, то страх сам от нас убегает. Таким дружным экипажем мы и били коварного врага.

— Дядя Ваня, что-то «чижик» чихает.

Все замолчали, прислушались. Петька продолжил:

— Наверное, опять бензонасос засорился. Можно, я его прочищу? Это ведь быстро, и ребята поучатся.

— Ну ладно, уговорил. Показывай своё мастерство, а я пока соберу вещи для бани.

Не прошло и получаса, как двигатель у «чижика» застучал ритмично. А довольный Петька горделиво вытирал своё чумазое лицо и руки тряпкой.

Мне тоже хотелось что-то сделать для этого хорошего человека. Посмотрел на обляпанные нашими руками стёкла и капот машины, спросил:

— Можно машину помыть? Вы собираетесь на ней ехать, мы быстро всё до блеска вычистим.

Не дожидаясь ответа, схватив тряпки, мы уже мчались к бочке. Она стояла на углу гаража, в неё с крыши по жёлобу стекала дождевая вода. Какое счастье для нас тогда было — помыть машину!

Но автомобиль маленький, к нашему огорчению, мы быстро справились с работой. Мокрые, будто сами искупались в этой бочке, но довольные и счастливые, стояли вокруг чистенького «чижика».
— Спасибо! Вот уважили! Теперь у меня есть целый свободный час до встречи с друзьями в клубе настоящих мужчин. Пойду-ка посижу, отдохну.— Дядя Ваня пошёл в гараж.

Мы осторожно двинулись следом. Сели тихонько на скамейку у верстака. А хозяин, прислонив к стене костыли, тяжело опустился на старое автомобильное кресло, которое стояло рядом.
— Чего притихли, помощники? Поработали, теперь и поговорить о жизни можно.

Я опять набрался смелости и спросил:
— А что это за клуб настоящих мужчин?

Хозяин гаража не успел ответить. Повернулся на громкий голос Петьки, который заканчивал натирать стекло:
— У моего отца, как и у вас, много медалей. Есть и орден Славы третьей степени. Прошу его рассказать, за что такая высокая награда, а он молчит. Смотрит на меня немигающим взглядом, а иногда слеза по щеке катится. Вы же вместе воевали, значит, можете рассказать. Я должен знать, как сражался мой батя!
— Твой отец—герой, Петя. Тяжело ему вспоминать тот бой…

Дядя Ваня задумался. Провёл несколько раз ладонью по волосам, как будто причёсывался или укладывал мысли в нужный порядок и заговорил:

— В июле тысяча девятьсот сорок третьего года наш танковый батальон после марша остановился в лесистой местности у станции Прохоровка. Командир танка, сержант Николай Борисович, пришёл от комбата хмурый и очень встревоженный. За ужином сообщил, что утром наступление, возможна встреча с новейшими тяжёлыми танками противника «Тигр», броню которых в лоб наша пушка не берёт. Приказано максимально использовать преимущество наших танков—скорость и манёвренность.
— Эти монстры будут безнаказанно топтать мою землю, а я и пробить его из пушки не смогу!—возмутился я.
— Сможешь, Вань,—успокоил меня командир.— Есть и у этого монстра уязвимые точки. Сейчас и обсудим: как самим уцелеть от его мощной пушки и врага уничтожить.

Долго мы разбирали все плюсы и минусы хвалёного и якобы непобедимого фашистского танка, который здесь и сейчас должен был изменить ход войны. Покумекали и решили устроить фашистам настоящую русскую баню.

Соседние экипажи тоже готовили своих стальных коней к бою. Выносили из танка всё, что могло гореть.

Всю оставшуюся часть ночи я ворочался. Сырость залезала под комбинезон, отнимая тепло и сон. Светало. Окончательно проснулся от скрежета металла по металлу. Подошёл к открытому люку механика-водителя. Заглянул… На меня смотрели улыбающиеся глаза Виталика, твоего бати, Петька. Лицо всё измазано, в одной руке кисточка, а в другой—банка с солидолом.
— Ты чего встал?
— А ты что?—ответил я вопросом на вопрос.
— Да что-то не спится.
— Вот и мне тоже.

Я потянулся и полез к себе в башню. Покрутил холодные механизмы и прильнул к прицелу. Погода была пасмурная, но видимость отличная. Хорошо просматривались пойма реки и дальний лесок за глубоким оврагом. Утренняя живописная тишина, ласковая прохлада навеяли мысли о доме, родителях, речке… Природа была в утренней неге. Все ещё отдыхали и не знали, что через несколько часов на этом холмистом зелёном поле будет гореть и поливаться кровью *земля…*

Кто-то постучал по броне. Мы вылезли из танка.
— Что—самые работящие? Пошли есть, пока каша не остыла!—позвал нас пулемётчик Сашка.

Ели медленно. Поглядывали на хмурое небо. Ковыряли в котелке. Предчувствие жаркого боя сверлило виски. Волнение и тревога были заметны на лицах. Но всё как-то разом исчезло, когда прозвучала привычная слуху команда:
— По машина-а-ам!

Рёв моторов, гарь заполнили уютный берёзовый лес. Соблюдая боевые порядки, стальные кони с красными звёздами вышли из своего лесного укрытия. Изрезанная оврагами и заросшая высоким кустарником местность затрудняла видимость и вынуждала механика постоянно маневрировать. Впереди длинный пологий спуск, а за ним крутой подъём.
— Виталька!—сказал Николай Борисович.—Давай включи пониженную и уйди левее. Иначе мы из-за этих кустов ничего не увидим.

Впереди идущий танк влез на вершину холма. Но что это? Вздрогнул, его охватило пламя. И он разгорающимся факелом стал беспомощно сползать на нас.
— Механик! Вправо!—прозвучала команда.

Но наша машина дёрнулась и встала.

Я прильнул к прицелу. «Неужели всё?»—пронеслась мысль. Огненный шар полз на нас, увеличиваясь в размерах.
— Спокойно, Виталий Петрович, запускай двигатель и правый рычаг на себя,—голос командира звучал тихо, но звук, как стальной нож, резал воздух.

Двигатель взревел. Ушли! Буквально в паре метров от нас сползла подбитая «тридцатьчетвёрка». Беда миновала. Наш танк влез в густые

кусты и поднялся. То, что мешало, стало нашей защитой. Слева, справа, опять слева! Один за другим разрывались снаряды, звонко осыпая броню осколками. Кустарник перед нами был срезан огненной косой. Он больше не закрывал обзор и не укрывал нашу боевую машину.

— Вот они, хвалёные «Тигры»,—услышали мы голос командира в наушниках.

По холмистому полю стеной ползли пятнистые монстры. Они изрыгали пламя из своих дальнобойных пушек с увесистым дульным тормозом. Несколько наших танков горело на холме.

— Вперёд! Вперёд! Слышишь меня, Виталька, вперёд!

— Есть вперёд, товарищ сержант!

Мы неслись навстречу врагу, оставляя за собой большие столбы пыли. Наша скорость не давала возможности фрицам прицельно бить по нам. Маневрируя на ходу, наш батальон, как нож в масло, вошёл в боевые порядки немцев. «Тигры» лишились преимущества: мощности пушек и непробиваемой лобовой брони. Мы же получили возможность бить с близкого расстояния в уязвимые места тяжело бронированных монстров: в борт, по ходовой части, в двигатель.

— Стоп машина! Слева по борту враг! Ваня, бронебойным!—скомандовал мне командир.

Я развернул башню и с близкого расстояния влепил почти в центр немецкого креста. Немец остановился, и его ствол стал разворачиваться в нашу сторону.

— Ваня, ещё один!

Рядом появилось второе отверстие, и у фрица дым повалил из всех щелей.

— Молодец, Ванюша! Вперёд, ребята! Не стоять на месте!—подбадривал нас Николай Борисович.

Только мы сдвинулись с места, как сильный рикошет ударил нам в башню. Я оглох, почувствовал, как из ушей пошла кровь, слипаясь в наушниках шлемофона. Командир хлопнул меня по плечу и рукой показал направление стрельбы. Что есть силы вращаю ручку поворотного механизма башни. Танк остановился. Я прильнул к прицелу и увидел, как «Тигр» почти развернулся в нашу сторону лобовой бронёй. Вокруг нас шёл ожесточённый бой: взрывались снаряды, надрывно ревели десятки моторов. Голова гудела. По хлопку в правое плечо понял, что надо стрелять по правой гусенице немца. Я с ювелирной точностью успел выстрелить первым. И уже через пару секунд она, как червяк, сползла с катков, обездвижив танк. Добивать не пришлось. Открыв люк, как ошпаренные фрицы стали выскакивать. Наш пулемёт свинцом поливал их. Мы так и не дали даже коснуться ногой нашей земли, оставив их лежать на броне своего танка. Развернулись и двинулись дальше в гущу боя. На наших глазах от выстрелов в упор сворачивало башни, гнулись стволы пушек, разрывало мощную броню, как картон. Дым, гарь, огонь и нестерпимый грохот стоял на поле боя. Экипажи подбитых танков вели бой, переходящий в рукопашные схватки. Мы помогали им, поливая фрицев из пулемётов и давя гусеницами…

Сразу три снаряда ударили по нашей броне. Танк замер. Башня мгновенно заполнилась едким дымом. В наушниках еле расслышал хриплый голос командира:

— Покинуть машину.

С трудом, помогая друг другу, вылезли из люка и вместе с командиром полетели вниз на землю. Поднялись. Танк горел, а вместе с ним горели и наши ребята. Механик с пулемётчиком катались по земле, пытаясь сбить пламя со своих комбинезонов. Мы кинулись к ним, помогли справиться с огнём. Вдруг острая боль в ноге, а потом и в плече обожгла меня. В метре от меня повалился и раненный в голову командир. Мы залегли рядом со своим танком в небольшую воронку. «Тигр» стоял буквально в ста шагах от нас. Он развернул башню в нашу сторону и теперь нас расстреливал из пулемёта. Фонтанчики пыли от пуль поднимались дорожками вокруг нас. Мы огляделись: потные, грязные от копоти, в обгорелых комбинезонах. Командир был в бреду. Его окровавленную голову перевязал пулемётчик Сашка. Я перевязал себя сам.

— Ну что, ребята!—неожиданно выкрикнул механик.—Умылись по́том, попарились и пожарились в танке! А сейчас я душевно поговорю с этими гадами.

Он вскочил и, пригнувшись, побежал к нашей пылающей «тридцатьчетвёрке». Дорожка из фонтанчиков земли преследовала его, но он ловко, ящерицей вполз в свой люк. Взревел мотор, танк дёрнулся и, раздувая пламя по сторонам, двинулся на врага. «Тигр», почуяв опасность, попытался уйти от столкновения, но было поздно. Дикий скрежет, удар, дым. Обе башни сошли со своих мест. Пламя ещё с большей силой охватило стальные тела машин.

Мы с Сашкой кинулись к люку механика. Боль и страх исчезли. Время остановилось… Выхватили из огня горящего Виталика. Погасили на нём огонь. Подхватили его обгоревшее тело и понесли к реке, прикрываясь кустарником. Опустили в прохладную воду, сами повалились тут же. Он застонал, открыл глаза, улыбнулся нам и, еле шевеля запёкшимися губами, прошептал:

— Ну? Как я с фрицами поговорил?!..

Дядя Ваня замолчал… Мы притихли, боясь упустить хоть слово из его рассказа. А он нас и не видел, был там, на поле боя. Вдруг морщины на лбу расправились. Губы расплылись в улыбке. Глаза засветились радостью.

— Вот так воевал твой батя, Петя! А орден Славы для него самый дорогой и памятный,—дядя Ваня

взял костыли и поднялся с кресла.— Спасибо ещё раз, ребята, за помощь. Мне пора ехать в баню. Негоже нарушать традицию «три в одном». Могу с собой взять двоих, если вас родители отпустят.

Через несколько минут мы с Петькой ехали в маленьком «танке». Он тарахтел на всю улицу, немного дымил. На коленках у меня лежала наспех собранная авоська: полотенце, мыло и бельё. Счастье распирало. Остановились у большого серого здания с закрашенными белой краской окнами. На фасаде четыре большие буквы: «БАНИ». Над широкой входной дверью — яркая вывеска: «Добро пожаловать попариться, помыться, поговорить!»

Я вслух прочитал её, посмотрел на дядю Ваню. Он хитро прищурился:

— Да. Три в одном — это баня. Для нас она и до войны была местом тёплых дружеских встреч. Наша дружная четвёрка, а впоследствии экипаж танка, сформировалась именно здесь! Мы дружили, работали в одном электромеханическом цехе. Твой батя, Петя, увлекался мотоциклетным спортом. Я — стрельбой. Самый старший из нас, Николай, готовился поступать в военное училище. Активно занимался спортом, даже прыгнул с парашютом. А Санёк был самый младший. На фронт пошли добровольцами. Здесь же в бане и решили, что будем проситься в один экипаж. Сейчас познакомлю вас с ребятами.

После парной мы уселись на широкую лавку рядом с дядей Ваней. Банщик в белом халате вынес из подсобки медный самовар. Поставил его перед нами на большой дубовый стол. Удивлённо посмотрел на нас:

— А это что за птахи?

Наш ветеран-танкист подмигнул ему:

— Это сын нашего героя, механика-водителя, с другом. Вот хотят в клуб настоящих мужчин вступить. Примем?

— Отчего же не принять? Банька — хорошее средство от всего. Иван Михайлович, тогда я вам пять стаканов к чаю несу!

Обмотавшись простынями, напротив нас сели двое мужчин. Один постарше, другой помоложе.

— Познакомьтесь, это наш командир танка Николай Борисович, а это Санька. Теперь-то и его Александром Сергеевичем кличут. Нет с нами только твоего папки, Петька. Но это не проблема. Завтра с пряничками ждите в гости. Продолжим заседание клуба настоящих мужчин.

— Это Петро уже такой вырос?! А этот курносый — дружок его? Молодцы, ребята. Хорошо ты, Ваня, придумал — молодёжь в наш клуб принять. Мы стареем, молодое поколение пусть ратный труд продолжает. Принимаем в наш клуб настоящих мужчин?

— Конечно! — поддержали Николая Борисовича и другие любители баньки.

Нам пожали руки, поздравили и предложили чай. А вкусный же он какой был! Парная, взрослые разговоры, чай расслабили и сблизили нас так, что я чувствовал себя среди этих опалённых войной бывалых мужчин членом их экипажа. Душевным разговором, тёплым парко́м, берёзовым веником они здесь лечили свои израненные тела и надорванные тяжёлой судьбой жизнелюбивые души.

...Прошли годы, десятилетия. Мои учителя-герои уже давно покинули наш мир. Но традицию посещать клуб настоящих мужчин я продолжаю. Душевными разговорами, тёплым парко́м, берёзовым веником теперь мы лечим свои тела и души.

Пуговица

В советские годы военнослужащие с гордостью носили военную форму вне гарнизона. А когда ехали в отпуск на родину, то обязательно в форме. Да тебя просто не поймут земляки, если ты приедешь в гражданке. В гражданке ты выглядишь как все, а в форме ты уже государственный человек и вести себя обязан достойно. Военный — это значит защитник, это пример для подражания мальчишкам. И как бы это ни звучало пафосно, но это факт. Так было, так мы жили!

После интерната — профтехучилище, затем — срочная служба. А после срочной я решил остаться на сверхсрочную службу: окончил школу прапорщиков ВДВ. Ура! Отпуск. Еду на родину, где не был три года. У меня есть целых тридцать дней, где я сам себе хозяин. Покупкой гражданки даже и не заморачивался. Обязательно надо ехать в форме, у меня же птичка на фуражке, десантные эмблемы на петлицах и околышек голубой. А мне всего двадцать один год от роду!

В Москву прибыл рано утром. Здесь пересадка, мой поезд отправляется поздно ночью, да и с другого вокзала. У меня целый день для столицы!

Мысленно я стал планировать первый по-настоящему отпускной день: сначала погуляю по Московскому Кремлю, а потом обойду его снаружи. Потом павильон «Космос» на ВДНХ, ну и на десерт схожу в Сандуновские бани...

К вечеру от ходьбы ноги гудели, а пятки горели, как после двадцатикилометрового броска с полной выкладкой. Попасть в Сандуны нелегко, но мне удалось: любил нашу армию народ. Все принадлежности банные мне выдали здесь же.

Кто ходит в баню, знает, что после неё человек ощущает удивительную лёгкость в теле и в душе. После второго захода в парную я не пошёл в комнату отдыха, а остался в помывочном отделении, сел на мраморную скамейку. Решил сделать лёгкую растяжку усталых мышц и массаж разогретого тела. За моими оздоровительными процедурами наблюдал сосед. На вид было ему лет семьдесят. Дедок худощавый, жилистый, с множеством старых

шрамов и рубцов. Он так рассматривал меня, что мне стало неловко. Я улыбнулся ему и сказал:
— Доброго вечера, хорошего пара. Вам нужна помощь?
— Вечер действительно добрый. Всё в порядке,— ответил сосед.— Вижу, вы один пришли, как и я. Давайте я вам спину потру, а потом вы мне. Как на это смотрите?
— Положительно смотрю!— ответил я.
— Меня зовут Семён Игнатьич,— представился дедок.— А вас как, молодой человек?
— Сергей!

Так мы и познакомились.
— Ложись-ка на лавку, Сергей. Запоминай всё, потом мне так же спину потрёшь.

Семён Игнатьич взял мочалку из настоящей липовой стружки, намылил её душистым банным мылом, и через несколько минут моё тело стало лёгким и отдохнувшим, как после утреннего сна. Усталость улетучилась. Он окатил меня прохладной водой из шайки, смыв остатки мыльной пены.
— Шабаш! Меняемся местами!— сказал, улыбаясь.

Усталость, которая недавно разливалась по телу, ушла.
— Семён Игнатьич, вы волшебник!

Я бодро поднялся с лавки. Старик хитро улыбнулся:
— Учись, пока есть у кого! Давай, Серёжка, наполняй шайку водой. Я ложусь, теперь твоя очередь показать своё мастерство. Проверю, чему научился.

Я старался, как на экзамене. Хотелось не ударить в грязь лицом перед пожилым человеком. Через двадцать минут запыхтел, как разогнавшийся паровоз.
— Хватит, хватит, Серёжа. До дыр меня затрёшь! Вижу, что стараешься. Спасибо! В душ— и пошли пить чай. Его, наверное, уже принесли,— пригласил меня в отдельную кабинку для отдыха дедок.

Действительно, в небольшой комнате нас ждал стол, накрытый для чаепития. На большом дубовом столе— самовар. Сверху на самоваре фарфоровый чайник с заваркой упревал. На круглом подносе— гранёные стаканы в подстаканниках. В плетённой из лозы сухарнице горкой были насыпаны маленькие сушки.
— Надо банщику за его труды на блюдце чаевые положить,— я уже готов был пойти в предбанник, к своему шкафчику, за деньгами, но меня остановил Семён Игнатьич:
— Серёжа, позволь мне, как москвичу, гостя угостить. Банщик уже всё получил. Садись, будем пить чай с сушками!
— Спасибо и за угощение, и за науку, как быстро избавиться от усталости!— поблагодарил я.
— Молодец, быстро учишься! Такая наука всегда пригодится. Давай пить чай, пока он ещё ядрён, не остыл, силы набрал. А то остынет и вкус потеряет.

Мы парились, пили чай, отдыхали… Дедку, видимо, хотелось поговорить. Мне он вопросов особо не задавал. А вот сам говорил много.
—Знаешь, Серёжа, есть у меня дорогая мне реликвия. Сейчас принесу.

Он поднялся и пошёл в предбанник. Вернулся, что-то сжимая в кулаке. Разжал пальцы, на ладони лежала рубиновая звёздочка с военной фуражки. Глаза повлажнели то ли от пара, то ли от слезинок.

Я протянул руку:
— Можно посмотреть?
— Бери, бери.

Я взял звёздочку, стал рассматривать. Медь от времени стала серо-зелёной. Толстая рубиновая эмаль покрылась от времени мелкой сеткой трещин. Один из лучей звёздочки был надломлен. Аккуратно положил её на стол. Семён Игнатьич смотрел куда-то сквозь меня. Чувствовалось, что он уже не здесь, а в своей далёкой тревожной юности…

Он встряхнул головой, извиняясь, сказал:
— Что-то я задумался. Пей чай. Чего притих? Всё у тебя ещё впереди! Молодость— это так здорово! А моё поколение взрослело на войне. Если интересно, расскажу историю этой звёздочки.
— С удовольствием послушаю. Как вы правильно заметили, в Москве я гость. Поезд мой уходит поздно ночью, времени— ещё вагон,— сказал я, разливая по стаканам чай.
— Тогда слушай,— улыбнулся мой собеседник.— Эх, захотелось отчего-то повспоминать! Была осень тысяча девятьсот сорок второго года. Бои шли тяжёлые. Мы были в резерве. Неожиданно нашей роте поставили задачу: захватить любой ценой опорные пункты немцев и удерживать их до подхода основных сил. По данным разведки, у фрицев там находилось несколько огневых точек и хорошо оборудованная линия обороны. С правого фланга её прикрывало болото, а с левого— минное поле и густой лес. Возможностей для манёвра не было. Нужна была только быстрая, решительная лобовая атака, чтобы занять это узкое горлышко. Был я в то время в звании младшего сержанта командиром орудийного расчёта пушки-сорокапятки. Рота с большими потерями выбила фрицев и, не преследуя отступающих, заняла их линию обороны. Наше дерзкое появление из утреннего тумана для немцев было настолько неожиданным, что они побросали всё, лишь бы уцелеть. На большом столе в блиндаже осталась даже оперативная карта. Рядом стоял горячий кофейник, лежали вскрытые пачки галет. Из наушников включённой радиостанции вылетали гавкающие команды, а рядом в деревянной пепельнице дымилась недокуренная сигара. Нас здесь явно не ждали!— Семён Игнатьич усмехнулся.— Теперь в этом блиндаже разместился наш штаб. Командир штурмовой роты лейтенант Александров принял доклады

всех командиров о потерях и состоянии орудий. Тут же, на немецкой карте, обозначили сектора обстрела каждого орудия, общую систему взаимодействия огневых точек. Наш Сашок, так мы звали между собой своего командира—фамилия больно длинная, вот и сократили,—так вот, наш Сашок определил нам задачу: «Держаться, держаться и держаться!» Потом обвёл нас взглядом, будто подбирал слова для дальнейшего разговора, вздохнул и уверенным, спокойным голосом сказал: «Товарищи командиры, на участке линии обороны нашего полка произошли изменения. В ближайшие часы подкрепления не будет. Но комполка обещал поддержку огнём из гаубиц… только в критической ситуации. У меня всё, товарищи командиры. Скоро рассеется туман. Быть внимательными, принимать решения самостоятельно, по обстановке. К расчётам!»—твёрдым голосом скомандовал лейтенант. Мы взяли под козырёк и, пригибаясь, разбежались по траншеям к своим орудиям. Клочки холодного влажного тумана гуляли по равнине и скапливались в низинах. Первые лучи солнца и лёгкий ветерок съедали его, оголяя передний край немцев. Он хорошо освещался восходящим с востока солнцем. Оно стало нашим другом, цели высветились как на ладони. «По скоплению вражеской техники, беглым—огонь!»—скомандовал я. Первый снаряд угодил в бронемашину. Она вспыхнула, из неё повалил чёрный столб дыма. Открыли огонь и другие наши орудия. Застрочили пулемёты. Фонтаны огня и земли взлетали среди бегающих фрицев. Вторым снарядом наводчику удалось попасть в немецкое орудие. Оно подпрыгнуло и перевернулось. Паника в немецком лагере длилась недолго. В общем грохоте боя были слышны отрывистые команды фрицев. В нашу сторону двинулись танки. Между ними ехали мотоциклы и поливали наши окопы из пулемётов. За их огневой защитой выстроились три цепи автоматчиков. Не считаясь с потерями, они упорно двигались на нас. Бой разгорался всё сильнее и сильнее. Осеннее солнце припекало, гимнастёрки стали мокрыми, на спинах выступила соль. Во рту всё спеклось. Не было времени даже сделать глоток из фляжки или просто лечь на землю, чтобы передохнуть. Немцы приблизились так близко, что из окопов в них летели гранаты, а в некоторых местах шёл рукопашный бой. Танки прорывались то слева, то справа. Мы еле успевали разворачивать орудие. Пыль от взрывов и дым от горящих танков разъедали глаза. Снаряды таяли, как весенний снег. Вдруг за спинами немцев загрохотало. Огромные снопы огня вырывались из-под земли. Они разбрасывали технику, уничтожали наступающие цепи врага. Это ударила наша тяжёлая артиллерия! Фашисты выдохлись, отступили. Мы тоже были обескровлены. Теперь мой боевой расчёт состоял только из двух человек вместо семи. Были живы я и наводчик, но он ничего не слышал из-за контузии. Смерть ходила вокруг меня, заглядывала в глаза, пробиралась под гимнастёрку, но я оставался живым и невредимым. От разорвавшегося рядом снаряда меня только отбросило и посекло лицо мелкими осколками. Наступила волнующая тишина. Она звенела в ушах, пробегала холодом по всему телу.

Семён Игнатьич покрутил в руках сушку, хлебнул остывшего чаю.

— Мы потеряли чувство времени. Утро, день или вечер? Есть не хотелось. И усталость исчезла: надо было замаскировать орудие, собрать раненых, похоронить погибших. И вдруг боец, наблюдавший за передним краем противника, крикнул: «Воздух!» Мы побросали лопаты и укрылись в траншеях. В дымчато-голубом небе висели чёрные точки. Они поочерёдно срывались с высоты и увеличивались в размерах. От них отделялись бомбы, вырывались огненные трассы. Душераздирающий вой заполнил всё. Земля заплясала под ногами, вздыбилась и чуть не похоронила меня живьём под своей тяжестью. Стоны, рёв моторов, сплошные взрывы… Всё это продолжалось, казалось, вечность. И снова тишина…Я вылез из-под обрушившегося бруствера, снял с ремня фляжку, промыл глаза от земли. С жадностью проглотил остатки воды, огляделся. Кругом сплошные воронки от бомб, искорёженное орудие лежало вверх станиной. Чья-то окровавленная рука торчала из-под земли. Не раздумывая, кинулся откапывать тело. Ухватился за гимнастёрку и вытащил своего наводчика. Из раны на голове текла кровь. «Коля, потерпи,—я не узнал своего голоса, вырывался какой-то хрип.—Сейчас перевяжу и перенесу в блиндаж». Он с трудом открыл залитые кровью глаза, зашептал: «Потом, потом». Потянулся к нагрудному карману гимнастёрки. Достал испачканное кровью письмо-треугольник. Протянул мне и сказал: «Передай лично, это моё последнее письмо жене и детям».—«Ты что, Коля, такое говоришь? Подлечишься—сам отправишь, всё будет хорошо!» Я торопливо перевязывал ему голову. «Нет, это всё. Прощай, пообещай…» Глаза его закрылись, голова безвольно повисла у меня на руке. Хотелось плакать, нет, выть волком, но не было слёз, они высохли от горя и ненависти. Я пустым взглядом смотрел в задымлённое небо, не было сил подняться с колен. «Сержант!»—оклик вывел меня из оцепенения. Я оглянулся. Закопчённый сажей солдат махал мне рукой. «Лейтенант срочно тебя вызывает»,—сказал он и, пошатываясь, пошёл дальше по траншее искать уцелевших после этой страшной бомбёжки. Я поспешил к блиндажу. Ему тоже досталось после авианалёта. Он больше напоминал лесоповал: вздыбленные чёрные брёвна дымились, от них шёл удушливый

запах смолы и дёгтя. У разрушенного входа на расстеленной плащ-палатке сидел лейтенант. Лицо его было белым, как полотно. Фуражку он прижимал к животу. Около десяти солдат стояли и сидели рядом. Они приводили себя в порядок, матеря на чём свет стоит фашистских стервятников. Я козырнул, хотел доложить, но командир покачал головой и, с трудом шевеля губами, произнёс: «Семён, у меня мало времени. Остаёшься вместо меня».—«Как так, товарищ лейтенант?!»—оторопел я. Командир застывшим взглядом посмотрел на меня, потом убрал в сторону окровавленную фуражку… От увиденного меня затошнило и пробил пот. Вместо живота была дыра, из которой лезли рваные кишки. Он прижал фуражку и продолжил: «Через час-два немцы снова пойдут. У нас нет ни орудий, ни гранат. Но приказ надо выполнить, надо выстоять, надо выжить… Выжить, понимаешь? Завтра утром полк пойдёт в наступление, командование должно быть уверенным, что мы удерживаем коридор для прохода главных сил».—«Есть стоять насмерть, товарищ лейтенант!»—сказал я, перебив, так как видел, что жизнь на глазах покидает его. «Не надо умирать. Надо удержать и выжить. Подготовьте позиции так, как будто все погибли при авианалёте. Сами незаметно уйдите, схоронитесь в кустарнике, в высокой траве. Постоянно наблюдайте за врагом. Ночью, когда они успокоятся, постарайтесь бесшумно, холодным оружием, ликвидировать их боевое охранение. Не позднее шести утра подайте сигнал зелёной ракетой. Это будет означать, что проход и опорные пункты в наших руках. Возьми мою полевую сумку, там лежит ракетница, мои документы и немецкая карта». Лейтенант указал на лежащую рядом с ним сумку. Потом снял с фуражки звёздочку и протянул её мне. Залитая кровью красная звезда лежала в окровавленной ладони нашего командира. «Возьми, на память обо мне…» Это были последние слова лейтенанта. Его глаза закрылись, рука безжизненно опустилась. Мы сделали всё, как он и планировал. После сигнала ракеты полк двинулся в наступление.

Семён Игнатьич встал, взял звёздочку. Встал и я.

— С тех пор так и ношу её во внутреннем кармане кителя. Моя главная награда. Что приуныл-то? Мы теперь за них всех жить должны долго и счастливо! Пошли погреемся, а то заморозил я тебя своими воспоминаниями.

Мы ещё попарились, попили чаю. Пошли в предбанник одеваться. Удивительно, но мой шкафчик оказался недалеко от шкафчика дедка. Я одевался, размышлял над услышанным. Надевая китель, подумал: «Сейчас Семён Игнатьич увидит, кто его тут в баньке парил!» Я закрыл дверцу, развернулся и вытянулся по стойке «смирно»… Семён Игнатьич, мой дедок, поправлял генеральский китель, на котором красовалась медаль Героя Советского Союза. Он расплылся в улыбке:

— Вольно! Вольно! Так я, значит, крылатую пехоту учил париться?! Серёжа, а погоны-то у нас с тобой одинаковые: у тебя две звёздочки, и у меня две звёздочки.

— Только ваши звёздочки побольше и шитые,— засмущался я.

— У тебя всё ещё впереди! Спасибо тебе, так хорошо посидели, попарились,—Семён Игнатьич хитро прищурился.—Хочу сделать тебе подарок в память о сегодняшнем вечере,—он оторвал от кителя пуговицу и протянул её мне.—Пусть она будет твоим талисманом удачи! Служи так, чтоб было что рассказать!

— Спасибо, товарищ генерал! Спасибо за доверие!

Я положил пуговицу во внутренний карман кителя.

— В этом я и не сомневаюсь!—с улыбкой ответил он.

Мы вышли из бани. Пожали на прощание друг другу руки…

Под стук вагонных колёс я размышлял о сегодняшнем дне, о встрече, которую мне подарила судьба. Достал генеральскую пуговицу, зажал её крепко в руке. Вдруг сознание сформировало чёткую цель: приеду из отпуска—буду готовить документы для поступления в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

С того дня прошло много лет. Я давно на пенсии. Доверие Семёна Игнатьича оправдал. А генеральская пуговица всегда со мной во внутреннем кармане кителя.

Анастасия Астафьева

Глафира и Президент

Притча времён ковида

Окончание. Начало см. «ДиН» №3/2023

День четвёртый. Дары

(5 мая, вт.)

Часов с семи утра Глафира сидела у окошка спаленки, вязала полосатый носок и внимательно следила, чтобы соседи-дачники действительно ушли на остановку и уехали. Те, поглядывая на её окна, протопали мимо в семь сорок, а в восемь пятнадцать за березняком с характерным скрипом тормозов остановился автобус. Старуха облегчённо выдохнула — опасность миновала.

Вчера вечером, когда солнце уже закатилось за лес, Никитич высадил их, четверых, на этой самой остановке. Глафира провела гостей тропкой через березняк прямо к дому. Никто их не заметил.

Машину Никитич оставил в лесном закутке — с дороги не видно, а в лес сейчас никто особенно не шастает, — и вернулся к бабкиной избе той же тропочкой.

Все рано легли спать. Ещё бы! Целый день на воздухе! Даже загорели немного — майское солнце цепкое.

Чай к завтраку заварили на родниковой воде, и все отметили, что и темнее он, и аромат раскрылся лучше. Быстро поев, ребята собрали инструменты — топорики, ножовки, бензопилу — и уехали наводить порядок около источника. Никитич, правда, хотел остаться, но Президент, коротко переговорив с ним, отправил водителя вместе с Ильёй и Алёшей. Сам сел работать: открыл свой ноутбук, что-то читал, иногда быстро набирал на клавиатуре короткий текст.

«На письма отвечает…» — догадалась Глафира.

Потом ему кто-то позвонил, и разговаривать Президент вышел на улицу.

Бабка продолжала увлечённо вязать носок, подбирала цветные нитки так, чтобы полоски на нём сочетались одна с другой, чтобы не вышло аляповато. Вчера утром, пока никого не было дома, она осторожно взяла тапочки Президента, прикинула размер — боялась ошибиться, пусть носочек удобно сядет на ножке. Вязать она любила, и если бы было больше времени, связала бы для Президента и душегрейку. Но нет, не успеть… Да и пальцы как-то плоховато слушаются. Носок вот один сегодня довяжет, завтра возьмётся за второй.

Глафира оторвалась от рукоделия, взглянула в окно и крякнула, поймав на кончике языка и не выпустив в мир бранное словцо. По деревне, в сторону её дома, шарашился дед Семён. И был он уже довольно близко. А Президент ходил возле крыльца и всё ещё разговаривал по телефону. По тону голоса и резким фразам было понятно, что отчитывал кого-то.

— Старая калоша… — заворчала на себя Глафира, откладывая вязание. — Сама же наобещала, что придут ребята огород копать. Он вчера день прождал да сегодня полдня. А терпежу-то ведь у нас нет!

Бабка прытко выбежала на крыльцо и стала манить рукой Президента. Но тот, раздосадованный чем-то, отмахнулся и продолжил неприятный разговор.

— Домой! Домой скорей зайдите! — громким шёпотом кричала ему Глафира и тыкала пальцем в бредущего за забором старика. — Конспирация!

И только когда кепка деда Семёна замаячила около калитки, Президент отключил телефон и резко спросил:

— Что случилось, Глафира Фёдоровна?

Но отвечать уже было некогда. Бабка бесцеремонно схватила главу страны за руку и, затащив на крыльцо, велела быстренько спрятаться в спаленке.

— Я его в избу-то не пущу, но так, на всякий случай! — быстро проговорила она вслед гостю, а сама вышла навстречу старику: — Чего ползёшь?! Я вот как раз сама к тебе собираюсь!

— Да погоди, Глашка, дай отдышаться… — дед тяжело опустился на ступеньку крыльца. — Неможахом что-то я с вечера…

— Я ж тебя вчера видала! Как огурец был!

— С утра-то встал нормально, а к вечеру слабость какая-то нашла, — то ли услышал, то ли просто поймал её мысль сосед.

— Тем более — чего прёшься?! Лежал бы! Я бы пришла.

Глафира положила ладонь на дедов лоб.

— Температуры вроде нет! Но кашляешь вот! Сколько говорю: кончай смолить!

Бабка продолжала по привычке отчитывать деда, хотя на самом деле растерялась и испугалась.
— Таблеточку какую-нибудь дай,— попросил дед Семён.— Голова так болит, спасу нет.
— В больницу надо, а не таблеточку! Посиди тут!

Глафира зашла в избу и от порога спросила Президента:
— Что хоть делать-то? Заболел дед…
— Что с ним?— прозвучало из спаленки.
— Температура, не поняла, есть или нет… А кашель— дак он всю жизнь кашляет. Потому что курит с пяти лет. Всю пенсию прокурил!
— Я думаю, всё же лучше вызвать врача,— вышел из-за перегородки Президент.
— Сейчас Лариске позвоним… Можно ведь с вашего?

Глафира выдвинула ящик комода, достала оттуда потрёпанную телефонную книжицу и, раскрыв на нужной странице, ткнула в подчёркнутый синей ручкой номер.
— Наберите, пожалуйста.
— Лариска— это кто?
— Фершалка наша. Она быстро прибежит, тут до усадьбы километр.

Президент нехотя стал набирать на своём мобильном номер.
— Как же вы без телефона-то живёте, Глафира Фёдоровна?
— Да есть у меня где-то эта игрушка, сынок подарил. Но я её заряжать забываю. Да всё время с пультом телевизионным путаю. Схвачу, жму, жму. А телевизор не включается. Ну всё, думаю, сломался…

В трубке пошли гудки. Президент вскинул вверх палец, давая знак замолчать, и протянул телефон Глафире.
— Лариса!Ларисонька!— закричала бабка в трубку что есть мочи. Глава страны даже вздрогнул и отшатнулся.— Семён Данилыч заболел! Прибеги, девонька! Худо ему совсем!.. У себя он, у себя! Лежит, не встаёт… Нет, вчера нормальный был, а сегодня не встаёт! Да… Да… Хорошо, девонька! Ждём!

Она протянула телефон обратно Президенту и торопливо пояснила:
— Я сейчас его до дому провожу, уложу. Лариска придёт к нему, разберётся. Если надо— вызовет скорую. А мы с вами в лес уйдём.
— Зачем?— удивился Президент.
— За сморчками!— весело сообщила Глафира.— Для конспирации!
— Что за глупости? Я тут посижу.
— Не-ет! Лариска молодая, глазастая, придёт меня заодно проведать, всё высмотрит. Нюхом учует, что кто-то у меня есть. Лучше уйти.
— А далеко эти… сморчки ваши?— спросил совсем ошалевший глава страны.
— Да тут, под угорицей. Близко!

И бабка выбежала из избы, подхватила деда Семёна с крыльца и повела его обратно к его дому. Было видно, как она нервничает и торопится, но больной старик шёл медленно, останавливался, откашливался.

Вернувшись, Глафира выдала Президенту резиновые сапоги и лесной костюм сына, кепку на голову. Сама тоже нарядилась по-лесному: натянула спортивки, сверху брюки, штанины которых засунула в сапоги, домашний халат сменила на мужскую фланелевую рубашку, наглухо застегнула её, сверху на всё это надела старый плащ и повязала на голову платок.
— И вы застегнитесь!— велела она гостю.— Ворот как следует затяните и рукава не закатывайте, распустите… пуговка вот тут…
— Тепло же на улице!— пытался возражать новоиспечённый грибник.
— А это не для тепла, а от клещей! Не принести бы на себе… У нас клещей— страсть развелось!
— Что-о?!— воскликнул Президент.— Тем более никуда я не пойду!
— Надо идти, миленький, надо,— приговаривая, увлекала его за собой Глафира.— Сейчас попрыскаемся ещё. Прыскалка у меня специальная от клеща есть.

Отупевший от её болтовни гость покорно вышел на крыльцо. Бабка сунула ему в руку небольшую корзинку, а сама схватила зелёный баллончик и облила какой-то пахучей жидкостью всю одежду с ног до головы сначала на себе, потом на Президенте. Попыталась прыснуть ему на шею и руки, но тут уж глава страны взбунтовался:
— Хватит! У меня аллергия! И прививки все сделаны! В том числе и от клеща!
— Вот и хорошо! А то вчера на родник непрысканные уехали. Да все в футболочках. Переживала я. Ну да там бор, на бору клеща немного. Он больше по лежалой траве, по кустам. А теперь же не косит никто, вот его и развелось. Ведь полчища! Несчётные тысячи!

Говоря всё это, Глафира повесила замок на дверь, тоже взяла корзинку, и они с Президентом пошли по тропиночке к остановке.
— Я-то каждый год в больничке страховку делаю, недорого совсем! Зато если укусит, сыворотка будет бесплатная. А так полпенсии отдашь… Надо вам тоже страховку сделать!
— Может, просто не ходить туда, где клещи?— язвительно поддел хозяйку гость.
— Что ж теперь, и не жить?— в тон ему ответила бабка.— Судьба, так и в огороде клеща поймаешь. Кому как повезёт… А ребята вечером с родника вернутся, надо всё-таки их осмотреть.

Они прошли метров двести по грунтовой дороге. Та постепенно спускалась вниз, а потом снова тянулась в горку и терялась за поворотом. По обеим сторонам дороги стоял вековой лес.

Сосны и ели в свежей хвое, берёзы в зелёной дымке молодого листа, всё ещё голые осины подпирали ярко-голубое, чистое небо. Юный и оттого дерзкий майский ветер качал и теребил кроны деревьев. Придорожная ива распустила жёлтые серёжки. Солнечные пятна одуванчиков тут и там светились по обочинам. Пёрла сныть, лез лопух, проклёвывался пырей, кучерявилась пижма. И над всем этим уже толклись, жужжали какие-то мошки. Пролетела первая бабочка. Шмель прогудел.

Навстречу грибникам попалась машина. Президент надвинул кепку пониже и на всякий случай отвернул лицо. Глафира сошла с дороги и спустилась под обочину. Гость шагнул за ней. Они продрались сквозь кусты и низкий колючий ельник, вышли на маленькую лесную полянку. Остановились. Глафира подошла к поваленному сосновому стволу, с которого давно осыпалась кора. Походила вдоль него, наклонилась, что-то срезала ножичком и показала сморщенный, коричневый, очень похожий на огромное ядро грецкого ореха гриб.

— Вот! Первый! Значит, не зря пришли. Тепло, дождь полил, они и полезли.

Президент взял сморчок в руки, разглядел, понюхал.

— Сыростью пахнет ваш гриб. Плесенью.

— Сам ты! — обиделась было Глафира, но опомнилась и хлопнула себя по губам. — Вот наварим да нажарим с луком — за уши не оттянешь!

— А вы уверены, что это можно есть?

— Ещё как! Я их каждую весну собираю. В них много полезных веществ и минералов. Так в газете писали.

Она прошлась по полянке, пошевелила обломанные ветки, нашла под ними другой гриб. У трухлявого пня — ещё два. Потом спустилась к канавке и крикнула оттуда:

— Идите сюда! Здесь много!

Президент без охоты пошёл к ней, проворчав на ходу:

— Я бы белых пособирал. У вас здесь боры, мох голубой. На нём такие крепкие боровики должны расти! Мы в Карелии с Сергеем Кужугетовичем собирали.

— Ну, за белыми — это осенью. Милости просим! А пока и сморчкам рады.

Постепенно глава страны втянулся и уже быстрее Глафиры находил эти забавные грибы. Настроение его улучшилось.

Они снова продрались сквозь ельник, пришли на другую полянку, на третью. Набрали уже по полкорзинки. Прогулялись по лесной дороге, где в колеях, среди старой осыпавшейся коры и обломанных веточек, торчали светло- и тёмно-коричневые, все в мозговых извилинах, грибные головы.

Лес был ещё прозрачен, свеж. Он переживал свою очередную молодость и стоял весь напитанный соками. Казалось, было слышно, как они, эти соки, смешанные с впитанной талой водой, устремляются по жилам деревьев от корней к вершине, и каждое дерево в лесу дышит глубоко, полногрудно, разворачивает, разминает свои деревянные плечи-сучья и затёкшие без движения пальцы-веточки. Обновляется кора, нарастают свежие годовые кольца, шелестят от лёгкого движения воздуха ниточки молодой берёсты на берёзах. И даже старый пень вдруг выпустит тоненький боковой побег, а упавшая в прошлогоднем буреломе лесина распустит вместе со всеми листья. Потому что весна! Потому что время жить!

Домой грибники вернулись часа через три. Глафира усадила Президента чистить грибы, сама же поставила на плитку большую кастрюлю с водой.

— Надо их дважды отварить, воду слить, а потом уже жарить.

— Значит, они всё-таки ядовитые? — снова усомнился Президент в пользе предстоящего обеда.

— Если бы они были ядовитые, я бы давно померла! — она села за стол напротив гостя и тоже стала чистить сморчки. — Ножку-то полностью отрезайте.

— Да тут и ножки-то как таковой нет.

— Ну вот это, где грязь, не жалейте… Этот чёрный совсем, старый, этот выкиньте. А вот это вырезать просто можно…

Под столом резвились котята, крутились клубком, выбегали, напрыгивали друг на друга и жалобно мяукали, если игра становилась слишком агрессивной.

— А вот это что? — спросил Президент и показал испорченный гриб.

— Это слизнячок поел, не страшно.

— Ну, я лучше выкину.

— Выкидывайте, хватит нам…

— А вот этот один, наверное, полкило весит! Я его на полянке у пня нашёл!

— Да-а, тяжёленький…

Так, за приятным разговором, они быстро перебрали грибы. Хозяйка закинула их в закипающую воду, а сама пока почистила и нарезала лук, поставила на вторую конфорку плитки жариться.

Грибы поварились минут десять.

— Помогите мне, пожалуйста, — попросила Глафира Президента.

Она взяла дуршлаг и держала, пока он выливал в него варево.

— Это столько всего вышло из двух корзинок? — удивился гость.

— А вы чего хотели? Они ведь уварились. Сейчас ещё разок прокипятим — и на сковородку.

Хозяйка водрузила кастрюлю с водой обратно на плитку. Только воды теперь было вполовину от прежнего, и грибы она кинула в неё сразу.

А тут и ребята вернулись. Сперва на двор задом въехал грузовик, в кузове которого горой были навалены чурбаки. Из левой дверцы кабины

выпрыгнул Алексей и, показывая жестами, помог машине попятиться.
— Давай! Давай! — махал он ладонью к себе.

Потом показал «стоп», грузовик остановился. Алексей отстегнул и откинул боковой борт кузова. Тот стал подниматься всё выше, выше, пока с него не покатились первые кряжи. Они попа́дали на землю, но кузов всё не останавливался, и тогда чурбаки тяжёлым громыхающим потоком ринулись вниз. Грузовик затрясся, отъехал вперёд, оставляя за собой богатый дровяной шлейф. Опустевшая машина радостно рванула с места и уехала прочь.

Алексей вошёл в дом.
— Ну что, всё сделали? — спросил его Президент.
— Да где там всё! — устало опустился охранник на табуретку около стола, поймал у ножки заигравшегося дымчатого котёнка, взял на руки и, поглаживая его, договорил: — Только вокруг лестницы да на въезде прибрали. А если дальше пробираться, то там и за неделю не управишься.
— Сейчас кормить вас будем, богатыри! — сообщила Глафира. — А где Илюша с Никитичем?
— Сейчас приедут. Илья грузовик назад погнал. А Никитич его там дожидается.

Алексей увидел, как Глафира вывалила что-то из дуршлага на сковородку, и спросил:
— А это что у вас? Грибы, что ли?
— Сморчки! Дары леса! — гордо возвестил Президент. — Сами набрали!
— Обалде-еть! — парень выпустил котёнка, подошёл к плитке и склонился над шипящей сковородой. — Пахнет-то как вкусно! С лучком?
— И с лучком, и с чесночком! — нежно оттолкнула его стриженую голову стряпуха. — Иди умывайся да переоденься и осмотрись, и ребятам скажи — клещей бы не натащили.
— А мы тут у вас нашли какой-то спрей. Побрызгались с утра.
— То-то я гляжу, там и полбутылки не осталось! Ну да всё равно, посмотрите друг друга — и за стол.

Алексей ушёл. Минут через пятнадцать приехали на чёрной машине Илья с Никитичем. Они долго умывались на улице, потом переодевались. Хозяйка успела отварить рис, бухнула его к грибам, перемешала и накрыла крышкой.
— Товарищ главнокомандующий! — Илья вошёл в избу и шуточно обратился к Глафире. — Осмотр личного состава произведёт! Посторонних насекомых не обнаружено!

Ребята расселись за столом в ожидании угощения. Глафира раскладывала рис с грибами по тарелкам и подавала им.

Алёша принял свою тарелку, в предвкушении потёр руки и произнёс:
— Ну-с! Попробуем, что за сморчки!

Президент тоже принял свою порцию, поблагодарил, взял в руки вилку.

Голодный Илья, не в силах ждать, уже отломил и жевал кусочек хлеба.

И тут Никитич сказал:
— Стоп! Положили вилки!

Все недоумённо посмотрели на него.
— Вы вот эти грибы собирали? — настороженно спросил Никитич, показывая на стоящую у стены корзинку с грибными отходами.

Он выловил из мусора и обрезков поеденный слизняком грибок, который забраковал Президент. Тот был совершенно целый, молоденький, светло-коричневый. Лишь в одном месте в извилистой голове гриба обозначилась дыра, обнажающая его нежные, кремовые внутренние стенки. Глафира бы никогда такой не выкинула, обрезала бы просто.
— Эти, — ответила она. — А что?
— Это не сморчки, — нахмурился водитель. — Это строчки́. И употреблять в пищу их нельзя!
— Да ну тебя, Никитич! Есть охота! Нормально тут всё! — воскликнул Алёша и снова занёс вилку над тарелкой.
— Команда «стоп» была для всех! — шарахнул водитель тяжёлой ладонью по столу.

Он поднялся, отобрал у ребят и Президента тарелки, свалил с них еду обратно в сковородку и унёс её куда-то под возмущёнными, растерянными, голодными взглядами собравшихся за столом.

Вернулся он с пустой сковородой и велел Глафире хорошенько её промыть.
— Объясни хоть, мил человек, чем я не угодила? — обиженно спросила хозяйка и поджала губы. — Всё приготовлено как положено. Два раза отварила, воду слила. Поджарила хорошенько.
— Да, Никитич, объясни, — подключился Президент. — Я лично участвовал в процессе приготовления и могу подтвердить слова Глафиры Фёдоровны.
— Не нужно это есть, ни варёное, ни жареное.
— Да почему же? — возмутилась хозяйка. — Мы с малолетства эти грибы собираем и едим. Дары природы! — она взглянула на Президента, ища у него поддержки. — И никто до сих пор не помер!
— Есть такие грибы, от которых сразу не помрёшь. Яд в организме постепенно накапливается, отравляет его, поражает отдельные органы, — занудно вещал Никитич голодным людям. — Может являться причиной возникновения опухолей, других заболеваний. Даже слабоумия.
— А я вот, слабоумная, восемьдесят лет эти грибы ем и всё никак не помру! — окончательно обиделась Глафира. — Пирожки мои вчера тоже с грибами были. Что же на экспертизу не отправили? Вдруг я и там поганок насолила?
— Это я упустил… — на полном серьёзе покаялся Никитич.
— Ну хватит вам ссориться, — Президент попытался примирить две конфликтующие стороны. — Обедать всё равно надо. Доставайте, ребята, что там у нас от завтрака осталось.

Илья с Алексеем охотно отправились к холодильнику, понесли к столу закуски.

Но Никитич не успокаивался.

— Глафира Фёдоровна, а чего вы обижаетесь? Мне не верите — давайте в интернете посмотрим, — он достал телефон, набрал в поисковике запрос «сморчки и строчки́». — Вот! Смотрите! Сморчки — они конические, пирамидальные. На чёткой ножке. А то, что вы насобирали, — это строчки́. Просто народ названия перепутал. И то, что строчки́, — называют сморчками. А сморчки — строчка́ми. И про них написано… Я вам зачитаю… Из Википедии…

Хозяйка в телефон смотреть не стала и слушать ничего не хотела. Она ушла за перегородку, в спаленку. Снова села у окна и принялась за вязание. Но руки дрожали. Ей было очень обидно. Столько трудов и продуктов пропало зря.

А Никитич упорно зачитывал, не упуская даже формул, непонятных слов и специализированных терминов:

— В строчка́х, особенно в сырых, содержатся гиромитрины — сильные токсины, производные гидразина общей формулы $R{=}N{-}N(CHO)CH_3$, обладающие гемолитическим действием, а также разрушающие центральную нервную систему, печень и желудочно-кишечный тракт. Поэтому употребление в пищу жареных неотваренных строчков, а также бульонов из них может приводить к серьёзным отравлениям, часто со смертельным исходом.

Он поднялся, встал у перегородки и продолжал добивать старушку:

— При употреблении строчков в пищу необходимо соблюдать осторожность. Во-первых, даже те количества гиромитринов, которые остаются в грибах после отваривания или сушки и не вызывают клинической картины отравления, могут быть канцерогенны. Во-вторых, некоторые люди (особенно дети) могут обладать повышенной чувствительностью к гиромитринам, так что даже небольшие количества этого яда будут опасны для них. Высказывалось предположение о существовании особых штаммов строчков с повышенным содержанием гиромитринов, против которого вываривание неэффективно…

Глафира заплакала.

— Никитич! — вдруг очень строго сказал Президент и пристально, холодно посмотрел водителю прямо в глаза. — Ты уже, по-моему, сам запутался. Сядь на место.

Водитель подчинился. Сел. Замолчал.

Вконец оголодавшие Илюша с Алёшей осторожно таскали с тарелок кусочки мясной и сырной нарезки. Запихивали их в рот и стеснительно жевали.

— Иди извинись перед Глафирой Фёдоровной, — очень тихо, но тоном, не терпящим возражения, сказал Президент Никитичу.

— Но ведь все могли отравиться, — прошептал тот. — В первую очередь вы…

Тогда Президент сам зашёл за перегородку.

— Глафира Фёдоровна, я от лица всего нашего коллектива приношу свои извинения за испорченный обед.

— Да что уж там… — подняла на него грустный, влажный взгляд хозяйка. — Это вы меня, дуру старую, извините.

— А давайте картошечки нажарим! — весело предложил глава страны. — Есть же у нас картошечка? Осталась от посадки?

— Осталась! — оживилась Глафира, отложила носок. — Надо только в подпол слазать, набрать.

— Ребята! — окликнул Президент охранников. — Кто в подпол?

— Да мы уже тут! — отозвались голоса откуда-то из-под половиц. — А огурчиков солёненьких достать?

— Достать! — засуетилась у открытой крышки подпола хозяйка. — Вон ту баночку берите, у стены. Побольше!

Меньше чем через час все сидели за обеденным столом и уплетали ароматную жареную картошку вприкуску с хрустящими солёными огурцами.

— Эх, хороша закуска! — воскликнул Никитич. — Может, по сто грамм с устатку?

— А прочитать тебе про вред водки? — подколол его Президент. — Как она действует на центральную нервную систему, печень и другие органы?

Илюша с Алёшей прыснули со смеху.

Глафира довольно заулыбалась.

— Ну, уели, уели, — сдался Никитич и уткнулся в свою тарелку.

А Президент наклонился к хозяйке, подмигнул ей и шепнул, но так, чтобы все слышали:

— А мы завтра сходим и ещё насобираем!

Глафира всё же очень беспокоилась о здоровье деда Семёна и после обеда побежала к нему.

Старик лежал, как и всегда, укрывшись вместо одеяла полушубками.

— Мёрзну чего-то… — произнёс он слабым голосом, когда Глафира подошла к кровати.

— Чего Лариска-то сказала? Температура есть? — наклонившись, громко спросила его бабка.

— Не намеряла. А вот давление, говорит, высокое. Укол воткнула. Таблеток оставила…

Дед замолчал.

— Ну а дальше чего? — нетерпеливо спросила его соседка.

— Чего… Подождать денёк. Если станет хуже, скорую вызывать.

Дед снова замолчал, а потом протянул руку и сжал Глафирину ладонь.

— Глаша, ты посиди со мной… Мне как-то… Не по себе как-то…

Глафира взяла табуретку, приставила её к кровати и послушно села.

Снова повисла тишина. Только слышно было, как тяжело, с посвистом, дышит лежащий старик.

— Она хоть послушала тебя? — заботливо спросила бабка.

— Чего?

— Послушала?! — крикнула она деду в ухо.

— Ой, не кричи ты так, — заворчал старый. — Послушала.

— И чего?!

— Ничего.

— Да как ничего-то?! — возмутилась Глафира. — Вон как свистишь весь!

— Это я по жизни свистю. Знаешь ведь, курю с малолетства.

Старик снова замолчал. Снова нашёл бабкину руку и сжал её своей заскорузлой ладонью.

Всегда суетливой Глафире трудно было сидеть без дела, но она терпела, почувствовав какую-то небывалую близость между собой и этим одиноким убогим стариком. Пожимала ответно его руку, поправляла съехавший полушубок, подавала пить.

Сколько прошло времени, она не знала. Дед Семён задремал. У Глафиры затекла спина. Она осторожно освободила свою ладонь из его пальцев, неслышно поднялась с табуретки. Надо было хоть каши сварить старику, покормить его.

Она прошла на кухоньку, включила плитку, поставила воду. Стояла, ждала, пока закипит. Смотрела в окно. Солнце скатывалось к лесу, пропитывая розовым сиропом высокое небо с редкими облачками. Вечерняя тень медленно ложилась на поле, на молодой березняк. Только дикая яблонька, самосевом выросшая под кухонным окном дедова дома, сияла белым цветом, словно сопротивлялась наползающей ночи. Но вот и её цветы сначала окрасились в розовое, а потом медленно, вместе с солнцем, погасли. Густые синие сумерки легли на деревню.

Дед закашлялся и проснулся.

— Глаша-а, — позвал он.

— Сейчас! — отозвалась Глафира, быстро посолила закипевшую воду и высыпала в неё из пакета остатки гречневой крупы.

Зашла в комнату.

— Чего?

— Куда ты ушла?

— Да тут я, тут.

Она снова села на табуретку рядом с кроватью.

— Помру я, Глаша, так ты возьми там, на память…

— Чего у тебя брать-то? — вздохнула бабка.

Но дед сделал знак рукой, чтобы она его не перебивала.

— Поди, возьми там, в буфете, в ящике… В платок завёрнуто…

Глафира послушно пошла к буфету, выдвинула левый ящик.

— Не тут… В правом.

Глафира выключила плитку, чтобы каша не подгорела, выдвинула правый ящик, покопалась в каких-то проводках, старых лампочках, сломанных фонариках, отвёртках и нашла на дне что-то, завёрнутое в голубую газовую косынку.

— Это? — принесла и показала она старику.

— Это. Развяжи.

Глафира послушалась. В косынке оказалась красивая восьмигранная коробочка с маленькой изогнутой ручкой. Коробочка в каждой из граней была инкрустирована эмалью с цветочным орнаментом, а на торцевых крышках по кругу, парами, взявшись за руки, двигались в танце дамы и кавалеры.

— Покрути, — сказал дед и улыбнулся беззубым ртом совсем по-детски.

Глафира крутанула ручку, и из коробочки послышалась примитивная механическая музыка. Что-то пощёлкивало и позвякивало. При каждом новом прокручивании она повторялась, а дамы и кавалеры кружились под неё в одинаковом танце.

— Это музыкальная шкатулка, — сиял совершенно счастливый дед Семён. — Для тебя! Я ведь, Глаша, в молодости сох по тебе. А ты Гришку-конюха выбрала.

— Ты же знаешь, что не сама я, отец сосватал, — тихо ответила Глафира, продолжая крутить ручку, и музыка всё тренькала и тренькала. — Я Колю любила. А он в Ленинград уехал да и сгинул там. Мне всё равно стало, за кого идти. А ты… Я про тебя не знала… Да ты же младше меня на три года. Ты тогда мне мальчишкой казался…

Удивительно, но старик вдруг стал всё отлично слышать, ей не приходилось кричать ему. Может быть, просто потому, что о таком не кричат. Люди слышат друг друга сердцем и всё понимают без слов…

— Да-а… Как раз, когда Колька-то уехал, я смелости набрался и решил тебе обо всём сказать. Вот, поехал в город, шкатулку эту купил и платок.

— И не подарил?

— И не подарил… Святок ждал. А на Святки ты уже с Гришкой в сельсовет пошла.

Глаза Глафиры наполнились слезами. Она перестала крутить ручку. Музыка смолкла.

— Поиграй ещё, — попросил дед.

Шкатулка снова затренькала.

— Хоть мы с Тамаркой и неплохо прожили, — продолжал исповедоваться старик, — но с тобой, я думаю, слаще было бы…

— Чего уж теперь говорить… Прошла жизнь.

Старик помолчал и вдруг заговорил, волнуясь, приподнявшись с подушки и заглядывая ей в глаза:

— Глаша, ты возьми меня к себе… Я курить брошу.

Бабка перестала тренькать, отвела взгляд, помолчала с минуту и тихо, виновато ответила:

— Через два дня. Ладно? Сейчас не могу…

Глафира брела домой впотьмах и несла в руке музыкальную шкатулку, завязанную в голубую газовую косынку. По щекам старухи текли неостановимые слёзы. И так теснило, ныло у неё в груди, что она боялась оступиться и упасть. Она останавливалась, держалась за забор или за деревце, всхлипывала, сжимала в трясущейся руке подарок.

О чём плакала Глафира? Хотелось ли ей переменить, прожить заново жизнь? Или ей было жалко старика и заодно себя? Или оттого лились слёзы из её глаз, что вся эта непутёвая человеческая жизнь, в которой стократ больше мучений, чем счастья, оказалась столь хрупка, что её может сломить и уничтожить какой-то невидимый вирус? А люди так и не научились беречь друг друга. Не научились искренности и благодарности. Не умели и не умеют ценить простых земных радостей. Ведь можно утром встать и поклониться солнцу, испить крепкого чаю, погладить кошку, обнять родного человека и стать от этого счастливым. Чего же всё время хочет человек? Почему важное, истинное, сокровенное таит до последнего часа? А брань и проклятия слетают с его языка легко, бездумно? Почему мало ему быть сытым, одетым, жить в тепле, а рвётся он к богатству, к власти? Почему истребляет природу, гадит в доме, в котором живёт сам и оставит жить детей своих? Куда всё быстрее несётся этот земной шарик, раскрученный до немыслимых, гибельных скоростей нашей суетой, алчностью, неправедностью, нелюбовью? И всё плотнее делается время, и всё острее встают вечные вопросы, а ответов на них как не было, так и нет.

Конечно, Глафира не смогла бы так красиво, литературно сформулировать и описать своё состояние. Но всё это неосознанно бродило в ней, не оформленное в мысли и слова. Она жила чувствами, сердцем и верила, что все так живут. А потому горько плакала сейчас обо всех людях на этой грешной земле, и путь через деревню был бы для Глафиры совсем тёмным, если бы не теплился огонёк в окне её дома.

День пятый. Память

(6 мая, ср., Егорьев день)

Рано утром, наверное, около четырёх, когда едва забрезжил рассвет, в одно из окон Глафириного дома звонко постучали, а следом несколько женских голосов нестройно запели:

Встань, встань, хозяюшка,
Встань, пробудися, Егорью помолися.
Батюшка Егорий, Макарий преподобный,
Спаси нашу скотинку, всю животинку…

Президент, спавший именно у того окошка, в которое постучали, аж подскочил от неожиданности и стал звать хозяйку.

— Спите, спите,— спокойно ответила Глафира,— это окликать пришли. Егорий сегодня. Я забыла вас предупредить.

Президент едва отодвинул занавесочку на окне и посмотрел на пришедших.

Пять женщин разного возраста, одетые в народные костюмы, с кокошниками на головах, с корзинками в руках, стояли в рядок под окном и пели дальше:

Зайцы, лисицы, во поле гуляйте, нас забавляйте.
Волки, медведи, за море уйдите, нас не будите.
Петушок, топчися, курочка, несися, хозяйка, раздобрися!

— Вот ведь лешие, и ковид их не берёт,— ворчала бабка, надевая халат.

Она вышла из спаленки в залу, по пути взяла с кухонной полки приготовленные в плошке несколько сырых яичек и пакетик с конфетками.
— Они, вишь, все деревни обойдут, а к нам в последнюю очередь всегда. Вот и припрутся вечно на заре, в самый сонный час.

Дай нам яичко Егорию на свечку,
Дай нам другое за наши труды.

Старуха распахнула створки соседнего с президентским окошка. Окликающие, не прерывая пения, перешли под него.

Спасибо, хозяйка, на добром слове,
На святом подаянье.
Дай тебе Боже подольше пожить
Да побольше нажить.

Глафира принялась их благодарить. Женщины смеялись, жаловались, что ходят с вечера и очень устали.

В избу запоздало ворвался заспанный перепуганный Никитич. Он долго не мог понять, что происходит. Хозяйка поспешно спровадила окликательниц, успокоила Никитича и отправила его досыпать.

Сама тоже снова прилегла в спаленке на кровать. Но уже сверху, на покрывало, не снимая халата. Всё равно скоро вставать.
— Какая интересная народная традиция!— услышала она голос Президента.— И ведь сохранилась же! Я думал, только в Святки колядуют, а оказывается, и в этот день.
— Не знаю, как у других, а у нас эта традиция и не кончалась,— отозвалась Глафира из-за перегородки.— Я ещё девчонкой помню, как в ночи придут, постучат, поют. И моя бабушка с ними ходила. По три корзины яиц насобирают! Бывало, и пьяненькие явятся. Кое-кто и нальёт в честь праздника. Если уж чей двор обошли, так это считалось большой бедой…
— А яйца и в самом деле меняли на свечки?
— Не знаю. В старину, может, и относили в церковь. Но тоже не всё. А так— делили меж собой…— она помолчала, припоминая, и продолжила рассказ:— Правда, было, что не ходили несколько

лет. Старухи-то кто померли, кто уж не в силах. Хорошо вот, клубные девочки нашли кого-то, кто помнил, записали слова. Продлили ниточку памяти… Уж и скотины-то в деревне не осталось, только кошка моя да курицы. И то уважили. Дай им бог здоровья…
— А после этого, как его…
— Окликания.
— Да, после окликания что обычно делали?
— До Егория не принято было скотину в поле гонять, даже если и трава уже выросла. Может заболеть. А уж после окликания, утром, хозяюшка берёт святую воду и веточку от Вербного воскресения и гонит этой веточкой коровушку в поле с молитовкой, водичкой брызгает. И овечек так же, и лошадку, и курочек. Любую животинку святили в этот день. Надо будет утром Мурку с котятами покропить. Да и курочек не забыть… А вы спите пока. Рано ещё. Даже солнце не встало.

Но, поднявшись часов в семь, Глафира Мурки не нашла. Походила, покыскала на мосту и на улице, а потом поняла, что не видела её с вечера, зато слышала, как в ночи возились и жалобно попискивали в коробке котята. Потом всё стихло, и она тоже заснула.

Вернувшись с ведром воды в избу, Глафира первым делом заглянула в коробку — котят в ней не было, и нигде они не бегали, не играли, не шумели уже привычно. Бабка тихонько пошла по избе, заглядывала по углам, под мебель, осторожно скребла ногтями по полу, едва слышно кыскала.

У диванчика, на котором, лёжа на спине, спал Президент, она распрямилась и, не сдержавшись, ахнула: пушистая разноцветная троица мирно дрыхла на груди у главы государства. Видимо, продрогнув и проголодавшись без мамки, котята вылезли из коробки и устремились к ближайшему живому источнику тепла. Проворные и по-детски бесстрашные, они взобрались на диванчик и, согревшись человеческим теплом, крепко уснули.
— Ох вы, греховодники, — едва слышно зашептала котятам Глафира, — знали бы вы, на чьей груди пристроились.

Она скользнула нежным взглядом по лицу спящего высокого гостя, вздохнула, подоткнула свесившийся на пол угол одеяла и беззвучно отошла от диванчика, чтобы ненароком не разбудить Президента. Но тот, видимо, почувствовав присутствие кого-то рядом, проснулся сам.
— Не даём мы вам спать, — прошептала бабка.
— Да я выспался. Доброе утро, Глафира Фёдоровна! — ещё сонным голосом ответил Президент, а увидев на своей груди пушистую компанию, улыбнулся и погладил пальцами своего белого любимца.
— Доброе утро! Давайте-ка я их обратно в коробку унесу.

Она приняла из его рук разбуженных и запищавших котят и задумалась.
— А ведь их кормить надо… — и, заглядывая в умильные мордочки, заговорила: — Мамка-то ваша, прости… прости Господи, бросила вас! Живите как знаете. А я, мол, к Ваське одноухому пойду, новых делать! Да?

Котята пищали и изворачивались в её руках. Она поставила их на пол, принесла блюдце и пакет молока. Налила и теперь по одному тыкала котят в блюдце. Те не понимали, упирались, дёргали мордочкой, разбрызгивая по полу белые капли. Рыжий в молоко даже лапами умудрился залезть, но толку было мало. Котята остались напуганные и голодные.

Президент лежал на диване и, подперев голову рукой, наблюдал за всей этой вознёй.
— Может, попробовать с пипетки их покормить? Или через шприц, без иглы, конечно же. Есть у вас шприц?
— А, — равнодушно махнула рукой Глафира, — жить захотят — научатся. Раньше моды такой не знали — котят выхаживать. Вот козлята у нас, помню, были, дак тех в дом приносили и с бутылочки через соску кормили. Денёк-два, а потом уж под мамку возвращали.
— А почему сразу под мамку нельзя?
— Коза, часто бывает, в мороз ягнится. Боялись, чтобы не замёрзли. А иногда, если троих принесёт, того козлёнка, что она отпихнула, так с бутылочки и выкармливали.
— А почему она одного отпихнула?
— Так сосцов-то у козы два, а козлят трое. Вот она и выбирает, который послабее, и рогами его. Ни за что не подпустит! Он так и загинет.
— Да-а, сурова матушка-природа…

Президент сел на диванчике, всё ещё прикрывшись одеялом.
— Мне бы одеться, Глафира Фёдоровна…
— Одевайтесь, одевайтесь, — поспешила хозяйка к дверям, — а я ещё ведёрко воды принесу да ребят разбужу.

Она пошла через проулок к соседнему заколоченному дому, к колодцу. И увидела, что Никитич уже встал и, с тряпкой и ведёрком, моет машину.

Глафира подошла к нему и робко попросила:
— Никитич, дорогой человек, отвези ты меня на кладбище. Я ведь ныне и светлую Пасху в больнице встретила, как раз на страстной увезли, и в Радоницу на койке с капельницей провалялась. А до Троицы ещё далёконько.
— Отвезу, чего ж не отвезти, — ответил водитель, протирая насухо чистой тряпкой заднее стекло автомобиля. — Только у Президента нужно разрешения спросить. Вдруг куда срочно ехать понадобится?

Глафира потопталась рядом и спросила ещё:
— Никитич, а ты давно на этой службе?

— Давно… Девятый год пошёл.
— А как вас сюда отбирают? Строго, наверно…
— Ещё бы! — усмехнулся Никитич. — Уж, наверное, не по объявлению в газете!
— А как? По знакомству?
— Нет. И это не прокатит.

Он выплеснул грязную воду из ведра, отошёл к канавке, почерпнул из неё немного воды, ополоснул ведро, тряпку, руки. Вернулся и договорил:
— Я — майор ФСБ, имею крепкую семью, чистую анкету и заслуги перед отечеством. А также боевые награды.
— Это где ж тебе пришлось повоевать?
— В Чечне… — неохотно ответил Никитич. — Давайте ведро. Я сам воды принесу.

Глафира отдала ему ведро, но посеменила рядом.
— А Алёша с Илюшей как же?
— Ребята хорошие, надёжные, из Кремлёвского полка. Я их лично отбирал. У Алексея вот только… небольшие проблемы в семье. Но он их в ближайшее время решит.

Никитич принялся лихо крутить ворот колодца. Ведро шлёпнулось о воду, погрузилось в неё полностью.
— Я его в эту поездку специально взял, чтобы он остыл и подумал, — говорил начальник-водитель, проворачивая ворот обратно.
— А чего случилось-то?
— Ну-у, жена там чего-то. Но — это не наше дело.
— Не наше, — согласилась Глафира. — А вообще жалко парня. Хороший. Работящий.
— Других не держим! — отрезал Никитич, давая понять, что тема закрыта.

Президент изъявил желание поехать на кладбище вместе с Глафирой Фёдоровной, но попросил дать ему два часа для работы с документами.

Илья с Алексеем после завтрака принялись колоть привезённые вчера с родника чурбаки. И до того лихо и красиво это у них получалось, что Глафира любовалась их работой и никогда бы не поверила, что оба охранника родились и выросли в городе.

Сама она приготовила всё, что нужно взять с собой на кладбище: насыпала в пакетик пшена, пяток конфеток положила, да ещё купленные с оказией искусственные цветы достала из шкафчика. Пока тянула время, собрала яички у курочек — квочки гуляли теперь в сетчатой загородке, натянутой по её просьбе всё теми же рукастыми Илюшей и Алёшей. И, наконец, ткнула в уже подготовленную гряду лук, до которого руки за всей суетой до сего дня не доходили.

Глафира ополоснула лицо и руки дождевой водой из бочки, окинула взглядом своё справное хозяйство, осталась довольна: всё приделано! А тут и Президент вышел на крыльцо и коротко, по-деловому, объявил:
— Едем!

Кладбище было светлое, сухое, радостное. Никакой печали, тоски, смертных мыслей оно в этот весенний солнечный день не навевало. Наоборот, хотелось бродить среди могильных оградок, заглядывать в портреты давно и недавно ушедших людей, высчитывать по двум главным датам земной срок их жизни, охать, если кто-то помер совсем молодым, с удовлетворением произносить: «Ну, этот (или эта), слава Богу, пожил (пожила)…» — по повторяющимся на памятниках фамилиям прикидывать и вспоминать, кто кому какой родственник.

Деревенское кладбище, где никто не торгует землёй за баснословные деньги, не старается содрать подороже с горюющих родственников, не выманивает с них червонцы обманом и запугиванием, — лучшее пристанище для всех, кто закончил свой земной путь. Никто здесь не топчется зазря на могилах, но на Радоницу, в Троицу или в родительскую субботу обязательно обойдут и помянут всех родных, знакомых, соседей, посыплют пшена и семечек. Летом над кладбищем шумят сосны, перелетают с дерева на дерево весёлые пичужки, прыгают с ветки на ветку юркие белки. Зимой оно укрыто глубоким снегом, и тишину над ним нарушит разве что карканье вороны, по-хозяйски усевшейся на сухой сук. Деревенский погост и разрозненные семьи собирает вместе. Даже те, кто при жизни не ладил между собой, сживал тот того со свету, надоел друг другу хуже горькой редьки, здесь оказываются в одном углу, а то и в одной оградке. И уж тут не встанешь, не хлопнешь дверью, не уйдёшь гордо в ночь на долгие годы. Знай лежи да помалкивай.

Глафирины родные тоже лежали все в одном уголке, на окраине кладбища. Его так и называли — Логиновский угол. Здесь и её бабушка-сказительница, и работящая, бессловесная мама, и фронтовик-отец, два братца, оба сгоревшие раньше времени от русской пагубы — водки, старшая сестра, умершая совсем молодой от надсады, сын средней сестры, разбившийся подростком на мотоцикле, и ещё двое младенцев-племянников. Сюда же положила Глафира и своего мужа Гришу. В замужестве она носила красивую фамилию Касаткина, но так вышло, что её всё равно чаще звали Глашкой Логиновой. И из всей логиновской родовы осталась на свете она одна. Средняя сестра, после гибели сына уехавшая на Урал, была схоронена там. Только дед, погибший на Первой мировой, лежал невесть где в неоплаканной солдатской могилке…

Президент и Никитич молча слушали рассказ Глафиры Фёдоровны о её родных. Звучал он буднично, без надрыва. Все слёзы давно выплаканы, горе отгорёвано. Наоборот, она с радостью думала о том, какая большая семья ожидает её на том свете, а значит, будет ей там тепло и светло. Лица у всех Логиновых были открытые, распахнутые

навстречу каждому. А вот Гриша смотрел на мир сурово, из-под бровей…

Глафира протянула мужчинам пакетик с пшеном, те зачерпнули понемногу и, следуя её примеру, кидали жёлтые зёрнышки на могилки.

— Поближе, поближе ко кресту сыпьте. А-то птицы глаза покойникам выклюют.

— Это как так? — не понял Никитич.

— Покойник ногами ко кресту лежит, на крест смотрит. Значит, лицо у него с краю могилы, и глаза там. Нехорошо, если птицы клевать будут.

— Ну, я тогда лучше на столик посыплю, — сказал Президент, высыпал пшено на фанерную столешницу, отряхнул ладони.

Глафира воткнула всем родным по пластмассовому цветочку и повела мужчин дальше, рассказывая и показывая.

— Вот Тамара, деда Семёна жена, — сказала она и неожиданно для себя всхлипнула, вспомнив вчерашнее признание старика. — Хорошая была…

С портрета на памятнике глянула улыбчивая женщина с крутой химической завивкой на голове.

Бабка посыпала пшена, положила конфетку, двинулась дальше.

— А тут вот Саня-Маленькая лежит. Полтора метра ростиком, везде бегом. Она всю жизнь одна прожила и всю жизнь корову держала. Ей все говорили: зачем тебе, Саня, корова, тяжело ведь, заведи козу. А она плевалась. Козьего молока на дух не переносила. И сладенькое любила.

На провалившийся уже холмик легла конфетка, следом потекла струйка пшена. Ни лица, ни дат жизни Сани-Маленькой на фотопортрете было не разглядеть — совсем стёрся.

— Тут вот семейная пара, Французовы. Никого больше с такой фамилией не встречала! Одни они у нас такие, приехали откуда-то во время войны. Эвакуированные, наверное. Точно не знаю… Замкнуто жили. Детей не родили. Она померла, он без неё жить не смог. Ей сорок дён, а его хоронить привезли…

Глафира посыпала пшена, положила женщине конфету.

Они обошли ещё несколько могил — всё Глафирины деревенские соседи. А потом направились в противоположный угол погоста. Там росли ёлки, а потому было темнее и сырее.

Но среди ельника, освещая всё вокруг, таилась детская могилка с деревянным крестом-домиком. Оградки не было. Сама могилка просела, почти сравнялась с землёй, но была усыпана свежими цветами, в большом количестве лежали конфеты, сидели мягкие игрушки. В кресте-домике, за маленькой стеклянной дверцей, теплилась лампадка. Вместо портрета к кресту была прикреплена иконка.

— Манечка… — выдохнула Глафира. И поясно поклонилась могилке.

Президент окаменел. Он никак не ожидал, что легенда о замёрзшей сиротке вдруг обретёт столь неоспоримое доказательство. Шагнул к кресту, наклонился и вгляделся в иконку. Да, та самая Матушка-Сиротская кротко взглянула на него. Он растерянно перекрестился и отступил.

Глафира положила Манечке оставшуюся конфетку, воткнула в землю две искусно сделанные ромашки и, мелконько крестясь, одними губами прошелестела короткую молитву. Потом снова поясно поклонилась и только тогда отступила.

Никитич, не слышавший легенды о сиротке, ничего не понял и всё это время стоял в стороне. Правда, изменившееся настроение Президента и внезапная тревога, на мгновение затенившая его лицо, не ускользнули от профессионального взгляда охранника.

— Ребёнок, что ли, какой? — тихо спросил он Глафиру, когда они возвращались к машине.

— Манечка. Сиротка святая, — спокойно, с достоинством ответила та, не поясняя ничего больше.

Привыкший не задавать лишних вопросов Никитич удовлетворился и этим ответом.

Когда они сели в салон автомобиля, Глафира втянула в лёгкие побольше воздуха и, набравшись смелости, заговорила:

— Дорогие мои, не откажите старухе ещё в одной просьбе. Тут, километра три по дороге, моя родная деревня. Отвезите. Век молиться буду. А то уж и не бывать мне…

Никитич вопросительно взглянул на Президента. Тот молча кивнул.

Через три километра Глафира попросила свернуть с основной дороги на просёлочную, рассекающую пополам большое скошенное поле.

— А поедь-ка, Никитич, вон туда, подале… — она махнула рукой за перелесок, отделяющий одно поле от другого. — Сможем ведь проехать?

— Ну, не знаю, — нахмурился водитель, узревший впереди глубокие колеи со стоящей в них водой, и проворчал: — Только утром машину помыл…

Но всё-таки поехал, медленно, осторожно. Один раз, перед особенно глубокой лужей, он вышел, сломил длинную ивовую ветку, попробовал ею глубину колеи и вязкость дна.

Решился. Поехал. И уже миновал перелесок, и дорога стала было подниматься вверх, на взгорок, где было суше. Но в следующей колее машина всё же засела.

— Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты! — смешно выругался он.

— Да мы уже приехали, — попыталась успокоить его Глафира.

— Вижу, что приехали! — уже раздражённо отозвался Никитич.

Глафира вышла из машины. Пошла куда-то вверх по дороге. В поле, поросшем яркой свежей травой, тёмно-серыми бочкообразными тушами

лежали не вывезенные вовремя прошлогодние рулоны сена.

Никитич и Президент тоже вышли из машины и смотрели, насколько глубоко та застряла.

— Не, самим не выбраться,—вынес вердикт водитель, потыкав лопаткой вокруг колеса.

— Пойди до дороги, мы недалеко отъехали, попроси вытянуть,—велел ему Президент, а сам пошагал следом за Глафирой.

— Родина здесь моя. Деревня стояла. Раменье…—сказала старуха, когда он подошёл близко.

И вдруг опустилась на колени, оперлась на руки и, наклонившись, поцеловала землю. Да так и застыла. Плакала.

Президент растерялся. Не знал, помочь ли Глафире Фёдоровне встать, оставить ли её в покое. И пока он думал, как лучше поступить, старуха стала трудно пониматься. Тогда он подошёл к ней, протянул руку. Она приняла помощь. Встала. Отряхнулась.

— Вон там наш дом стоял,—указала она в правый край поля.—Маленький, низенький, в три окошечка. А народу много жило. Одних нас, ребят, пятеро. Да мама с папой, да бабушка.

— А сколько всего домов в деревне было?

— Немного. То ли восемь, то ли девять. Я уж запамятовала. Но ведь деревни хоть и невелики были, зато на каждой горке.

Она махнула рукой в поле, которое они уже проехали.

— На въезде Крайняя стояла. Домов пять, не боле… Там вот, где лес теперь,—указала она вперёд,—Семейная. Все до единого жители с одной фамилией, все Кузьмины. Потому и Семейная. Если проехать ещё дальше и свернуть к реке, там Щукино. За бродом—Граблино.

— Наверное, там грабли хорошие делали,—догадался Президент.

— Верно…—согласилась Глафира.

— А в Щукино, я так думаю, отлично рыба ловилась.

— Тоже правильно. Только теперь ни самого Щукино, ни рыбы в реке нет. И грабли никому не нужны.

— Ну почему же?—возразил Президент.—Посмотрите, ведь кто-то косил это поле. Рулоны лежат. И следующее тоже скошено. И на въезде, где Крайняя. Значит, есть поблизости ферма? Молочное хозяйство?

— Полно-ка,—отмахнулась Глафира.—Это горефермер тут один пытался чего-то… Кредит взял, коровок купил. Всё грозился: цех откроем, масло бить будем! Пали те коровки. Какая-то французская порода, не для наших зим. Обанкротился мужик. Долго судился. Теперь вот косит на продажу. Долг помаленьку возвращает…

Глафира подошла к ближнему рулону, потеребила верхнее заплесневелое сено, добираясь до сухого, светлого. Но так и не докопалась.

— И того вывезти не смог, пропадёт теперь. Только на подстилку…

Она отошла от рулона, огляделась и заговорила глухо, с болью:

— Никому наша земля не нужна. Давно, при Ельцине ещё, приехали к нам раз голландцы. Парочка. Он и она. Пальто белые, сапожки замшевые. Всё про фермерство рассказывали, расхваливали современные методы сельского хозяйства. Ну и повели их в поле… Они как увидели наши каменья, как увязли сапожками в нашем песке, охали да ахали. Как, говорят, вы тут вообще что-то выращиваете? А мы что? А мы ничего! Живём! Хлеб жуём!.. С тем и уехали. Сбежали—надо прямо сказать. Больше никто не приезжал…

— Вот, Глафира Фёдоровна, вы же сами всё понимаете: у вас здесь очень бедная земля,—спокойно заговорил Президент.—В неё нужно столько вложить… А будет ли отдача? Невыгодно очень. Нерентабельно.

— А как же раньше-то?—возмутилась старуха.—И слов таких не слыхивали—нерентабельно! Пахали, сеяли, хлеб ростили, план выполняли. Урожай не урожай—вынь да положь! Ферма—в каждой деревне. Работа—всем была, никто не сидел просто так.

— Там—ферма, тут—поле. С миру по нитке…

— Голому—рубаха,—со злостью в голосе закончила Глафира пословицу.

— А сколько было дотационных хозяйств, вы знаете? Сколько приписок? Какое неумное управление сверху? Кукурузу помните?

— Как не помнить…

— Заставляли сажать?

— Заставляли…

— Росла?

— Нет… Наш председатель на свой страх ячменём да овсом подменял. В отчёте напишет: кукуруза. А как сдавать—так голову на плаху. Только и прощали, что другие хозяйства ячменя с овсом вообще не сеяли, а наш колхоз за всех план перевыполнял.

— Разумно это?—напирал Президент.

— Начальству виднее…—уклончиво ответила старуха.

Над полем, над бывшей деревней Раменье, вдруг прокатился глухой рокот. Резко задул ветер, погнал по небу серые низкие облака. Солнце скрылось за ними. Сделалось холодно. Деревья зашумели, закачались.

— Никак гроза идёт?—подняла Глафира глаза к небу.

— Домой надо,—застёгивая куртку, сказал Президент и обернулся к перелеску.

Под горой какой-то внедорожник на ремне вытаскивал забуксовавшую в колее президентскую машину. Никитич сел за руль. Два мужика толкали её в чёрную, забрызганную грязью морду, пятили задом. Вытолкали. Вытащили. Поручкались

с Никитичем и уехали. Водитель призывно помахал гуляющим в поле Президенту с Глафирой.

Снова прогремел гром. Фиолетовая туча, поглотившая, втянувшая в себя отдельные серые облака, наползала из-за леса. Ветер бесился, напирал, рвал с деревьев молодую листву, погнал по полю серые клоки прошлогодней травы, снежной порошей полетели по воздуху черёмуховые лепестки, толстыми жёлтыми гусеницами покатились по дороге ивовые серёжки…

Сверкнула молния.

Съёжившись, прячась от внезапно озверевшего ветра, Президент и Глафира шли к машине. Но стихия набрасывалась на них, надувала шаром куртку на спине главы страны, сыпала в глаза песок, рвала с головы бабки платок, теребила седые пряди и подол юбки. Глафира оскользнулась, бесцеремонно схватилась за рукав президентской куртки. Тот крепко взял её под локоть и так довёл до машины. И только они сели внутрь, хлынул дождь…

— Вот ведь непогодушка,— проворчала старуха,— не дала нам в церковь зайти.

— А что, тут храм есть поблизости?— спросил Президент.

— Церковь деревянная, старинная в лесу стоит. На той стороне дороги.

— Ох, как жаль,— сокрушённо отозвался глава страны,— но это безнадёжно. Такая стихия не на один день.

— Как положено: черёмуха цветёт — жди снега,— сказала Глафира.— И то уж подзадержался холод. Яблони зацвели.

— Никитич, у нас там, кажется, плащи в багажнике были,— не то спросил, не то утвердил Президент.

— Есть. Но неужели в такой ливень ещё куда-то пойдёте? Не надо бы… Может, завтра доедем?

— Ничего не бывает потом. Доставай плащи. И сапоги тоже.

Никитич нехотя вышел под ливень, распахнул багажник, достал пакет с плащами и резиновыми сапогами, поспешно вернулся в салон автомобиля.

Церковь, невидимая с дороги, пряталась за еловым гребнем, в лесной чаще. К ней вела заросшая болотистая дорожка.

Три бесформенные фигуры в мокрых плащах, освещая себе путь фонариком, приблизились к покосившемуся деревянному крыльцу. Никитич попробовал ногой ненадёжные ступеньки и проворчал:

— Куда нас несёт?..

— Раз пришли, так не идти же обратно,— осадил его Президент.

Они с трудом протиснулись в приоткрытую осевшую дверь, вошли внутрь.

В церкви было темно, как ночью. Луч фонарика заскользил по когда-то выбеленным, а теперь покрытым плесенью стенам, по выбитым окнам, в которых сохранились только ржавые решётки, по провалившемуся куполу. Сверху не просто капало — лило. Пола фактически не было — сырые полугнилые балки под ногами.

— Послушайте, тут же опасно! Это всё рухнет в любой момент! Я не могу вам позволить! Пожалуйста, пойдёмте отсюда!— умолял Президента Никитич.

Но Глафира настойчиво увлекала их куда-то влево, вела по стеночке, где сохранился пол. Она открыла дверь в стене, и все они оказались в тесном низеньком помещении, где было сухо и не дул ветер. Луч фонарика осветил лик Николая Угодника на стене, скользнул по ковчежцу с лекарствами, который держал в руке Пантелеймон-целитель, метнулся в другой угол, осветил одноярусный иконостас, и на пришедших из темноты глянули огромные, ясные, глубокие глаза Спасителя.

Глафира уверенно прошла к окну, нашарила что-то рукой на подоконнике, слышно было, как чиркнула спичка, и через пару секунд в её руке зажглась тоненькая свечечка. Она протянула её Президенту. Зажгла вторую и подала Никитичу. Третью оставила себе.

Придел осветился тусклым ровным светом, и стало видно, что здесь иногда проходит служба. Посреди комнаты стоял ничем не покрытый деревянный аналой, в углу — высокий потускневший подсвечник.

— «Отче наш» все знаем?— строго спросила Глафира и, перекрестившись, начала читать молитву.

Президент и Никитич подхватили. Свечки в их руках потрескивали.

Следом Глафира, уже одна, прочитала «Богородице Дево, радуйся», трижды поклонилась, дотронувшись до пола пальцами, и погасила свою свечу.

— Давайте свечки,— прошептала она стоящим рядом мужчинам.— Надо другим оставить.

И она погасила ещё два огонька, вернула недогоревшие свечи обратно на подоконник.

Никитич попробовал зажечь фонарик, но почему-то не смог.

— Странно… Зарядил ведь…— проворчал он.

Глаза стоящих привыкли к темноте, и все трое вдруг увидели вверху, под низеньким потолком, узкий квадратик ослепительного света. Он скользил вниз, спускался к ним и по мере приближения увеличивался, постепенно достигнув размера тетрадного листа.

Глафира вдруг заводила носом, как собака.

— Ладаном! Ладаном пахнет! Чую!— радостно зашептала она.

Никитич снова попытался нажать кнопку фонарика, но тот опять не сработал. Все трое замерли. Квадрат света остановился на расстоянии вытянутой руки от них, и в нём стало проявляться изображение. Оно становилось всё чётче, и можно было уже угадать очертание склонённого женского

чела, затем рук, на которых, также со склонённой головкой, полусидел-полулежал Святой Младенец.

— Матушка-Сиротская… Та самая…— прошептала Глафира, упала на колени и, скрестив на груди руки, ткнулась лбом в пол.

Неведомая сила придавила, склонила к полу и мужчин. Президент поддался не сразу, но сопротивляться этой силе было невозможно. Она давила на плечи с каким-то физически ощутимым знанием своей непререкаемой правоты. И правота эта вселяла в каждого человека священный, благоговейный ужас. Не тот ужас, от которого нужно бежать, не оглядываясь, а тот, которому можно и нужно взглянуть в глаза. Если позволят…

Президент опустился сначала на одно колено, затем на другое, склонил голову и, сам не понимая зачем, вытянул вперёд руки раскрытыми ладонями вверх.

Ни Глафира, ни Никитич, поверженные в поклоне, не видели, как квадрат света с изображением Богородицы и Младенца лёг в его руки. Да и сам он посмел взглянуть туда, только ощутив в руках непреодолимый жар. Казалось, этот светящийся слепящим огнём образ прожжёт ему ладони, но он не мог и не пытался скинуть его. Ему хотелось закричать от боли, но невозможно стало издать ни звука.

Внезапно жар прошёл. Свет потускнел. И хотя неведомая сила уже перестала давить на плечи, страх, сковавший все мысли и члены людей, отступил, они продолжали стоять на коленях.

Первым очнулся Никитич. Он вскочил, зажёг фонарик и направил его на руки Президента. В них лежала маленькая деревянная, опалённая по краям иконка. Ожога на ладонях не было.

Никто не посмел произнести ни слова. Никто не посмел разрушить очарование Божественного чуда.

Когда они вышли из церкви, стихия миновала, дождь почти закончился. Но тьма и холод не отступили. Гроза переломила погоду, и ненастье пришло надолго.

Пока шли до машины, то и дело взглядывали друг другу в глаза, словно немо спрашивая: ты тоже это видел? А глаза у всех распахнутые, то ли испуганные, то ли удивлённые. В остановившемся взгляде каждого всё ещё отражался огненный квадратик.

Поехали очень медленно.

За ужином Илья и Алексей долго с тревогой вглядывались в их изменившиеся лица и не решались что-либо спросить.

Президент от ужина отказался, попросил только крепкого сладкого чая. А потом, когда охранники и водитель ушли в палатку, сказал Глафире Фёдоровне, что ему холодно, и снова попросился на печку.

Хозяйка подала ему наверх тёплое одеяло и поспешно затопила печь.

— Что случилось?— спросили ребята Никитича, когда остались с ним наедине.

— Я не знаю,— ответил тот.

— Умер кто-то?

— Нет. Наоборот.

— Родился, что ли?

— Нет. Не совсем… Ребята, ущипните меня. Может, я сплю?

Илья с Алексеем переглянулись. Щипать начальника не стали.

— Да, надо поспать,— сказал сам себе Никитич,— утро вечера мудренее…

День шестой. Огонь

(7 мая, чт.)

Милостив Господь. Это Он, сотворивший небо, и землю, и всё сущее на ней, премудростью и прозорливостью своей предусмотрел сменяемость дня и ночи, зимы и лета, биологических ритмов, настроения, направления ветра, праздников и будней, рабочих смен и даже обеденных блюд… Потому что невозможно человеку всё время жить на одном накале, звучать на одной ноте, быть натянутой струной. Не может он постоянно пылать страстью, тонуть в горе или задыхаться от счастья. Лопнет струна — испепелится душа или захлебнётся бедой. Проходит время. Отпускает боль, утихает радость, выравнивается сбитое дыхание, и успокаивается сердцебиение. Новый день встаёт на привычные, знакомые рельсы, и тянет по ним работяга-паровоз свои будничные вагоны. И даже озарённый нечаянным чудом человек живёт дальше: отправляется на работу, пьёт чай, готовит обед, стирает бельё, проверяет уроки у детей, покупает родителям лекарство, выгуливает собаку, подметает пол, ремонтирует жильё, ходит в магазин. И дух его, воспаривший однажды до горних высей, всё равно до конца земной жизни привязан, как корабль к якорю, к своей телесной оболочке.

А потому поутру все трое свидетелей чуда, случившегося в старой разрушенной церкви, ни единым словом, ни взглядом не напомнили друг другу о вчерашнем. Каждый по-своему справлялся с потрясением. Никитич, проснувшись, сходил к колодцу и вылил на себя два ведра ледяной воды, сделал зарядку и раз и навсегда решил, что всё ему приснилось.

Глафира, встав, как обычно, раньше всех, обнаружила, что отключили свет. Видимо, где-то грозой повредило линии электропередачи. И все мысли её теперь были заняты тем, как приготовить мужчинам завтрак. Она растапливала печь, а та, как специально, топиться не хотела, дрова гасли, дымили. Бабка ворчала, двигала ухватом поленья, снова и снова подпихивая под них зажжённую берестинку. А когда огонь очень нехотя,

неустойчиво принялся облизывать берёзовый колодчик, она затворила тесто на оладьи и теперь пекла их на сковороде с длинной ручкой, пихая ту к самому огню.

Хронически бодрые Илюша с Алёшей вызвались ей помогать. Хозяйка сказала одному заниматься самоваром, а другому чистить картошку. И всё любовалась, как ровненькой пружиной снимает Алёша кожуру с картофелины. Такой рукастый, весёлый парень, а вот поди ж ты—и от таких гуляют. Дуры бабы!

Президент поднялся позже всех. Он спустился с печки, прислушиваясь к собственному состоянию: нет, в теле не осталось и следа от вечерней ломоты. Он пожелал всем доброго утра, искоса взглянул на озабоченную Глафиру Фёдоровну и стал умываться. Рядом с рукомойником, на вешалке, висела его куртка. Президент хорошо помнил, как положил вчера во внутренний карман, поближе к сердцу, обретённый образ. И ему нестерпимо хотелось проверить—там ли он. Но что-то останавливало его. Был ли это страх или нежелание спугнуть чудо, глава государства никак решить не мог. Он долго вытирался подаренным ему Глафирой рушником, а потом сделал вид, что решил повесить его не на гвоздь у рукомойника, а на свободный крючок вешалки. Сам же украдкой запустил руку в карман куртки. Сердце его беспокойно забилось. Но карман оказался пуст. Только на подушечки пальцев налипло несколько угольных крошек. Президент задумчиво растёр их, понюхал. Пахну́ло гарью и, едва уловимо, ладаном. Он сполоснул руку, вытер её о полотенце и сел вместе со всеми за стол.

И всё-таки какое-то необъяснимое напряжение висело в воздухе, как будто все были в чём-то виноваты друг перед другом. Завтракали молча. Никто даже не похвалил пышные, зажаристые Глафирины оладьи. К тому же без света в этот пасмурный день в избе было сумрачно и тихо. Не гудел привычно старый холодильник. Мурка по-прежнему где-то шаталась. Котята, свившись в тесный клубок, согревая друг друга, крепко спали в коробке. Одна радость случилась с утра—терпеливый Илья всё-таки научил их есть из блюдца. Они, ещё не умеющие толком лакать, все измазались в молоке и больше пролили, чем съели. Но стало ясно, что теперь не пропадут.

После завтрака все, так же молча, разошлись по своим делам: Президент сел поработать, насколько хватит заряда батареи в ноутбуке и телефоне, а там, глядишь, и свет дадут. Никитич с Ильёй продолжили колоть дрова, которые вчера не дал до конца прибрать дождь. Алексей возил их на тележке в дровяник и аккуратно складывал в поленницы, но больше всего ему хотелось поскорее пройтись по деревне с металлоискателем. Он канючил, надоедал, и его, в конце концов, отпустили, сказав, что осталось немного и они закончат сами.

Глафира сложила оставшиеся оладьи в эмалированную миску и пошла проведать деда Семёна. Как-то он ночевал? Жив ли?

На улице было нестерпимо холодно, ветрено, промозгло. Того и гляди, и вправду снег пойдёт.

Старик бродил по избе и смолил цигарку. Будто и не собирался позавчера помирать. Будто и не говорил старухе сокровенных жалобных слов…

— О́жил?—хмуро спросила Глафира и со стуком поставила перед ним, усевшимся за стол, миску с оладьями.

— Не знаю, куда поло́жил…—отозвался дед, разыскивая что-то в многочисленных карманах своей замызганной жилетки.

— Чего потерял-то? Маша-растеряша…

— Ась?

— Чего потерял, говорю?!—закричала бабка ему в ухо.

— Три раза по рублю!

Глафира внимательно посмотрела на старика, заметила, что тот стыдливо прячет от неё глаза: жалеет о своей вчерашней откровенности. А она-то поверила, расчувствовалась… Губы её обиженно задрожали, в глазах сверкнули слёзы.

— Ой ты-ы… Арти-ист!

Она зло вывалила сверху на оладьи три ложки сметаны, сунула в руку деду вилку.

— Жри давай! Не топил опять?! Холодина такая… Всё ждёшь, что кто-то придёт сделает!

Она покидала в печное устье поленья, подожгла газетку. Дедова печь тоже фордыбачила, дым не сразу потянулся в трубу, пополз по избе. Глафира открыла дверь, стояла, выгоняла сизое облако из избы полотенцем. Убедилась, что снова ничего не чует. Чуда не случилось.

— И барабанку твою назад принесу!—в сердцах кричала она.—Наврал, поди, что для меня покупал?! И платок газовый этот—Тамарин! Я вспомнила! Даже фотография где-то есть, она в нём! Эх ты-ы… Поиздевался над старухой…

Но старик снова спрятался за своей глухотой, Глафира теперь не понимала—мнимой или настоящей, делал вид, что не слышит её оскорблённых речей. Сидел, уставившись в стену, жевал оладьи. Небритый подбородок его был измазан в сметане, жирные руки он вытирал прямо о штанины.

Глафира промокнула уголком платка слезящиеся и от дыма, и от обиды глаза, схватила пустую миску и, громко хлопнув дверью, ушла от деда.

Странные, жалкие людишки: вроде откроют душу, разоткровенничаются, поплачутся, а потом сами же и злятся на того, кто принял их признания, пожалел, ненавидят за минуту своей слабости, за чувства, проснувшиеся в омертвевшей, заскорузлой душе!

Так и вчера! Ведь они все трое видели *это!* Каждый чувствовал то же, что и другой! Непреодолимую силу и благоговейный страх перед ней!

Господь явил им великое Чудо! Такое, которое даётся единицам! Через век из небытия вернулась утраченная иконка! И даже то, что она тогда, давным-давно, сгорела вместе с часовней, утвердил Господь: опалены оказались края у образа! Из огня восстала Богородица! И вот Он доверил им это Чудо! И лично в руки Президенту вложил иконку, будто указуя, о ком надлежит в первую очередь печься земному властителю — о сирых и убогих, о вдовах и детях! И ведь он принял этот образ, а вместе с ним и обет.

А что же случилось сегодня? Полоумная старуха, закостенелый солдафон и глава огромной страны, именовавшейся когда-то Святой Русью, струсили? Отмахнулись от Чуда? От веры отступились? Проспали ночь и наутро живут как ни в чём не бывало? И совесть не жжёт?..

Потому и лишил Господь их вновь обретённого образа. Видела, видела Глафира краем глаза, как мялся Президент около своей куртки, как воровски запустил пальцы в карман и ничего не нашёл там. Как смотрел на них, испачканные углём…

И стыдливо прятали потом все трое глаза друг от друга. Потому что если встать и сказать: да, было! я — свидетель! — то и жить дальше надо как-то совсем иначе. В пустыню удаляться. В скит. До последнего вздоха в молитве пребывать. Но слаб, жалок человек…

Конечно, и эту свою нестерпимую боль и удушающий стыд Глафира не смогла бы облечь в столь высокопарные слова и фразы. Она только шептала пересохшими губами:

— Господи! Спаситель наш! Пресвятая Богородица! Простите нам, ибо не ведаем, что творим!..

С сокрушённым, надорванным сердцем вернулась Глафира домой, а там была нервная суета. Оказывается, вместе со светом исчез и интернет. И Президент не мог переслать свои замечания и пометки по законопроекту, а ещё на этот день у него были назначены переговоры по видеосвязи с Ангелой Меркель.

Глава страны метался по избе и раздражённо повторял:

— Как не вовремя! Ну как же не вовремя!

Илья с Никитичем притащили из машины какую-то аппаратуру, пытались настроить её напрямую на спутник, запустить виртуальную связь. Психовали, злились.

— А как раньше-то жили? При лучине, при керосинке? Без этих тырнетов ваших? — буркнула Глафира.

— Да что вы всё «раньше», «раньше»! — вдруг резко оборвал её Президент. — Оглянитесь вокруг! Мир другой! Жизнь другая. Темпы, скорости, запросы. Всё на планете изменилось… Ну трудно вам про планету понять — на правнуков своих посмотрите, поговорите с ними: они же живут совсем другими интересами. И если они будут по-прежнему сидеть с вами при лучине, они просто не выживут в современном мире!

— Конечно, не нужны мы стали никому, только небо коптим, — проворчала старуха, обиженно поджала губы и ушла в спаленку. — И вся наша жизнь тоже не нужна. Потому и жрёт нас, стариков, этот ковид. Ведь сплошь старики мрут… Я теперь поняла почему. Расчищает, значит, местечко для новой жизни.

Она легла на кровать, закрыла глаза, вытянулась вся и сложила руки на груди, будто покойница.

Как же, пробовала она поговорить с правнучкой-студенткой. Одно расстройство. Год назад, когда на юбилей к Вальке ездила. Шестьдесят лет сыночку стукнуло. Толстый, лысый. На пенсию провожали. И завели тогда за столом разговоры про пенсионную реформу, ругали Президента, да что ругали… проклинали даже! Вот, мол, Вальке-то хорошо, проскочил! А кто опоздал родиться, тем пенсии не видать! Один кукиш! Спасибо, родное государство! И главе российскому лично низкий поклон!

Не хотела Глафира слушать, как перемывают косточки дорогому Президенту, сердце заходилось от обиды за него. Ушла в комнату. А там Наташа. Тоже слышать ничего не хочет — забралась с ногами на диван, в руке телефон, в ушах наушники. Подсела к ней бабка, спрашивает, как жизнь молодая. Наташа один наушник из уха вытащила. «Чего?» — говорит. Старуха переспросила. «Нормально, баб…» — ответила правнучка и снова ухо заткнула. «Замуж не собираешься?» — «А? А-а-а… фр-р-р! Чего я там забыла?» — «Учишься на кого?» — «На юриста…» — «На юмориста?» Засмеялась Наташа: «Можно и так сказать!» — «Это те, что в „Кривом зеркале“ народ смешат?» Наташа того пуще залилась: «У нас вся страна — кривое зеркало, и всем смешно! Прям ухохотались!» Глафира осерчала: «Ты зачем так нехорошо говоришь? Это где вас такому учат? В институтах?» Наташа нахмурилась: «Ба, отстань, а?..» И опять отгородилась наушниками. Как дед Семён своей глухотой! Не докричишься…

— Подключили! — воскликнул вдруг Илья, Глафира даже вздрогнула от неожиданности.

Все снова засуетились, забегали, задвигали табуретки. И через минуту бабка услышала, как Президент по-немецки поприветствовал кого-то. А когда ему ответил так же по-немецки женский голос, старуха поняла, что переговоры с Меркель начались.

Глафира в школе учила немецкий язык, но, конечно же, ничего не помнила, кроме коротенького рифмованного стихотворения. Бабка напрягла мозг, даже глаза закатила, словно пытаясь заглянуть в свою девичью память, и зашептала одними губами:

Либе зонне, шайне видер,
Шайн ди дюстерн волькен нидер!
Комм мит дайнем гольднен штрааль
Видер юбер берг унд таль![1]

А вот что означали эти заморские слова, она запамятовала совсем. «Зонне» вот точно по-немецки — «солнце». Хорошее, значит, стихотворение, про природу.

Президент шпрехал по-немецки лихо. Иногда смеялся. Ангела тоже смеялась в ответ. Потом они говорили строго, отрывисто. Явно поспорили о чём-то. Звучание чужого наречия убаюкивало Глафиру, и она не заметила, как задремала.

Она открыла глаза, потому что почувствовала, что кто-то находится вместе с ней в спаленке, совсем рядом. Это Президент сидел на табуретке у окна, смотрел на ставшую неприветливой, как охладевшая женщина, деревню. В комнатке стоял такой сумрак, что было непонятно — вечер уже или всё ещё серый день.

— Вы простите меня, Глафира Фёдоровна, — тихо заговорил гость, заметив, что она проснулась. — Я не должен был повышать на вас голос.

— Да что уж там, — ответила отдохнувшая Глафира миролюбиво, — у вас работа нервная. Я же понимаю. Не дай бог каждому… Вас бы к нам на всё лето и без этих ваших телефонов и тырнетов. Чтоб не дёргали! Оставили в покое. Рыбки половить, покупаться, за грибами, за ягодами походить…

— А вы знаете, Глафира Фёдоровна, жил когда-то на свете один римский император… — задумчиво произнёс Президент. — И правил он долго. Лет двадцать. Но вдруг всё бросил и уехал к себе… ну-у, как бы мы сейчас сказали, на дачу. И стал выращивать капусту. И очень хорошо это у него получалось. Так, что он даже не захотел возвратиться в политику, когда ему предложили…

— У нас в соседнем селе Таня-Косая жила, так такая, как у неё, капуста ни у кого не росла! — подхватила Глафира понятную ей тему. — Двумя руками не обхватишь! Белая! Сочная! Бывало, по три бочки насолит. И кто ни спрашивал, никому секрет не говорила. Улыбается, моргает косыми глазами, вроде как дурочка…

— Но я не умею растить капусту… — продолжал погружённый в свои мысли глава страны. — И поэтому, хочешь — не хочешь, завтра надо уезжать.

— Уже завтра?! — задохнулась Глафира от осознания того, что неделя пролетела так быстро.

Ей стало совсем неловко лежать перед высоким гостем. Она села на кровати, прикрыв ноги одеялом.

— Да… С утра соберёмся и поедем. К вечеру надо быть в Москве… — проговорил тот. — Ведь послезавтра — День Победы. Семьдесят пятая годовщина. Мне нужно парад принимать.

— А ведь правда… Я что-то совсем того… Даже и забыла. — Глафира пожевала губами и с надеждой спросила: — А двойник не может?

— Что?

— Ну-у… Парад принять.

— Нет, — отрицательно покачал Президент головой. — Это — моя святая обязанность!

— А вы ещё приедете?

Гость посмотрел ей в глаза, улыбнулся и ничего не ответил.

— Если саммит какой или экономический форум у нас захотите провести — мы только рады будем. Жить есть где, домов пустых в округе много! А я пирогов для всех напеку. И Ангелка пусть приезжает. Она баба простая. И этот щёголь, как его, Макрон. Мы ему мозги быстро вправим.

Президент снова посмотрел на Глафиру, снова улыбнулся и пообещал:

— Ну, это уж только когда ковид победим…

— А мы его победим?

— Должны… Сейчас вот вакцину доработаем. Думаю, к августу закончим. Люди начнут прививаться, постепенно выработается коллективный иммунитет…

— Это хорошо… А то страшно новости включать. Столько народу каждый день умирает…

— Да когда же свет дадут? — Президент встал и пощёлкал выключателем. — Долго это у вас бывает?

— Когда как… Осенью после урагана пять дней сидели.

— Скоро совсем стемнеет. Хоть спать ложись…

— Поэтому раньше с солнышком и вставали, и на боковую отправлялись… Ой, — хлопнула себя Глафира по губам, — опять я про раньше… Извините меня.

— Да нет, нет. Ничего. Говорите… Но вот вы только представьте, Глафира Фёдоровна, какой рывок за сто лет: от лучины и деревянного колеса — до компьютеров и интернета! — голос Президента в темноте зазвучал особенно торжественно. — Тысячелетиями человечество жило в темноте — в пещере, в землянках, в избах курных. Ничего, кроме тяжёлого изматывающего труда, не видели. Голодно, холодно, дико… А электричество за один век всё переменило. Прогресс пошёл по земле семимильными шагами! Знаменитую «лампочку Ильича» помните? Как раз в этом году ей сто лет исполняется!

1. Liebe Sonne, scheine wieder,
schein die düstern Wolken nieder!
Komm mit deinem goldnen Strahl
wieder über Berg und Tal!

(Милое солнце, свети вновь,
Свети сквозь хмурые облака!
Брось свои золотые лучи
Снова в горы и долины!)

— Как не помнить! — усмехнулась Глафира. — Знаете, когда она у нас в деревне появилась?
— Когда?
— В шестьдесят седьмом!

Президент онемел.
— Почему хорошо помню — как раз Валька мой в школу пошёл. И он уже учился при электрическом свете. А мы с братовьями все при керосинке выучились. Засядешь вечером за уроки, отец ругается: мол, дня не хватило! И отберёт. Берегли керосин-то.
— То есть человек уже в космос полетел, а вы всё при керосинке жили?! — не веря своим ушам, спросил Президент.
— Именно так. Вот и сидели на печи да сказки слушали.

Глафира сползла с кровати, выдвинула ящик комода, достала белую парафиновую свечу. Зажгла её. В спаленке стало достаточно светло, чтобы различить предметы, черты лица.

Глафира подошла поближе к Президенту, подняла огонёк, заглянула гостю в глаза и впервые за все дни заметила, что она выше его ростом.
— Вот при таком свете и пряли, и вязали, и валенки отец подшивал. А от керосина, бывало, ещё и угоришь! Да чего мы тут-то?.. Пойдёмте в залу.

Бабка пошла из спаленки, продолжая рассказывать:
— Но это только зимой. Летом-то ведь дома не сидели. Работы непочатый край! Все в поле. Отец — в конюшне. Мы с мамой — на ферме...

Она достала с кухонной полочки стеклянную банку, покапала на дно воском, прилепила свечу и поставила на стол. Присела рядом.

Президент сел напротив. Снова взглянул в окно — серый день быстро перетекал в тёмную неуютную ночь.
— Понимаете, Глафира Фёдоровна, вы держитесь за прошлое, потому что там было ваше детство, юность, молодость. Там были живы ваши родители, — заговорил после долгого молчания Президент. — Любовь, наверное, была.

Он внимательно взглянул на Глафиру, и та опустила взгляд.
— И это нормально, что многое хочется вернуть. Всегда помнится хорошее и самое дорогое... Но скажите честно: даже если обратно и молодость, и былую силу, и здоровье, пошли бы сейчас руками коров доить? Вёдра таскать? Жать серпом? Палочки получать на трудодни?.. Помните, вы рассказывали, как надорвались? Как сестра ваша от надсады умерла? Разве туда вы хотите?
— Нет, конечно, не туда, — отрицательно покачала головой Глафира. — Но вот при Брежневе, например, мы хорошо жили.
— А при мне, значит, живёте плохо? — горько усмехнулся Президент.
— Не-ет, что вы! — поспешила оправдаться бабка. — Куда с добром! Особенно после как восьмой десяток разменяла. Сразу пенсию прибавили! На всё хватает. Ещё и Вальке когда даю. Но вы же спросили про прошлое... Я и вспоминала. При Брежневе-то мы с мужиком моим и дом новый поставили. Вот этот самый. И мотоцикл купили. Если уж куда возвращаться, так только туда-а!
— Нет! И туда нельзя.
— А куда же можно? Каждый день по телевизору про какое-то возрождение России поют. А какую собираются возрождать-то?... — бабка подумала с минуту и продолжила: — Я так думаю: надо выбрать такой кусочек, где всем людям хорошо жилось, и его вернуть.
— Нет таких кусочков в истории человечества! — отрубил Президент. — Всегда кому-то плохо, кому-то хорошо. На всех не угодишь!
— Ну не зна-аю... — протянула Глафира. — Вот при Брежневе дак я бы, пожалуй, снова пожила...
— Да что вы прицепились к этому Брежневу!

Президент вскочил со своего места и в волнении заходил по комнате.
— Нет! Будущая Россия — совсем другая. Мир ещё не знал такой! Это не царская, не коммунистическая Россия... Я и сам ещё до конца не знаю, какой она должна быть. Вы всё-таки это хорошо сказали, про кусочки. Только не нужно искать какой-то конкретный отрезок и ориентироваться на него! Надо взять из каждого периода нашей истории лучшее и соединить. Вот тогда будет и мощь, и вера, и правда! Но это очень трудно... Почти невозможно... Слишком неспокойно в мире, слишком много у России врагов.
— И Ангелка — враг? — спросила бабка, сдвинув брови.
— Что? — не понял Президент, воодушевлённый собственной речью.
— Меркель тоже вредительша? — чуть иначе задала свой вопрос Глафира.
— Да не в этом дело. Не отдельные личности нам мешают, а целая глобальная система управления...
— НАТО? — нашлась Глафира.
— НАТО? — обернувшись, переспросил Президент, подумал и ответил: — Отчасти...
— А друзья-то у нас есть?
— Есть... — вздохнул глава России и сел обратно к столу. — Есть. Но врагов всё равно больше...

Глафира глубоко задумалась о чём-то, тревожно взглянула в глаза Президента и осторожно, шёпотом, спросила:
— А если кругом враги, то что... и война снова будет?

Президент отвернулся к окну и смотрел в ночь, а может, и в себя.

В доме, во всём мире установилась какая-то неслыханная, неземная тишина.

Даже воздух как будто остановился, загустел, сделался липким.

И в этой почти космической тишине вдруг тоненько, тоскливо заплакал ребёнок.

Глафира похолодела, почувствовала, как побежали по спине мурашки, как онемение потекло по конечностям. Дыхание остановилось.

Президент молчал. Плечи его ссутулились, опустились.

Ребёнок плакал отрывисто. Всё настойчивее и призывнее. Всё ближе.

У Глафиры сдавило сердце. Ком встал в горле.

И тут о её ноги боднулась кошка и резко, по-младенчески, взмякнула.

— Фу, лешая зараза! Явилась! — выдохнула вместе с досадой и весь свой ужас Глафира.

Отпихнула глупую животину. И мир сразу зазвучал: затикали ходики, капнула вода из рукомойника в раковину, услышав мать, замяукали в коробке котята, но главное — загудел холодильник! Значит, дали свет!

Глафира резво вскочила с места, щёлкнула выключателем и зажмурилась от рези в глазах.

— Думаю, не допустим... — тихо и медленно ответил, наконец, Президент.

— Ну, дай-то бог, — поспешила согласиться с ним Глафира, открыла холодильник, плеснула молока кошке. — Чайку пора испить! — весело воскликнула она и, наливая воду в чайник, загремела ковшом по ведру, словно нарочно разгоняя ещё несколько минут назад накрывшую этот мир смертную беззвучность.

Президент никак не отреагировал на её призыв, встал от окна и вышел из избы.

Глафира приникла к оконному стеклу, но так и не смогла разглядеть, куда он отправился один по такой тьме и холодине.

День седьмой. Клад

(8 мая, пт.)

А утром поссорились Илюша с Алёшей. Надо собираться, а у мало́го свербит, просится ещё на часок по деревне с металлоискателем побегать.

— Ты и так вчера полдня дурочку валял! — рявкнул на него напарник. — Мы с Никитичем все дрова убрали. Давай складывай палатку.

Алёша, нечего делать, зубы стиснул, распутывает верёвочки. Потом снова запел:

— Я вчера у конюшни две подковы нашёл!

— Вот и прибей их себе на копыта! — злился Илья.

— Это ты злишься, потому что тебе самому охота поискать! Пошли вместе!

— Может, и охота! — после паузы ответил старшой. — Но я на службе! И ты, между прочим, тоже!

Они свернули палатку, затолкали её в чехол. Прихватили складные стулья, фонарь и отнесли всё к машине.

Никитич укладывал вещи в просторный багажник. Но палатка была объёмная, к тому же, ссорясь, ребята сложили её неправильно. Пришлось вынимать из багажника часть сумок и пакетов и всё перекладывать. Пока Никитич с Ильёй этим занимались, пострел Алёшенька удрал со своей игрушкой!

— Никитич, влепи ему выговор, когда в Москву вернёмся, — окончательно рассердился Илья.

Глафира стала невольным свидетелем этой их ссоры, когда искала в курятнике свежие яички. Поветь была как раз над её головой. Да и ребята в запале разговаривали слишком громко — не хочешь, да услышишь.

Сама она, поднявшись с рассветом, торопилась довязать второй носок. И только закончив его, вышла из спаленки.

Президент тоже складывал свои вещи. Был он озабочен и явно мыслями находился уже не здесь...

Бабка робко подошла к нему, протянула своё рукоделие.

— Связала вот... Уж понравятся ли, нет ли. Не побрезгуйте. А размер — точно ваш. Я по тапочке мерила.

— Какая красота! — воскликнул гость. — Какой нужный подарок! Ну, Глафира Фёдоровна... прямо не знаю, как вас и благодарить.

Бабка от смущения зарделась и опустила глаза в пол. Ей хотелось, чтобы Президент её обнял, но не просить же его об этом! И она поскорее отвлеклась на дела: принесла из кладовки старый посылочный ящик и поставила его на пол около крышки подвала. Спустилась вниз и стала выставлять наверх многочисленные баночки.

Гость заметил её шевеления и спросил:

— Вам помочь, Глафира Фёдоровна?

— Нет, спасибо! — ответил бабкин голос из-под половиц.

Но через минуту её голова вновь показалась над дырой в полу.

— Вы лучше подайте мне газетку. Вон там, в печурке... Надо баночки завернуть, чтобы не поколотились.

Гость послушно подал хозяйке газету. Она, почему-то продолжая стоять на ступеньке лестницы, ведущей в подпол, стала заворачивать гостинцы в эту газету и по ходу дела поясняла:

— Это вот грибочки солёные. Отборные! Пусть ваш Никитич не беспокоится. Волнушечки тут, путнички, сыроежки. Ничего худого...

Она поставила две завёрнутые банки в посылочный ящик и взялась за следующие.

— А тут — чистые груздочки! Это — лично вам! Никому не давайте!

— Ладно, — усмехнулся Президент.

— Это вот варенье малиновое. Малина лесная, лечебная! Не чета садовой. Это вы тоже себе. Если, не дай бог, заболеете... Ну да сами знаете.

— Понюхать можно?—спросил гость, принимая от неё пол-литровую банку.
— Дома понюхаете,—строго ответила бабка.— Видите, она под железной крышкой? Всё стерильно. Пусть Никитич спит спокойно!
Президент послушался. Завернул банку в газетку и поставил в ящик к другим.
— Это вот огурчики…
— Глафира Фёдоровна! Не надо огурчиков. Куда столько всего?
— Вам же понравились!—подозрительно взглянула на него щедрая хозяйка.—Или душой покривили?
— Понравились! Честно! Но что же вы последнее отдаёте?
— Во-первых, не последнее,—с достоинством возразила Глафира, выбираясь из подпола,—во-вторых, таких огурчиков вы в своей Москве ни в одном этом вашем супермаркете не найдёте! Берите ящик, несите на стол.
Президент снова послушался. А Глафира прихватила с полу ещё несколько банок с разными заготовками и принесла их следом, составила в ящик. Она даже попыталась всучить трёхлитровую банку голубичного компота, уверяя, что он невероятно душистый и, несомненно, тоже лечебный, но тут уж глава страны взмолился о пощаде.
— Ладно,—смирилась бабка,—я ещё сушёных грибочков вам всем приготовила. Четыре вот пакетика. Тут белые и подосиновики, ну, может, какой моховик или масленик затесался. Так что на экспертизу не обязательно отдавать…
— Ну простите вы уже Никитича, Глафира Фёдоровна, он не со зла…
— Да я и не обижаюсь!
Она затолкала пакетики в оставшееся между банками пустое пространство и воскликнула:
— Ой! Ещё ведь яблочек сушёных надо!—и кинулась к кухонному шкафчику.
Президент схватился за голову.
— И яичек! Яичек ведь наварила вам в дорогу! Ведь чуть не забыла!
Она слила воду из кастрюльки в раковину и, вытирая сваренные яйца полотенцем, стала укладывать их в прозрачный целлофановый пакетик.
— Это ведь всё домашнее! Всё своё! Экологически чистое! Без пиз… как их, ой, без пестицидов!
Глафира и сама устала от своей суеты и болтовни. Вздохнула. Села на табуретку.
— Ну вот… Вроде всё…
Она погладила ладонью скатерть на столе и, не глядя на дорогого гостя, тихо произнесла:
— Уезжаете, значит…
Президент не успел ничего утешительного сказать в ответ, потому что дверь в избу распахнулась и через порог шагнул Илья, несущий впереди себя горячий самовар. За ним следом вошёл Никитич.
Все снова засуетились, накрывая на стол, стараясь рассеять грусть хозяйки, шутили с ней, благодарили за гостинцы.
— Одно совестно: так и не вскопали мы вашему соседу огород!—виновато сказал Илья.—Не успели просто.
— Так ему и надо!—сказала всё ещё обиженная на старика Глафира.—Не берите в голову.
Но уже через минуту со вздохом добавила:
— Не дам я старому с голодухи помереть. За кого нам и держаться, как не друг за друга?..
Илья между делом сполоснул кипятком заварочный чайник, сыпнул в него заварки.
И тут снова распахнулась дверь в избу.
— Нашёл!—гаркнул с порога Алёша так, что у всех в ушах зазвенело, а Илья от неожиданности выпустил из рук заварочный чайник. Хорошо, что залить не успел.
Старая посудина упала и развалилась на две ровные половинки, крышечка со стуком откатилась к печке. Илюша охнул, растерянно поднял осколки и виновато посмотрел на Глафиру.
— Да бог с ним!—махнула она рукой.
Алёша был весь красный от возбуждения и протягивал на руках заржавевшую металлическую коробочку, похожую на маленький сундучок. Он гордо донёс её до стола, сдвинул посуду и бережно поставил клад на середину.
Все заворожённо смотрели на его находку.
— У сгоревшей школы откопал!—глаза Алёши светились счастьем.—Но внутрь даже не заглядывал! Специально сюда нёс!
Он попытался открыть коробочку, но она не поддалась. Повертел, посмотрел. Под заржавелой металлической крышкой, на которой сохранилось выдавленное чеканкой клеймо «Братья К. и С. Поповы», оказалось отверстие для крохотного ключика.
— Ломать придётся…—рассудил Илья, взяв из рук Алёши коробочку.
— А ведь братья Поповы—Семён и Константин—были известные купцы,—сообщил всем Никитич, в свою очередь принимая и рассматривая драгоценную находку.—Торговали в Москве китайским чаем. Конец девятнадцатого века, между прочим! И одной этой коробочке—цены нет. Только очень уж она заржавела…
Алексей нетерпеливо отобрал у него свой клад, подколупнул крышечку ножом, повозился с минуту, крышечка откинулась и криво повисла на одной петельке.
Все заглянули внутрь.
Сверху лежал двойной тетрадный лист в полоску, исписанный аккуратным круглым почерком, а под ним—мешанина из странных, каких-то не очень старинных предметов. Из середины торчал кусочек красной тряпочки. Илья потянул и вытащил… пионерский галстук. Зацепившись за него,

на стол выпало несколько вещиц, посмотрев на которые, все поняли, что на девятнадцатый век клад явно не тянет.

Разочарованный Алёша развернул тетрадный листок и стал читать:

«Люди 21-го века!

Мы, учащиеся сельской школы передового колхоза „Красный рассвет“, октябрята и пионеры, приветствуем вас из далёкого 1970-го года. Мы решили оставить это послание вам в день столетия вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Когда вы его откроете — через пятьдесят, семьдесят или сто лет? Вот было бы здорово, если бы это случилось в день двухсотлетия Ленина!

Мы смотрим в будущее и мечтаем о том, чтобы оно было светлым и счастливым для всего человечества! Прошёл целый век. На всей земле царит коммунизм — самый справедливый строй, где от всех по возможностям, всем — по потребности. Исчезли деньги. Люди Земли живут в мире и согласии, не осталось угнетённых и бедных, изжит проклятый капитализм. Никто не голодает! Побеждены все болезни! Уничтожено всё оружие! Человечество разговаривает на одном языке, все люди — братья! Наука и техника шагнули далеко вперёд. Автомобили уже давно не ездят по земле, а летают по воздуху. На Луне и на Марсе выросли города, добываются полезные ископаемые. На очереди — Юпитер, Сатурн... Осваиваются дальние уголки космоса. Люди вступили в контакт с инопланетным разумом.

Мы смотрим в будущее и понимаем, что для того, чтобы эти мечты стали реальностью, нам нужно много трудиться, отлично учиться, быть добрыми, справедливыми, бороться за мир во всём мире и равноправие людей!

Вместе с этим письмом мы оставляем вам то, что особенно дорого нам: октябрятский и пионерский значки, пионерский галстук, юбилейный рубль с изображением Ленина на одной стороне и гербом СССР на другой, календарик с Гагариным. Малыши добавили ещё конфету „Мишка на Севере“ и ёлочную игрушку в виде кукурузы.

Кроме того, мы прошлым летом, во время каникул, помогали красным следопытам и нашли в лесу солдатский медальон. Он хранился в нашем школьном музее, но мы подумали, что он вам нужнее. Это память о тех, кто пал смертью храбрых за наше и ваше светлое будущее!

На дне лежит вырезка из газеты „Пионерская правда“ — в ней напечатана статья о том, как наши ребята собрали металлолом, а вырученные средства направили в Фонд Мира. И ещё наша общая фотография, чтобы вы знали, какими мы были.

Писала старшая пионервожатая Морозова А. С.»

Алёша аккуратно свернул тетрадный листок, отложил его, расстелил на столе пионерский галстук и стал аккуратно раскладывать на нём все перечисленные в письме предметы.

На скулах Президента заходили желваки. Глафира плакала. Никитич стоял с поникшей головой.

Илья достал со дна опустевшей коробочки сложенную пополам чёрно-белую фотографию, развернул. Лица детей, попавшие на сгиб, различить было невозможно, но остальные пропечатались чётко. Ученики стояли на крыльце деревянной двухэтажной школы в три ряда. На нижней ступеньке — октябрята-малыши. Выше — пионеры. Все были одеты в парадную школьную форму. Почти все улыбались. Кто — смущённо, кто — открыто и весело. Лишь несколько очень серьёзных, сосредоточенных лиц. В середине — учителя и, наверное, та самая старшая пионервожатая Морозова А. С. Короткие косички, широко распахнутые глаза, восторженный взгляд...

Глафира взяла из рук Ильи фотографию, попросила принести из спаленки очки. Вгляделась в лица детей и ткнула в одного серьёзного, даже насупленного мальчишку-пионера:

— Это вот Валька мой. Третий класс, наверное... Или четвёртый... Не могу сосчитать, — она шмыгнула носом.

Коллективный фотопортрет пошёл по рукам.

— Этот? — переспросил Президент, когда фотография оказалась у него.

Глафира кивнула согласно и добавила:

— Он не больно учился-то. Так, тройки. Физкультуру только любил да рисование. А пионервожатая эта — Настя Морозова, дочка моей подружки Нинки. Ей тут лет четырнадцать, наверное.

Алёша сложил всё обратно в коробочку, как было. Только оставил солдатский медальон. Очень осторожно отвинтил крышечку, дрожащими пальцами вынул из него скрученную в трубочку узенькую бумажку.

Прочитать фамилию и имя бойца было почти невозможно — вписанные химическим карандашом данные от времени и влаги расплылись, буквы сделались нечёткими. Все вместе с трудом разобрали, что звали бойца-красноармейца Иваном и родился он в 1920 году.

— Неизвестный солдат... — прошелестела Глафира. — Одно имечко от человека осталось...

— Нынче ему как раз сто лет исполнилось бы... — едва слышно проговорил Илья.

— Что с этим делать? — растерянно спросил Алёша, закручивая крышечку медальона.

— Постараемся восстановить данные и разыскать родственников... — тихо ответил Президент. — А шкатулку оставим на память Глафире Фёдоровне.

— Я её в наш местный музей передам, — ответила хозяйка, благодарно принимая от Алёши клад. — Пусть люди знают, какими мы были...

Долгие проводы — лишние слёзы.

Дорогие гости стояли около заведённой машины.

— Может, всё же возьмёте компотика? — безнадёжно спросила Глафира, вышедшая к ним в обнимку с трёхлитровой банкой, наполненной жидкостью чернильного цвета. — В дороге выпьете!

— А и выпьем! — радостно подтвердил Илья и принял от неё пузатую трёхлитровку. — А чайничек я вам новый куплю, под гжель расписанный, и почтой пришлю! Обещаю!

— Да вот ещё, — кокетливо отмахнулась бабка, но в душе обрадовалась: будет что ждать…

— Ну, Глафира Фёдоровна, спасибо вам за всё, — шагнул к ней Президент, — за гостеприимство ваше, за добрую душу, за старину и за святую науку.

При этих словах он приложил руку к сердцу и внимательно взглянул Глафире в глаза. Там, под рукой, был ещё и потайной карманчик, в котором остались крохотные уголёчки от…

Старуха согласно прикрыла веки. Мол, всё поняла.

И Президент наконец её крепко обнял. У Глафиры земля ушла из-под ног. Она даже посмела голову ему на плечо приклонить. И так не хотелось ей, чтобы отпускали её эти руки, так хотелось оставаться под их защитой и силой. Но…

Жизнь отсчитывала секунды и минуты.

Гости сели в машину и уже махали ей, прощаясь, но вдруг Глафира крикнула:

— Стойте! — и подбежала к приоткрытому окну дверцы. — Никитич, подожди! Я сейчас!

Она устремилась в избу и через пару минут выскочила оттуда с тремя котятами в руках.

— Триколор забыли! — захихикала она, вернувшись к машине.

Сунула рыжего Алёше и сказала:

— Жене подаришь! Он ей сердце отогреет — такой огонёк! А сам запомни: сколько раз жена котёнка погладит, столько и ты её. Баба ласку, как кошка, любит.

Алёша взял котёнка, заглянул ему в глаза:

— Значит, и назовём тебя Огоньком!

Глафира перебежала к правой передней дверце, где сидел Илья:

— А тебе тогда достанется Дымок, — она протянула ему дымчатого котёнка. — Это чтобы ты помнил: дыма без огня не бывает! Не ссорьтесь! Держитесь друг за друга.

И наконец, Глафира подошла к Президенту:

— Когда укрывает землю первый снежок, всю грязь, всю слякоть, так на душе становится светло, чисто, легко…

— Я понял. Этот будет Снежок.

Он принял из рук старухи котёнка, ещё раз попрощался, поднял тёмное стекло. Чёрная машина выехала со двора и направилась к главной дороге.

— Вот ведь хитрая бабка, — покачал головой Никитич, — нашла, как котят сплавить.

— А ты не завидуй, раз тебе не досталось! — засмеялся ему в ответ Илья. — Ешь грибы!

Парни захохотали.

Президент строго взглянул на них и похлопал водителя по плечу:

— Давай, Никитич, гони. Столица ждёт!

А Глафира стояла на своём осиротевшем дворе, махала им вслед рукой и даже не пыталась вытирать струящиеся по лицу слёзы.

Синдром

(11 мая, пн.)

В понедельник Лариса открыла медпункт с опозданием — бегала на срочный вызов к ребёнку. На крыльце, в ожидании фельдшера, уже мялся один из жителей посёлка.

Лариса впустила его, велела подождать. И пока надевала белый халат, пока готовила шприцы, набирала лекарство, он болтал о том о сём и, среди прочего, сказал:

— Ехал я в прошлый понедельник с райцентра, смотрю, стоит наша баба Глаша посреди дороги с пакетом в руках. Ну, остановился, садись, говорю. А она какая-то странная, то ли злая, то ли расстроенная чем… Нет, говорит, езжай. Я не тебя жду… И отвернулась даже.

Лариса всадила мужику укол в мягкое место. Натягивая штаны, он добавил:

— А в среду мы её на кладбище видели. Знаешь ведь, у нас годовщина по батьке… Так вот, ходит, разговаривает с кем-то, руками машет. Странная такая.

Мужик ушёл. Лариса села заполнять карточки на пациентов, но мысли её постоянно сбивались. Это был не первый человек, который доложил ей о странном поведении бабки Глафиры. В четверг, например, позвонила Лена-дачница, долго молола про всё подряд, а под конец, извинившись, сообщила:

— Может, это не моё дело, но после болезни с Глафирой Фёдоровной что-то случилось. Мы в деревню лет десять ездим, но такой её никогда не видели… Всегда в дом пригласит, чаем напоит, о делах расспросит. А тут всё сквозь зубы, со злобой какой-то… Даже задом к нам повернулась. Прям жалко старушку…

А ещё фельдшеру доложили, что в один из дней бабка шарашилась с корзинкой под угорицу. Значит, снова ходила за своими сморчками, то есть строчка́ми, хотя Лариса не раз говорила ей не собирать опасных грибов. И уж не во вторник ли это было?.. После заполошного звонка от бабы Глаши Лариса побежала к Семёну Даниловичу и очень удивилась, увидев на двери старушки замок. Обычно Глафира Фёдоровна не отойдёт от соседа, если тот заболел, обязательно дождётся фельдшера,

всё расспросит, когда какие лекарства пить, всё проконтролирует. А тут—словно специально удрала. И ведь слаба ещё после болезни. А если упадёт в лесу? Кто её искатçь будет?..

Надо заметить, что в сельской местности главным исповедником является вовсе не священник, а медицинский работник. Ему приходится выслушивать жалобы не только на ломоту в костях или рези в животе, но и на близких родственников, на соседей, на начальство, на главу государства, а также быть в курсе многих семейных историй. Фельдшер подчас лучше самой женщины знает, когда и от кого она забеременела, в каком магазине продают палёную водку и почему Дашка ушла от Васьки. Обо всём ей докладывают односельчане. Они идут к ней поплакаться, получить совет, перемыть кости, излить желчь… Фельдшеру приходится принимать и пьяных, и чокнутых, и симулянтов, и по-настоящему битых. А ведь и сам сельский медработник тоже человек, и жизнь его также протекает на глазах жителей и подвергается пристальному наблюдению. И посмей-ка тут отказать или грубо ответить. А так иногда хочется высказать человеку, что он сам виноват в своих бедах, что гробит здоровье своё и близких и помогать ему, а уж тем более жалеть его, нет никакого желания. Но молча, с улыбкой ставит Лариса уколы и капельницы, терпеливо объясняет глухим старикам, почему надо пить лекарство от давления постоянно, а не когда приспичит, бегает на вызовы в любое время дня и ночи, в жару и в пургу… И не дай бог кому-то не угодить или допустить врачебную ошибку! Жизни не дадут. А ведь и у самой Ларисы дом, хозяйство, огород, молодой красивый муж, за которым глаз да глаз, пятилетний сынок, к которому в садике цепляется любая зараза, своенравная свекровь, так и норовящая сунуть нос в их семейную жизнь…

В общем, в этот понедельник Лариса была, мягко говоря, не в настроении. И застала она бабку Глашу за её любимым занятием—разговором с телевизором. Старуха смотрела новости, любовалась на Президента.

—Похорошел, похорошел! На пользу отдых пошёл. Погляди-ка,—обратилась она к вошедшей в избу Ларисе,—румянец во всю щёку. Посвежел наш дорогой! А то—весь в трудах. А труды-то его—о-ой, врагу такой жизни не пожелаешь.

—Глафира Фёдоровна, вы как себя чувствуете?—по-деловому спросила женщина.

—Нормально,—отмахнулась бабка и продолжила смотреть телевизор.

Лариса достала из сумки тонометр, подсела к столу, стала надевать манжет на руку бабке. Та словно не чувствовала, вся была поглощена голубым экраном. Рука висела плетью. Манжет не натягивался.

—Да выключи ты этого!—неожиданно даже для самой себя рявкнула фельдшер.—Надоел…

—Лари-иса!—удивлённо обернулась к ней бабка.—Это же наш Президе-ент! Как ты мо-ожешь?

—Да всему миру надоел наш Президент! Крым аннексировал! Из-за этого и кошмар-то весь на Украине начался!

—Да что ты такое говоришь?!—задохнулась Глафира.—Крым—наш!

—А он тебе нужен, этот Крым?—зло спросила Лариса.

—Мне—нужен!—стукнула старуха ладонью по столу.

—Говорят, что и вирус этот ни в каком не в Китае завёлся, не в Америке, а ФСБ его разработало и по всему миру распустило. А этому царьку чего? Он в бункере сидит!

Глафира вырвала руку, так и не дав померить давление. А оно у неё в эти минуты явно зашкаливало.

—А ну закрой свой рот!

—С чего это мне рот закрывать?—огрызнулась Лариса, чей рот в каком-то смысле действительно был закрыт—медицинской маской. Она свернула тонометр и бросила его обратно в сумку.—Нас зомбируют, а мы молчать будем?

—Кто это нас зомбирует?

—Да вон! Телевизор твой! Вешают лапшу на уши, вилок не хватает снимать!

—Э-эх, Лариска-а-а,—прошипела бабка, и глаза её сузились,—вот когда наследство-то сказалось! Ещё твой прадед-кулак против коммунистов пёр, за то и поплатился. И батька твой всю жизнь воду мутит. А худо ли живёте-то? Чего ещё-то надо?!

—Свободы!

—Какой тебе лешой свободы надо?! Ты где этого понахваталась?!

—В интернете!

—Да будь он проклят, это ваш тырнет! Всё тырите, тырите, а счастья нет!

—Надо не нашу пропаганду по телеку смотреть, а слушать, что умные, образованные люди говорят!

—А мы тут все необразованные,—язвительно пропела Глафира.

Её трясло. Она стояла, опершись о столешницу двумя руками, и едва сдерживалась, чтобы не запустить в Лариску чем-нибудь тяжёлым. Фельдшерица нервно перебирала лекарства в своей сумке, то доставая их, то складывая обратно.

—Я всё поняла,—прошипела бабка.—Вот такие, как ты, майданы и делают! Вам любая власть неугодна!

—Вот такие, как я,—будущее России!—взгляд Ларисы над маской сверкнул праведным гневом.—Мы за правду! За мир! За сменяемость власти! За свободу совести! За достойную жизнь! За права меньшинств!

— Ага, ага! Видала я эти ваши меньшинства по новостям! Скачут в трусах по улице! Тьфу! Позор один! Хочешь как они? Хочешь, чтобы твой Дениска однажды платье надел?

Возникла недолгая пауза.

— Тёмная ты, баба Глаша,— проговорила внезапно уставшая от этого бессмысленного разговора Лариса.— Как твоя Мурка. У тебя мозгов не больше...

— Лариска...— тоже тише заговорила Глафира.— Ведь ты же наша, русская. Ты же здесь родилась и выросла. Я тебя сопливой девчонкой видела, конфетки тебе совала. Как тебе не стыдно? Разве же мы вас так воспитывали?

Лариса обессиленно опустилась на табуретку и тихо договорила:

— А неправильно вы нас воспитывали...

— Ведь это не ты говоришь. Не ты-ы! Это Витька тебя твой подучил. Смотри, доездится он по своим командировкам. Я тебя предупреждала: держи мужика около юбки!

— У меня и своя голова на плечах есть!— снова завелась Лариса, задетая за живое.— Я тоже в городе училась! Зачем только сюда вернулась? Заче-ем?..

На глазах молодой женщины выступили слёзы, она наконец сорвала с лица одноразовую маску, уткнулась в неё и заплакала.

— С ковидом этим никакого продыху не стало... Да страшно-то как! Ведь умирают люди. И мы, сами медики, не знаем, что делать. На самом высоком уровне — всё врут! Самоизоляция! Карантин! Прививки! Общий иммунитет! А толку-то?!— Лариса успокоилась, подняла лицо и зло взглянула на Глафиру.— И этот твой — всё врёт! Если от ковида не перемрём, значит, в войну ввяжемся. Всё равно жизни не дадут! У них одна цель — чтобы мы все передохли!

— Не будет войны! Он мне обещал!— гордо заявила бабка.

— Кто — он?— вздохнула Лариса и закатила всё ещё влажные глаза, восхищаясь её дремучестью.

— Президент! Лично! Вот тут! На этом самом месте сидел! И сказал: не допустим!

— Совсем ты, баба Глаша, сбрендила.

Глафира схватила Ларису за руку и потащила за собой:

— Пойдём! Я тебе покажу! Я тебе всё покажу!

Первым делом она повела её в дровяник.

— Посмотри! Полный дров мне набили! Всё бесплатно! Два дня парни пластались. Напилили у родника. Раскололи. Всё прибрали. И это он разрешил. Сказал: всю ответственность на себя берёт!

Но Лариса видела пустой дровяник, в котором гулял ветер.

Бабка повела её дальше, к бане.

— Гляди,— подтолкнула она её в спину,— пол — новенький. Ребята перестелили. Лавка — потрогай! Гладкая. Сам Президент лично своими рученьками стругал! Чтоб, говорит, ничего себе не занозили!— в голосе Глафиры зазвучали слёзы.

Лариса тряхнула головой, зажмурилась и снова открыла глаза. Но увидела то же, что и до этого: гнилую, сырую баню с проваленным полом.

Дальше был огород. Бабка хвасталась починенным забором. Махала руками, показывала, как какие-то ребята за полдня ей всё вскопали и картошку посадили, курам загон отгородили.

Ларисин взгляд скользил по разорённому бабкиному хозяйству: половина забора лежала на земле, картофельник затягивало травой, тощие куры скучно бродили по нему.

Фельдшер внимательно посмотрела на Глафиру, взяла её за руку, нащупала пульс, который бился часто-часто, поймала двумя руками старуху за голову, заглянула ей в зрачки.

— Баба Глаша, ты снова свои сморчки, тьфу, то есть строчки́, ела?

— Не ела я ничего!— выдернула бабка своё лицо из её ладоней.— Я — нормальная! Нормальнее всех вас! Он мне про будущую Россию рассказывал. Не кому-нибудь, не тебе, Ларисонька! А мне!

Всё понявшая женщина печально покачала головой и оставила старуху в покое. Она отошла на некоторое расстояние от дома, достала из кармана халата мобильный телефон и набрала номер главврача районной больницы.

— Галина Петровна, у меня тут с пациенткой что-то странное творится... Да, с бабой Глашей. Похоже на старческий бред. Да такое несёт, мама не горюй! И галлюцинации. Может, на фоне постковидного синдрома. Может быть, ещё грибная интоксикация... Да, наелась опять... Дак я сколько ей говорила, на цепь ведь не посадишь... Хорошо... Да... Хорошо... Да... Вызываю...

Когда за Глафирой Фёдоровной прибыла спецбригада скорой помощи, больная никуда ехать не захотела и неожиданно оказала бурное сопротивление. Даже швырялась тяжёлыми предметами. На улице смогла вырваться, побежала, но санитары догнали её около бани. Пришлось применить фиксирование связыванием.

Когда Глафиру Фёдоровну вели к карете скорой помощи, она презрительно плюнула под ноги фельдшеру и бросила:

— Иуда ты, Лариска!..

Все два с с половиной месяца, проведённые в психиатрическом отделении районной больницы, Глафира плакала и просила прощения у какой-то матушки. У своей или у какой другой, врачи так разобрать и не смогли.

Эпилог. Воздух

Хоронили Глафиру жарким июльским днём. Могилку, конечно же, выкопали в Логиновском углу. Дождались родные свою Глашку. Теперь снова вся семья в сборе...

С дальнего болота тянуло удушливой торфяной гарью. Проститься пришло человек двенадцать. Поминок не справляли — кому было их готовить? Так, выпили и закусили на скорую руку прямо на кладбище.

Наутро после похорон сын Валька заколотил досками крест-накрест окна осиротевшей Глафириной избы и поспешно уехал.

Уже в сумерках вышел на крыльцо своего дома-развалюхи дед Семён. Поджёг цигарку, медленно, со вкусом, втянул густой дешёвый дым. В ноги ему боднулась Глафирина кошка. Села рядом и принялась умываться. В запущенном, заросшем дедовом огороде заполошно заквохтали курицы — наверное, которая-то снесла яйцо. Надо будет поискать в траве…

Июльский вечер, после дневной жары, опустился духовитый, плотный. Гарь с болота рассеялась, осела под росой. Раскалённое солнце садилось в плотные, тяжёлые фиолетовые тучи, поглотившие весь западный горизонт, — надвигалась гроза.

Дед Семён хоть и был глух, но не был слеп, и даже он, с его небогатой фантазией, разглядел в этих тучах что-то необычное, что-то нарочное — грозовой фронт слишком явственно представлял собою трёх мужиков на конях. Вон — головы, плечи, борода у среднего… вон, пониже, — морды коняшьи, один эдак вбок, другой — рвётся, хрипит, ушами прядает, третий — голову склонил к земле. Ногами кони вязли в еловых вершинах.

Человек широко образованный, культурный, начитанный непременно узрел бы в этих трёх мистических фигурах всадников Апокалипсиса, имя которым Глад, Мор и Война. И посетовал: мол, сбываются библейские пророчества, и ждёт нас всех конец света. Канонически всадников, конечно же, должно быть четыре. Но и трёх достаточно на наши грешные головы…

Глафира, если бы она не лежала сейчас в свежей могилке на тихом кладбище, взглянув на причудливые фигуры, что сложились в небе из тяжёлых, наполненных желанной влагой туч, непременно узрела бы в них трёх богатырей. Ну точно как на репродукции из журнала «Работница». Справа — Алёша. Посередине — Илья. И Никитич, как положено, слева. Богатыри русские вышли посмотреть, всё ли в мире ладно.

А дед Семён, глядя на «мужиков», припомнил, как в юности гоняли в ночное коней, как купали их в тёплой реке, как скакали в утренний молочный туман по полям и кричали «э-ге-гей!», желая разрушить тишину и сон. И скакала, и кричала вместе с ними конюхова дочка, бесстрашная Глашка. И молодая сила рвалась из ребят на волю вместе с конями, и жажда жизни плескалась через край…

Старик затоптал окурок в траве у прогнившего порога, прокашлялся и шагнул в сени вслед за Муркой.

Солнце село. Запад погас. Надвигающийся фронт, с виду такой грозный, опасный, утянуло к дальней реке. Гроза напрямую с запада редко приходила. Чаще — покружит, походит, погремит, а зайдёт уж с другой стороны. Не всегда и угадаешь, откуда и когда.

К ночи небо вызвездило. Среди крупных, уже почти августовских звёзд двигалась одна, мигающая. Летел самолёт.

Куда и откуда летел этот самолёт — ни дед Семён, ни уж тем более Мурка не знали, да и не думали никогда об этом.

Летит — и слава Богу. Значит, вопреки пандемии мир живёт, дышит, движется. И счастлив человек уж тем, что не ведает дня завтрашнего…

Римма Чучилина

Миллион, миллион разных роз

С утра в голове, на языке крутится: «…роза, берёза, мак, василёк…» Исправляю себя: «роза, *мимоза*, мак, василёк…»

Почему «берёза»? Конечно, это наше дерево, символ России. Но в стишке-то о *цветах*, и логичнее всё-таки — «мимоза». Мы в нашем сибирском деревенском детстве про мимозу и понятия не имели, потому, наверное, в считалке этой правомерно значилась знакомая «берёза».

«Роза, мимоза, мак, василёк…» — не выходит из головы.

«Нужно купить розу… А лучше букет роз…»

Роза и Лиля

Роза и Лиля вернулись из Сибири. Роза — смуглая, черноволосая и черноглазая. Лиля — светленькая, русоволосая, с голубыми глазами. Подруги. Вдвоём они смотрелись как две противоположности: чёрное и белое, «да» и «нет», «хорошо» и «плохо», два полюса магнита и т. д. и т. п.

Роза — серьёзная, сосредоточенная, немногословная. Хохотушка Лиля порой подшучивала над ней: «Дорогая Роза, я тебя люблю, протяни колючку острую свою…» Сердилась Роза или нет — неизвестно, по реакции, по крайней мере, заметно не было.

Девушки с именами цветов. Из Красноярска, где пытались поступать в институт цветных металлов, они привезли «невероятные» сибирские впечатления. И рассказывали: «Все дома в городе чёрные. Наверное, от постоянных дождей, — предполагали девчонки. — Посередине города протекает какая-то речка». Когда девчонки узнали, что я из Красноярска, их суждения о городе стали не столь категоричны и пугающи.

«Енисей, между прочим, великая сибирская река, — заступалась я за свою родную реку, свою родную Сибирь. — Говорят ведь: Волга — матушка, а Енисей — батюшка. Так-то!»

Там, в знойном Узбекистане, Сибирь считали холодным, необжитым краем. Взрослые мужчины надо мной, девчонкой-практиканткой, подшучивали, что я из диких таёжных мест, где по улицам до сих пор бродят медведи и ездят на оленях. Я не опровергала их заблуждений и, посмеиваясь, поддакивала: «Да, у нас по улицам не троллейбусы ходят, а возят людей олени: зацепляются рогами за провода и несутся по городу! И медведи спокойно разгуливают, никого не трогая».

Верить моим выдумкам простительно было бы иностранцам — венграм, кубинцам, афганцам, встречавшимся в нашем общежитии, но не россиянам, хотя и из разных краёв необъятной Родины. Общежитие, а «по-научному» — Дом молодых специалистов, населяли представители уж если не всей, то значительной части многонациональной, разноязычной семьи народов Страны Советов. Точно как в песне: «Я, ты, он, она, вместе — целая страна, вместе — дружная семья… большеглазых, озорных, чёрных, рыжих и льняных, грустных и весёлых…»

Озорства, веселья хватало. Молодым специалистам, окончившим вузы и техникумы, стоящим на пороге самостоятельной жизни, верящим в свою счастливую судьбу, как не веселиться! Из окон несутся песни и речи на разных языках. А между собой разговаривают на общем межнациональном — русском!

— Казбэк, в кино идом? — кричит с улицы черноглазый посланец Кавказа.

— Э-э, а какая филма, Элбрус? — интересуется его друг.

— «Ок роял»! — на свой лад интерпретирует название музыкального кинофильма «Белый рояль» приглашающий.

Участники самодеятельного театра, среди которых и обитатели Дома молодых специалистов, никак не могут распроститься, после удачной премьеры шумно обсуждают и вспоминают своё выступление. Спорят, повторяют занятные диалоги, мизансцены прямо на крыльце общежития. Темпераментно, страстно звучат реплики и монологи. А наутро жильцы делятся новостями:

— Артисты вчера концерт давали перед общежитием… Слышали?..

Девчонка-иркутяночка в пёстром брючном костюмчике играет в бадминтон с парнем из Афганистана. Уже стемнело, едва просматривается волан, а они всё продолжают и продолжают лупить по нему ракетками, и смеются, промахиваясь, и спорят, уступая друг другу право очередной подачи.

Молодой специалист-практикант из Венгрии галантно помогает молоденькой хохлушке застегнуть на руке часики. Они доверчиво улыбаются друг другу.

Представительницы Карелии, получив посылку из дома, готовят на кухне салат с жирным палтусом. Рыба источает аромат, ладошки девушек перепачканы рыбьим жиром, но им весело и радостно.

В жаркую погоду очень хочется пить, и подруги из уральского Краснотурьинска готовят компот из яблок и вишни. То-то вкусный и витаминный напиток!

А сибирячка с Енисея дразнит население общежития соблазнительным ароматом пареной айвы. Даже плотно прикрытая крышка кастрюльки не способна удержать чудо-запах. И любопытные заглядывают на кухню:

— Ой, как вкусно пахнет! А попробовать можно?

— Конечно. Вот сварится — и приходите. Угощу...— приглашает щедрая хозяйка.

Коллега Галины, моей соседки по комнате, Людмила, немка по национальности, вышла замуж за красивого статного татарина Раиса. Приходит к нам и жалуется:

— Я учу ребёнка говорить по-немецки, а Раис, вредина,— по-татарски.

— А между собой на каком языке общаетесь?— спрашивает Галина.

— На русском.

— А малыш кого лучше понимает, тебя или Раиса?

—...

Вот такая интернациональная семья!

В общежитие ко мне регулярно наведывается коллега по цеху Роза для... И я с удовольствием сооружаю ей замысловатые причёски из длинных, тяжёлых её волос. Я и себе могу сделать причёску на диво, когда предстоит вести концерт во Дворце культуры металлургов. Лиля частенько составляет Розе компанию и восхищается шикарными волосами подруги. У неё самой — короткая стрижка. Она удивляется, что я причёски делать умею, а стричь — нет. Однажды ей всё-таки удаётся уговорить меня сделать ей стрижку. После долгих отнекиваний я согласилась и постригла-таки Лилю. И ей пришлось идти в парикмахерскую перестригаться. А я окончательно подтвердила свою несостоятельность парикмахера. Хотя девчонки по комнате вручили мне шуточную медаль в виде расчёски из фольги от шоколадки, прикреплённой к «орденской ленте», также от шоколадки. Надо заметить, что это не единственный мой «заслуженный трофей». Ещё у меня есть «орден Поварёшки» за вкусное абрикосовое варенье и яблочно-вишнёвые компоты. В общем, я — «орденоносец», известный на все четыре этажа общежития повар-парикмахер! Розе и Лиле — коллегам по цеху медеплавильного завода — нравится бывать в нашей общежитской развесёлой дружной компании.

И новогодние праздники-застолья отмечаем мы сумбурно-бравурно, поздравляя друг друга сообразно часовым поясам — от Владивостока до Карелии — большой нашей Родины.

Ходим из комнаты в комнату, предлагая тост за Новый год то по-иркутски, то по-новосибирски, то практиканты из Свердловска или Москвы, а потом Мончегорска, Ленинграда провозглашают заздравные своим городам. И всё с шутками-прибаутками, местечковым фольклором. Молодость. Мечты. Надежды.

А дни рождения!.. Не удаётся скрыть дату, отметить втихую. Узнают, идут и идут поздравить, пожелать, цветочек, букет цветов подарить.

Импровизированные вечера-посиделки превращаются в заочные экскурсии по стране: кто-то рассказывает о местах своего детства, юности, кто-то — о городе, в котором учился. И мы обогащаемся знаниями о нашей большой Родине — России.

Прогулки под дождём

Гуляя с Александром под дождём по безлюдным улицам, мы забрели на окраину города, где на заборе свисали каскадом вьющиеся розы. Адрес улочки обозначался прибитой к забору табличкой: «пр. Короткий». Этот «пр. Короткий» совсем не походил на проспект. В Красноярске я знала три проспекта: Свободный, Мира и «Красноярский рабочий». Это были городские магистрали, широкие, с многолюдными тротуарами. А здесь узкая улочка в Старом городе. Что же обозначал «пр.»? Проспект? Но этот «проспект» — длиной не более пятидесяти шагов. И упирается в заборчик из штакетника. Может быть, «тупик»? Тогда было бы другое обозначение: «туп.», например. Если «переулок», тогда почему «пр.», а не «пер.»? В общем, загадка...

Саша, конечно же, знал этот «пр. Короткий». И специально привёл меня сюда, чтобы показать, какие ещё бывают розы. Причудливые гирлянды из зелени и ярких, различимых даже в густых сумерках розочек красиво оплели ограду, скрывая постройку за ней. Трудно было оторвать взгляд от откровенной, доступной и одновременно девственной красоты. Руку протяни — и сорви, но не хватало решимости нарушить тихую гипнотизирующую гармонию. Я стояла заворожённая. А Сашка улыбался, довольный своим сюрпризом.

Саша вообще лучше знал этот город, он жил здесь давно, а я всего несколько месяцев.

Он как будто взял шефство надо мной. Навещал в нашей общежитской комнате, опекал,

знакомил со своими знакомыми, коллегами, друзьями. С удивительной лёгкостью сходился он с людьми. Мог говорить почти на всех «восточных» языках и оттого находил общий и с узбеками, и с татарами, казахами, таджиками. Жили мы все в общежитии — Доме молодых специалистов. Парни занимали третий и четвёртый этажи, а девушки размещались на первом и втором.

После хлопкоуборочной эпопеи, где он возглавлял десант заводчан, предстал в нашей девичьей «келье» ошеломительно краси-и-ивый. К его статности добавились бородка и усики на дотоле аккуратно выбритом лице. Ну вылитый Педро Зурита из «Человека-амфибии». И сразу проявились черты жителя Кавказа. А до этого трудно было определить национальность. По-русски говорил чистейше, без акцента.
— А родом я с Кавказских гор. Так вот…
— Грузин?
— Нет. В Грузии ведь много разных народов.
— А кто? Хевсур? Фильм такой знаешь, «Хевсурская баллада»? Тоже про Кавказ.
— Почти… Хемширец я.

Хемширец… Стала присматриваться… И правда, кавказец. Поэтому, наверное, и с языками у него так ловко, и общается с многонациональным населением узбекского городка — с лёгкостью. В общении вообще был простой, весёлый. Производил впечатление не очень серьёзного, немного безалаберного рубахи-парня. Интересно, а как на производстве? Мастер всё-таки. Мог он решать серьёзные рабочие вопросы?..

Заглянул как-то в нашу комнату:
— Чаем угостите?

А в комнате на верёвках висят наши постирушки, нижнее бельё. Мы втроём засмущались, стали наскоро закрывать бельё газетами, полотенцами. А Сашке — хоть бы хны, как будто так и быть должно и трусики-плавочки для него — явление привычное, не единожды наблюдаемое. Попили чай. Слово за слово, шутки-прибаутки, раздурачились, разыгрались, развыступались. И какие-то сценки разыгрывали, и танцы, и фокусы. Несколько часов продолжалось это импровизированное представление, это веселье. Как будто выпили не по одному фужерчику-стаканчику. А всего-то — чаю! Позже вспоминали и недоумевали: как можно было с чая так веселиться?..

Он часто бывал у нас в комнате. Заходил за мной, приглашая на прогулки, в кино. Соседки по комнате привыкли к его посещениям. Моим редким посещениям его мужской комнаты товарищи-сокомнатники его тоже не удивлялись. Как-то зашла к нему, он лежит одетый в постели. На улице и в комнате неуютно, холодно. Мне тоже зябко, и я забралась к нему в постель. Кажется, Александр даже не удивился. Парни заглядывали в комнату, здоровались, ухмылялись и… удалялись. А мы просто болтали обо всём и ни о чём. И Саша спросил:
— У тебя было с кем-нибудь?
— Что было?
— Ну… это… всё! Сама не понимаешь?
— Не больше, чем с тобой.

И он всё понял, успокоился.

Шли с Александром вечерним городом, говорили, шутили, рассказывали смешные истории о себе, казусах на работе… И вдруг:
— Когда мы с тобой поженимся?
— После дождичка в четверг… — попыталась отшутиться я банальной фразой.

Но он смотрел серьёзно, схватил меня за руки, за плечи, прижал к себе, потом оттолкнул. Стал говорить, говорить, сердиться, умолять, оправдываться:
— Только без загса, без регистрации. Не могу я с тобой зарегистрироваться. Понимаешь, меня ещё в детстве обручили с… По нашим кавказским обычаям, понимаешь? Но я с ней не живу. А развестись — и думать нечего. Против родителей не пойдёшь…

В это время он был как пьяный. Не давал мне вставить ни слова.
— Я люблю тебя, наверное!

Не ожидая от него такого темперамента, я даже напугалась немного. Он обнимал меня, оплетал словами, руками, как вьющиеся розы ограду там, в Старом городе, прижимал к себе и вздыхал откровенно огорчённо. Я слышала биение его сердца, чувствовала его отчаяние. Что могла я сказать ему?! Он мне тоже нравился. С ним было легко, спокойно, защищённо. Но замуж?.. Я пока не думала о замужестве. Считала, что в двадцать лет выходить замуж, сходиться с женатым мужчиной… Нет… А что я скажу родителям? Я ведь, как каждая девушка, мечтала о фате и белом платье, «букетике невесты» и торжественном свадебном марше…

Я не сказала ему об этом. Промолчала. Но предложение меня зацепило. Я стала раздумывать над ним, даже советоваться с подругами по комнате. Строгая и рассудительная Лида тогда сказала:
— Тебе нужен муж, до которого нужно расти. А Саша не такой… С ним ты превратишься в обыкновенную домохозяйку.

В домохозяйку я превращаться не хотела. Мне хотелось чего-то другого. Творческого, что ли… Хотелось подруг, друзей, новых разнообразных впечатлений, интересного общения. Галка поддержала Лиду. И они поведали мне о его просьбе

найти ему «девочку красивенькую и глупенькую». Это было шоком для меня. А я тогда кто? Умная? К некрасивым я себя не причисляла. Он что, будет дружить со мной и ещё с кем-то?..

По размышлении потом я поняла, что он мужчина. Взрослый, женатый мужчина, значит, ему нужна женщина… Ко мне же он относился покровительственно, бережно.

И мы продолжили с Сашей встречаться, дружить.

А однажды поссорились. Поссорились из-за какой-то мелочи. И я пошла мириться. Сама. Первая. Я очень любила гулять в дождь, любила тёплую дождливую «мерехлюндию».

И решила: если он пойдёт со мной гулять под дождём, то помиримся, а если откажется — расстанемся навсегда. Пришла к нему в комнату. Он лежал на кровати и смотрел вверх. На моё «здравствуйте» не отреагировал.

— Саша, пойдём гулять.

Он оторвал взгляд от потолка, посмотрел на меня, помолчал.

— Иди одевайся…

Я надела резиновые сапожки, свой ярко-розовый болоньевый плащ. Саша зашёл за мной с зонтом. И мы пошли гулять. Под дождём. И добрели до розовых гирлянд в проезде Короткий.

Розы от Садвинсовхоза

Возвращаемся концертной бригадой с «гастролей» по хлопковым полям, кишлакам, сельским клубам. В автобусе везём подарки благодарных зрителей последнего принимавшего нас Садвинсовхоза: ящик яблок, ящик винограда и огромные букеты роз.

Над дорогой, а значит, и над нашим автобусом, и над нами, аркой смыкаются деревья. И мы в этом зелёном тенистом коридоре — усталые и счастливые. Довольные закончившейся разлукой с домом, возвращаемся к привычным занятиям, заботам, друзьям. Меня ожидают новые роли в театральной студии, занятия в эстрадно-разговорном кружке у Эдуарда Фёдоровича — директора Дворца культуры металлургов.

Вечереет и над просторами полей стелются полосы тумана ли, дымки ли. Классическую картину южного вечера дополняют стройные, высокие пирамидальные тополя-минареты. Пейзаж настраивает на лирический лад и воспоминания.

Почти месяц по полевым станам, по сельским клубам, Домам культуры. Концерты для хлопкоробов и сельчан. Обычно хлопкоуборочная страда продолжается до самых холодов, порой снегов — до ноября-декабря. Для меня это не первая поездка с концертной бригадой, но самая продолжительная.

Вспоминаются первое знакомство с хлопком и некоторые гастрольные приключения.

Грустная история про хлопок

Знакомство с хлопком, можно даже сказать — близкое знакомство, близкий контакт, состоялось в первую же осень пребывания (отработка по направлению после окончания техникума) молодого специалиста в Узбекистане. Для начальников участка, цеха, отправивших молодую, не обременённую семьёй, детьми практикантку, это было в порядке вещей. Я не очень отбрыкивалась от этого «почётного» поручения — двигало любопытство: что же это за хлопок такой и «с чем его едят», то бишь как его убирают? В Сибири — картофельные поля, здесь — хлопковые. Есть ли разница?..

Хлопок оказался ростом с картофельный куст. Уже хорошо! Работа, на первый взгляд, должна быть знакомой. Так же кланяться каждому кустику, так же таскать тяжести — только не вёдра с картошкой, а фартук с хлопком.

Огромный, замысловато подвязанный фартук, в который по норме за смену — световой день с пяти утра до девяти вечера — нужно набрать двадцать килограммов хлопка, оказался ношей неподъёмной в плане выполнения нормы. Выручали добрые девчонки, взявшие надо мной, неопытной, шефство, принявшие меня в свою мини-бригаду: впятером сдавали собранное общим весом — складывали килограммы и делили на всех пятерых поровну. Только так я дотягивала до нормы. А невыполнение нормы грозило по возвращении на производство вычетами из зарплаты.

Рабочий десант горожан поселили в здании школы какого-то кишлака. Школой называлась одноэтажная, с земляным полом, избушка-мазанка. Спали в двух комнатках-классах на раскладушках, кому хватило, а кому не досталось раскладушек, тюфяки клали прямо на пол, так и спали. Вставали в пятом часу утра, наскоро завтракали кто чем и шли на поле.

Сбор хлопка отличался от того, что показывали в бодрых кинохрониках, где улыбающаяся узбечка идёт по рядам кустов и вынимает рукам белые «ватные» комочки из коробочек. Или плывёт по хлопковому полю «корабль полей» — комбайн, а белозубый узбек в яркой тюбетейке легко держит штурвал и, довольный, обозревает сверху бескрайние просторы «белого золота».

Для нас всё оказалось не столь романтично. Мы были на так называемом «подборе». Это когда хлопковые поля опылили с самолётов-кукурузников чем-то, от чего засохли и опали листья с кустов, потом прошёл комбайн и «высосал» из коробочек хлопок, а то, что упало на землю, в рядки́ между кустами, должны были подбирать мы, вручную, кланяясь каждому колючему кустику. Да, кусты были колючие, царапали руки, тело. Поэтому одежда у нас была обязательно

плотная, с длинными рукавами. Но даже сквозь такую одежду на теле оказывалась масса мелких царапин.

Измотанные жарой, жаждой, пылью, с ноющими поясницами, исцарапанные вдоль и поперёк, притаскивались мы с поля. Мылись в арыке с ледяной водой, ужинали уже в темноте и…

Если бы не перерывы на обед—вкусный, сытный—и короткий сон во время самого сильного дневного зноя, вряд ли дотягивали бы до вечера.

Увы—или к счастью,—долго я не продержалась на переднем крае битвы за урожай главного богатства Узбекистана. Сказалось купание в холодных водах арыка разгорячённого работой тела. Простудилась. Кашляла, чихала, зачихивалась до сердечных приступов. Начальство испугалось летального исхода и отправило меня обратно в цех. Подлечившись за выходные, я снова явилась к пункту отправки на поля. Добросердечный начальник, увидев меня, возмутился:

— Поправилась? Не чихаешь? А сердце как? В больнице была? Нет? Так иди. Я за тебя отвечать не буду! А вдруг помрёшь?! Иди работай в своём цехе…

Я вышла на работу в свою смену и работаю себе тихонько. А мастера участка КИП (контрольно-измерительные приборы) стали беспокоить по поводу нехватки рабочих рук на полях. Замену он нашёл, но предварительно отчитал меня по первое число.

А после—во время гастролей с агитационно-концертной бригадой по полям и пребывания в селе—замечала, как бережно аксакалы относятся к хлопку: каждый клочок, случайно выпавший из машин, подбирают и кладут в ящички, специально прибитые к деревьям у дорог. «Хлопок»—«пахта» по-узбекски. Вот откуда название футбольной команды Узбекистана «Пахтакор»—«хлопкороб», аналогично русскому «хлебороб».

В Ташкенте позже видела на улице, на видном месте, огромные цифры: «4 000 000».

— Что это значит?—поинтересовалась я у парня-узбека.

— Если мы выполним план и сдадим государству четыре миллиона тонн хлопка, у нас будет всё!—был ответ.—В магазинах будет всё: ткани, обувь, разные товары…

«Белое золото»—главное богатство Узбекистана…

Ужин

Мы долго ждали автобуса. Очень долго. От решения плюнуть на всё, вернуться домой и никуда не ездить удерживали ответственность и то и дело поступающие заверения, что автобус вот-вот отремонтируют и он подойдёт. Ещё, пожалуй, любопытство… Переговорили обо всём, даже шуток и анекдотов уже не осталось. Проголодались очень.

Так и поехали голодные.

Разместили нас в довольно приличном Доме культуры села Аккурган: мальчишек-мужчин—в одном крыле одноэтажного здания, девчонок—в другом. В центре здания—фойе с теннисным столом, за ним двери в просторный многоместный зал со сценой и традиционно плюшевыми шторами.

Поскольку все были голодны, нужно было искать столовую или что-нибудь подобное. Где-то же кормили тех, кто трудился на уборке хлопка! Село вроде большое, районное, поскольку Дом культуры наличествует. Стемнело быстро, на юге—а Узбекистан чем не юг?—темнеет быстро. На поиски в незнакомом, да ещё тёмном населённом пункте отправили троих—руководителя «узбекской группы» Карима, одного из музыкантов ВИА и меня. Карим наш оказался пронырливым, знающим, где искать съестное, и привёл нас на пункт приёма хлопка. Он переговорил на своём языке с дежурным каким-то, а нам объяснил, что всю нашу бригаду накормить не смогут: на всех пищи не хватит. Нас же троих накормили сытно, вкусно пловом, салатом. Мы шли к своим в ДК и договаривались, что не будем рассказывать голодным коллегам, чтобы не выдать себя сытых.

Коллектив нас ждал, разложив на столе ужин из скудных остатков харчей, предусмотрительно прихваченных из дому некоторыми участниками и не съеденных во время длительного ожидания автобуса. Я притворилась уже расхотевшей есть, Карим же сел за стол и съел единственное варёное яйцо. Удивлению моему не было предела. Позже я попеняла ему на такое бессовестное поведение, на что он привёл неопровержимый аргумент:

— Они же сами предложили, и если бы я отказался, поняли бы, что мы где-то наелись.

Ну что можно было возразить?!..

Касым

— Девчонки, какие симпатичные мальчики в фойе играют в теннис!..

— Идёмте знакомиться,—дружным хором отозвались девчата.

И мы высыпали в фойе, где у теннисного стола и на стульях у стены расположилась местная молодёжь. Слово за слово, шутки, улыбки, вопросы-ответы—и познакомились.

Одного симпатичного мальчика звали Енисей. Оказался кореец.

— А знаешь, Енисей—это река в Сибири. Я из города Красноярска, где и протекает Енисей,—не преминула я просветить парня.

Енисей поделился с нами интересным фактом. Оказывается, у них, у корейцев, день рождения

считается не тогда, когда ребёнок появился на свет. Что он рождается, и ему уже девять месяцев.

Мне понравился симпатичный, типично восточной наружности, парень Касым. И отправились мы гулять с Касымом по селу.

Любуюсь его классически восточным профилем. И не скрываю своего восхищения. Чёткий профиль на фоне луны. Чёрные, блестящие, опушённые густыми ресницами глаза, в которые можно смотреться как в зеркало. Красиво очерченные яркие губы, которые хочется поцеловать. Прямой нос с лёгкой горбинкой, к которому так и тянется рука, чтобы прикоснуться, провести пальчиком. А улыбка!.. Красивый казахский мальчик.

Касым смущённо улыбается, снисходительно принимает мои комплименты.

Знакомит меня с посёлком. Школа—небольшое одноэтажное здание, чистое, со светлыми окнами, невысоким крыльцом у входа. Здесь он учился. А сейчас—студент Ташкентского сельскохозяйственного института. Рассказывает о студенческих буднях, друзьях, своих односельчанах. Выходные обычно проводит здесь с родителями, одноклассниками. Поэтому и оказался с друзьями в клубе. Поэтому и познакомились.

Достопримечательность посёлка—странный парк. Парк платанов. Платаны стоят наклонно, медленно осыпая листья. Осень. Листья засыхают, опадают и ложатся у стволов высоких деревьев шумными ворохами. Мы идём с Касымом по этим листьям, ноги утопают, листья шуршат, хрустят, нарушая тишину уединения.

—Это наш парк.

—Странный парк… Грусть наводит… А почему все деревья наклонены в одну сторону?

И мы высказываем предположения, почему так странно растут деревья.

—Может быть, так наклонно высаживали саженцы?..

—Специально, чтобы было смешнее, необычнее…

—А вдруг какие-то насекомые-вредители подточили корни?..

—И деревья выживали в трудных условиях…

Я предполагаю, что, наверное, дул холодный ветер, когда росли деревья эти. Касым со мной не соглашается. Но я остаюсь при своём мнении. И в памяти остаётся этот пустынный парк с умолкшим фонтаном, наклонными платанами и шуршащей под ногами листвой.

Касым после «домашних» выходных возвращается в Ташкент. Я остаюсь с концертной бригадой. И скучаю по этому доброму новому другу…

Сотовых телефонов тогда не было ещё, но мы как-то договаривались о встречах. И встречались в Ташкенте, общались, гуляли по городу.

Однажды забрели в зелёный тенистый парк, посидели на траве у пруда. И этот парк был безлюдным. Подошли два парня-узбека, поздоровались. Один отозвал Касыма в сторону. «Обсуждать какие-нибудь институтские дела,—подумала я.—Знакомые его, наверное…» Другой занимал-развлекал меня. Сидели с ним на скамье и мило беседовали. Переговоры затягивались, но я ждала Касыма. Долго ждала. Нам не о чем особо было говорить с новым парнем. Даже имя его не узнала. Касым подошёл внутренне взволнованный, сухо попрощался с парнями, и мы ушли из парка. А ведь мы намеревались ещё погулять, погода тёплая, светлая, аллеи, газоны парка причудливые, зелёные, у водоёмов прохлада. Можно было дольше наслаждаться тёплым вечером, красивыми видами, общением. Но Касым торопился проводить меня. Разговор не клеился, он не рассказывал ничего. Даже на мои вопросы не отвечал. Был сосредоточен на чём-то своём, расстроен.

Много позже рассказал только, что парни просили его продать меня им. Я ужаснулась, внутри всё похолодело.

—Как продать? Разве такое может быть?..

—Бывает, наверное. Увидели русскую девушку с казахом… Решили, что и с узбеками можешь пойти…

Что бы они со мной сделали—представить страшно!.. Как он устоял? Значит, сидевший со мной на скамье парень караулил меня?.. А я, беспечная и доверчивая, что-то ему рассказывала про себя, про Касыма…

Какие доводы Касым им приводил? И кто я ему? Разговор-то был у них долгий… Что они ему предлагали—даже мысли не возникло спросить… Только оторопь и запоздалый ужас…

Эх, Эмина…

Сегодня у нас концерт в сельском клубе. Вообще-то это не село, а кишлак. Причём маленький. И клуб маленький. Не клуб даже, а клубик. Автобус везёт нас по улице кишлака, и мы по традиции «распеваемся»—горланим новую популярную песенку про девушку Эмину:

Я тебя давно не видел, целых-целых три часа,
Я забыл, какого цвета твои синие глаза,
Я забыл, какого цвета твой платок зелёный был,
А ещё, моя Эмина, имя я твоё забыл…

В шлейфе пыли за автобусом несётся босоногая ватага черноголовых, черноглазых ребятишек, привлечённых задорной мелодией. Весть об артистах быстро распространяется по дворам, мазанкам—и, как результат, аншлаг в зале. Артисты воодушевлены сердечным приёмом, концерт идёт на подъёме. Но… каждый раз после объявления очередной песни из зала несётся просьба: «Эмину!..» И всё настойчивее и настойчивее. Коллектив сконфужен, ведущая концерт объясняет, что

этой песни пока в репертуаре ансамбля нет. Зал продолжает настаивать. Как это нет? Пели же, и все слышали — в автобусе пели. Разгорячённую недовольством публику удаётся немного успокоить выступлением «узбекской» группы с песенкой «Кыз бола», похожей на русские частушки. О чём в ней поётся, мы не понимаем, но понимают зрители, что подтверждает дружный смех перед каждым припевом: «Кыз бола, о, кыз бола…» Руководитель «национальной» группы лукавый Карим так и не смог объяснить, над чем смеялись зрители.

Или сохранял интригу?..

Гастроли закончились. Я еду, влюблённая в красивого мальчика Касыма. Уже немного тоскую от разлуки с ним. Огромный букет роз, дурманящий их аромат, приятные воспоминания…

В последующие гастрольные наезды в Аккурган мы с Касымом не назначаем встреч в Ташкенте, не рискуем по Ташкенту гулять. Он боится за меня. Встречаемся только в его выходные и мои свободные от сцены дни в посёлке и гуляем лунными вечерами по безлюдным улицам, заходим в грустный парк с наклонными платанами.

Розы в дорогу

Меня провожали в Красноярск. Девчонки — коллеги по театру — сказали, что придёт проводить и Адыл, но он задерживался. Адыл — студент Ташкентского театрального института — проходил практику в нашей театральной студии. Вместе с нашей Ниной Васильевной Шахановой ставил спектакль «Вечер русской классики» по пьесам Н. Островского. Нина Васильевна была режиссёром Ташкентского русского драматического театра имени Максима Горького, приезжала в наш Алмалык на пятницу-воскресенье и занималась с нами — любителями. Занятия она проводила по институтской программе. По сокращённому варианту, конечно. Но с упражнениями по постановке голоса, сцендвижению. У нас даже уроки танца были, миниатюры, этюды разыгрывали, продумывали биографии своих персонажей.

Ставили сцены из классических пьес — Александра Островского, Погодина, Лавренёва, Горького, поэтические спектакли. По стихам венгерских авторов, например. С увлечением репетировали главы поэмы Е. Евтушенко «Братская гэс».

В спектакле у Адыла и Нины Васильевны оказались занятыми мои подружки Гала Якимова и Надя Доценко. Большинство молоденьких студиек были в него влюблены. Адыл показывал программки и рассказывал о спектаклях в Москве и Ленинграде, которые мог беспрепятственно посещать как студент театрального вуза. Знал много, был интересным собеседником, скромным, не хвастливым. Забавно, живо, в лицах, изображал анекдоты. Общался с нами запросто, бывал в общежитии, где мы устраивали посиделки-разборы после репетиций.

Мне сыграть в спектакле Адыла не довелось: проездила в отпуск. Но я и не расстраивалась, потому что была занята в концертной бригаде во время хлопкоуборочной компании, в городе появляясь наездами, вела различные концерты в нашем Дворце культуры. Возможностей приложить свои творческие способности хватало с лихвой. К спектаклю же этому написала текст вступления и комментарий к отрывкам. Вела вечер.

Однажды я отсыпалась между ночными сменами. Постучала дежурная с извинениями и просьбой поговорить «с мальчиком, который ждёт уже несколько часов кого-нибудь из театралов». Вошёл Адыл. А я осталась лежать в постели. До сих пор стыдно, что так негостеприимно его приняла. Тема беседы всё та же — театральная. В комнате на двери висела афиша фильма «На углу Арбата и улицы Бубулинас» с изображением Людмилы Чурсиной. Я прочла книгу Галины Шерговой и посмотрела одноимённый фильм. Все знали о моём увлечении Грецией. Там сейчас правила хунта «Чёрные полковники», и я «болела» за её историю, судьбу народа. В Ташкенте и нашем городе жили греки-эмигранты. Девчонки раздобыли афишу и подарили мне. Мы поговорили о достоинствах фильма, актрисе. И Адыл сказал:

— А когда-нибудь здесь будет висеть афиша с надписью: «В роли Людмилы Чурсиной — Римма Чучилина». Представляешь? Здорово, правда ведь?

Чудак! Мне это польстило.

Адыл появился в аэропорту с большущим, огромным даже, полиэтиленовым пакетом. А в пакете… В пакете — розы! Свежие, только что срезанные, — миллион разных роз, больших и маленьких, крупных и мелких бутонов, разноцветных, ароматных! Где можно было купить так рано цветы? Оказывается, Адыл срезал их у себя во дворе. Потому и прибежал в последние минуты перед посадкой. Да, Ташкент был щедр на цветы.

Пакет с чудесным содержимым устроился на багажной полке в салоне самолёта и благополучно долетел до Красноярска. Дома расставила цветы в разные вазы, кувшины, стеклянные банки. Квартира, наполненная ароматами Ташкента, — благоухала!

Одинокая жёлтая роза

Бледно-жёлтая роза без стебля расположилась в плошке удобно-вальяжно, подобно молодой нарядной барышне в кресле. Смотрясь по утрам в зеркало, Инна дышала её сладким ароматом. Она приоткрывала балконную дверь и ставила плошку с цветком на столик так, чтобы ветер

доносил с моря свежесть, а от розы—её запах. «Аромат для розы, по Голсуорси, то же, что юмор для человека»,—вспоминала она прочитанное когда-то…

Внеся дорожную сумку в комнату, Инна заторопилась к морю.
— Да оставь, Люда, ты этот чемодан. Успеем ещё разобрать. Пойдём скорее к морю! Скорее!..
— Зачем?
— Говорят, оно солёное. Пойдём попробуем!
— Как?
— Лизнём!.. Ну пойдём же! Люда!

Инна впервые приехала к морю. Всё удивляло и восхищало её: пышная, какая-то декоративная зелень кругом, свежий, наполненный незнакомыми ароматами воздух, гигантское, напоминающее поставленный вертикально спичечный коробок здание пансионата. Лифт—в зеркалах—на пятнадцатый этаж. Уютная «шкатулочка» номера. И самый большой восторг—море! Недаром на второй же день она записала в дневнике: «Какое чудо—море! Бормочет, шумит, дышит. Море дышит!.. Я уже в него влюблена. Море, можно я тебя поцелую?..»
— Оно горькое!..—удивилась она своему открытию, лизнув мокрую ладошку.—Оно не солёное. Правда-правда, горькое, Люда!
— Продегустировала? Вот ненормальная!.. Море лизать!..
— А иначе как узнать его на вкус?
— Чудачка!..

Инна побежала по волнорезу к самому краю. Не верилось, что она у моря, видит безбрежный колышущийся простор, слышит плеск волн…
— Людка, ладно, сегодня я потерплю, а завтра с утра купальники на себя и—к морю! К морю, к морю-у-у!
— Ну довольно! Пошли уже.
— Ты понимаешь?.. Это же Мо-о-оре!.. Я так о нём мечтала!.. «Море! Вот оно какое! Как ребёнок, озорное. Море… Наплывает мне в ладони. Нет в нём сна и нет покоя…»—вспоминала она стихи.—Хорошо-то как, Господи!.. Я тут жить останусь. Буду приходить к волнам, смотреть и разговаривать с ними.
— Останешься, останешься. Конечно. Пойдём вещи разбирать,—улыбалась подруга.—Успеешь ещё и насмотреться, и наговориться, и даже наплескаться. Впереди целая вечность—двадцать четыре дня.

Инна не могла никак успокоиться, унять своего восторга от первого свидания с морем.
— «Кинусь в море камнем-птицей,—продолжала она стихи,—море липнет на ресницы, море—солью на губах, море—лёгкостью в волнах…»

И закружила-завертела курортная жизнь. Праздность беззаботности, поездок и знакомств, новых впечатлений, волнений, ощущений. Лето и море! Не жизнь—радостный фейерверк!

Целыми днями берег моря был усыпан «спичками»—курортниками из «спичечного коробка». В часы завтрака, обеда и ужина эти же «спички» перемещались на обширные просторы столовой. Праздные отдыхающие набивались в лифты, фланировали по скверам, тропкам и зелёным просторам курортного городка.

Сквозь сон Инне слышались голоса, весело певшие под бодрое марширование. Пели не по-русски. «Прибалты, что ли?..»—грезилось Инне.
— Люд, послушай, мне приснился сегодня большой сводный хор, поёт—и марширует по берегу, и качается взад-вперёд. Представляешь, когда волны набегают на берег, певцы отшатываются назад, а стоит волнам отхлынуть, они вперёд наклоняются. К чему бы это? Ты сны умеешь разгадывать?
— Так и хочется сказать банальное: к дождю! Но… Хор, говоришь?.. Это вчера мужчины из соседнего номера ходили по коридору и пели. Явно пьяные и нерусские… А хор качался… Это тебя качало. Нахлюпалась в море, вот и качало…
— Интересно, кто там живёт?.. Беспокойные такие! Поговорить бы надо с ними. Что это за отдых, если будут горланить по ночам?..

Море штормило. Гребни волн нарядились в белые пенистые жабо. Волны с шумом накатывали на каменистый берег и с шипением откатывались назад. Море дышало тяжело, грозно. Купаться было боязно. Боязно было даже входить в воду, шумную, брызжущую.

После ужина Инна с книгами и тетрадками вышла в холл. В номере собралась весёлая компания новых Людмилиных знакомых. А Инна хотела позаниматься. Прилежная ученица, она даже на отдых взяла с собой учебник немецкого языка. Устроившись за столиком, принялась за упражнения. Ох уж эти немецкие глаголы! А длинющие немецкие слова! Пока выговоришь, язык сломать можно!

Разложенные книги, словарь, тетради, сосредоточенный вид «ученицы» привлекли внимание проходивших по коридору мужчин. Один из них, крупный, с пышными волнистыми волосами, склонился над Инниной тетрадкой и что-то стал говорить светловолосому приятелю.
— А… Так это вы ночью громко пели? И мешали всем спать!—воспользовалась случаем отчитать беспокойных соседей Инна, услышав иностранную речь.

Она подняла взгляд на растерянно улыбающихся нарушителей спокойствия.
— Ме-е-еша-ли…—неуверенно повторил белобрысый.

Они заговорили на своём, энергично-гортанном.

— И вообще, не мешайте! — нахмурилась Инна.
— Ме-ша-и-те... — медленно, с акцентом, повторил кудрявый.
— Вы что, нерусские? Не понимаете, что ли? — теперь уже недоумевала Инна.
— По-ни-ма... те... — по слогам вторили пришельцы, растерянно пожимая плечами.
— Знаете что, не дурачьте меня!
— Ду-ра-чи-те... — снова повторили они.
— О! — воскликнул, встряхнув кудрями, склонявшийся над тетрадью. Он обрадованно залепетал, обращаясь к Инне, и протянул листок бумаги с написанными столбиком буквами. — Русише алфабет! Русише алфабет! — продолжал он, тыча пальцем в буквы. — Дойче алфабет, — показывал он на колонку букв. — Русише алфабет... — подталкивал он Иннину авторучку.
— А-а... — протянула Инна. — Так вам нужен русский алфавит?.. — она придвинула к себе листок с каракулями. — Так бы и сказали! Это что, немецкий алфавит? Дойче алфабет?

Иностранцы радостно закивали, ещё шире заулыбались.
— Написать? Но в нашем языке букв больше. Здесь всего... — она пересчитала литеры столбика. — А в русском — тридцать три... буквы...

Пришельцы не понимали, но продолжали согласно кивать и улыбаться.

Алфавит она им написала и, как могла, объяснила произношение трудных для них русских букв «ч», «щ», «и краткое», «ж». Совсем сложно было объяснить букву «ы» и твёрдый и мягкий знаки.

Поняли ли они что-то из её объяснений и зачем им нужен был на курорте русский алфавит, Инна так и не разобралась. Но при встречах в лифте, в лабиринтах курортного городка немцы стали здороваться с ней. В столовой же, проходя мимо их с Людмилой столика, приветливо раскланивались, поглаживая животы, хвалили:
— О, русише сметан! Русише сметан...

Инна рассказала Людмиле о встрече в фойе, о помощи им с алфавитом.
— Вот бы с ними подружиться... Помогли бы мне с немецким... — поделилась Инна своей «голубой мечтой».

Девчонки стали отвечать на приветствия, заговаривать. Познакомились. Оказалось, группа специалистов-краснодеревщиков из ГДР — Руди, Клаус, Лютц и Фердинанд — оформляют помещение бара в цокольном этаже их корпуса.

— Инн, попробую сейчас рассказать им, как меня напугала здесь змея, — предложила Людмила во время прогулки вместе с новыми знакомыми по тенистым террасам и тропкам городка.
— Интересно, как ты это сделаешь? Ты же всегда английский учила, — усомнилась Инна.
— С твоей помощью. А что, тоже «поупражняюсь» в немецком! Надо же о чём-то с ними говорить. Не всё тебе. Вот как по-немецки будет «я иду»?
— Ихь гее.
— Их гее, значит... — начала Люда рассказ. — А как сказать «здесь»?
— Хир.
— Иду я, значит, хир и вижу на ступеньках... Инн, как по-немецки «змея»?
— Змея? Змея... Не знаю... Ты думаешь я все слова знаю, что ли? Сейчас спросим у ребят...

Изображая рукой ползущее существо, а ладошкой и пальцами шипящую пасть, Инна попыталась узнать у Руди немецкое звучание слова «змея».
— «Шлянге». «Змея» по-немецки — «шлянге», — наконец «перевела» она Людмиле.

Люда темпераментно продолжила историю и, желая подчеркнуть свой испуг от встречи со змеёй, энергично, широко распахнула в стороны руки, выпучила глаза и уверенно закончила на русско-немецком:
— ...И ползёт во-о-от такая шланга!

Немецкое «шлянге» преобразовалось в её интерпретации в явно русский «шланг». Инна представила резиновый чёрный безобидный шланг в сочетании с Людмилиными страшными глазами и расхохоталась. Она не могла остановить смех и объяснить немцам комичность сказанного. Без сил сидела она на ступеньке каменной лестницы и хохотала. Недоуменно взиравшие поначалу Клаус и Руди заразились её смехом и тоже стали смеяться. Немалых усилий стоило Инне унять свой смех и разъяснить каламбурность Людмилиного немецкого.

И неумело-смелый рассказ, и общее веселье помогли разрядить некоторое смущение и скованность разноязычного общения. Клаус стал рассказывать какие-то забавные истории, Руди вместе с Инной пытались интерпретировать их для Людмилы по-русски.

Руди, озорничая, несмотря на предупреждающие плакаты «По газонам не ходить» и протесты девушек, сорвал крупную бледно-жёлтую розу. Пока гуляли, роза не выдержала «разлуки» с родным кустом, подвяла и потеряла стебель. Жаль было выбрасывать красивый, неяркий, но очень душистый бутон. Инна потом поместила бутон в плошку с водой. Роза не погибла, а распустилась, расправилась в импровизированной вазе.

Море дарило прохладу и ласку. Волны качали, баюкали...

Днём немцы были заняты работой в баре. Девчонки проводили время на море и в экскурсионных поездках. В свободное время вместе ходили в кино, на танцплощадку. Первое время в фойе пансионата компанию останавливали дежурные,

подозревая девушек в посягательстве на «невинность» иностранцев. В таком случае Инна обращалась к Руди:
— Руди, майн аусвайс, битте…

Руди доставал сохранявшуюся у него в кармане курортную книжечку Инны, и бдительному дежурному оставалось только извиняться.

Объявление приглашало отдыхающих принять участие в самодеятельном концерте силами отдыхающих…
— О! Блеснём талантами! — решили подруги. — Нам не привыкать! Столько «гастролей» за плечами… На каких только сценах не побывали, — смеялись девчонки, обсуждая номера и подбирая сценические наряды.
— Иностранцев приглашать будем?
— А как же!
— Вот только вести концерт некому, — сетовала молоденькая организаторша концерта.
— Я могу представлять номера, если вас устроит… — предложила Инна свою кандидатуру. — У себя во Дворце приходилось…
— И не раз! — поддержала подругу Людмила. — Она у нас «штатная» ведущая.

И состоялся торжественный выход на концерт всей компании.

Отдыхающие оказались активным и творческим народом. Номеров набралось много. Инна вела концерт и читала стихотворение Марины Цветаевой «Стенька Разин», Люда исполняла народные песни.

С концерта шли взволнованные и молчаливые. Девчонки переживали свой дебют на новой сцене, зрители осмысливали увиденное и услышанное. Инна хотела объяснить иностранцам содержание стихотворения.
— Не надо, — сказал Руди, — мы поняли.

Общение с немцами приносило обоюдную пользу. Инну даже стали принимать за переводчицу, а мужчины из ГДР высказывали желание учить русский язык.
— Люда, я еду в аэропорт. Прилетают ещё три немца. Ребята просят помочь встретить коллег.
— В полку противника прибывает?
— Скажешь тоже — «противники». Они же гэдээровцы. Вызвали подмогу. Руди говорит, что не укладываются в сроки.
— Конечно, где им уложиться?.. Шампанское сетками таскают. Вместо того чтобы работать, пьют.
— Это они так жажду утоляют. Вода им не нравится, а шампанское наше хвалят.

Рейс, на котором прилетали коллеги, задерживался. В справочном окошке работница поинтересовалась:
— Вы у них переводчица?
— Нет, я просто… — Инна затруднялась объяснить, в каком качестве она здесь. — Просто я немного знаю немецкий.
— У нас для иностранцев другое здание, рядом, — подсказала дежурная.

Но и в другом здании не могли сразу объяснить причину задержки.
— Знают ли они своих коллег в лицо? Давайте будем встречать прилетающих у трапа самолётов, — предложили им работники аэровокзала. — Может быть, они прилетят другим рейсом. Или не из Москвы.

Всех четверых встречающих вместе с Инной посадили в открытый автомобиль и стали подвозить к трапам прибывающих самолётов — к одному, второму, третьему… В глазах рябило от лиц и трапов. Казалось уже, что и знакомых трудно будет узнать.

Наконец уставшие и измученные с той и другой стороны коллеги встретились. Потом прилетевшие пояснили, что время их отлёта из Москвы совпало с прибытием в Москву американского президента. Потому-то все московские рейсы и задерживали.

— Инна, нам нужна твоя помощь, — обратился Руди к Инне с просьбой поехать в Сочи за покупками.

Помимо предметов гигиены и каких-то вещей, немцам очень хотелось приобрести музыкальную пластинку с песней «Семь сорок». «Мясоедовская улица» и «Семь сорок» не смолкали тогда с утра до утра на просторах и за пределами курортного городка. К тому же Людмила с Инной очень красиво танцевали под эту мелодию. В одинаковых белых брючках и ярких цветастых кофточках-батниках, они производили фурор на танцплощадке. Присутствующие расступались, освобождая центр для яркой, синхронно и пластично двигающейся пары, любовались.

Желанную «Зибен фирцихь» — «Семь сорок» — искали во всех торговых точках Сочи. Увы, тщетно. Она существовала пока только в магнитофонном варианте.

Во время той поездки Инне пришлось сопровождать немцев и на представление сочинского цирка. Она вообще-то не любила цирк и несколькими днями прежде отказалась составить компанию Людмиле.

Позже, узнав о походе в цирк с иностранцами, Люда обозвала Инну предательницей и объявила ей бойкот. Принципиально не разговаривала, и всё!

В очередной танцевальный вечер Инна появилась на площадке одна. Пришлось объяснять друзьям причину ссоры с подругой.
— Я вас помирю, — убеждённо провозгласил Руди и отправился в корпус.

И Руди удалось-таки уговорить Людмилу, и по прошествии получаса, довольные, улыбающиеся,

оба появились на площадке. Парламентёрские способности не говорившего по-русски немца заслуживали высокой оценки. Примирение состоялось!

Двадцать четыре дня беззаботной «вечности», увы, заканчивались. Девчонки устроили для немецких друзей прощальный вечер с шампанским, раздобыли домашнего вина, которое те тоже очень нахваливали: «Хаузвайн, хаузвайн!..» На закуску были черешня, клубника и шоколад. Несмотря на языковую разницу, веселье плескало через край. Клаус показывал трюк с поднятием стула зубами за спинку, Людмила пела русские песни. Подвыпившие немцы пели «По диким степям Забайкалья» (на немецком), а Инна решила блеснуть и запела по-немецки: «Ауф фройнде цур геденк минутен! Хёрет нур, хёрет нур, эс клингт фон ален зайн. Бухенвальд эс кюндерт дизес руфен глёккен штурм гелейт, глёккен штурм гелейт...» («Бухенвальдский набат»). Немцы не поддержали, в Германии такой песни почему-то не знали.
— Завтра встаём в пять утра и идём плавать. До завтрака,—запальчиво агитировала захмелевшая Людмила.
— Ум вифиль ур? Фюнф ур?!..—возмущённо недоумевал Клаус.

Не одобрял такой ранний подъём и Руди и умоляющим взглядом искал поддержки у Инны.
— Руихь,—успокоила мужчин Инна.—Зи хат нихьт але цу хаузе[1], —бойкой скороговоркой произнесла она и растерянно замолчала.

Инна сама не ожидала от себя такого прыткого немецкого. Растерянно и непонимающе смотрели и немцы. Инна постучала пальцем у виска, и все, кроме Люды, облегчённо вздохнули и заулыбались. Люда поняла нелестную шутку, но посчитала, что обижаться не стоит.

«Прощальный вечер» был весёлым. А наутро стало грустно. Девчонки уезжали, прощаясь с друзьями, с беззаботным отдыхом. Прощались с морем.

Провожали подруг в аэропорту щедрыми букетами роз—прощальными подарками немецких друзей.

А в комнате на столике доцветала бледно-жёлтая ароматная роза.

Три розы тёмно-красных

...Букет, который ты дарил,—
три розы тёмно-красных...

Нет, это был букет хризантем. Белых пышно-косматых хризантем. Мы купили их на второй день по приезде в Адлер. И он радовал нас все двадцать дней пребывания в пансионате.

А в ночь перед отъездом бутоны шумно осы́пались. Сквозь сон я не разобрала источника этого шума, но в душе поселилась тревога. И предчувствия оправдались. Осыпавшиеся цветы знаменовали предательство и разлуку.

Всю ночь я спала и не спала, тревожно дремала, ожидая звонка Максима. Звонила сама, и он обещал прийти, но не приходил. Так и не пришёл. А под утро осыпались хризантемы, простоявшие двадцать дней. А в коридоре перед нашим номером, когда я вышла с чемоданом, стоял он. Как ни в чём не бывало. Предложил помочь донести до автобуса чемодан. Я отказалась. Внутри жгла догадка, что он провёл ночь с другой женщиной. По коридору прошла полноватая элегантная дама. Максим проводил её взглядом, стараясь скрыть взгляд от меня. Но я догадалась, что это была его новая женщина.
— Не мог подождать один день. Не мог подождать, когда мы уедем,—сказала моя соседка и попутчица, когда мы шли с ней к автобусу.

С Максимом Романовичем познакомились мы в первый же вечер нашего пребывания в пансионате. Анна, соседка по комнате, утащила меня почти силком на танцы. Я намеревалась отдохнуть, отлежаться-отоспаться после напряжённых, беспокойных рабочих дней. Но опытная Анюта сказала:
— Надо брать, пока тёпленькие!.. Ты что, собираешься весь отпуск провести одна? Идём, идём на танцы!

Мы пошли на танцы и познакомились с двумя мужчинами. Аня танцевала с высоким, моложавым, больше похожим на парня мужчиной, а меня приглашал симпатичный кавалер среднего роста с лёгкой сединой в волосах. Позже выяснилось, что они живут в одной комнате, как и мы с Анной. И мы стали дружить. Комнатами. Днём как-то не встречались, даже на пляже не встречались. Мы с Аней время проводили на море—купались, загорали, дышали морскими прибоями. А вечерами созванивались (в каждом номере был телефон), шли гулять по курортному городку, потом в ресторан или устраивали посиделки в номере. Пили коньяк, закусывали лимоном, шоколадом. Столько коньяка, как в тот месяц, я не выпивала за всю свою предыдущую и последующую жизнь.

Некоторые отдыхающие сочувствовали нам с Аней: не дружите ни с кем, скучно, мол. И мы печально вздыхали, согласно пожимали плечами, сокрушённо разводили руками. И посмеивались втихомолку: скучно нам не было уж точно.

Максим как-то съездил ненадолго в Грузию к друзьям, привёз шашлык и вкуснейший соус.

1. У неё не все дома *(нем.)*.

— Сацибели,— сказал он.— Это жена друга приготовила специально для нас.

Соус понравился очень, рецепт оказался на удивление простым, даже примитивным, и потом стал одним из моих кулинарных изысков.

Аниного мужчину звали Николай. Частенько мы встречали его с другими женщинами. Анна ревновала. Однажды я рассказала как бы анекдот про француза Николя и итальянца Кобелино. Только идиот не понял бы, о ком речь. Николай же сделал вид, что к нему это не имеет никакого отношения, сделал стеклянные глаза и гулять не прекратил. Анюта злилась, досадовала и даже высказывала ему.

Я не интересовалась, как проводит время Максим. Понимала, что мы люди взрослые, на отдыхе, и каждый волен заниматься чем нравится. Только последний его поступок оскорбил, обидел меня, оставил неприятный осадок надолго. Банально и примитивно, как соус сацибели…

Вылечили стихи. Стихи о курортном романе. Длинное слово «хризантемы» не вписывалось в ритм и размер стихотворной строки. И появились «три розы тёмно-красных в простом кувшине для воды» вместо букета белых хризантем, осыпавшихся в ночь измены.

Белых роз лепестки

Мы хотели, чтобы она стала нашей мелодией. Наша мелодия… Мы танцевали под неё тогда, в мае, в общежитии, где жили ребята, обслуживающие городское радио.

Ты был одним из них. И жил здесь во время практики из Новосибирского техникума связи. Я тоже училась в техникуме и бегала к вам в общежитие за помощью в решении задачек по электротехнике, электронике. Ты не знал, где я учусь, и удивлялся, что это за задачки такие, но помогал мне. Это нас и сдружило.

Мне очень хотелось с тобой дружить как девушке с юношей. Ты нравился мне. Спокойный, немногословный, добрый, мягкий, доверчивый.

Однажды, выйдя из автобуса, я увидела вас с твоим другом Славой идущими впереди. Мне очень хотелось заговорить с тобой. Догнала вас, поздоровалась, заговорила. Что-то спрашивала, рассказывала. А ты молчал и улыбался. Уже темнело. Но и в сумерках твои чёрные глаза светились снисходительно-доброй улыбкой.

Я помню, медленно солнце садилось
В синеву, в синеву.

Помню пиджак на тебе с незастёгнутой верхней пуговицей. Потом, когда мы сблизились, ты объяснил: так свободнее двигать руками. А я обычно не застёгивала нижнюю пуговицу пальто. Чтобы полы пальто не мешали быстро шагать. Я всегда спешила — на остановку автобуса, на занятия в техникум, на репетиции драмкружка во Дворец железнодорожников. Ещё в школе и позже, по Дворцу культуры в Алмалыке, не могла просто пройти по коридору — всегда вприпрыжку, почти бегом.

А может быть, это мне только снилось
Наяву, наяву.

Сейчас даже не пытаюсь восстановить в памяти, когда и откуда проникла в меня эта мелодия. Я и тогда этого не знала. Только ходила и, сама того не замечая, мурлыкала без слов. А заметила однокашница Лидочка и спросила:
— Что ты напеваешь?

Сама же она через несколько дней и ответила:
— Это японская песенка «Белых роз лепестки»,— и пропела.

Мне показалось очень красивым: «… плывут, плывут между небом и морем белых роз лепестки…» И песенка поселилась в моей душе. И надо же было такому случиться, что в первое наше знакомство мы танцевали под мелодию о лепестках белых роз…

Мы подружились, стали встречаться. Я предупреждала: мной не увлекаться,— кокетливо объясняя это своей несерьёзностью, своим непостоянством. Сама же увлеклась всерьёз. И влюбилась.

Всё так же кружат стаи чаек,
Белоснежны и легки,
Как будто ветер над морем качает
Белых роз лепестки.

Однажды после долгой прогулки… Где мы только не бродили: и по километровому Коммунальному мосту на остров Отдыха, и по сосново-берёзовой роще на Сопке. Я там ещё читала тебе стихи:

Да поможет мне лес,
Там колючее солнце сквозь сосны,
Там дожди проливные застыли, дрожа на ветру,
Шелестит тишина, и печали мои взрослые
По знакомой тропе торопливо уходят на юг…

И сравнивала лес с морем, волнами, и об этом тоже читала стихи:

Море! Вот оно какое!
Как ребёнок, озорное.
Брошусь в море камнем-птицей,
Море липнет на ресницы,
Море — солью на губах,
Море — лёгкостью в волнах…

После этой прогулки, после салюта на площади в честь годовщины Победы мы, утомлённые,

топтались в танце в вашей комнатке опять под мелодию о море. Пела Лили Иванова: «О море, я прошу тебя, о грозное и ласковое море…» Тебе понравились песня и голос болгарской певицы. Мы несколько раз включали эту запись. Конечно, в комнате было много народу. Все что-то говорили, некоторые тоже танцевали. А мы никого не замечали, мы были вдвоём — ты и я.

Потом ты служил в армии, где-то в Грузии. А я после окончания техникума уехала в Ташкентскую область. И ждала твоих писем, твоего возвращения.

Сегодня яркие светят созвездья
Мне одной, мне одной,
Но где б ты ни был, я знаю: мы вместе,
Ты со мной, ты со мной.

Ты вернулся домой, в Новосибирск. Об этом мне рассказала твоя тётя Галя, с которой ты меня познакомил в письмах и велел навещать её во время наездов в Ташкент.

А чайки кружат на просторе,
Белоснежны и легки, —
Плывут, плывут между небом и морем
Белых роз лепестки.

И потом, когда мы прощались — ты специально выпросился в командировку в Ташкент, чтобы расставить все точки над «i» и попрощаться со мной, — ты ничего не объяснял, только сказал, что предоставляешь мне свободу от всех обещаний и обязательств. Почувствовав, что это конец, что это наша последняя встреча, я поставила пластинку с песней Лили Ивановой и пригласила тебя на танец.

Теперь, уже в тесной комнатке своего общежития, я хотела быть ближе к тебе, хотела, чтобы ты вспомнил мелодию, вспомнил тот, двухгодичной давности, танец, нашу с тобой взаимную увлечённость. Но ты забыл песню о грозном и ласковом море. И она стала песней нашего расставания.

Пускай сегодня между нами
Расстоянья далеки,
Я сердцем там, где плывут над волнами
Белых роз лепестки.

У моря, у синего моря ты не был, любимый, со мною… Увы… Мы никогда не были с тобою у моря. И всё же…

Пускай сегодня между нами
Расстоянья далеки,
Мы сердцем там, где плывут над волнами
Белых роз лепестки.

О море, я прошу тебя! О грозное и ласковое море, прошу, верни ты мне любовь, верни любовь… И наши встречи…

Меняю миллион алых роз на ветку яблони

Небольшой натюрморт: ветка яблони в баночке из-под кофе.

Закончилась выставка живописных работ художников-заводчан. Авторы не спешили разбирать свои «шедевры», и я унесла эту миниатюру к себе в кабинет. Поставила на стол и любовалась ею.

Цветы яблони, нежные, свежие, напоминавшие о весне, цветущих садах, пьянящих ароматах, и стеклянная банка с надписью «Пеле» контрастировали и поселяли в душе беспричинную тревогу, щекотали нервы почему-то.

Художник отломил эту веточку от дерева, а может быть, поднял с земли уже обломанную и, принеся в дом, поставил в первую попавшуюся на глаза ёмкость — банку из-под кофе.

Заносчиво-хвастливо разглагольствовал самодеятельный художник о своих работах на открытии выставки и потом, бывая несколько раз у меня в кабинете.

Мне очень хотелось созерцать эту частичку весны, расцветающей природы, сулящей урожай ароматных яблок. И складывалось всё вроде бы удачно: художник, видя огромную мою фонотеку, просил подарить ему грампластинку с песней Аллы Пугачёвой «Миллион алых роз». И я полушутя-полусерьёзно предложила обмен:

— Меняю «Миллион алых роз» на ветку яблони!

Но он «Миллион алых роз» забрал, а картину не отдал, не продал — поскупился.

Пожадничал художник, не уступил мне эту работу.

А грампластинку с «Миллионом алых роз» я для него не пожалела.

Розы в красном бокале

«Три розы в красном бокале». Картина Валентины Ивановны Капленко. Когда я только познакомилась с живописью этой художницы, решила, что обязательно куплю её картину — натюрморт с цветами. Букеты из полевых и садовых цветов на картинах её пышные, буйно-многоцветные, праздничные. А фоны, на которых написаны эти букеты, — яркие скатерти или шали.

И вот выставка работ В. И. Капленко в нашем Дворце культуры. И есть желающие приобрести некоторые работы. И есть возможность. И я жду закрытия выставки. И приготовила деньги для натюрморта из ярко-оранжевых жарков в светлом фарфоровом горшочке. Держу двести тридцать рублей в кармане плаща и жду окончания церемонии закрытия.

Но купить картину не удалось: художнице предложили устроить выставку где-то в Америке и издать хороший альбом. А о цветном альбоме можно было только мечтать. И Валентина

Ивановна мечтала. И, конечно, ухватилась за такое перспективное предложение.

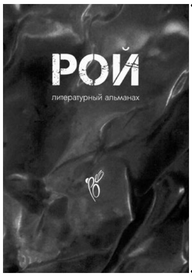
И осталась я ез «Жарков в белом кувшине».

Однако много позже в художественный салон «Гамма» Валентина Ивановна принесла «Три розы в красном бокале» — копию выставочной работы. Знакомые сотрудницы салона радостно сообщили мне об этом:

— Мы уже и рамку для полотна заказали. Так что будет у вас картина Капленко!

Я, конечно же, обрадовалась.

И теперь у меня в зале над диваном красуются три розовые розы в бокале красного стекла.



Рой

Литературный альманах

Пенза: «Социосфера», 2021

Альманах «Рой» — пространство пересечения различных пластов современной прозы и поэзии. Мы роем — и плодородный чернозём, горящие торфяники, сыпучий песок и податливая глина вдруг оседают на белизне листа. И в шелестящем воздухе страниц роятся авторские миры: причудливые, полные тончайших деталей или подчёркнуто скупые, пастельно-нежные или брутальные, или же пропитанные сарказмом… Что их объединяет? Выбор редакции основан на предпочтении живого, ранимого или ранящего, пусть порой и несовершенного, слова слову искусственному, подделке под «всамделишность».

«Рой» не принадлежит ни к каким партийным спискам — ни от литературы, ни от политики. Не желая «принять сторону» и придерживаться жёстких идеологических позиций, редакция остаётся открытой веяниям времени и оставляет за собой право публиковать произведения разной идейно-художественной направленности, не обязательно полностью разделяя взгляды авторов.

Специфическая особенность нашего альманаха — преобладание пензенских авторов. Мы не отказываемся от прописки по месту жительства, стремясь к отражению (безусловно, субъективному) местной литературной среды. Однако понимание замкнутости провинциального литературного пространства на самом себе стало одним из мотивов, побудивших нас на создание данного альманаха. Вот почему «Рой» — интеграционный проект, ломающий ложный стереотип, что возможно существование некой самобытной поэзии или прозы города N вне общелитературного контекста.

Стартовав от точки зеро (выпуск №0) в 2020 году, мы продолжили свою деятельность старателей и намыли для вас ещё немного крупиц прозы, а в качестве пчёл — собрали горчащего мёда поэзии и предлагаем вашему вниманию «Рой» №1.

Вера Дорошина

Николай Толстиков

Искупление

1.

Прозвище Болонка злые языки прилепили отцу Флегонту Одинцову уже в зрелых годах, когда он был в протопопах, приклеили намертво за его задорно ниспадающую на самые глаза седую, будто извалянную в муке, чёлочку, за мелкую в кости, но чересчур подвижную фигурку, а пуще — за вспыльчивый нрав, когда старичок напоминал маленькую злобную собачонку, готовую отважно вцепиться в чью-нибудь широкую штанину. Хотя порывы эти отец Флегонт умел в себе усмирить: тут же начинал безошибочно потявкивать в ту сторону, куда ветер дул, и за долгую службу ни разу не подвергся опале и все возможные награды получил.

Было ему за восемьдесят; в епархии давно числился за штатом, хотя в храме, где верховодили теперь молодые священники, ещё иногда служил.

Держал он «худобу»: в кирпичном теплом гараже возле дома в стайке трескуче блеяли, стуча копытцами по настилу, две круторогие козы.

— Эх, миленькие животинки! — отец Флегонт каждое утро приносил им пойло и, наддав зелёного с клевером сенца, подлезал с ведёрком с натянутой поверху марлей к тугому козьему вымени.

И сегодня с дойкой старик управился споро, повесив на ворота гаража замок, бережно понёс ведёрко с парным молоком через двор и с продышками на лестничных площадках взобрался на четвёртый этаж.

Василиса ещё спала — в лицее выходной. Отец Флегонт осторожно приоткрыл дверь в спальню и залюбовался разметавшейся во сне девушкой. Господи, как время летит! «И всё для неё, всё для неё…»

Пусть спит.

Есть ещё время погулять по улице. Старик любил этот ранний утренний час, особенно весной, когда ярко и радостно светило поднимавшееся солнце, под ногами похрустывал настывший за ночь в лужицах ледок, а уже с застрех крыш принималась робко звенеть капель. Отец Флегонт неторопливо брёл по улочке, даже не встречая ещё прохожих — над крышами домов начинали только куриться из печных труб первые дымки. Доходил он всегда до приметного в улице места — стоящих в каре и намертво сцепившихся могучими сучьями столетних лип, под которыми голубел крашеной вагонкой на стенах дом, мало чем отличный от соседних. Но Одинцов помнил здесь, на этом месте, хоромы другие: двухэтажные, барские или купеческие, и до того ветхие, с провалившимися потолками и полами, что семья, вселённая сюда после революции, теснилась кое-как в паре комнат внизу…

В первую военную осень и направлялся сюда к зазнобушке на короткую побывку перед отправкой на фронт он, двадцатилетний лейтенант Флегонт Одинцов, пытаясь унять в себе противное тягостное чувство, неотступно сосущее сердце. Была тому причина…

Парашют, запрятанный под болотную мшистую кочку, нашёл поздний грибник. Диковинный роскошный трофей он протащил напоказ по пристанционному посёлку и напоролся на участкового милиционера. Тот недолго соображал, что к чему: хвастуна за ушко и звякнул по телефону куда надо.

Взвод солдат прочёсывать лес повели два лейтенанта НКВД — только что после училища — Клинов и Одинцов. Ещё сельсоветчики снарядили им в подмогу десятка два переполненных боевым духом стариков, свистнули и допризывную молодёжку, комсомольцев. Винтовки были только у солдат, по пистолету — у лейтенантов, остальные вооружились кто чем: вилами, колами, топорами.

Но трое парашютистов с высоко поднятыми руками сами вышли на опушку леса.

К Клинову, засевшему в кабинете председателя сельсовета, на допрос их водили поодиночке. Флегонт прошёл в «предбанник», прислушался. Из-за неплотно прикрытой двери доносились громкие восклицания Клинова вперемешку с матюгами. Сквозь щель Одинцов увидел лицо однокашника, злое, с выступившими на скулах багровыми пятнами.

— Ты будешь говорить правду, гад?!

Капризный, красиво очерченный рот Клинова хищно кривился, блестящие белые зубы закусывали алую нижнюю губу. Лейтенант отклонился назад и смачно, с оттяжкой, пнул острым носком сапога в какой-то тёмный мешок, лежащий на полу. Раздался стон, и Одинцов, обмирая, различил

окровавленного человека, шевелившегося возле ног Клинова.

— Будешь говорить?! Будешь говорить?!—пылая разрумянившимися щеками, всё больше распалялся Клинов, волтузя сапогами дёргавшееся на полу скрюченное тело.

Человек, страшно вскрикнув, поднялся на колени и на четвереньках, запрокидывая залитое кровью распухшее лицо, пополз к Одинцову. Тот не заметил, что дверь предательски отворилась и он, остолбенелый, торчит на пороге на виду.

— Товарищ, милый, дорогой! Вы хоть мне поверьте! Мне, командиру Красной Армии! Не было иной возможности из плена бежать… Мы же сразу сдались вам. Чего же ещё он хочет?!

По разбитому лицу диверсанта текли слёзы, прожигая в запёкшейся кровавой коросте на щеках светлые проточины. Он, обнимая Одинцова за ноги, ещё что-то шептал распухшими чёрными губами. Флегонт наклонился, чтобы помочь ему подняться, но, вздрогнув от окрика и топота солдатских сапог, поспешно выпрямился, пряча, как школьник, за спиной руки.

Солдаты, подхватив пленного под локти, оттащили его в дальний угол кабинета. Клинов, ехидно улыбаясь, подошёл к Одинцову вплотную, уставился ему в глаза своим холодно-голубым взглядом.

— Врагов жалеем? Вон как жалость-то проняла! В училище ещё я к тебе присматривался: вроде как не наш ты… Смотри, рапорт подам!

Пленных увезли.

Растерянный Флегонт забыл в «предбаннике» планшетку, пришлось вернуться. Там вовсю орудовала уборщица.

— Кровищи-то налили, забрызгали всё, даже стены!—ворчала старуха.—Били пленённых-то крепко. Криком кричали, сердешные. Солдатик забежал ко мне: дай, бабка, тряпку! И затёрли второпях, худо… Перемывать надо.

Одинцов заметил посередине тёмного пятна у ножки стола в кабинете белый комочек. Зуб!

— Я уж выгребла не один…—старуха, подняв зуб, бросила его в своё ведро…

В Городке, после встречи с невестой Варей, после поцелуев, объятий, ласковых слов, Флегонт вроде б как подзабыл злорадное обещание Клинова написать рапорт. Но пролетел день—и Одинцов не находил себе места.

Ночью плохо спалось. Он, стараясь не потревожить Варю, вылез из-под одеяла, ёжась, торопливо натянул обмундирование.

За окном густел непроглядный сумрак, долго ещё было до зябкого серенького рассвета. На крыльце на холоде не рассидишься, и Флегонт, выкурив папиросу, поспешил обратно в уют Вариной комнаты, но по берущим за душу своим скрипом рассохшимся половицам в длинном коридоре старался ступать как можно тише, чтобы кого-нибудь не потревожить.

И тут он услышал наверху, на втором этаже, шаркающие неспешные шаги, даже почудилось, что кашлял кто-то. Знать, не одному Флегонту в раннюю пору не спалось. Одинцов подумал на хозяйку дома, дальнюю родственницу Вари, Анну Гасилову, уже в годах женщину, но потом, вечером, подметил, что хозяйка с сыновьями-подростками и дочерью готовятся к ночлегу в смежной с Вариной комнате.

— Наверху никто не живёт,—ответила на вопрос Варя.

Но Флегонт на другое утро спозаранок пробрался по коридору так, чтоб уж точно ни одна доска в полу не скрипнула, бесшумно взобрался по лестнице—изучил её ступеньки днём.

За тяжёлой, с трудом поддавшейся дверью в ноздри ударил запах керосиновой гари, возле белеющей в темноте печи затрепетало пятно света, Флегонт успел заметить тень, отбрасываемую чьей-то согбенной фигурой с «летучей мышью» в руке. Минута—и всё исчезло.

Одинцов прокрался к тому месту, долго шарил ладонями по гладко отёсанной стене, пытаясь нащупать дверной проём,—напрасно. Заглянул он и в незапертые комнаты—пусто, лишь кучи всякого хлама угадывались в потёмках.

Флегонт уж начал прощупывать кирпичи печи, извозив руки в побелке, но забрезживший в окнах рассвет заставил его ретироваться—не увидел бы кто из жильцов.

Первой мыслью Одинцова было: шапку в охапку—и рвануть в местный отдел НКВД! Он даже предвкушал, как затаившегося злобного врага выкуривают из дома. Надо—по брёвнышку хоромы раскатят и овчарку приволокут, чтобы унюхала! Но приутих: вдруг просто померещилось, поблазнило спросонок? На смех поднимут!

«Сам всё разведаю!»—твёрдо и отважно решил Флегонт.

Варя, хлебнув чайку, собралась на работу быстро, Флегонт пошёл провожать её, оставив незапертыми дверь и окно в комнате. Свернув за угол, он вроде б как всполошённо вспомнил об этом.

— Воровать-то там нечего,—попыталась успокоить его Варя, но Одинцов с озабоченным видом поспешил обратно.

За сарайками, за высоким плотным забором, да ещё пригнувшись, можно проскочить в дом незамеченным—Флегонт точно рассчитал. Растворив окно, он забрался внутрь комнаты и затих. Лестница, ведущая наверх, была возле стенки, так что самый тихий звук чьих-нибудь шагов по ней был бы отчётливо слышен.

Хлопали двери, топились печи. Хозяйка со своими чадами готовила еду, обряжала скотину. Долог показался Одинцову день. Флегонт уж поклёвывал

носом и уснул бы, но тут услышал скрип ступенек лестницы—кто-то поднимался по ней. Одинцов осторожно выглянул и, дождавшись хлопка двери наверху, взлетел по ступенькам следом. И вовремя—Гасилиха стояла к Одинцову спиной в проёме открывшейся возле печи потайной дверцы.
— Руки вверх! Не двигаться!—срывающимся фальцетом истошно взвизгнул Флегонт и, подскочив, сунул ойкнувшей хозяйке под бок ствол пистолета.

Брякнулась об пол кастрюля, раскатилась исходящая парком рассыпчатая картошка; стоявший посреди крохотной комнатушки высохший, заросший седым волосом старичок захлупал глазами, как сова, вытащенная на свет.

Бояться было нечего—руки старика пусты, в комнате он один.

Гасилиха опамятовалась, покосилась испуганно любопытным глазом на Одинцова.
— Флегонт Иваныч, ты бы убрал наган подальше от греха. Не ровён час—пульнёшь! А это… свояк мой, всё хотела знакомство с тобою свести, да больной он, почти не встаёт.
— Документики имеются?—прервал воркотню хозяйки Флегонт.
— Как же, всё есть. Печник он бывший, раньше-то мастер нарасхват, а ноне…—обречённо махнула Гасилиха рукой и обратилась к старику:—Ты бы прилёг, Андреюшко, а мы вниз пойдём!

Флегонт, спрятав пистолет, по-настоящему разглядел деда, пока хозяйка усаживала того на кровать и поила из кружки остывшим чаем, присмотрелся, что пальцы у Гасилихиного свояка тонкие и длинные, с бледно-матовой кожей,—нет, не такие у печников, у тех раздавленные, избитые. Но пуще—в облике старика почудилось что- то знакомое.

«Не убежит никуда, песок сыплется!»—решил Флегонт, но пока на всякий пожарный случай замок на дверь повесил и ключ в карман опустил. Нужно было придумать, что с дедом делать, главное—вспомнить, где встречал его.

Одинцов мучительно напрягал память, перебирая увиденные ранее лица, отвечал недовольно и невпопад Варе. Несколько раз в комнату за какой-либо надобностью заходила Гасилиха, садилась напротив Флегонта и, сложив на коленях большие натруженные руки, смотрела на него настороженно и умоляюще.

И он, наконец, вспомнил! Конечно, в ту пору старик был много покрепче и побойчее, и вид у него был не как сейчас—беспомощный и жалкий, а строгий и недоступный. Это же владыка Ферапонт! Викарный архиерей из города, в котором родился Одинцов. Что в детстве запомнилось—никогда не забудется! Он тогда стоял возле собора в высоком чёрном клобуке и с посохом в руке!

Флегонт, ликуя, что память не дала сбоя, даже напружинился весь, готовый конвоировать старика куда надо. Все они, «духовные», враги народа, нынче по лагерям, а этот, значит, затаился под чужими документами—тоже мне хозяйкин свояк! Тут и на обещанный Клиновым рапорт начальство, пожалуй, особо смотреть не будет. Такая птичка попалась!
— Вы епископ Ферапонт?—отомкнув замок, прямо с порога громко спросил Одинцов.

И был удивлён: владыка не стал запираться.
— Да,—глухо ответил он и перекрестился на красный угол, где перед иконами тускло мерцал огонёк лампады.—Вот и мой черёд настал,—владыка стал тихо произносить слова молитвы.

Флегонт подошёл к окну, отдёрнул занавеску. Во дворе шумно боролись Гасилихины пацаны, сама хозяйка, на пару с дочерью снимая высохшее бельё, с тревогою поглядывала на окна.

«А ведь и их тоже всех…—мелькнула мысль у Одинцова.—Укрывали…»

Владыка Ферапонт, завершив молитву, обернулся, и луч солнца из-за занавески пролился на его бескровное, с чётко выделявшимися старческими коричневыми пятнами лицо, заставил затрепетать ресницы.

А Одинцов вдруг представил себе разбитое в кровь лицо того пленного «диверсанта», в смертном отчаянии обхватившего его колени… Нет, больше этого не будет!

Он подошёл к архиерею и, сложив ладони, преклонив голову, попросил:
— Благословите, владыко! Мне на фронт идти.

И ощутил почти невесомую ладонь на своём затылке…

На станцию возвращался Флегонт следующим утром—кончилась побывка. Он ещё не знал—не ведал, что поздним вечером того же дня, когда допрашивали «диверсантов», во время бомбёжки станции шальным осколком был убит лейтенант Клинов.

2.

В голубеньком домике под липами, на месте Гасилихиного родового пепелища, откуда, всё ещё в глубоком раздумье, побрёл, тяжело ступая, старый священник отец Флегонт, жили теперь внук хозяйки Степан и его мать.

Сыновья Гасилихи не шибко ладили промеж собой. Оба неказистые, мелковатые в кости, с ранней плешью, обличьем очень схожие, и оба любившие одинаково обзывать один другого—гадким карликом, они до жути разнились характерами и поэтому, наверное, с малолетства не забирал их мир.

Стёпкин отец вскоре после войны, семнадцатилетним пацаном, загремел на срок—залез с дружками в ларёк, где его и сцапала милиция; так ершистый и неприветливый, он после отсидки стал ещё злей и угрюмей. Однако это не помешало ему

высватать за себя в дальней деревеньке старую деву. Дому пришёл конец—молодожён раскатал его на дрова и поставил новый.

Другой же брат женихался долго, всё выбирал. Нашёл, наконец, себе крутобокую копалуху, и детки у них полезли, как опята весною на пень.

Обоих братьев изломал и допёк до поры лес…

Стёпкин отец работал вальщиком в паре с соседом; вместе выпили море разливанное, спали в «тепляке» спина к спине, из одного котелка хлебали.

Отец заготовил для себя «костёр» хлыстов, как-то наведался на лыжах на делянку попроведать, а с неё трактор чужой с возом улепётывает. Отец—вдогонку! Из кабины соседушко высунулся и, зная прескверный гасиловский характер, метнул топор. Стёпкин отец успел пригнуться—топор воткнулся позади него в ствол дерева—и прихваченным с места разорённого кострища крюком для подцепки брёвен принялся обидчика из кабины выковыривать…

Со срока отец вернулся больной: заходился в кашле—как только лёгкие через рот не вылетали; ссохшийся, с землистым измождённым лицом, он недолго оклёмывался, опять пошёл ворочаться с лесинами. Куда больше?

Всегда угрюмый, без словечка, он тихо-мирно заваливался после работы спать, но в дни, когда ему удавалось зашибить «халтуру» и крепко выпить, становился зверь зверем. Крушил в доме всё подряд, выгонял жену, Стёпка с сестрою улепётывали на улицу опрометью. Подрастающему сынку отец запросто мог дать зуботычину—только искры из глаз. А поутру, подняв прокравшихся обратно в жилище и забывшихся тревожным сном домочадцев, тащил Стёпку в лес драть корьё или рубить дрова.

Раз, так пьяно закуражившись, отец наложил на себя руки.

Стёпка на похороны не ходил, убежал к другу своему Оське, прихватив с собою из ящика под кроватью бутылку водки. Тем и помянули. Он не знал, осудила его или нет за это родня, никто слова не сказал, да и про отца, не слишком до родовы тороватого, стали скоро забывать.

А Степан, когда худо-бедно дожил до «сорокашника», об отце вспоминал всё чаще и чаще, без прежней обиды: «Вякнул бы он сейчас что, посадил бы я его на забор, и вместо петуха пусть бы кукарекал!..»

Гасилов нигде не работал уже несколько лет. Это прежде бы, в «совковые» времена, его прищучили менты и отправили куда-нибудь вкалывать на стройки народного хозяйства; теперь же строек тех и в помине не было, а пол-Городка моталось-мыкалось без работы.

Стёпка когда-то трубил три года в морфлоте на Севере, после дембеля в училище гражданской авиации сумел поступить и летал бы, может, на трансконтинентальном лайнере или, на худой конец, на «кукурузнике», но… Приехав домой на побывку, он втрескался по уши в гостившую у соседей девчонку. Никогда на танцульки не ходил, с девками не целовался, ошивался всё с верным другом Оськой Безменовым по охотам и рыбалкам, а тут, краснея и пыхтя, даже в любви попытался объясниться. Девчонка—верть хвостом: у неё таких Стёпок—пруд пруди! Она в далёкий город—и влюблённый Стёпа за ней, а оттуда, с чужбины, еле ноги унёс. Времечко меж тем летело, и «самоволку» Гасилову в училище не простили…

Дома он устроился радистом в гражданскую оборону—в ВМФ кое-чему научился—и не заметил, как год за годом жизнянка до сорока и докатилась.

Вроде бы жил как все, только почему так: семья—одна мать, руки-ноги болят, и сердце порою норовит из груди выскочить, и работы никакой нет—вольный казак? Со здоровьишком-то ясно: самогонку приловчился гнать чёрт знает из чего и не одну цистерну выцедил; семьёй бы тоже мог обзавестись, да всё никак не удавалось забыть первую зазнобу, перед другими, не успевая толком с ними познакомиться, напивался и выделывался. Не только девки, но и молодые разведёнки, вдовушки махнули на такого кавалера рукой.

Один верный с детства друг, Оська Безменов, остался. На его всегда будто удивлённо вытаращенные водянистые глаза, ссутуленную и высохшую, как мумия, фигурку слабый пол не клевал, так что со Степаном они состояли теперь на равных. Разве что Гасилов не засовывал, как Оська, периодически палец в ухо и, блаженно мыча, не тряс головой.

Оська приходил и трещал без умолку, недаром прозван был Армянским Радио. Степан нарезáл для закуски солёные огурцы, хлеб, разливал по стаканам самогонку, даже слушая по привычке вполуха его болтовню, узнавал все новости в Городке, про все Оськины невзгоды и радости.

Мать Оськи преставилась рано; отец остался с кучей дочек, Иосиф—один сынок. Старенький домишко их походил на изрядно подпившего мужичка: припав набок к земле, всё норовил совсем упасть, да каким-то чудом держался—у отца, инвалида войны, подправить жилище руки, видно, не доходили. По детдомам, однако, хотя порою и хлеба на столе не водилось, никого из младших не раздали. Старшие девки выросли, разъехались жить самостоятельно; остались Оська и младшая сестра Танюха. Оську отец выделял из прочих и жалел больше. Однажды, пьяный, ненароком спихнул спящего пацана с печной лежанки. Очутившись на полу, Иосиф не взревел, лишь тихо замычал, суча ножонками. Папашка услышал-таки его, слез с печи и испуганно прижал

к себе, ощупывая голову. Оська-то оклемался, но отец потом, в подпитии, жаловался, что нащупал тогда на Оськином темечке приличную вмятину...

Стёпка догнал Иосифа в шестом классе, где тот мирно досиживал третий год. За одной партой они добрались до восьмого, после Оська ушёл работать в лес, да и застрял там на всю оставшуюся жизнь. Но был он похитрее, что ли, прочих: деревья не валил, лесины не таскал и к стынущим на морозе трелёвочникам и прочей технике близко не подходил, разве что по большой просьбе, изнывая зимой от безделья, обрубал топориком сучки на поверженных стволах. В остальное время Оська числился лесником и не просто обходил свой участок, а постоянно нёсся рысью по ему одному ведомым тропам — «набор костей и кружка крови»

Занемог, занедужил от смертной болезни отец, но где горе, там и радость: инвалиду войны всё-таки дали квартиру, и вовремя — в домишке вздыбился возле просевшей печи пол и дугою выгнулись потолочные балки. Едва выехали, в доме случился обвал; не стало вскоре отца, и остались Оська с сестрой жить в новой квартире...

Всё это Степан выслушивал уже в сотый, если не больше, раз и, взяв стакан, морщился, представляя засидевшуюся в девках и всё ещё красивую Оськину сестру, злющую брезгливую гримасу на её лице, когда забегал иногда навестить друга: «Опять пить? Алкаши несчастные!» Танька захлопывала дверь; Оська за стенкой боязливо не подавал голоса.

А было время, ещё, наверное, до школы... Стёпка и Танька не лезли в шумные затеи уличной ребячьей компании, везде ходили и играли вдвоём, купались голышом в тёплой затхлой воде пруда и стали стыдливо избегать друг друга, лишь когда задразнили их завистники: «Тили-тили-тесто, жених и невеста».

Куда всё ушло?..

Степан, опрокинув в себя первый стакан, знал, что будет дальше и что не случится ничего нового: у Армянского Радио внезапно «сядут батарейки» — Оська, замолкнув на полуслове, повалится под стол и продрыхнет там до утра, а сам Степан будет дальше тянуть самогонку в одиночку, пока не заснёт, уронив голову на столешницу.

Пьянел Гасилов быстро, но шальная злорадная мыслишка не успела увязнуть бесследно в хмельном дурмане... Бедный Иосиф, не переставая бормотать, свалился от толчка в плечо на пол, и вдруг всё перед ополоумевшими глазами его закрутилось. Это Степан стремительно закатал приятеля в домотканую цветастую дорожку и придавил больно подошвой Оськину скулу:

— Блей козлом!

Иосиф возражать не стал, заблеял жалобно, а Степан, стоя над ним, раскачивался из стороны в сторону, тупо пытаясь придумать новую пытку. Всё равно незлобивый Оська за претерпеваемые порою мучения сердца на друга долго не держит, замиряется, едва стоит тому при встрече подмигнуть да щёлкнуть выразительно пальцами по горлу.

— Изувечишь ведь дурака, сидеть за него! — прибежала из другой половины дома на шум мать.

— Уйди! — свирепо завопил Степан.

Пока он с матерью переругивался, Оська сумел высвободиться из «кокона» и на четвереньках, открывая лбом попадавшиеся по пути двери, улизнул на улицу.

Мать заплакала, негромко запричитала; Степан, залудив «дозу», уткнулся лицом в ладони:

— О-ох, тоска зелёная! Сдохну!

3.

Теперь отец Флегонт втайне гордился тем, что не «сдал» тогда, давно, на лютую расправу немощного старика епископа Ферапонта, хотя ни разу об этом никому не рассказывал. Опасался больше по привычке...

В конце войны его вызвали к высокому начальнику. Флегонт Одинцов был уже не зелёным младшим лейтенантом, а бывалым капитаном СМЕРШа, но шёл туда с откровенным страхом: слыхал, что многие и из «своих» оттуда не возвращались, и куда девались — догадывались все, да помалкивали. Начальника того он видел как-то мельком, и то издали: в защитном френче без погон вышел тот из «эмки», плотно загороженный спинами челяди, и тут же исчез в подъезде управления — пузатый коротконогий толстячок с огромной сверкающей лысиной.

Выслушав доклад еле пересилившего сушь в горле Одинцова, толстяк, мягко ступая, отошёл от полузашторенного окна; Флегонт, избегая взгляда бесцветных, ничего не выражающих глазок, уставился поверх — на торчащие по обе стороны лысины вихры жёстких, как грубая щетина, волос.

— Капитан, ты крещёный? — огорошил толстяк вопросом.

Одинцов замямлил растерянно, что, мол, не помнит толком: может быть, бабка его в неразумном младенческом возрасте и таскала в церковь крестить, а сам вдруг отчётливо, словно наяву, увидал укрывавшегося в потайной каморке архиерея и почувствовал, как побежали зябкие мурашки по спине, — наверное, всё стало известно. Показалось даже, что скрипнула позади дверь и вот-вот кто-то схватит за локти и заломит руки назад.

Но толстяк приветливо кивнул на табуретку, приглашая присесть; сам устроился в кресле за столом.

— Так это ещё лучше, — он нацепил на картошину носа очки и стал на кого-то очень похожим, — для ответственного задания, какое мы хотим вам поручить... Война кончается, фрицам каюк, но на идеологическом фронте, сам знаешь, капитан, мира

не предвидится. Вон за войну сколько церквей пришлось пооткрывать, а кто же за служителями их длинногривыми присматривать будет? Особо за старыми, из лагерей выпущенными недобитками? То-то!—толстяк, видимо, для пущей убедительности, потряс перед собой коротким, будто обрубленным, указательным пальцем и ткнул им в лицо Одинцову.—Выслушай задание, капитан!

Одинцов поспешно встал, вытянулся, прищёлкнув каблуками.

— А это уже будет ни к чему! Надо отвыкать напрочь!—довольный, хмыкнул толстяк.—Нужен нам среди длинногривых свой, сподручнее ему будет за ними приглядывать, в душу влезать. Так что принимай, капитан, другой облик, не всё тебе диверсантов и дезертиров ловить!

— Как? Да я… Я и в Бога-то не приучен верить!—совсем растерялся Флегонт.

— Надо будет—поверишь! Выполняйте приказ! Инструкции получите в кабинете…—толстяк назвал номер и, нажав кнопку на столе, кивнул выросшему на пороге дежурному:—Проводи!

Выходя из кабинета, Одинцов оглянулся. Толстяк, закуривая, опять отходил к окну; в просвет между плотными шторами проглянуло солнце, и на противоположной стене заколебалась тень: чёрный дымящий шар головы с остро торчащими рогами. Показалось, опахнуло не запахом дорогого табака, а серой…

На другой день Флегонт в застиранной, заштопанной гимнастёрке стоял на службе в открытом недавно храме на окраине полуразрушенного города, косясь на закутанных в чёрные платки старух, неуверенною рукою пытался сотворить крестное знамение и как-то бездумно просил у того, в кого не веровал, помощи на неправое дело.

Неправым то, что он тогда начинал добросовестно исполнять, Одинцов стал считать много позже, а пока втягивался в таинственную церковную жизнь, ни на минуту не забывая, зачем был поставлен,—«глаза и уши» работали у него исправно и безотказно.

Только вот со временем беда приключилась… Одинцов порою ощущал, как его буквально раздирали надвое привычное чувство долга и «ростки веры». В детстве заложенные богомольной бабкой семена, присыпанные толстым слоем мёртвого пепла, где-то в сокровенной глубине души, оживая, прорастали и потихонечку пробивались к свету…

Того толстяка—рогатого беса—арестовали, объявив его, естественно, «врагом народа», а вместе с ним и целую цепочку подчинённых. Одинцов всё время не забывал, что он—одно из её малых звёнышек и что уж если её потянули… В выстуженном морозом храме, где не то что мало-мальский звук, но и слабый шорох чётко отдавался под высокими сводами, Флегонт молился один. Робко теплились в полумраке огоньки свечей перед иконой Спасителя, отражались в серебристом венчике над потемневшим древним ликом; Флегонт, стоя на коленях, бил и бил земные поклоны, сокрушаясь сердцем, шептал страстные слова молитв. Ему казалось, что стоит только выйти из-под спасительной сени Божьего храма, и тут же, не позволив ступить и шагу, его на паперти жестоко схватят и повлекут в ночь железные, не знающие ни малейшей жалости руки и—попробуй дёрнись или вскрикни!—тотчас промеж лопаток больно и страшно упрётся холодная сталь оружия. И возврата не будет, а лишь адовы муки, после которых пуля—желанное избавление.

Одинцов облизывал с губ солёную влагу, но слёзы опять и опять застилали ему глаза, и в конце концов он обессиленно распростёрся ниц на холодных каменных плитах пола.

Обошла чаша сия, не тронули…

Сколько уж с той поры минуло лет? Теперь «перестроенный» народ валом повалил в распахнутые двери храмов—и помолиться, и просто из любопытства. Никто в открытую не насмехался над служителем культа, чернеющем в людном месте широкополой рясой, не передразнивал и не улюлюкал вслед. Даже самые отпетые безбожники, не желая выглядеть дураками и отставать от крутых перемен в жизни, напускали на себя смиренный и почтительный вид и, по новой «моде», приглашали священнослужителей освящать новостройки, мосты, квартиры, самолёты, виллы, рынки и под стрекот телекамер готовно подставляли довольные, умильные рожи под кропило батюшке.

4.

Незапертая калитка распахнулась настежь—и Степан обмер: пятнистое чудо-юдо ввалилось во двор, налитыми кровью свирепыми глазами уставилось на Гасилова; с ярко-алого языка, высунутого промеж огромных белоснежных клыков, капала слюна.

Заметив, что собачищу крепко держит на поводке коренастый черняvenький мужичок с бородкой, Степан поуспокоился. А тот, заломив бровь, прищуривая цыганский, с грустинкой, глаз, вопросил, растягивая слова:

— Ты по фамилии Гасилов будешь?

Получив в ответ растерянный кивок, он отпихнул ногой собачью морду и протиснулся во двор. Одет был незнакомец в невзрачный пиджачишко и спортивные с яркими лампасами штаны; за плечом на широком ремне вниз грифом висела гитара.

— Савва я. Не помнишь? Брательник твой.

Обняться бы положено, но Степан лишь недоверчиво пожал протянутую ему маленькую ладошку.

— Ты, это самое...— брательник откинул полу пиджака и блеснул стеклом посудины.— Организовал бы, а?

— Я — мигом! — Степан, отбросив всякую настороженность, метнулся в дом за стаканами и закусью, несказанно обрадованный: тут без разницы — хоть родственник, хоть хрен с большой дороги или чёрт с рогами.

Савку, черноголового шустрого пацана, лет на пять постарше, он помнил смутно — едва померла бабка Анна, тот с матерью уехал на житьё в большой город. По родне потом разнеслось, что, повзрослев, Савва вышел в большие люди — работал следователем; кое-кто из земляков видал его в милицейской форме. Но точно все были поражены, когда узналось, что Савва Гасилов вдруг стал... попом. Прикатив за какой-нибудь надобностью в областной центр, городковская родова норовила непременно заглянуть в собор, где, тихо в ладошку ахая, признавала в обросшем курчавой бородкой, облачённом в широкую «греческую» рясу служителе незабвенного Савву. Тот, видимо, предполагая присутствие ближней и дальней родни, неприступно хмурил брови, поглядывал грозно. Но родня и так к нему лобызаться не лезла, побаивалась, а уж дома-то россказней было! Эх, Савва, высоко ты взлетел, не нам чета!

Потом зловредный слушок прошёл, что Савву-то из попов турнули, только кто этому верил, а кто нет...

Степан Гасилов, поправив головушку, приглядывался теперь к гостю с благодарно занявшейся, наконец, братской любовью; Савва, опровергая напрочь сплетни сгорающих от чёрной зависти земляков, оказался свойским мужиком — устроился поудобнее на чурбаке вместо стула, взял гитару, тронул струны и запел:

Гори, гори, моя звезда!..

Он устроил во дворе гасиловского дома настоящий концерт. Захмелевший Степан, пустив слезу, попытался, подвывая, подтягивать, да куда там! Заслушав Саввин сочный баритон, замедляли шаги прохожие на улице, соседи пораскрывали окна; пел Савва не блатную похабщину, какую услышишь из любой подворотни, а песни — их и по радио не всякий день крутят: «У церкви стояла карета...», «Вот кто-то с горочки спустился...». Степан, и половины слов не зная, затосковал, бедный.

— Пойдём, Саввушка, пойдём! — размазав по лицу ладонью грязную влагу слёз, затеребил он за рукав певца.— Там нас встретят...

Степан и не заметил, как подросли двоюродные сёстры. Отца их, тракториста, сгубил не столько лес, сколько железо: угас он тихо и незаметно. А девчонки все бегали чумазые, в грязных, затасканных друг после дружки платьицах, голодные: мамаша их, объегорить кого на полушку и рубль потерять, неповоротливая, заплывшая жиром баба, к общественно-полезному труду была совершенно равнодушна.

Степана сеструхи однажды узрели валявшимся в канаве и потащили к себе домой.

— Брат ведь! Ещё замёрзнет...— проговорила которая-то.

И вправду — в лужах уж ледок позванивал.

В тесной барачной комнатушке одна из его спасительниц забрякала заслонкой печи, и вот ноги Степана очутились в тазу с горячей водой. Другая поднесла стакан обжигающего нутро пунша, и Степан начал оклёмываться. С немалым изумлением узнавал он своих двоюродниц, из сопливых девчонок непостижимо превратившихся в рослых девах и даже не первой молодости. А ведь в одном Городке жили... Кто бы чужой стал возиться с пьяным? «Родная кровь!» Улыбающиеся лица сестриц расплылись в застившем глаза Степану солёном мареве...

С Саввой к ним и направились. Девки вправду обрадовались гостям. Дряхлый магнитофон, хрипевший день и ночь напролёт непонятно что, забросили подальше; Савве пришлось петь почти без перерыва. Но глотка у него лужёная: намахнёт Савва стопочку, занюхает огурчиком и за гитару опять берётся.

Барак, где разгоралось гульбище, стоял на оживлённой даже поздним вечером улице. Здесь старшая сестра Симка после интерната, вкалывая полотёркой в детском доме, получила комнатёнку. И пусть холодина в ней жуткая, пусть за стенкой функционирует общий нужник, остальные сеструхи одна за другой перебрались на жительство к старшей. Ничего, что и пованивает,— притерпеться можно, в тесноте, да не в обиде. Зато беспутная мамаша не обзывает походя дармоедками и сучками, сами себе хозяйки.

Не писаные красавицы, в девках прочно засиделись, но холостяжник, нетрезвый и отвергнутый молодёжкой, толокся у них безвылазно; куча подруг набегала перемывать всем кавалерам в Городке кости и мослы; забредали ещё не засосанные семейной житухой молодые пары. Шум, гвалт, звон посуды, магнитофонный ор, табачная завеса — девки и дома от рождения в тишине не живали, а уж если случалось пять минут затишья — как чего-то не хватало. Спали вповалку, кто где. А поутру сёстры, выпроводив ночлежников, просыпаясь на ходу, торопились на работу: кормить-поить никто не будет...

Вот и сейчас набилась полная комнатёнка народа: кто, раскрыв рот, слушал Савву, кто разливал «самопальную» водку — магазинная-то не по карману. Степан незаметно для себя раскис и прикорнул на кровати...

Проснулся он, когда с улицы в окно стал робко пробиваться рассвет. Кое-как разлепив веки, Степан обвёл взглядом полутёмную комнату, на диване у стенки напротив различил человека: по вздёрнутой вверх бородёнке догадался, что это Савва; вон и пёс растянулся рядом на полу. Когда схлынула заполуночная развесёлая компания — один чёрт ведает!

За спиной Степана кто-то сладко всхрапнул, он повернулся и опешил: Симка! Спала она, завернувшись с головой в тоненькое байковое одеяло. То-то жарило сзади как от печки! Степану сразу стало зябко, захотелось забраться на эту «печку» — так уж всему! И он осторожно принялся натягивать на себя одеяло. Симка ещё разок громко всхрапнула, простонала томно, но парня не отпихнула, дозволила ему заграбастать в ладонь полную грудь с острым зашершавившимся соском. Потом повернулась к Степану и готовно подставила для поцелуя жаром опахнувшие губы…

Брательников сестрицы тоже выпроводили на весь день на улицу. Те уныло побрели к автовокзалу: там, возле неказистой его домушки, столпились ларьки. На этом «пятачке» топтался опухший, небритый, небрежно одетый люд, пытаясь сложить имеющуюся наличность. Пока завсегдатаи с боязливым почтением разглядывали плетущегося позади братьев-страдальцев дога с подтянутым к хребту брюхом — у сеструх даже корки хлеба не обнаружилось утром для бедной псины, Степан лихорадочно прикидывал, к кому бы «сесть на хвост». Но, как нарочно, граждане были — самим бы кто плеснул.

Савва зазвенел в кармане мелочью, кивнул сразу ожившему Степану:

— На дорогу хотел оставить. Но ничего, доберусь!

Провожаемые завистливыми взглядами брательники поспешили под сень деревьев ближнего скверика. Кое-кто, вспомнив о неотложном деле к Степану, двинулся следом, но Савва тряхнул пса за ошейник, и тот, оскалив клыки, мрачным своим взглядом отсёк напрочь сопровождающих.

— Ну, полетели! — вздохнул поглубже Савва…

Степан заметил бегущего по тропинке стремительной рысью Оську Безменова. Для старинного друга не жаль было и пожертвовать «остатчиком».

Но Иосиф озабоченно сморщил лоб, поковырял пальцем в ухе, помычал и сообщил:

— Сеструху мою, Таньку, параличом расхватило. Инсульт. Домой из больницы выписали, в аптеку вот за лекарствами бегал. Жраньё готовить надо.

Подношение Степана Оська отвёл в сторону:

— Не буду! У Таньки хоть и речь отнялась, а ведь смотрит она глазами-то, всё понимает.

Иосиф так же стремительно взял с места в карьер, как и мчался до вынужденной остановки.

— Боится! — с презрением махнул рукой ему вслед Степан. — Уж тут-то бы чего…

Впрочем, через минуту друг Безменов с его заботами был начисто забыт, надо было кумекать, как раздобыть дп, а волка ноги кормят. У сеструх на двери квартиры по-прежнему висел замок, и брательникам пришлось разлечься на травке возле крылечка — скоротать время.

Степан чуть не задремал и проспал бы точно вышагивающую прямо по середине дороги бывшую свою одноклассницу Лерку Васильеву. Лерка вышагивала бы себе, и ладно, но она поигрывала бутылкой водки в руке, подбрасывала посудину в воздух и ловко подхватывала её опять за горлышко. К однокласснице Степан в ином случае и не приблизился бы, побаивался он её…

В первом классе посадили Стёпку за одну парту с девочкой. Белокурые волосы её украшал, покачиваясь, как диковинный цветок, огромный яркий бант; поверх школьного платья был надет снежной белизны фартучек; и даже каким-то чужим казалось среди этого великолепия смуглое болезненное личико с грустными большими глазами. Другие пацаны дёргали своих соседок за косички, дразнили, высовывая языки; Стёпка же прижался к батарее под подоконником, притих и только опасливо, украдкой, поглядывал на Лерку, схожую с куклой, которую, прикасаясь, можно измять или поломать.

Вскоре учительница их рассадила, да и от кукольно-неприкасаемого облика Лерки скоро ничего не осталось. К средним классам она остригла коротко волосы, ходила вызывающе в джинсах вместо формы, убегала с парнями курить за углом; и её же первую пацаны пытались лапать; впрочем, после крепких затрещин и отступились.

Леркина мать работала преподавателем в другой школе, и от учителей дочке почему-то доставалось больше всех. Когда Лерку отчитывали, она, сжав и без того тонкие и блёклые губы в брезгливую ниточку, спокойно стояла и не отводила от взмокшей от ярости учительницы презрительно-насмешливого взгляда. Изгнанная с урока, класс она покидала, неторопливо выстукивая каблучками, гордо задрав носик, хлопала оглушительно дверью под довольный гогот хулиганистых парней с «камчатки». Если эти что-нибудь вытворяли, то Лерку обязательно вместе с ними тащили на разборку к директору, пусть она и ни при чём была.

На улице поздним вечером слегка подпитая Лерка куражилась, девки от неё шарахались: непонравившейся она могла запросто завернуть длинный подол на голову и, завязав сверху, пустить так гулять, а наглому парню — двинуть ногой в причинное место.

В выпускном классе пришла новый классный руководитель — Леркина мать, высокая моложавая женщина в строгом тёмном костюме. Лерку она

поднимала во время уроков и делала ей замечания чаще, чем другие учителя. Мать и дочь стояли и смотрели друг на друга, одинаково поджимая в тонкую ниточку губы, и Стёпке казалось, что между ними возникала незримая стена, через которую они, может быть, друг дружку и видели, но не слышали и не понимали. Лерка после напряжённого молчания срывалась к двери и захлопывала её за собой. И к директору Лерку теперь таскали одну, без компании. Мать проработала не больше пары месяцев, уволилась…

После выпуска Лерку, как и других одноклассников, Степан видал мельком, и если с кем-либо хотелось поговорить, то её он старался обегать сторонкой. Слышал, что она побывала в тюряге, прижила ребёнка и забросила его на произвол судьбы, что суровая её мамаша занялась воспитанием дитяти.

Нос к носу Степан однажды столкнулся с Леркой у пивного ларька; то ли она была после отсидки, то ли выползла с того света после страшенного «бодуна», только лицо её, осунувшееся, со сморщенной, как у старухи, кожей, так напугало Степана, что он и про пиво забыл, унося ноги…

Теперь вот он, облизывая спёкшиеся губы, зачарованно следил за сверкающей посудиной в Леркиной руке и—будь что будет!—пошёл навстречу.

—Здравствуй, Лера!—заискивающе улыбаясь, робко поздоровался он.

—Здравствуй, здравствуй, хрен мордастый!—ухмыльнулась Лерка.

Но её, похоже, больше заинтересовал Савва с псом: он разворачивал дога за тощий хребет, норовя Лерке загородить дорогу.

—Что, мужики? В гости ко мне намылились? Пошли!

Степан скоро понял, что он—третий лишний. На тесной кухне, заваленной немытой посудой, Савва после стопки запел громогласно, но Лерке не понравилось:

—Прекрати, соседи в ментовку настучат!

Савва, пуча глаза, опять вывел зычную руладу.

—Не тяни за душу, а то пазгну! Не понял?!

Лерка, как кошка, прыгнула на Савву; тот опрокинулся со стула, увлекая её за собой. Лёжа на полу, они вдруг оба рассмеялись, целуясь.

—Погулял бы ты, одноклассничек!

5.

Родители Василисы, воспитанницы отца Флегонта, погибли в одночасье в автомобильной катастрофе. Батюшку, дальнего родственника, пригласили их отпевать, даже машину за ним и матушкой его прислали. Новопреставленных—молодых ещё людей—отец Флегонт при их жизни не знал, поэтому потом, за поминальной трапезой, помалкивал, пригубив вина из стакана, разглядывал незнакомые лица.

Лет семи девчонку в чёрной косынке, из-под которой выбивались жидкие хвостики косичек, подвела к столу молодая женщина с усталым, измученным выражением на исплаканном бледном лице.

Девчушка нетерпеливо высвободила из её руки свою ладошку, подбежала к улыбнувшемуся отцу Флегонту и затеребила его за рукав:

—Дедушка, ты старенький и всё знаешь… Скажи, когда папа с мамой приедут?

—Василиса!—одёрнула её женщина, но девчонка, уже смело забравшись к Одинцову на колени, тянулась, тихо смеясь, потрогать его бороду.

Тогда женщина, вздохнув, опустилась на пустующий стул рядом.

—Не знаю, куда её и деть… Школьная подруга я мамы-то её. Мне уезжать вот-вот надо, на другой край страны. У одних родных просила, у других, чтобы за девочкой присмотрели, пока документы в детдом оформляют, и никто не берётся.

Женщина произнесла слово «детдом» чуть слышно; отец Флегонт скорее догадался по губам. Он с жалостью поглядел на девочку, с его колен тянувшуюся ручонкой к большому румянобокому яблоку на блюде посреди стола, и, может, даже неожиданно для себя, спросил:

—Хочешь погостить у нас?

Девчушка радостно кивнула.

Потом, всю обратную дорогу поглядывая на заснувшую рядом на сиденье девочку, отец Флегонт толковал матушке:

—Всё веселей и повадднее нашей внучке Верочке с нею будет! Угла не объест, пусть хоть перед детдомом поживёт…

Попадья помалкивала, отводила, насупившись, глаза в сторонку, но Одинцов как бы не замечал этого…

Девчонки-одногодки сдружились, летние деньки промелькнули быстро. Веру увезли родители, а над Василисой отец Флегонт надумал оформить опекунство.

Матушка такое решение встретила в штыки:

—Сдурел на старости лет! Было б хоть что опекать, а тут, окромя битой машины, ни гроша! Лучше б о родных детях и внуках позаботился!

Но Одинцов всё равно решил сделать по-своему, вздохнул только, взглянув на дородную, седовласую, с мясистым лоснящимся лицом, надувшуюся попадью: мало чего осталось в ней от прежней Вари-Вареньки, что ждала его когда-то давно с фронта в большом старом доме на окраине Городка.

—Если не отвезёшь девчонку,—матушка не уточняла куда, а лишь угрозливо постукивала пальцем по столешнице,—я тогда уеду к дочерям. Посмотрим, как ты с ней крутиться будешь!

И сдержала слово. Только вовсе туго отцу Флегонту с Василисой не пришлось: обиходить девчонку стали помогать ему старушки из обслуги

храма, да и сам батюшка супишко и кашу сварить, постирушку устроить не брезговал — матушка и прежде частенько погостить у дочек в Москву или в Питер отлучалась. В школу Василису за руку он повёл сам, помогая девчонке удерживать большущий букет цветов.

Наведывалась матушка, навещали дочери, но уже чем дальше, тем реже перемигивались за столом, шептались по углам, покручивая пальцем у виска. Заботило другое: отцу Флегонту было порядочно годков — мало ли что?.. Неужели, по стариковской своей дури, отпишет всё, что накоплено, чужачке?!

Одинцов лишь усмехался, видя напускную ласковость на лицах дочерей и плохо скрываемую злость на лице матушки, подмечал, что чувствует это и переживает больно Василиса, и вот это-то и сблизило их — старого и малую. А тем, родным, было всё невдомёк.

И ещё думки одной, овладевшей им неотступно, не высказал родне, да и никому, отец Флегонт: в благостное время молитвы к Богу пришла она. «А что, если воспитаю сироту, помогу подняться — ведь зачтётся мне там, на Страшном суде Господнем? Прошлые мои грехи, тяжкие и смертные, может, искуплены будут?!»

С надеждой и упованием поднимал он влажные глаза на образ Спасителя.

6.

Утром на квартире у Лерки «поправляли» головушки, галдели, смеялись солёным шуткам; Степан поначалу и не заметил, что с порога комнаты пристально смотрит на него какая-то старуха. Голова её косо повязана линялым платком; в разгаре лето, а одета она в поношенное тёплое пальто; обувка — на одной ноге сапожный опорок, а на другой растоптанная сандалия с дырявым носком, и даже чулки разные.

Степан вгляделся в неподвижное, наподобие маски, лицо и подметил чёрточки, схожие с Леркиными.

Из-за спины старухи вывернулся белобрысый малый лет пятнадцати, ясными голубыми глазами выжидающе уставился на Лерку.

— Бабушку отдохнуть отведи. И напои чаем! Как на огороде дела? — Лерка деловито давала указания и спрашивала между затяжками сигаретой.

— Бабка-то твоя ругаться не будет, что мы здесь сидим? — полушёпотом спросил её Степан.

— Это мать моя. Не узнал, что ли?! — жёстко прищурилась Лерка. — До ругани ли ей?.. И ещё — родной сынуля. Со зрением у него — кранты!

Она прикрикнула на парня:

— Надел бы ты очки, сынок! А то шаришься, за стенки держишься!..

Лерка «дотянула» стакашек, кивнула гостям, чтоб подождали её на улице.

Степан не успел досмолить найденный «бычок», сидя у подъезда на лавочке рядом с Саввой, чешущим за уши пса, как Лерка уже выпорхнула из дверей в нарядном платье, с кокетливо собранными в пучок волосами на голове; мрачную синеву под глазами прикрывали солнцезащитные очки. Только что вот сидела за кухонным столом в затрапезном грязном халате, бесстыже заголяя худые ноги, с растрёпанными космами и с помятой рожей, и — на́ тебе, совсем другое дело!

Савва сочно крякнул и, ударив по струнам гитары, хватил:

Мохнатый шмель на душистый хмель…

Баритон его в стиснутом пятиэтажками дворе-колодце отлетел от стен множеством отголосков; сразу завысовывались из окон любопытные, а все, кто был во дворе, — женщины развешивали сушиться на верёвках бельё, дети играли в песочнице, мужики возились с автомобилями, — все побросали свои дела и делишки и удивлённо вытаращились на Савву.

Лерка, гордо задрав подбородочек, взяла за поводок дога — тот послушно и добродушно ткнулся ей мордой в колени — и неторопливо зашагала вслед за пританцовывающим перед нею с гитарой, поющим Саввой. Степан, топая за ними, всё не переставал удивляться Леркиному виду: «Прямо принцесса английская! Небось, в колонии-то конвоиры с собаками под охраной водили. А теперь сама аж с догом идёт, человеком, наверное, себя чувствует!»

Всё бы ладно, но оглянулся Степан — и его покоробило, приподнятое настроение стало улетучиваться: к стеклу в окне первого этажа дома льнула лицом Леркина мать со скорбно поджатыми губами…

На окраине Городка ещё и друг Иосиф окликнул. Он, потихоньку ступая, выводил на прогулку сестру, подхватив её за подмышки. Рослую, выше брата на целую голову, Таньку теперь трудно было узнать: одна рука плетью болталась вдоль тела, ноги еле передвигались, но страшнее всего были испуганные, беспомощные глаза на бледном исхудалом лице. Доправив кое-как сестрицу до лавочки в тени деревьев неподалёку от подъезда, Оська изрядно взмок и не раз сказал спасибо подоспевшему на подмогу Степану.

— Вот так и живём… — начал Иосиф, но Степан, махнув рукой, побежал догонять новоиспечённых друзей — на Таньку было лучше не смотреть…

— Куда мы? — растерянно спросил он.

— Туда! — указал Савва на белевшую за полем на холме церковь. — Там меня встретят и приветят. И вас заодно.

Казалось, до храма — рукой подать, но перешли по разбитому тракторами мосту затянутую тиной и забитую городскими стоками речушку;

полевая дорога, развороченная весной, закаменела в глыбах, и скоро путники выдохлись; лишь пёс, отпущенный на свободу, вспугивая птичек, носился по полю, смешно вскидывая зад.

Палило нещадно. У белёной, украшенной кирпичной кладкой стены церковной ограды заозирались: где бы напиться воды и сунуться в тенёк? Кругом — тишина, как всё вымерло. Савва, пригладив бородку, приосанился и, постучав в дверь дома возле ворот, спросил батюшку. Старушечий голос из-за двери ответил, что нет его, в отъезде, но к вечеру должен вернуться.

— Будем ждать, — обескуражено поскрёб Савва в затылке.

— Пойдём к карьерному пруду! — предложил Степан.

С краю погоста огромный карьер уродовал холм, сожрал его почти наполовину; на дне поблёскивало озерцо, наполненное водой из подземных ключей.

— Искупаемся?

Савва в ответ промолчал, лёг на траву в тень вековой липы на краю обрыва. Лерка тоже опустилась рядом и положила его голову себе на колени. Степан вздохнул и бегом, рискуя свернуть шею, пустился по откосу вниз.

Вода в озерце, прокалённая солнцем, чуть ли не исходила паром, зато донные ключи сразу застудили ноги.

— Давай сюда! — крикнул восторженно Степан Лерке с Саввой, но те не откликнулись: он, похоже, задремал, а она задумчиво перебирала, крутила в пальцах его кудри.

На Степанов крик дружно захихикали проходившие мимо по тропинке к погосту три молодые бабёнки. Были они, видно, из села неподалёку от церкви. Степан смутился, нырнул, едва не оцарапав лицо о камешник на дне. Донный холод стянул судорогой ноги, скоро выгнал из воды. Степан, убедившись, что поблизости никого нет, разлёгся на песочке…

Разбудил его шум подъехавшего автомобиля, хлопот дверок. Савва, тот бегом припустил к сторожке, у крыльца троекратно облобызался со стареньким батюшкой, которого прежде Степан не однажды видал стоящим в задумчивости возле его дома в Городке.

— Что, брат Савелий, и до нас, грешных, добрался? Как в «расстриги» попал, так и болтаешься до сих пор? Всему виной — питие да развесёлая жизнь!.. Когда ты у меня ставленником стажировался в соборе, глаголал я тебе сколько: смирись! Не мирское здесь! Не послушался…

Старик говорил с укоризною, но Савва и не подумал обижаться: стоило священнику присесть на лавочку у крыльца, тоже примостился рядом.

— Было дело, — криво ухмыляясь, блеснул он золочёной фиксой. — В попах-то я как оказался… Сынка начальника одного областного прищучил, меня подставили и — погоны долой! Из ментов попёрли, куда-то надо было сунуться. Никто ведь! Жил возле епархиального управления, сначала сторожем взяли, потом в священство продвинули. Больно голос мой архиерею понравился, да и в церковь народ валом повалил, «кадры» до зарезу потребовались. Только, стало быть, и тут я не ко двору пришёлся…

— А вера-то как же? — отец Флегонт попытался заглянуть Савве в глаза, но тот опустил их долу. — Вот и смутил тебя лукавый за маловерие. Он тут как тут. По себе знаю…

Старик удручённо вздохнул, но потом, вспомнив что-то, улыбнулся:

— Всё хотел спросить… Ты, брат Савелий, Анне Гасиловой, покоенке, родственником не приходишься? Или просто однофамилец?

— Внук! А это — второй! — кивнул Савва на Степана, и тому стало неловко под пристальным взглядом священника.

Стыдясь своего опухшего, с синими подглазьями, в колючей щетине лица, он поспешно отвернулся.

— Только вот помню бабку плохо, мал был, — продолжил Савва. — Сынки её до поры допекли, мои, стало быть, дядья. Мать моя, старшая её дочь, учительницей работала, потом в райком комсомола её перевели. Тут и я на свет появился. Мать рассказывала, что бабка-то всё переживала: не порченый бы какой вырос, безотцовщина. И надумала меня окрестить втихаря от матери… А церковь закрыта, склад там. Но у бабки старичок доживал, вроде как квартирант. Седенький и дряхлый, скрюченный в три погибели, слепой. Выбирался иногда на завалинку на солнышке погреться. Так вот, бабка лохань притащила, воды налила, меня голышом поставила. И выходит вдруг из соседней комнаты тот дед во всём чёрном: раньше-то в телогрейке ходил, а тут ряса надета, и поверх епитрахиль и панагия поблёскивают. Я от него было бежать — не узнал поначалу, вот как старик преобразился!.. Я и сам, в наше время, рясу надев, тоже преобразиться хотел, да духу не хватило.

Савва помолчал, посмотрел на видневшиеся вдалеке домики Городка.

— Отчаянная головушка бабка была… От матери я недавно узнал: по документам дальнего родственника аж архиерея укрывала. Как НКВД и не пронюхало, а то каюк бы всем! Владыке — пулю, всё бабкино семейство — под корень!

— Могло бы быть такое, да Господь не допустил! — сказал отец Флегонт. — На тех женщинах вера тогда держалась… И я благословение, на фронт уходя, получил.

— От владыки Ферапонта?!

— Да. И, как видите, жив остался. И после Господу вот служить сподобился.

Савва смотрел на отца Флегонта с изумлением. Тот прервал неловкое молчание:

— Ты смирись сердцем, брат Савелий! Бога-то не обманешь! А Господь наш милосерд, не оставит… Ко мне-то чего пожаловал? Помощь какая нужна?

Савва в ответ махнул рукой, торопливо попрощался со священником, кивнул Степану и Лерке: догоняйте, мол. За угловой шатровой башенкой ограды, где начинался вновь отведённый погост и отсюда же тянулась дорога к Городку, он будто споткнулся, затоптался в нерешительности. Те три местные молодухи, что проходили мимо накануне, сидели, рдея щеками, на краю погоста и, разложив на траве нескудное угощение, с интересом разглядывали чужаков.

— Что стоите? Идите к ним, может, чего обломится! — со злостью подтолкнула Лерка Савву. — Я уйду, не помешаю.

Нахмуренный Савва подтянулся, порасправил плечи, забрал у Степана гитару:

— Один раз живём!..

По дороге с холма Лерка спускалась, опять гордо задрав подбородок, вышагивала широко, решительно, но в низине побрела сгорбленная, тихо, побитой собачонкой.

Савва этого не видел: примостившись со Степаном возле молодок и промочив горло предложенной чарочкой, он начинал пробовать голос.

7.

Отец Флегонт проводил взглядом согбенную фигуру молодой женщины, тихо побредшей по дороге с холма в низину, видел он, и как привернули на край погоста к молодухам Савелий с братом, расслышал вскоре Саввин баритончик, выводящий слова разудалой песни.

«Так и не внял он моим словам, — подумав про Савву, хмыкнул священник. — Но грешно его осуждать-то: не судите, да не судимы будете — в Писании речено. И мудрее не скажешь…»

Он прижался спиной к шершавой грубой коре ствола липы, под которой притулилась лавочка, прикрыл глаза, подставив лицо нежарким лучам закатывающегося за дальний синий бор солнца. Вот так, с закрытыми глазами, в тишине, Одинцов мог легко перемещать, прокручивать в памяти всю свою долгую жизнь, и чем ближе сдвигалась она к началу, тем свежее и красочнее вставало перед мысленным взором то или иное.

Он отчётливо увидел вдруг сияющие позолотой где-то в недосягаемой вышине купола собора в большом городе — городе его детства. Внутри обширной ограды вокруг храма толпился народ, но лица многих были не просветлённо-чистые, а злые, красные, потные, хоть и отмечался церковный праздник. Флегошу бы, пожалуй, в толчее стоптали — под стол ещё пешком ходил, но бабушка его, шустрая старушонка, сумела пролезть с внуком на самый край посыпанной свежим песком и забросанной цветами вперемежку с травой тропинки, на которую не смели ступать, хоть и вдоль неё одни орали, другие крестились.

Шум внезапно смолк, когда на тропинке показался опирающийся на посох старичок в чёрном одеянии и высоком монашеском клобуке — владыка Ферапонт. Но никто не встречал его у восходящей ступени вверх паперти. Окованные железом врата храма с гулким хлопком стремительно затворились, снаружи перед ними встали люди в кожаных куртках, и средь них — ухмыляющиеся криво попы-обновленцы.

— Иуды! Пустите архиерея! — заорал возле Флегоши нищий, и тотчас молодой здоровяк из толпы сунул кулачищем ему в ухо.

Поднялась сумятица. Флегоша видел, как владыку Ферапонта подхватили под руки двое, пытаясь вывести его из толчеи. По щекам в седенькую бородку архиерея скатывались слезинки.

— Опомнитесь! Пожнёте плоды горькие!

Да разве слышал кто его слабый голос в разгорячённой толпе?

Архиерейский возок куда-то делся, на месте его стоял автомобиль с хмурыми людьми в штатском. Владыка споткнулся, незряче выставил перед собой руки. Едва его усадили промеж двух угрюмых усачей, автомобиль, выпустив облачко сизой гари, резко взял с места. А в церковной ограде всё не могла утихомириться, бушевала толпа…

Отец Флегонт очнулся от забытья, услышав весёлые голоса возвращающихся по тропе краем карьера в деревню молодиц, различил он в летних светлых сумерках и Савелия с брательником, которые, слегка пошатываясь, вышагивали по дороге к Городку и, оживлённо переговариваясь, видимо, очень довольные, хлопали друг друга по плечам.

— Господи, сколько ещё плоды-то пожинать… — с горечью вздохнул Одинцов и тут обмер сердцем, опять вспомнив о Василисе.

Он каждый вечер ездил на вокзал к приходу поезда: ещё неделю бы назад Василиса должна была вернуться из турпоездки в Питер, а всё ни слуху ни духу. Отец Флегонт дожидался, пока с перрона не разойдутся последние пассажиры, и, удручённый, возвращался. Хотел уж заявить в розыск, но удерживался, неудобно как-то: что люди в Городке подумают, какие сплетни поползут? Может, она у родни загостилась? Да примут ли её? Держи карман шире…

Всё этот её одноклассник, «новый русский», деда-дезертира которого наверняка приходилось в молодости в войну по лесам гонять! Вился вьюном возле Василиски, глазами ел и охмурил девчонку!.. Позор! И что ей ещё надо?! В гараже новенькая иномарка стоит в подарок: всем любопытным сказано, что Василиса выиграла главный приз на «Поле чудес», пусть и ухмылялись люди —

не видал что-то никто её в той телепередаче. Всё для неё — и что можно, и что нельзя! «Подниму Василису — вину свою искуплю!» — только эти слова в голове всё время и толклись.

Отец Флегонт, по-прежнему прижимаясь спиной к стволу липы, поднял глаза на сияющие в прощальных лучах солнца кресты на куполах храма: на блёкло-фиолетовом фоне вечернего неба они, казалось, трепетали, потом вдруг, теряя очертания, расплылись…

Кто-то бережно обнимал старика, целовал в щёки мокрыми горячими губами, знакомо шептал: «Деда, дедушка!»

«Василиса! Вернулась…» — тихой радостью ещё успело встрепенуться у старого священника сердце.

А в осветившемся, как ясным днём, проёме ворот церковной ограды он узрел идущего к нему навстречу владыку Ферапонта в чёрном одеянии и высоком клобуке…

8.

Дом остался Степану от отца недостроенный: две избы, передняя и задняя, громоздились под наспех закиданной дранкой крышей; крыльцо уже подгнило, да и сам дом стал заваливаться набок, когда сдал под ним тоже второпях залитый в осенние заморозки фундамент. Дом всё больше напоминал несуразный гриб со съехавшей шляпой.

Степану до поры всё было даром. Но потекла крыша — в дождь плошки по чердаку расставляй, и нужда-неволя кровлю менять заставила. Подвернулось по схожей цене железо; Степан нанял жестянщика, и «уповодками», между выпивкой, с крышей управились. Любуясь потом работой, Степан задумал и фундамент ленточный кругом завести, чтобы дом ровно, свечечкой, стоял. В руинах бывшего городковского собора, сначала — тюрьмы, а потом — мастерских, он выковыривал и потом, как каторжник, таскал на тачке тяжеленные прочные кирпичи; мать морщилась, крестилась втихую, но молчала. Отломал крыльцо — затеял ставить новую просторную веранду.

На работе Степан держался ещё крепко, денежки водились, а в редкий запой покрывал начальник, бывший одноклассник.

Дошли руки и до баньки. Он срубил её из свежего кругляка, сложил печь. Напарившись первый раз, настегавшись вдосталь берёзовым веником, едва живой, выбрался на приступок у дверей. От перегрева сжимало сердце; Степан жадно хватал ртом воздух, и тут его словно пристукнуло: «Для кого стараюсь-то? Мать старая, сам… — он прислушался к неровным толчкам в груди. — Приедет сестра из своей экспедиции, она же геолог-бродяга, загонит всё — и поминай как звали!»

С того Степан затосковал, всё опять стало валиться из рук, а там и с работы за пьянку вышибли.

Но дом стоял как игрушечка…

Ночевать к Симке Степан ходил украдкой, приноравливался, чтобы сестра её работала в ночную смену; другая уехала куда-то учиться. Соскучившись за пару дней, он жадно мял податливое, мягкое Симкино тело, и та отвечала взаимностью. Умаявшись, они ненадолго затихали, но под утро Симка неизменно, толкнув локтем как следует Степану в бок, садилась у окна и, нагая, белея, как печка, в полутьме, курила.

— Узнает кто про нас — удавлюсь сразу, к чёрту! — между затяжками Симка говорила отрывисто, зло. — Давай собирайся, уходи — не увидел бы кто!

Степан, всякий раз задавив обиду, вставал, одевался и скукоженную, дрожащую на сквозняке Симку даже не обнимал на прощание. Он старался побыстрей прошмыгнуть длинным барачным коридором, чтобы не столкнуться с кем-либо из жильцов, вывернувшим по нужде в общий туалет; под окнами пробегал, пригибаясь. И дома перед матерью приходилось комедию ломать, прикидываться, что с жуткого похмелья, а насчёт ночлега — отшибло память.

Уходя опять вечером к Симке, Степан хитрил, предполагая, что мать следит за ним, долго мотался по улочкам, кружил, дожидаясь темноты.

Симка ждала его, хоть и старалась скрыть это. Но все гости были выпровожены; она оставляла свет только в кухоньке с тщательно занавешенным окном. Поглядывала вроде б как с любопытством, глазки поблёскивали, а Степан выставлял на стол посудину — добыть нелегко, но старался, что-нибудь потихоньку от матери продав из дому.

Щёки Симкины розовели, Степан жадно сграбастывал её.

— Тише ты, дурачина… — Симка торопливо раскатывала тюфяк по полу: стенки в бараке как картонные, кашляни — и то слышно.

Однажды она, обнимая крепко Степана, с горечью прошептала:

— Ребёночка бы нам… Да нельзя — родня ведь! Говорят, урод будет, Бог накажет…

Вскоре Симка пропала; Степан узнал от сестры, что укатила она к подружке в дальнюю деревню. Он затосковал, дома не находил себе места, но, покрутившись возле Симкиного барака, не решался туда зайти: всякий раз Симку спрашивать — подозрительно.

Она сама нагрянула к нему. Матери, вот удача, не было, а Степан дотапливал баню…

Потом он, плеснув на каменку, захлёбываясь и обжигаясь паром, от души стегал веником растянувшуюся на полке и взвизгивающую Симку. Поменялись местами; и облепленная берёзовым листом Симка парила теперь Степана, но бережно и неторопливо.

Отдыхиваясь, они сидели впотьмах на приступке бани, предосенний воздух быстро охлаждал

разгорячённые тела; Симка придвинулась и прижалась к Степану.
— Я замуж, кажется, выхожу,— проговорила она не то смеясь, не то серьёзно.

Степан, вроде б как понимая шутки, ткнулся носом в её мокрое плечо и поцеловал.
— На самом деле! Не сидеть же век у окошечка и тебя поджидать.

Он слышал от сестёр, что у Симкиной подружки есть в деревне брат, то ли пастух, то ли конюх, тоже застарелый холостяк. За него, что ли?
— Замёрзла ты, ерунду и городишь! — Степан, ёжась от холода между лопатками и клацая зубами, потянул Симку обратно в жаркое нутро баньки…

Симка и вправду на другой день уехала в деревню и запропала… Степан порывался туда съездить, да не решился: скверно, назовёшься братом, а на уме другое.

Вот так и дождался её, когда уж прихватило первым морозцем землю, в реке между хрупких ледяных заберегов стыла тёмная, будто свинцовая, вода, а из низких серых туч в беспросветном небе сыпала часто снежная крупка. От Симки остро пахло деревней: скотным двором, печным чадом, кислой шерстью. И говорила она теперь только о корове, об овцах, о том, как тяжело обряжать полный двор скотины, таскать от колодца большущие вёдра воды; о том, что свекровушка больная и обряжуха неважная, а муженёк или сожитель — до свадьбы ли? — денег домой носит мало, но отпустил вот на пару деньков в Городок родню попроведать.

Заметив, что Степан от её россказней откровенно заскучал, Симка, ткнувшись губами ему в макушку и вздохнув, начала раздеваться. Увидев выпирающий её живот с выпяченным синим пупком, Степан округлил глаза.
— Мы когда с тобой в бане мылись, я уж беременная была,— созналась Симка.— Своего-то сейчас до себя не допускаю, а тебя…

Симкина кожа в слабо протопленной избе покрылась пупырышками; Степан, простонав, накинул Симке на плечи полушубок и, выбежав на улицу, подставил пыхнувшее огнём лицо секущей снежной крупе…

Запил он страшно, до синих чёртиков и чёрных карликов. Поволок всё из дому на продажу; мать было воспротивилась, да куда там — Степан в пьяной ярости отца оказался пострашнее. Мать, как в прежние времена при покойном ныне муже, сиганула однажды с перепугу в окошко. Или Степану это померещилось? Он, лёжа без сил на полу под распахнутым окном, изрядно подзамёрз и, кое-как поднявшись, закрыл створки рамы. На воле белым-бело — глаза режет! Что-то часто блазнить стало в последние дни. Или просто «гляделки» болят? Из чёртиков и карликов сегодня появился только один, со знакомым обличьем и подбитым глазом.
— Да что ты, брат! Очухайся!

Савва!
— Ну и вонь! — Савва покосился на лужу блевотины под умывальником.— Пойдём-ка на волю, а то у тебя тут «крыша» запросто съедет!

Потянул тёплый ветер, снежок быстро истаивал, асфальтовая разбитая дорожка вдоль речного берега мокро блестела, с голых, с распяленными в вечернем небе сучьями деревьев срывались хлёсткие капли. Ёжась, брательники подошли к воде: на поверхности колышущейся незамёрзшей стремнины отражались огни фонарей, окружающих обкорнанное, без куполов, здание заброшенного храма на другом берегу.

Савва посмотрел, куда бы присесть, облюбовал ствол подмытого ещё весенним паводком дерева. Степан, притулясь рядышком, стал рассказывать брательнику и про Симку, и про себя, сипя от спазмов в горле, размазывая по лицу слёзы и не заботясь нисколько — понимает его Савва или нет.

Тот не судил и не сочувствовал:
— Ты, брат, забудь теперь побыстрей обо всём, не рви себя понапрасну… И женись-ка на сестре твоего друга Иосифа. Подружка детства твоя, сам рассказывал. Видел бы ты, какими глазами она тебя тогда, летом, провожала, если б оглянулся!
— Так Танька же… не баба уж, инвалид!
— Человек. А один ты пропадёшь. Думай!..

Савва вздохнул, потрогал всё больше наливающийся синяк под глазом.
— Не повезло вот тоже. Слава Богу, ноги вовремя унёс… Приехал сюда — и дай, думаю, до тебя Лерку проведаю. «Запал» я что-то на неё, серьёзно, всё о ней вспоминал. А там шалманище пьяное, двое или трое у́рок сидят. Я пру с дуру, а Лерка делает вид, что не узнаёт такого: ошибся, мол, гражданин номером. Я сразу, дурак, не сообразил, что к чему… Спасибо Лерке — ухорезов тех кое-как в дверях задержала, убежать мне дала… Видно, долго, брат, бродить мне неприкаянному. Прав старик Флегонт: Бога не обманешь!

Савва поднялся, оскальзываясь по берегу, выбрался на дорожку и запел:

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи…

Степан заторопился за ним следом, всё ещё всхлипывая, попытался подтянуть.

Песня разносилась над подёрнутой хрупким ледяным панцирем рекой и гасла в шуме незамерзающей стремнины, где всё ещё отражались пляшущие огни на перевёрнутом обкорнанном храме.

Людмила Брагина

Домик у бассейна

В сто сорок солнц закат пылал,
в июль катилось лето,
была жара,
жара плыла —
на даче было это.
В. Маяковский

— Тётя Рая со Светой на следующей неделе поедут отдыхать в Кисловодск, а нас попросили приглядеть за дачей, — сообщила мама, вернувшись вечером с работы.

Лида немного расстроилась, но вскоре успокоилась. Ей сначала тоже захотелось поехать в Кисловодск или хотя бы куда-нибудь, но у мамы в этом году отпуск будет только осенью. Потом решила: раз уж на её каникулы никто не покушается, то иногда можно и съездить помочь на даче.

Да и, по правде сказать, на тётиной даче было гораздо интереснее, чем на их с мамой. Во-первых, там был домик. Небольшой, но двухэтажный, из белого кирпича. На первом этаже находилась кухонька, она же и столовая, и гостиная, в углу которой хранился весь необходимый шанцевый инструмент: лопаты, вилы, тяпки и прочий садово-огородный инвентарь. В полу был люк, и если его поднять и осторожно спуститься по деревянной лестнице в тёмный и прохладный погреб, то там для Лиды была главная радость — две дубовых бочки с солёными помидорами и огурцами.

Бабушка квасила их так, как будто исполняла магический ритуал. Подготовка начиналась ещё в конце зимы, когда бабушка проверяла и подтягивала обручи на бочках. Бочки были старые, тёмные, ароматные. Весной она наполняла их водой, и они стояли, набираясь влаги. Когда поспевали помидоры, бабушка высчитывала по луне правильный день, творила молитву и приступала к священнодействию засольщицы: сливала воду, нагревала на костре чайник и окатывала бочки крутым кипятком. Затем выбирала самые красивые, спелые, мясистые плоды, перекладывала их листьями чёрной смородины, вишни, зонтиками укропа, молодым чесноком и мятой. Чтобы меньше было плесени, сверху посыпала горчичными зёрнами и клала хреновый листик, а потом придавливала круглым деревянным гнётом.

Лида была готова бегать вниз-вверх по шаткой лестнице с эмалированной миской и ложкой — «на пробу» — по несколько раз на дню, а то и вообще не вылезать из погреба. Там, возле бочек, а то иногда и сверху на одной из них, жила лягушка. Пучеглазая, зеленовато-буренькая с коричневыми пятнышками. И тётя, и мама постоянно хватались за сердце и впадали в панику, когда её обнаруживали. Мама вспоминала, как ещё в детстве она от кого-то слышала, что есть такие лягушки, которые вцепляются в лицо ядовитыми зубами, и от их яда нет спасения. Бабушка с весёлыми искорками в глазах неизменно их успокаивала:
— То в Америке такие лягушки, а от наших только бородавки, не бойтесь!

А квакушка никого не боялась, смотрела прямо и весело. Ловила мух и комаров, за что бабушка её хвалила, а Лида осторожно гладила по гладкой, блестящей и нежной спинке и тихонько подбадривала:
— Скоро ты станешь царевной, не грусти тут в темнице, лягушка. Придёт Иван-царевич, поцелует тебя, и ты сбросишь свою шкурку, наденешь платье подвенечное, и поедете в загс. А там для вас сыграют марш Мендельсона, он очень красивый.

И Лида вполголоса напевала мелодию, а будущая царевна внимательно слушала, а иногда звонко и радостно подхватывала.

Через месяц помидоры в бочке становились ярче и прозрачнее, разбухая от брожения внутри кисло-солёного ядрёного сока. При надкусе они взрывались мелкими газированными пузырьками под кожицей. И вкус у них был волшебный.

На втором этаже, под самой крышей, находилась маленькая спаленка. Здесь помещались кровать и стол, радующий глаз весёленькой клеёнкой с цветущими ромашками. Но подушки и одеяла на кровати уже давно были насквозь пропитаны пылью, и, сколько их ни выбивай и ни вытряхивай, лежать на них не хотелось.

Любе нравилось обозревать из мансардного окошка все достопримечательности усадебного хозяйства: кучу досок и несколько брёвен для какого-то строительства, небольшой плёночный парник для огурцов, ровные грядки со светло-зелёными кудряшками морковки, острыми пёрышками молодого лука, компактную плантацию

клубники, где под лопоухими листьями прятались яркие огоньки сладких ягод, рядочки кустов смородины, малины и ежевики.

Тётя Рая часто ездила в командировки по всей стране, и откуда бы она ни возвращалась, обязательно привозила какие-нибудь саженцы, усики, прутики, корешки и семена новых сортов. С курортов привозились и вовсе экзотические, заморские диковинки. Лида узнавала новые слова и, пробуя на вкус очередной выращенный маминой сестрой артишок, синий картофель или огурдыню, каждый раз загадывала новое желание.

На семи сотках развернуться мичуринским планам тёти было очень трудно, поэтому весной она давала волю своему творческому началу: заранее договаривалась с соседями — уж неизвестно, по какому курсу они обменивались веточками понравившихся сортов, — и делала прививки. Так, у неё на простенькой сливе-угорке вызревали фиолетово-синие, красные и жёлтые сочные и сладкие плоды, на яблонях желтели и наливались соком груши, а на алыче красовались бархатными бочка́ми золотистые абрикосы. Ухаживала она за ними трепетно, каждый раз заботливо обсматривая каждый кустик, каждое деревце, как первоклассника перед отправкой в школу.

Путь от остановки до дачи представлял собой спуск с одного склона оврага и подъём на другой. В низине журчал небольшой, обложенный камнями источник. Возле него всегда собирались дачники — отдохнуть, поговорить и набрать в бутылки и прочие ёмкости вкусную студёную воду. За полчаса дороги и остановки у родника тётя Рая успевала обсудить с владельцами других участков все заводские новости, тонкости ухода за своими зелёными любимцами, попробовать урожай, принять приглашение и потом заглянуть в гости.

Если они приезжали вдвоём со Светой, то возвращались в город уже на последнем автобусе, в летних сумерках. К растениям сестра Лиды относилась гораздо спокойнее. Её увлекали общение и внимание, особенно со стороны сильной половины дачного сообщества. Но и сама Света обожала кокетничать и производить театральные эффекты.

В зависимости от настроения и погоды, она придумывала себе роли и проигрывала их, испытывая соседей — сварщиков, литейщиков и сталеваров — на прочность. Она являлась перед ними то в романтическом образе барышни-крестьянки, прогуливаясь в лёгком ситцевом сарафанчике и соломенной шляпе, с букетом полевых цветов, которые собирала по дороге, то в хэбэшном камуфляжном костюме, чёрных ботинках, с кроваво-алой помадой на губах и пристрелянным взглядом милитаристки. Голова у неё была гордо поднята, спина выпрямлена, достоинства — хоть отбавляй, и когда она начинала что-то говорить, просто, доверительно и непринуждённо, это воспринималось как милость королевской особы.

Парни-работяги шалели, таращились, чувствуя себя избранными, и наперебой угощали её дарами садов и огородов, выращенными их крепкими, трудовыми руками. Света на глазах у них томно надкусывала яблоко или сливу и благодарила заботливых мичуринцев за угощение самой искренней улыбкой.

Сестра была старше на восемь лет, но Лида помнила, как бурно они ругались и даже дрались в детстве. Уже будучи девушкой на выданье, она могла сколько угодно строить глазки, шутить и улыбаться, но Лида знала, как выглядит скандал в Светкином исполнении, и не желала никому из её доверчивых ухажёров стать участниками этой греческой трагедии.

В субботу мама разбудила Лиду пораньше:

— Пока не жарко, быстренько позавтракаем и поедем, там сегодня поливочный день!

Лида, спросонья ещё не разобрав, куда они поедут, радостно побежала умываться, и только выйдя из ванной, сообразила, что на тётину дачу.

В семь они уже стояли на остановке. Людей было ещё немного, утро золотилось первыми лучами, и настроение у обеих было бодрое. Ехать предстояло сначала в центр города до стадиона, потом нужно было спуститься в подземный переход и перейти через дорогу, пройти один квартал вниз, повернуть на другую улицу и уже там ждать дачного автобуса, который ходил по времени. Если ничего не нарушалось в этом алгоритме, то они добирались до участка за полтора часа, а если забежать в магазин и купить что-то поесть, то и больше. На этот раз мама ещё с вечера сварила пару яиц, положила в сумку четвертушку чёрного хлеба, а всё остальное добудем на грядке, сказала она. Лиде было поручено нести небольшое пластмассовое ведёрко и фляжку для воды.

Автобус подъехал уже заполненный, но народ на остановке оголтело ринулся к дверям. На некоторых пригородных маршрутах Лида видела аккуратные очереди, где люди спокойно дожидаются, а потом заходят и рассаживаются в салоне. Но здесь всегда царили нездоровый ажиотаж и неразбериха. Ещё пять минут назад они были женщинами и мужчинами, дедушками и бабушками, но как только перед ними распахивались двери автобуса, сразу превращались в оголтелую толпу, безудержно рвущуюся вперёд, как будто за дверями был рай или коммунизм.

Ехать пришлось стоя, было душно, жарко, Лида попросила рядом стоящего мужчину открыть люк. Но как только в переполненный автобус проникла струйка живительного воздуха, со всех концов раздались истошные крики сидящих старух:

— Закройте, сквозняк! Ребёнка продует! Застудил нас насмерть!

Им отвечали рассерженные пассажиры помоложе:
— Невозможно ж ехать в такой душегубке! Тулуп с собой возите, если вам холодно!

Одна бабка послала своего великовозрастного, провонявшегося насквозь табаком «ребёнка» закрыть опасный для её жизни люк, и пока тот продирался к нему по проходу, ему оторвали карман брюк, двинули, как бы случайно, локтем по рёбрам — ну да чего не бывает в такой давке.

Уже почти у цели ему загородил проход мужчина, тот, что открывал:
— Ты чё тут руки тянешь? Пошёл отсюда!

«Закрыватель» зло огрызнулся и попытался сдвинуть его плечом:
— А ты здесь чего хозяина строишь?

Снова завязалась склока с небольшой потасовкой, взбудоражившая бóльшую половину пассажиров, которые напрочь отказывались следовать поговорке «в тесноте, да не в обиде». Хотя, конечно, полноценно подраться не получилось именно из-за тесноты. Так и не выполнив бабкин наказ, великовозрастное дитя позорно полезло назад, ожесточённо толкаясь и наступая на ноги.

Когда Лида с мамой вышли из автобуса, то обе были потные, помятые и сильно уставшие. Спускаясь вниз, мама долго не могла успокоиться:
— Как из сумасшедшего дома вырвались! Неужели нельзя как-то мирно договариваться? И что за люди такие?

Посмотрела на Лиду и ахнула:
— А где же ведёрко?!

В руке Лида сжимала одну ручку, а ведро оторвалось и осталось в уехавшем автобусе.
— Ну, хоть фляжка осталась, и то хорошо. А ведро там найдём.

У родника остановились, Лида отвинтила крышку алюминиевой фляжки, присела на корточки и подставила горлышко под журчащую серебристую струйку. Пока набирала, почувствовала, как пересохли губы и рот, а язык приклеился к нёбу. Она поднесла фляжку к губам и наслаждалась вкусной, ледяной ключевой водой, пока не заломило зубы.
— Не спеши, не глотай сразу, во рту подержи, пей маленькими глоточками! — беспокоилась и суетилась мама. — Ты же простудишься! Ну-ка отдай сюда!

Лида протянула ей фляжку, а сама подставила под желобок ладони, набрала пригоршню воды и подбросила вверх! Капельки ярко заискрились на солнце и пролились им на лица весёлым, коротким, бодрящим дождиком.

Подъём был довольно крутым. Справа и слева на небольших зелёных делянках уже трудились их счастливые владельцы, приехавшие ещё раньше на собственном транспорте или оставшиеся с пятницы с ночёвкой. Где-то вдалеке приглушённо раздавался короткий визг бензопилы, в утреннем мареве струился тонкий сиреневый дымок — предвестник шашлыков, у кого-то из приёмника задушевно и сладкоголосо пел Юрий Антонов: «Море, море, мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных. Над тобой встают, как зори, нашей юности надежды…» Сердце у Лиды подхватило мотив и щемяще заныло.
— Надо лучок прополоть, а то пырей его задушит; клубничка вон ушки повесила, надо собрать ягоды и полить; пойди посмотри, поспела ли смородинка и крыжовничек, проверь… — как из рога изобилия посыпались пункты плана «приглядеть за дачей».

Через пару часов Лида выдохлась и присела на брёвнышко.
— Устала? — крикнула с другого конца участка мама. — Возьми в домике табуретку или там посиди! Отдохнёшь — будем помидорчики подвязывать!

В домике было душновато, пыльно и пахло мышиным помётом. Можно было, конечно, вымыть полы и окна, выбить подушки и вытряхнуть покрывала, распахнуть настежь двери, но прямо сейчас сил на это не было. Поэтому Лида кивнула, продолжая сидеть на месте и размышлять на свою любимую и неисчерпаемую тему, в которой хотела разобраться, — странностей устройства жизни.

Как-то по телевизору показали передачу о дачах, где жили разные знаменитые писатели. Ведущий рассказывал, что даже само слово «дача» — древнее, русское и непереводимое на другие языки. Ещё в семнадцатом веке государство давало именитым людям, в основном и так не бедным, участки земли недалеко от города.

У многих русских классиков встречается какое-нибудь да упоминание: у Пушкина «гости съезжались на дачу», у Куприна выкрашенный в цвет надежды «маленький уютный зелёный домик в пять комнат, с большой террасой и чудесными тополями вокруг», у Достоевского дача Лебедева «была небольшая, но удобная и даже красивая», а «дача Епанчиных была роскошная, во вкусе швейцарской хижины, изящно убранная со всех сторон цветами и листьями».

«А тут даже лавочки обычной нет», — печально вздохнула Лида.

А как увлекательно-заманчиво проводят жизнь на дачах чеховские персонажи! Да и у самогó любимого и уважаемого ею писателя было три дачи. Однако в Мелихово он не только писал рассказы и пьесы, но принимал и лечил там крестьян, да ещё и бесплатно. Вот какой действительно достойный человек!

Но то давно было, при царизме. А сейчас показывают эти двухэтажные красивые дома знаменитых и не очень ныне живущих писателей, которыми наделило их советское государство, и Лиде грустно. Потому что многих из них читать можно только под страхом расстрела. А попытка переложить в голове прочитанное на окружающую

реальность вызывает у неё внутренний конфликт и отторжение.

Дачные прелести и развлечения знакомы ей с пяти лет. Она помнит тот странный вечер и долгие взволнованные мамины и бабушкины разговоры на кухне, в которые она не вслушивалась. Лида знала, что завтра выходной, она ждала его и очень хотела уговорить маму пойти в парк, на любимую карусель с лошадками и оленями, потом вместе подойти и посмотреть поближе на колесо обозрения, на котором кататься ей пока не разрешали, а ещё попросить купить вкусную сахарную вату или красный леденцовый петушок на деревянной палочке…

Вместо этого они с мамой и бабушкой утром сели в автобус и ехали куда-то так долго, что Лиду укачало и она уснула. А потом, когда мама разбудила её и они вышли, то оказались в незнакомом месте, где все дома были низенькие, маленькие, в два-три окошка. За заборами кое-где лаяли собаки. Они шли по серой асфальтовой дороге. Потом дорога кончилась, и дома кончились, и началась тропинка, а вокруг — зелёный-презелёный луг и чистое небо. Лида никогда не видела столько неба, столько простора, ей захотелось полететь легко, как пушинка. Она однажды летала во сне, и это было так приятно. А если попробовать разбежаться, оттолкнуться — вдруг получится?..

— Дай руку, а то ты на дорожку совсем не смотришь, споткнёшься и упадёшь. Скоро уже придём, — мама переложила в другую руку что-то длинное, завёрнутое в мешок и завязанное верёвкой.

Они двинулись по тропинке между высокой травой и зарослями кустарников. Следом поспешала бабушка короткими и быстрыми шагами, и Лиде казалось, что сзади шуршит ёжик.

Они сошли с тропинки и прошли ещё немного, осторожно ступая по каким-то колючкам, оглядываясь по сторонам и что-то высматривая на земле.

— Кажется, здесь, — сказала мама и показала на вбитый в землю колышек с деревянной табличкой, на которой что-то было написано.

От него тянулась тонкая верёвка к другому колышку подальше.

— Ждали, ждали и дождались… И за то спасибо, что ровненько. Господи, помоги в час добрый!

Бабушка перекрестилась, поставила на землю сумки, развязала поклажу и постелила на траву два освободившихся мешка.

— Садись, Лидуся, отдохнём и начнём хозяйничать. Это всё теперь наше.

— Что наше? — Лида смотрела по сторонам, растерянно моргала глазами и не понимала.

— Дача. Дали нам земличку. А это — ценный инструмент, которым мы будем её обрабатывать. Вот это — лопата…

— У меня такая же была, только маленькая, я ею песочек копала и в ведро насыпала.

— Ты ж моя умничка! И тут будешь копать и нам помогать! — заулыбалась бабушка и продолжила знакомить внучку с орудиями труда: — Вот это — тяпка, ею травку пропалывают. А это топор.

Лида сразу вспомнила песенку из любимого мультика про бременских музыкантов, оживилась и развеселилась:

— Ба, мы будем разбойниками? Вот здорово!

— Да что ты такое говоришь? Почему?

— Ну как почему? «Работники ножа и топора» — ты разве не знаешь? — и, стараясь, чтобы было похоже, затянула с надрывом: — «Пусть нету ни кола и ни двора…»

Подошла мама и, глядя на бабушку, покачала головой:

— Мы сюда что, песни петь приехали? Работа сама себя не сделает.

— Так мы работу с песни и начали! Под песню и работать веселее. Лидочка, можешь походить, наши угодья посмотреть, только за верёвочку не выходи, а мы тем временем делом займёмся.

Бабушка с мамой взяли инструменты и стали осваивать целину.

Лида побродила по участку, цветов особо никаких не нашла, обнаружила несколько высоких тёмно-зелёных кустиков с нарядными, бархатистыми, острыми листьями. Она протянула к ним руку и тут же почувствовала резкую боль, как от ожога.

— Ай, меня кто-то укусил! — заплакала Лида.

Бабушка бросила лопату, подбежала и сразу всё поняла:

— Ой, да чего ж ты её трогала? Это ж крапива!

Она плеснула из бутылочки холодной водой на Лидину ладошку и подула:

— Не плачь, моё сердечко, скоро пройдёт! А мы из этой кусаки суп сварим!

Лида села на мешки и стала смотреть, как бабушка с усилием вгоняет ногой лопату в землю, потом поддевает и переворачивает ком земли, из которого торчат стебельки и корешки растений. Она наклоняется, выбирает их и выкидывает подальше в кучу. Мама, в белой косынке, склонилась и тяпкой рубит и рубит траву, но её всё равно вокруг целое море.

Лида услышала тоненький писк и почувствовала, как ей на щёку сел комар. Она хлопнула себя по лицу. Покружившись и попищав, комар перелетел на коленку. И только Лида прицелилась, подведя к щеке ладонь, чтобы его пристукнуть, как такое же серое и противное насекомое укусило её за плечо, которое сразу зачесалось.

Лида сидела нахохленная, сердитая, про неё как будто все забыли.

— Ма-ам, а когда же мы домой пойдём?

— А что такое, Лидочка?

— Не нравится мне эта дача. Я домой хочу.
— Не капризничай. Видишь, сколько нужно ещё сделать? Мы же только начали.
— Так мы весь день до вечера тут будем! Дай мне тяпку, я вам сейчас эту траву всю…

Лида решительно вскочила, выхватила у мамы тяпку, размахнулась и со всего маху рубанула себе по ступне чуть выше пальцев.

Сначала было немного больно, а потом горячо. Мамино лицо побелело, и она смотрела на дочь с таким ужасом в глазах, какого Лида раньше никогда не видела. Она чувствовала, как из рубленой ранки бежит кровь, и вскоре её набралась полная туфелька.
— Ой ты ж, горе моё, да что ж это за наказание! — бабушка в одну секунду сорвала какой-то листик, промыла водой и подбежала к Лиде. — Давай ножку сюда! Сейчас подорожник всё полечит!

Повернулась к маме:
— А ты что стоишь? Дай чем замотать рану.

И мама отживела, мигом стащила с головы косынку и оторвала несколько полосок, которыми забинтовали пострадавшую ногу.
— Посидите пока вдвоём, а я закопаю инструмент. Надо поглубже вырыть канавку и хорошо присыпать, а то доброму вору всё впору. Вот что в голове было — ребёнку тяпку доверить? Как ты ей топор не дала?!

А Лида сидела на коленях у мамы, прижавшись лицом к родному плечу, и ей было жалко-жалко, что она так сильно из-за неё испугалась, а бабушка её ещё и ругает.

Нога со временем зажила, но Лиду пока не брали на дачу, оставляли на выходных с тётей и сестрой. Всю осень и зиму мама с бабушкой запасались семенами, обсуждали, что и где они посадят.

После снежной зимы наступила затяжная весна, снег таял медленно, и земля благодарно напитывалась живительной влагой. А в конце апреля установились сухие, солнечные дни, и земля прогрелась. И бабушка сказала:
— Теперь пора! В выходные все вместе поедем сажать картошку.

Оглядев личный состав, бабушка пошутила:
— Женский батальон прибыл!

И начала раздавать «оружие» и показывать «плацдарм». Работа нашлась всем: бабушка размечала каждую грядку верёвочкой и двумя колышками, мама с тётей копали, Светка ножиком резала картошку, а Лиде дали маленькую железную кружку, которой она черпала из большого ведра золу и высыпала в лунку. Она старалась никого не задерживать, быстро набирала кружку, высыпала и снова бежала, даже вспотела от усердия. Бабушка подошла и тихонько её поправила:
— Надо ниже наклоняться и сыпать на картошечку аккуратно, а то мы уже все как золушки, и не видать нам принцев никогда!

Лида потёрла лоб ладошкой и вздохнула: «Принцев надо искать на балу. Зачем мы на дачу приехали?..»

Совсем скоро картошка проклюнулась светлыми ушастыми росточками, а ещё через время превратилась в крепенькие зелёные кустики. Лида ходила между рядочками и радовалась, что тоже участвует в таком интересном деле. Бабушка с мамой сказали, что для хорошего урожая всходы нужно окучить. Они взяли тяпки и стали нагребать невысокие аккуратные холмики вокруг кустов. А её усадили ждать на расстеленное поверх кучи высохшей травы покрывало. Лида сидела и не могла ничем заняться, с тревогой смотрела на равномерные взмахи их рук и боялась, чтобы ни мама, ни бабушка не поранились, как она прошлым летом. И когда они закончили работу и подошли к ней выпить воды, она почувствовала, что тоже очень устала.

В следующий их приезд Лида первая обнаружила, что вместо красивых ветвистых растений на грядке кое-где торчат обгрызенные кочерыжки, а на других кустах сидят пузатые полосатые жуки и жирные красные личинки.
— Ой, Боже, у нас даже в войну такого не было! — запричитала бабушка, взявшись за голову. — Что ж это за нападение?.. Прямо полчища их здесь! Пешком ходят!

Мама поставила сумки и побежала по меже к соседям. У них была паника и такие же «гости», которые безостановочно вгрызались в картофельную ботву и пожирали листик за листиком буквально на глазах.
— Всё, останутся теперь рожки да ножки от нашей картошки! И до нас добрался колорадос! — предрёк ещё один подошедший сосед. — Это такая американская гадость, для картошки хуже саранчи! Я читал, что его ни мороз не берёт, ни яды, только огонь!

Мама вернулась расстроенная и потерянным голосом рассказала, что увидела и услышала. Бабушка тут же всплеснула руками:
— Ну, я так и знала, что это американские жуки! Никогда от них ничего хорошего никому не было! Ох, чтоб они к ним назад вернулись!

И бабушка схватила сумку, вытащила из неё газету и стала рвать её на куски. Потом каждый накрутила на руку, свернула конусом, и получилось три кулька.
— Сначала жуков пособираем, а потом вся другая работа. Надо спасать картошку от этих супостатов!

Лида скривилась:
— Я боюсь их. Они противные.
— Ещё какие противные! Мы для этой картошечки сколько старались: сажали, пололи, окучивали! Она, бедная, к солнышку тянется, а они ей все веточки пообгрызали!

Мама наклонила макушку кустика и встряхнула над кулёчком:

— Можно и вот так, Лидочка. Соберём жуков, и будет у нас картошечка расти и радоваться.

Лида тихо кивнула и, сжав зубы, пошла вдоль рядочка, наклоняясь к каждому кустику. Когда кулёк наполнился копошащимися пёстрыми насекомыми, молча отдала бабушке.

Спустя десять лет Лида не может вспомнить ни одного случая, о котором можно было бы сказать: «приехали на дачу отдохнуть». Всегда одно и то же: рук не хватает, рассиживаться некогда, всё важно, срочно и одновременно. Ну и бегом назад, чтобы не опоздать на автобус! Да и какая это дача: грядки огурцов, помидоров, свёклы, моркови, картошки, кабачков, гороха, фасоли и кукурузы, вперемешку с деревьями и кустами,— только и остаётся прыгать между ними пушкинской белкой и петь тоненьким голосочком: «Во саду ли, в огороде…»

Однажды в магазине «Спорттовары» Лида увидела белый верёвочный гамак и с восторгом повернулась к маме:

— Давай купим! Это же идеальная вещь для дачи!

Мама непонимающе уставилась на гамак:

— Зачем он нам?

— Как зачем? Сидеть, лежать, качаться! Вы с бабушкой постоянно устаёте, столько раз говорили: то спина болит, то поясница не разгибается,— а в гамаке можно полежать, отдохнуть на свежем воздухе!

— Если на дачу приезжать лежать, над нами весь завод смеяться будет. На даче трудиться надо, а лежать дома.

Потом про «новую идею» мама рассказала бабушке, и они ещё долго посмеивались и пожимали плечами, искренне удивляясь, как такое могло прийти в Лидину голову.

Со временем у Лиды появилась ещё одна задумка, даже больше — заветная мечта, о которой она никому не говорила, наученная первым неудачным опытом с гамаком. Она терпеливо ждала своего часа, чтобы осуществить, казалось бы, утопическую и недостижимую мечту. И вот сегодня, упыхавшись в жаркий день на грядках и переводя дух на брёвнышке, Лида вдруг почувствовала, что именно здесь и сейчас пришло время воплотить её в жизнь.

На даче должен быть бассейн.

Его необходимость была очевидной и очень заманчивой.

Лида ослепительно-ярко представляла, какой прекрасной была бы тогда жизнь.

Вот ранним утром она выскакивает из сонного домика, бежит босиком по росистой дорожке, с разбега прыгает в бассейн, фыркая от удовольствия и свежести брызг, потом растирается махровым полотенцем, набираясь сил и бодрости на весь день.

В полдень, ударно потрудившись, неспешно окунается в прогретую воду, чтобы смыть пыль, пот и усталость.

Вечером умиротворённо и безмятежно она плещется в оранжевых тёплых лучах закатного солнца, льющихся сквозь кроны деревьев, среди текучих прозрачных теней постепенно расслабляясь и готовясь к сну.

А ночью можно будет подойти к маленькому окошку и любоваться отражением месяца и звёзд в тёмном водяном зеркальце.

А когда её на даче не будет, всей этой роскошью смогут наслаждаться тётя Рая и Светка.

Выстроить на шести сотках воздушный замок было более реальной задачей, чем бассейн. Но Лида, как истинный Водолей, а в душе определённо русалка, что называется, поймала волну, и перед ней открылся ясный и прямой путь. Она встала, крикнула маме:

— Сейчас приду! — и вышла за калитку.

Пройдя несколько участков по узкой дачной улочке, она остановилась возле невысокого, но добротного заборчика, выкрашенного в одуванчиково-жёлтый цвет, приподнялась на цыпочки и заглянула, чтобы узнать, тут ли хозяева.

Прямо перед ней внезапно выросла фигура крепкого парня в выцветшей на солнце тельняшке:

— А кто тут зырит, что потырить?

Лида от неожиданности ойкнула и попятилась назад.

— Лида, привет! Ты чего так пугаешься, правда, что ли? — на его скуластом загорелом лице блестели глаза, зубы и пот на лбу.— Заходи,— он распахнул калитку,— посмотришь, чё я тут развёл на шестнадцати аршинах. Сейчас, только фэйс сполосну.

Он подошёл к металлическому рукомойнику, который был прикручен проволокой к стволу дерева. Сосед нажал на носик аппарата, и вода тонкой струйкой потекла в его широкие мозолистые ладони, сложенные лодочкой. Он плеснул холоднячку себе в разгорячённое лицо и за шею, а потом вытерся чистым вафельным полотенцем.

У Лиды на даче тоже был рукомойник, только синий, пластмассовый. Они с бабушкой купили его в хозяйственном магазине. Но этот так весело сиял, бликуя от лучей, особенно круглая пимпочка на крышке, что напомнил Лиде весёлого румяного человечка в шапке с помпоном. Ей захотелось улыбнуться ему в ответ.

Хозяин заметил это и похвастался:

— Сам сварил в цеху!

Полюбовавшись на произведение мастера и сделав комплимент его золотым рукам, Лида решила перейти сразу к делу.

— Серёжа, я к тебе по очень важному делу.

— Давай садись вот сюда, рассказывай.

Они подошли к небольшому домику, где на террасе стояли плетённый из лозы круглый столик и два таких же кресла.

— Ну, во-первых, тебе привет от Светочки.

Лида знала, что Сергей всегда с особой симпатией относился к её сестре, и несколько раз видела, как он помогал ей донести до автобуса сумки или вёдра. А когда был за рулём своего мощного, блестящего зелёного «Урала»—подвозил. Посадив в коляску и заботливо укрыв брезентовым тентом тётю Раю, он давал Свете второй шлем и, не сводя с неё блестящих глаз, решительно и весело командовал: «Держись за меня покрепче!»

Вот и сейчас он сразу он начал жмуриться, как кот на солнышке, а Лида вдохновенно продолжила:
— Тёте Рае дали путёвку в санаторий, и Светочка поехала её сопровождать в Кисловодск.

Серёгино лицо накрыло тенью набежавшего облачка.
— Но они скоро вернутся, отдохнувшие, поздоровевшие, загоревшие…

Солнышко снова выглянуло.
— Путёвку им дали горящую, прямо очень срочно нужно было ехать, Светочка так хотела сама зайти…

Парень по-щенячьи склонил коротко стриженную голову набок:
— Попрощаться?
— Да, конечно! Так расстроилась, что не получилось! А ещё просила помочь им на даче.
— Не проблема. Что нужно?
— Очень даже проблема. Это ты на русского богатыря похож, а Светочка, как тростинка, тонкая, хрупкая, да и тётя Рая тоже вот приболела. Вырыть небольшую яму надо. Я покажу где. Светлана будет очень, очень благодарна!

Лида до глубины души прониклась своим вымыслом. Она порывисто прижала ладошки к груди, с восторгом глядя соседу прямо в глаза.
— Сейчас прикину, чтобы всё у нас срослось,— Серёга потёр рукой подбородок и уверенно кивнул:—Через час.
— Сегодня?! Класс! А точно получится?
— Сказал—как сваркой отрезал! Готовьте лопату.

Ликующая Лида прибежала на участок и, стараясь придать себе самый спокойный вид, подошла к маме.
— Встретила Светкиного Сергея, того, что на мотоцикле ездит,—Лида махнула рукой в сторону, где только что была.—Он сказал, что через час зайдёт. Тётя Рая вроде просила его какую-то яму тут выкопать.
— А что ж она мне ничего не сказала? Какую яму?
— Не успела, наверное, замоталась. Им виднее, какую яму. Потом спросишь, как приедут. Главное, что мы тут. Что нам ещё осталось сделать?
— Давай помидорчики подвяжем, их тут хоть и немного, но одной неудобно. Вот тебе колышки, втыкай в землю, только, смотри, подальше от корешков, чтоб не повредить. А я буду верёвкой стволики подвязывать.

Как только они закончили и мама ушла за чем-то в домик, Лида быстро схватила четыре колышка и, сверившись со своими идеальными размерами, давно просчитанными в её воображении, воткнула их по четырём углам будущего бассейна, чуть левее от входа. И тут появился Сергей: в лихо повязанной на голове бандане, с голым торсом и со своей сверкающей наточенными острыми краями лопатой.

Лиде сразу представилось, как он, в чёрной кожаной жилетке, наклонившись вперёд, крепко сжимает коленями стальные бока своего байка, его правая ладонь уверенно лежит на рукояти газа, легко придерживая лапку тормоза одним пальцем, и его стальной конь послушен малейшему движению хозяина…
— Ну, генподрядчик, показывай, где чего копать,— улыбаясь и красуясь рельефными мускулами, вызвался ничего не подозревающий «исполнитель».

Лида про себя тихонечко усмехнулась.
— Вот здесь, Серёжа, и без тебя никак…

И она показала на огороженный колышками прямоугольный кусок земли.

Сергей присвистнул и вытаращил на неё серые глаза, отчего «Харлей-Дэвидсон» под ним в один миг преобразовался в печку, а сам он стал похож на сказочного Емелю.
— Да тут три на четыре! Как фотка на пропуске, только в метрах! А глубина какая?
— А глубина постепенная, чтобы на том конце мне по плечи было.
— Я не понял: это что, братская могила?
— Нет, Серёжа, это будет бассейн. Можно будет поработать и отдохнуть, поплавать. А вот тут,— плавно обведя рукой площадку рядышком, показала Лида,—расстелить большой плед и позагорать…

Серёга коротко выдохнул, поплевал на ладони и с силой вогнал лопату на штык в землю.

Через пару часов он весь взмок, покраснел и пыхтел, но упорно продолжал углублять прямоугольник, вгрызаясь в землю с настойчивостью роты стройбата. С двух сторон ямы уже возвышались аккуратные, довольно высокие холмики земли. Время от времени Сергей останавливался, прищуривался, а потом выверенными движениями быстро срезал лезвием лопаты неровности грунта, ровняя края стен ямы как по линейке. Мама глядела на него попеременно с ужасом и одобрительным интересом. Но то ли его уверенный вид, то ли полнейшая Лидина безмятежность успокаивали её, не давая впасть в панику.
— Ты смотри, какой парень трудяга, у нас на участке даже «химики» так не впахивали,—тихонько проговорила мама.—Роет как целая бригада.

Серёга рассмеялся, чем окончательно смутил маму, лихо подмигнул и выдал:
— Два солдата из стройбата заменяют экскаватор. А ракетных войск солдат заменяет весь стройбат!

А вот Лида задумалась. Глядя, как выкладывается по полной Сергей, и представляя, как завтра он будет отходить от этих трудовых подвигов на заводе, ей стало совестно предлагать ему приступить к следующему этапу воплощения своей мечты. Она перебирала в памяти всех Светкиных ухажёров, прикидывая, кому из них можно предложить вкопать по углам четыре толстых бревна, высотой в Лидин рост.

И тут ей вспомнились слова тёти Раи: «Петро — парень видный, хваткий, безубыточный». А следом возникло круглое лицо с хитроватыми карими глазами, глядящими чуть исподлобья, и широкий разворот плеч. Хотя слышалась в тётином голосе какая-то едва уловимая нотка иронии, но Лиде некогда было разбираться в интонациях — время не ждёт. Прикинув, что Сергей будет копать ещё не меньше часа, она взяла охапку травы и сухих веток и под видом похода к оврагу тихонько и незаметно ускользнула на улицу.

По пути где-то бросила свою ношу и ускорила шаг. «Только бы он сегодня был, только бы застать его», — твердила Лида, выискивая глазами его небольшой щитовой домик с новой зелёной черепичной крышей.

У входа возле калитки росли яркие розовые мальвы и стояло старое погнутое ведро без дужки, с трафаретной надписью чёрной краской: «Для битого стекла».

Во дворе, под большим навесом, у верстака, заставленного баночками и коробочками с гвоздями и шурупами, болтами и гайками, свёрлами и метчиками, стоял хозяин, зажимая какую-то железяку в тиски.

Вокруг расхаживало целое стадо разнопёрых кур: белые, золотисто-рыжие, пёстрые. Все они квохтали, деловито поводя зубчатыми красными гребешками, и греблись в земле, выискивая мелкие камешки и червяков.

— Здравствуйте, Пётр, — осторожно начала Лида.

— Здрасьте, — без улыбки вопросительно шевельнул густыми чёрными бровями владелец «фазенды».

— Я к вам с поручением, от Светочки. Она моя двоюродная сестра, а меня Лида зовут. Какие у вас куры красивые, справные, как моя бабушка говорит.

— Потому и справные, что жрут, как нанятые, без продыху. Хорошо ещё не повёлся — уток не завёл, мне тут один всё расписывал: выгодно, выгодно, — те проглоты вообще всё подряд метелят. А что за поручение у тебя?

— Так они и яйца несут не такие, как в магазине, а домашние, вкусные, с оранжевыми желточками.

— За это спорить не стану, вкусные и для здоровья полезные. Я их по утрам сырыми пить люблю, особенно если с похмела — хорошо идут. А скорлупой смородину, да помидоры, да огурцы подкармливаю, тоже ничего так, зеленеют. Если вы яиц хотели, так мне собрать надо пару-тройку дней, а то вчера соседям напротив последние продал.

Лида посматривала на ухоженные, словно разлинованные, грядки, на узкие дорожки между ними, похожие на ровные проборчики, на которых ни травинки, ни соринки, и думала сразу о нескольких вещах одновременно: какие разные парни всё-таки нравятся её сестре, — или, если наоборот, как она ухитряется нравиться таким разным? И как же его заманить к ним на дачу?

— У вас тут кругом чистота, порядок. А куда же вы деваете мусор?

Лёгкая самодовольная улыбка проскользнула по лицу, но тут же сменилась на озабоченное, сосредоточенное выражение.

— Всё, что гниёт, — в компост, а всё, что горит, — в печку. Стёкла — в ведро, там, на входе, стоит, и вот пока не знаю, надо что-то с ними придумать.

— А у нас одни женщины в семье остались, — Лида глубоко вздохнула. — Меня отец бросил, у Светочки в прошлом году умер, тётя Рая болеет, поехали они в санаторий подлечиться. Мы с мамой будем тут пока на хозяйстве. Так тяжело, когда нет крепкого хозяина. «Бедная баба из сил выбивается, столб насекомых над ней колыхается, жалит, щекочет, жужжит!» Помогите нам, Петя!

Парень оторопело вытаращился на Лиду:

— Ты чё, перегрелась, что стихами заговорила?

— Ничего не перегрелась, это Некрасов так писал: «В полном разгаре страда деревенская… Доля ты! — русская долюшка женская! Вряд ли труднее сыскать». Мы в школе проходили. Ещё — «Кому на Руси жить хорошо».

— Мы и без Некрасова знаем кому, телевизор смотрим.

— Петя, мы вас очень просим! Четыре брёвнышка вкопать нужно, и всё. А Светочка приедет — отблагодарит по-соседски!

Пётр скептически хмыкнул.

— Да помочь — оно можно, конечно. Только тут у самого работы непочатый край, а времени в обрез! Вот дом, к примеру, взять. Ты не смотри что он снаружи такой. А внутри знаешь сколько ещё отделки? А где деньги брать? Сейчас зима придёт, куда я это дену, скажи? — он ткнул пальцем на верстак и кучу каких-то деревянных и железных заготовок. — Курам в столовой объедки собираю, таскаю, а они жрут, окаянные, как перед пропастью!

— Пётр, да разве вы мало зарабатываете?

— Чтобы там нормально зарабатывать, нужно хотя бы пятый разряд получить, а ещё лучше шестой. Мне платят четыре с полтиной за сутки, и то это если план выполняю. А тока́ря шестого разряда получают шесть рублей! Они все уже пенсионеры, а им и доплаты, и разряды. А на фига этим старпёрам это теперь? Тут пашешь как вол — и всё как в прорву: ни построиться, ни жениться… Слушай, Лид, а тётка твоя, она же

в тарифно-квалификационной комиссии, но к ней и на кривой козе не подъедешь, такая строгая.

Лиза обрадованно замотала головой.

— Она не строгая, она справедливая! И рабочих уважает, особенно квалифицированных! Они с мамой ещё в школе мечтали стать крановщицами, чтобы помогать, чтобы облегчить труд рабочих, но у мамы мечта сбылась, а тётю родители заставили в институт поступать. Но она всё равно очень любит трудовых людей!

— Любит, говоришь?—Петя что-то ещё быстренько покумекал, потом решительно махнул рукой:— Ну, пойдём!

— Как, прямо сейчас?

— А чего тянуть? Сейчас, только курей в сарай загоню, и веди!

Лида вспомнила Серёгу с его лопатой, испугалась и залепетала:

— Нет, нет, никак нельзя, мы сейчас с мамой уже домой едем…

— Ладно. Тогда завтра в восемь буду.

Утром они встретились снова.

— Вообще-то в воскресенье работать грех,—первое, что заявил Пётр, явившись ровно в восемь.

Мама вопросительно повернулась к нему.

— Ни Бог, ни партия не требуют,—продолжал он, цепко осматривая взглядом судебного пристава каждый квадратный метр участка, будто пришёл описывать его за долги.

— А наша бабушка говорит, что Бог тружеников любит.

— А по трудовому кодексу работа в выходные и праздничные дни оплачивается вдвойне.

— И правильно! Вы это с тётей Раей и Светочкой обязательно обсудите потом в деталях. Вот эти брёвнышки, смотрите!

Брёвна были сухие, два метровых и два по полтора метра. Пётр тяжело вздохнул, выбрал поменьше и, кряхтя, проволочил по земле к яме. Потом лопатой отбил круг, вырыл в углу ямы небольшое квадратное углубление, опустил вниз бревно и собрался закапывать.

Тут совершенно неожиданно вмешалась мама:

— Так они держаться не будут, надо поглубже выкопать. И, чтобы не сгнили через год, щебёнки с песком насыпать, а потом цементиком залить.

— Мам, откуда ты это знаешь?—всполошилась Лида.

— Ну как откуда? Мы с тётей Раей, когда у нас на даче сарай строили, так делали, и он уже десять лет стоит, как скала.

«Только бы здесь где-нибудь был цемент, за домом кучка гравия точно была»,—лихорадочно начала соображать Лида. Она метнулась в дом, схватила ведро и сунула в руки Петру.

— Вот, для гравия, наберёте за домом.

Пётр, сжав тонкие губы и недовольно сопя, поплёлся за угол.

— Мам, а где у них тут цемент?—спросила Лида как нечто само собой разумеющееся, но внутри всё напряглось и сжалось в пружину.

— Да вот если б же они мне заранее сказали, а то всё с бухты-барахты. Сейчас поищу; кажется, был один мешочек за корытом, завалили тут его, заставили… Есть, вот он!

Лида счастливо выдохнула. Удача на её стороне! Скоро здесь будет бассейн, и ты, мамочка, тоже будешь отдыхать, освежаться, а не только спину на грядках гнуть.

— Лид, иди сюда,—позвал Пётр,—держи бревно ровно, чтоб не упало, а я засыпать буду.

После второго коротенького брёвнышка, он достал большой коричневый клетчатый платок и начал обтирать сухое лицо.

— Ох и умаялся я тут, рано встал и с утра на ногах…

— Может быть, водички принести?—предложила сочувственно мама.

— Да я и так на восемьдесят процентов из воды состою, посущественнее бы чего…

— Ой, а мы взяли только по яичку да хлеба четвертушку. Но ничего, сейчас на грядке огурчиков, помидорчиков соберём,—разволновалась, засуетилась мама.

— И чеснока, и лука зелёного!

Подкрепившись, Пётр встал, потягиваясь и позёвывая.

— Часочек бы соснуть хорошо было после трудов праведных.

— А как же там куры без вас?—напомнила ему Лида и чуть не пожалела.

— Корова не доена, куры не кормлены, а я сразу к вам. Что ж я за хозяин такой?—всполошился он.—Всё, надо кончать эту работу.

Оставшиеся брёвна он протащил, пошатываясь, пыхтя и отдуваясь, отчего у Лиды сразу перед глазами возникли все одиннадцать бурлаков с известной картины Репина. Намешал щебень с песком, высыпал в ямки, развёл цемент и, как столетний дед, взялся за поясницу.

— Ну, притомился я с вашим бассейном. Это ж как им хочется барствовать, приезжать загорать да прохлаждаться! А я всё в работе, как жук в навозе. Мне в санаторий давно пора. Кстати, а у твоей тётки в профкоме наверняка есть связи. Может, она бы и мне путёвочку выбила? Ты скажи ей…

Пока Лида держала вертикально брёвна, Пётр, заливал их цементным раствором и засыпал землёй. Он всё бубнил и бубнил, то жалуясь на невыносимо тяжёлый труд, то предприимчиво повышая цену своих услуг. Лида кивала, соглашалась, смотрела прямо ему в глаза и обещала. Ради мечты она была готова на многое.

К обеду у мамы закончились полезные советы, у Пети брёвна, а у Лиды сила духа и сила воли. Все умаялись, но работа была сделана.

У калитки его хозяйственный взгляд зацепился за какой-то кустик с красными ягодами, похожими на что-то среднее между малиной и шелковицей.
— О, а это что за куст? Я такого не видел ни у кого! Съедобные?
Он уже сорвал ягоду и поднёс ко рту.
— Да, съедобные. Только на желудок вредные.
— А зачем он тут растёт, место занимает?
— Тётя Рая говорит—от воров, для науки.
Петя хмыкнул и одобрительно улыбнулся.
— Мудрёная тётка, надо будет у неё черенок попросить.

Душевные переживания, связанные с внезапным поиском стройматериалов, не прошли даром. Теперь у Лиды появился полезный опыт. И поэтому, прежде чем двигаться дальше, она проверила, есть ли материал для следующего этапа строительства. Доски были. Довольно большая беспорядочная куча перед домом. А вот кафеля, чтобы потом обложить стенки, не было. Ни на даче у тёти Раи, ни в магазинах. Его доставали только по блату, который у Лиды, понятное дело, отсутствовал. Цемент тоже закончился. Но она решила так: раз уже два человека ей помогли, значит, это знак судьбы, и руки опускать нельзя. Бабушка всегда в трудных ситуациях говорила ей: «Просите—и вам дадут, ищите—и найдёте, стучите—и вам откроют». То есть, конечно, не бабушка автор этих слов, а Левий Матфей, но если во что-то очень сильно верить, то всё получится. А Лида бабушке верила.

В следующую дачную субботу было решено навестить ещё одного Светкиного рыцаря. Лида знала о нём, что он столяр, но не простой, а элитный, краснодеревщик. И Света, и тётя Рая говорили о нём с уважением, что он был за границей, и не по туристической путёвке, а как специалист, от завода. Хотя и называли его попросту—Толик. В отличие от Серёги и Петра, он был более сдержан или, может быть, даже застенчив.

Потоптавшись и посовещавшись сама с собой, она решительно вошла во владения мастера. В глубине участка, посреди ярко-зелёного ровно подстриженного газона, стоял обычный щитовой домик, а к нему вела волнистая дорожка из белой мраморной крошки.

Перед домиком красовалась причудливая многоуровневая клумба. В самом низу в продуманном беспорядке уложены серые каменные валуны, выше—булыжники поменьше, сквозь которые прорастало такое количество растений, что она вся казалась пёстрой, жужжащей, звенящей и благоухающей.

Осторожно пройдя по хрустящей дорожке, Лида остановилась возле стайки карликовых хвойных деревьев, напоминающих детишек, играющих у крылечка.

Из дома вышел невысокий молодой человек в джинсах и простой белой футболке, закрыл дверь на ключ, подёргал ручку, чтобы ещё раз проверить, и направился к выходу. Он чуть было не прошёл мимо неё, но потом, увидев, остановился, и сосредоточенное выражение на его лице сменилось на удивление.
— Лида? Привет! Ты ко мне?
— Здрасьте! Да.
И она в очередной раз она принялась излагать «просьбу Светочки».
— Светочка говорила, что размеры её благодарности будут безграничны,—широко и искренне улыбаясь, интриговала Лида.
Толик слушал молча, а потом в его серых глазах мелькнуло сомнение.
— А ты не перепутала? Она точно меня просила об этом? Они с Петькой всё шушукались последнее время…
— У Петьки они с мамой яйца куриные покупали,—не дав ему развить это предположение, убедительно пояснила Лида.—А про вас она говорила, что никому такую работу не доверила бы, только вы с вашими золотыми руками могли бы это сделать.
— Да откуда она это знает?—всё ещё колебался Толик.
— Так весь завод это знает. И даже я!
Парень снисходительно и застенчиво улыбнулся, но по всему было видно, что ему очень приятно и лестно.
— Иван Афанасьевич, мой наставник, тоже так считает. Когда делегацию по обмену опытом набирали для поездки во Францию, его спросили, кого он с собой возьмёт, он именно меня порекомендовал.
— А где вы были, расскажите?
— В Марселе, на заводе работали.
— Я думала, что во Франции только духи делают и моду создают.
— Ну ты даёшь! Это же «порт империи»—второй по величине город страны после Парижа. Под Марселем железную руду добывают, и там же металлургический комплекс мы им помогали строить. Там только в порту этих заводов тьма: нефтеперерабатывающие, химические, судостроительные, стройматериалов…
— А вы с французами общались? Какие они?
— Конечно, общались, даже выпивали. Нормальные в основном, здороваются, улыбаются, чуть захмелеют—целоваться лезут, на наших похожи. Я, правда, одному чуть в морду не дал, спасибо, Иван Афанасьевич остановил, а то был бы нам международный скандал.
— Ничего себе! За что?
— Да вот же за что… Зашли после работы с Афанасьичем в бар, взяли вина, сидим как люди, о футболе говорим. Смотрим, двое слесарей с участка,

где мы работаем, зашли, мы им рукой помахали: давайте, мол, к нам, ребята. Выпили по чуть-чуть, слово за слово — заспорили, забил бы мяч Платини нашему Дасаеву или нет. Я, конечно, говорю: «У вашего Платини ни удара, ни физухи, вообще без шансов. Хоть весь „Сент-Этьен" ставьте». Пьер покраснел, лопочет, что он король Европы, бьёт себя в грудь — прикольно, короче… И тут второй, который Жан, говорит: «А я считаю, что футбол — это игра для девочек, а мужская — это регби». Ну, вот тут Иван Афанасьевич мою руку и перехватил, а то вломил бы я ему и за девочек, и за восемьсот двенадцатый год по полной.
— Ну а сам город какой? Чем от нашего отличается?
— Погода примерно как в Сочи, только он в два раза больше, есть метро, трамваи. Улицы только ненормальные: у нас ровненькие, кварталами, а там все по диагонали. А вообще, знаешь, чем ещё? У них улицы чище, чем у нас, а у нас в цехах чище, чем у них на улице.
— Это как?
— Вот представь, мы работаем на станке, тут ихний Пьер подходит и руками машет: останавливайте станки, дескать, я их сейчас смазывать буду. Мы ему говорим: «Да как же так? Мы работаем, вот закончим — сами их в порядок приведём». Он разволновался: «Неужели вы сами их моете, смазываете? А что же у вас слесаря делают?» Мы ему отвечаем, что наши слесаря в каптёрке целый день в карты играют и телевизор смотрят.

Лида прыснула и развеселилась.
— А на следующий день он прямо с утра к нам на участок приходит и говорит: «Я социалист, голосовал за Миттерана, мы хотим тоже строить социализм, чтобы у нас были достойные зарплаты, пособия и пенсии. Вчера рассказал супруге о вас, и мы вас приглашаем в выходные на обед. Посмотрите, как живёт рабочий класс во Франции».
— Интересно! И как они живут?
— Слушай, — Толик усмехнулся. — Там метро каждые три минуты ездит, но он нас в гости повёз на своей машине, такой новенькой, блестящей, навороченной, у нашего директора завода такой нет. Ехали долго по каким-то запутанным и узким старым улочкам, он то ли в пригороде живёт, то ли деревня это была, я не понял. Останавливаемся возле большого золотистого домика с черепичной крышей и белыми ставнями. Всё вокруг в зелени, кустики подстрижены, газоны ровненькие, ухоженные. А во дворе бассейн, не меньше, чем у нас в школе был.

Лида аж подпрыгнула:
— Прямо возле дома?
— Да, выходишь, два-три метра — и можно нырять. Вода чистая, голубая, на солнце нагретая. А возле бассейна под большим белым зонтиком шезлонги, кресла стоят и столик маленький для напитков. Вокруг виноград, апельсиновые деревья, и такая знойная мулатка с корзинкой фруктов. Видела картину Брюллова «Итальянский полдень»?

Лида жадно слушала, ловя каждое слово и представляя чудесные картины, описанные Толиком. Она быстро кивнула.
— Очень похожа, только посмуглее. Я Афанасьичу шепчу: «Вот тебе и социалист, а на деле-то колониалист-плантатор!» И тут он её целует и представляет нам: «Это моя жена Адель». Мы когда ещё собирались ехать, нас парторг предупредил, что французы любят подарки. Я сделал несколько деревянных резных шкатулок, а Иван Афанасьевич накупил пряников тульских, и вот тут они очень кстати пришлись. Мы их хозяйке преподнесли, а она сразу заулыбалась, а зубы у неё белые, как сахар; на ломаном русском говорит: «Добрый день! Здравствуйте! Добро пожаловать!» — и приглашает нас в дом.
— А они вас чем-нибудь угощали, а то говорят, что к иностранцам со своей едой приходить надо?
— Ой, да много чем угощали. Они такой стол накрыли, что мы просто обалдели. Сначала закуски, оливки, сыр, вино, а потом хозяйка подала ихний знаменитый суп буйабес. Вкуснее я не пробовал: наваристый, ароматный. Если бы дома, так я три тарелки съел бы.
— А из чего они его варят? Может, можно его и тут приготовить?

Лида любила готовить, и даже когда читала художественные книжки, всегда отмечала кулинарные описания, и поэтому приготовилась запоминать заморские ингредиенты. Толик снисходительно посмотрел на неё.
— Из морского петуха, морского скорпиона, морского волка, устриц. От пяти до двадцати видов рыбы они туда кладут и готовят на белом вине. А мы тут из чего сварим — из хека и минтая? Ладно, не расстраивайся, слушай дальше, — Толик вздохнул и мягко продолжил: — Перешёл наш обед плавно в ужин, сидим на террасе при свечах, с залива свежий бриз дует, а наш Пьер всё подливает нам и подливает.
— А что подливает? — не сдержалась Лида.
— Ну, в том-то и дело, что подливает анисовую настойку пастис, а он у них высоких градусов. И сначала он его водой разбавлял раз в пять, а потом всё меньше и меньше, а под конец стал наливать совсем чистый. Мы, конечно, сразу просекли, что он чего-то от нас хочет, но ждём, марку держим. И вот он, наконец, решил, что мы «созрели», и так, как бы между прочим, спрашивает: «А вы можете в посольстве походатайствовать, чтобы я переехал к вам в СССР?» У моего наставника очки чуть с носа не свалились. Он поверх них глянул и строго его спрашивает: «Зачем это?» — «Хочу к вам слесарем устроиться. У вас в Советском Союзе социализм полностью победил, а у нас работы до фига, налоги громадные, и когда ещё

мы добьёмся хорошей жизни — неясно». — «Значит, ты хочешь, чтоб сразу на всё готовое? Чтобы наступила нормальная жизнь, нужно не ждать, а бороться за неё»...

Лида не выдержала и горячо и вдохновенно заговорила, стараясь быть убедительной:

— Правильно Николай Афанасьевич говорил! Мы должны сами строить и обустраивать свою жизнь! Я столько лет мечтала о бассейне, — тут она запнулась и быстро поправилась: — Мы со Светочкой мечтали! Анатолий, это не причуда, вы же сами видели, как люди живут. А у нас на дачах днями и ночами, как рабы, гнут спины, гробят своё здоровье, не имея возможности ни отдыхать, ни любоваться природой, к которой они все так тянутся...

— Наши дачи — это вообще государственное преступление, Лида, — согласился Толик.

— Ну если мы это понимаем, и не хотим так жить, помогите нам. Мы уже бо́льшую часть работы сделали! Совсем немного осталось...

— Ладно, пойдём, покажешь, что вы уже сделали.

Толик осмотрел яму с вкопанными с четырёх сторон брёвнами, остановился возле кучи нестроганых досок и долго молча озирал её, словно невиданное зрелище. Потом также молча повернулся и ушёл.

Лида запаниковала. Вопросы пулемётной очередью стучали в голове. Что не так? Что делать теперь?

Через полчаса Толик вернулся с огромным рюкзаком, набитым инструментами.

Не спеша, вдумчиво принялся за работу. Что-то померил, что-то распилил, несколько раз легко прошёлся рубанком по каждой досочке, проводя по ней рукой и проверяя гладкость. Потом стамеской скрупулёзно выбил сучки и забил заделки. Снова тщательно пригладил рубанком. Когда все чисто оструганные доски стояли и сияли на солнце тонкими узорами древесины, похожими на папиллярные завитки и бороздки на наших пальцах и ладонях, мастер отложил рубанок и достал бутылку с красно-коричневой жидкостью.

— А это что?

— Морилка.

— А кого морить?

— Древоточцев. А раз это бассейн будет, значит, надо защитить дерево от гниения, грибковой плесени, ну и цвет будет благороднее, под красное дерево.

У Лиды радостно забилось сердце. Она восхищённо смотрела, как Толик поролоновым валиком наносит, а затем растирает морилку, сначала вдоль досок, потом, когда они подсохли, поперёк, потом снова вдоль. А когда он налил в небольшую широкую банку лак для дерева и плоской щетинной кисточкой аккуратно стал покрывать их тонким блестящим слоем и доски зеркально заблестели на солнце, Лида окончательно решила, что плитка не понадобится.

Она представляла, что когда в бассейн наберётся вода, это будет похоже на драгоценную сокровищницу, заполненную до краёв жидким червонным золотом, особенно на закате. У Лиды захватывало дух от счастья и предвкушения всеобщей радости.

Вечером к ним зашла соседка и сообщила, что по межгороду звонила тётя Рая и просила передать, что приедут они раньше, чем планировали, то есть завтра.

Мама забеспокоилась. На завтра вновь наметилась поездка на дачу, чтобы немного навести порядок в домике и собрать урожай для соскучившихся по «своим, домашним» огурчикам и помидорчикам путешественниц.

Лида с вечера накрасила ногти и любовалась сверкающим на них рубиновым лаком. Она думала: какой замечательный сюрприз ждёт завтра хозяев дачи.

Лида заранее купила три метра красной атласной ленты, повязала её на два деревца по обе стороны дорожки, чтобы церемония была максимально торжественной и праздничной.

Наконец за калиткой послышались оживлённые голоса двух везучих родственниц. Они вошли загоревшие, обе в южных широкополых шляпах и цветастых ситцевых сарафанах.

Перед ленточкой остановились как вкопанные и умолкли.

Гордая произведённым эффектом, Лида с сияющим лицом протянула им специально привезённые из дома маникюрные ножницы на тарелочке.

— Почётное право перерезать ленту в честь открытия...

Она не успела договорить, как тётя Рая испуганно вскрикнула и схватилась за сердце:

— О Господи! Что это?!

Сестра вытянула шею и замерла столбом, с ужасом и изумлением вглядываясь в бассейн.

— Это на цыганскую могилу похоже... Осталось только поставить там кровать и трюмо... — с экспертным видом ядовито изрекла Светка.

Лида перевела взгляд на маму, которая внимательно слушала и растерянно моргала, а на её щеках вспыхнули алые пятна, похожие на шелковистые маковые лепестки.

Тётя Рая, продолжая держаться на сердце, требовала объяснений.

И Лида попыталась:

— Это наш замечательный чудо-бассейн. Мы, как приезжаем на дачу, согнёмся буквой «зю» и работаем, и работаем. Вы сами говорите, что некогда к небу голову поднять. Вот. И если дача такая полезная для здоровья, то, кроме работы, должен быть

и культурный отдых! Вот французы всё успевают: и апельсины растят, и сок возле бассейнов пьют.
— То каплагерь, не равняй, на них всю жизнь арабы работали, а они только отдыхать и привыкли,— отживела тётя Рая.
— А вы сами себе концлагерь устраиваете. Только работаете без продыху, как будто тут кругом голод. Думаете лишь бы живот набить. Кто нам мешает жизни радоваться?

Тётя возмущённо набросилась на маму:
— Ну, у Лиды вечно в мозгах завихрения, одни светлые идеи и грандиозные замыслы. А ты куда смотрела, когда она яму прямо под домом рыла? Ты что, не видела?!
— Она не рыла…
— Так ты ещё и потакаешь каждой её блажи?!

Лиде стало невыносимо обидно: и за мечту, которая сбылась, но как-то не так, как себе представляла, и за ребят, которые вложили столько труда, умения и души. Она вспомнила мальчишескую открытую улыбку и горящие жарким огнём глаза на вдохновлённом лице Сергея, как основательно они с Петром заливали цементным раствором брёвна и она старалась держать их перпендикулярно земле, чтобы было ровно-ровно. Разговор с Толиком пробудил в ней надежды и придал силы, она снова увидела, как легко падали на землю невесомые золотистые стружки под его рубанком, сосредоточенный взгляд, пахнущую смолой и лаком солнечную красоту, которой она совсем недавно любовалась. Но особенно было жаль маму, которая ни в чём не была виновата.
— Я хотела, чтобы мы как люди жили, а не только работали, как каторжные. Но вы же меры не знаете. Мама после работы, не евши, ездила сюда то поливать, то полоть, все выходные на ваших грядках спину гнула, пока вы на солнышке валялись и в море купались, а вы ещё её ругаете?! Сами теперь вкалывайте на своей фазенде кверху попой, хоть круглосуточно! Пойдём отсюда, мама…

До остановки они обе молчали. Подошёл автобус. Днём он был на удивление пустой. Лида выбрала места, куда не попадали прямые солнечные лучи, и села к окошку, а мама, почти невесомо, рядом. Лида неотрывно смотрела, как за окном навстречу им движется зелёная полоса деревьев, а чуть выше неровной, но непрерывной линией тянется горизонт, чётко разделяя дальние туманные поля и небесную синеву. Казалось, что там начинается море со светлыми островами, белыми парусами над лёгкими лодками. Лида приподнялась, чуть приоткрыла окно, порыв свежего ветерка ласково подхватил и растрепал её волосы. На душе сразу стало легче. От худенького маминого плеча ощущалось успокаивающее тепло, к нему хотелось прижаться и, забыв обо всём, вдыхать родной запах.

Лида повернулась и, глядя в мамины глаза цвета гречишного мёда, окаймлённые короткими ровными ресницами, похожими на молодые еловые иголочки, почувствовала, что обида испарилась, и всё, чем она горела ещё совсем недавно, стало невозвратимо далёким. Как будто всё это произошло не с ней, а с героиней какой-то полузабытой книги.
— Мама, прости меня, пожалуйста, что я тебе не сказала правду,— тихо и мягко произнесла Лида и снова уткнулась в мамино плечо, не стесняясь, как маленькая.

Мама ласково погладила её по голове и мягко привлекла к себе.
— Лидочка, даже для доброго дела не нужно обманывать. И потом, это всё-таки их дача, пусть сами решают, что им нужно, что нет. Они попросили нас помочь, мы помогли, а насильно счастливыми никого не сделаешь. А бассейн можно будет потом на нашей даче построить…
— Да на нашей ведь и домика нет, один сарайчик деревянный да будка железная для инструментов. Ни красоты, ни удобств, одно расстройство…
— Ничего, вырастешь, придёшь к нам на завод работать… Видела, какие у нас замечательные ребята работают?
— И что? Это ж я не для себя просила, а для всех. И больше не смогу.
— Не надо просить. Выйдешь замуж за такого, как Сергей или Толик, и вместе построите и дом, и бассейн. Посадишь розочки, будете приезжать жарить шашлыки…
— Ой, мам, что ж ты так от меня избавиться хочешь? Я хочу, чтобы нам с тобой хорошо жилось,— засмеялась Лида.
— Доченька моя, да разве я такое сказала? Просто без мужчины оно видишь как тяжело. Что мы вдвоём можем сделать?
— Так я, по-твоему, ради дачи замуж должна выходить? Да ну её, эту вашу дачу, подальше! А вдвоём мы с тобой вот что сделаем: сейчас приедем и сварим кулеш! И кофеёчка выпьем, да?
— Конечно, сделаем, Лидушка.

— Ну родственнички: накуролесили, натворили делов и пошли, а нам разгребай! На секунду ничего оставить нельзя!— сокрушалась тётя Рая, то обходя бассейн, то останавливаясь и вглядываясь в него так, как будто решая, прыгнуть туда ласточкой или солдатиком.
— А помнишь, когда мы прошлый раз уезжали, ты попросила их шторы постирать, так Лида весь мой лак для ногтей вымазюкала,— подхватила Светка.— Так то ещё она помладше была, а сейчас совсем чокнутая!
— А всё наша мягкохарактерность и уступчивость. Пороть её вовремя надо было, чтобы слушалась беспрекословно, крапивой! А Тоня ж сердобольная, всё жалела: растёт без отца, сирота,—

вот и воспитала на нашу голову. Не племянница—кара небесная. И за что ж нам эти казни египетские?!
—Спокойствие, только спокойствие,—с невозмутимостью Карлсона остановила её Светка.—Сейчас я решу эту проблему.

Она достала из сумки объёмистую косметичку и стала наводить марафет. Улыбаясь в маленькое зеркальце, нанесла румянец на округлившиеся яблочки щёк, подвела замысловатые стрелки, которые удлиняли её глаза к вискам, придавая сходство с инопланетянкой, и жирно обвела губы помадой цвета спелой вишни. Завершив боевую раскраску, выпрямила спину, гордо вздёрнула подбородок, повела плечами:
—Макияж а-ля Нефертити! Ну как?
—А куда моя красавица собралась?
—Сейчас найдём дюжину тех, кто будет счастлив закопать эту жуткую яму, что вырыла нам наша неспокойная кузина.
—Ты же знаешь, что ради мужчин не нужно сильно стараться: тебе стоит только щёлкнуть пальцами—и любой будет у твоих ног.

Довольно улыбаясь, Светка взяла секатор, срезала бордовую розу, обломала колючки, воткнула сбоку в волосы и решительно растворила калитку. Напевая «Хабанеру» и кокетливо покачивая бёдрами, направилась она в сторону жёлтого штакетника, за которым застыл, точно вкопанный, Серёга, не сводя с неё восхищённого взгляда, полного надежд и чаяний…

Кулеш готовили в казанке по бабушкиному рецепту. Лида пулей слетала в магазин за корейкой, мама тем временем промыла в семи водах пшено, очистила овощи и уже через час они сидели и хлебали горячий, густой и наваристый суп.

Своим ароматом посыпанный сверху мелко порезанным зелёным луком кулеш сманивал на вторую порцию. И Лида с удовольствием налила ещё тарелочку. Она раскраснелась, чувствовала необыкновенный прилив сил и бодрости. «Эх, а если бы ещё на костре такой кулеш сварить, с дымком, да на воздухе, как варили встарь запорожские казаки да чумаки, вот бы красотища была! Надо в магазине „Турист“ посмотреть подставку для котелка, а если не будет, составить из кирпичей—в сарайчике, кажется были». Она отхлебнула глоток горячего кофе с молоком и благодарно посмотрела на маму.

И тут у неё под рёбрами и в горле что-то сжалось, она коротко вздохнула и громко икнула.
—Ой, Лидочка, что ж такое? Попей водички маленькими глоточками, она пройдёт.
—Ик!
—Задержи дыхание, мне всегда помогает…
—Ик!
—Лидуся, открой рот, высунь язычок, ещё посильнее…

Мама осторожно взялась пальцами за кончик и несколько раз тихонько потянула.
—Не помогает! Ик!—у Лиды выступили слёзы на глазах.
—Кто же тебя так вспоминает? Чтобы узнать, надо по очереди всех знакомых перечислять. На каком имени прекратится, значит, тот человек и вспоминает. Давай начнём с самых близких…

Кот Пандоры

Первым её домашним питомцем был пещерный кот, добытый своими руками.

Он стал родоначальником одной курицы, семьи волнистых попугаев, четырёх собак и питомника шиншилл. Но это в будущем.

Как такое может случиться, тогда не знал никто: ни белый, пушистый и совершенно дикий кот, которого увидела в этот судьбоносный майский день Лида, ни её мама и бабушка, поспособствовавшие началу этой длинной цепочки познания мира и себя.

Город располагался в низине между двух рек, где ему было уже тесно, поэтому он интенсивно строился и расширялся. Большой котлостроительный завод, где работала Лидина мама, выделил ей квартиру в новеньком белокирпичном доме, на возвышенности, которую называли Солнечная гора. Отданные под застройку колхозные поля, засевавшиеся прежде кукурузой и подсолнечником, теперь заросли чертополохом и осотом. Первую пятиэтажку нового микрорайона возвели посреди высоченных бурьянов, бушевавших от ветра, как море-океан при шторме, и новосёлы чувствовали себя робинзонами на необитаемом острове.

Все существа вокруг, замеченные пытливым Лидиным взглядом, были свободны и ещё не приручены человеком, полны первозданной силы, ловкости и красоты. По полю носились длинными зигзагами зайцы-русаки, а в небольшой зелёной роще сновали ежи и скакали по веткам ярко-рыжие белки с орехами в зубах.

Новая квартира казалась Лиде необычайно просторной и полной укромных мест. Оставаясь дома одна, она счастливо разгуливала из кухни через коридор в комнату и на балкон, а затем обратно, примеряя на себя перед зеркалом в прихожей роль маленькой хозяйки. В душе у Лиды царил праздник. Все струнки внутри возбуждённо дрожали и пели.

Осматривая новые предметы обихода и мебель, Лида находила их превосходными, уютными и многофункциональными. За столом в комнате можно есть, читать книжки, рисовать, собирать конструктор и играть. На диване—спать, сидеть, читать, грызть семечки, вышивать и играть в карты, пупсиков или в пуговички: это когда подбрасываешь и ловишь одну, а в промежутке хватаешь с дивана вторую.

Для игр, кстати, подходили все предметы обстановки. Если составить несколько стульев, а их было целых три, и накрыть покрывалом, можно залезть внутрь и представить, что это шалаш, палатка или домик.

А в большом полированном и блестящем шифоньере можно отправиться, как на автобусе, в путешествие. В одно из таких путешествий, стоило только бабушке внезапно вернуться домой, автобус потерпел аварию. И за вывалившиеся, измятые простыни и полотенца Лида была наругана и выгнана гулять с не очень педагогическим напутствием: «На улице хоть на голове ходи, а я только вчера порядок здесь навела!»

Выйти погулять в то время было всё равно что остановить поезд в чистом поле, высадить пассажира и предложить ему чудесно провести вечер. Ни спортивных, ни детских площадок не было и в помине, двора как такового — пока тоже. Кучи земли и строительного мусора вокруг дома заутюжили бульдозером, а тротуары планировались только после завершения строительства всего нового района. Но, учитывая сроки возведения кирпичных «брежневок», контингент «созидателей» и другие факторы, надежды на скорое благоустройство территории было мало.

Рядом, за невысоким забором, на стройке начался обеденный перерыв. Наверху в оконном проёме показался прораб и зычно крикнул:

— Баста!

Затем он спустился по лестнице, бросил на бетонную плиту белую каску и брезентовые рукавицы, сплюнул пыль и затянулся «Беломором». Бригаде, в основном состоящей из «химиков», не требовалось особого приглашения. Мужики уже суетились возле расстеленной на досках газете, разливая по мутным стаканам вино. На закуску была крупно порезанная варёная колбаса, намазанная томатной пастой. Загорелый парень, с синеватой татуировкой на плече, приглашающе махнул прорабу рукой:

— Давай к нам, Семёныч, на шашлычок!

Боязливо поглядывая в сторону стройки и не обнаружив возле подъезда никаких гуляющих детей — видимо, все они вели себя хорошо, — Лида решила обойти свой дом вокруг. Она осторожно брела по щебёнке и битому кирпичу, стараясь не наступать на комья глины и куски неубранной арматуры. И тут Лиду ожидало чудо: в тёмном проёме низенького подвального окошка сидел ослепительно-белый пушистый кот. Его огромные глазищи светились молодой зеленью, а чёрные зрачки то расширялись, то сужались.

Лида замерла на месте: если бы там появился инопланетянин, это было бы скучно и буднично и не произвело бы такого впечатления.

Она молниеносно поняла, что именно этот кот станет её другом, она будет о нём заботиться, и все будут счастливы.

Не в силах отвести взгляда от этой красоты, она сделала шаг в сторону окошка. Кот пристально посмотрел на неё и бесшумно отступил в темноту.

Лида сорвала травинку, присела и пошуршала стебельком, надеясь привлечь и заинтересовать будущего друга.

— Кис-кис-кис…

Белая любопытная мордочка показалась и тут же спряталась.

— Трусишка, иди ко мне, не бойся, я тебя не обижу…

Теперь в окошке промелькнул пушистый хвост, и через миг яркое радостное видение снова сменилось пустым чёрным квадратом.

Без толку прождав с полчаса, Лида решила действовать. Между вторым и третьим подъездами под скошенной шиферной крышей находилась крепкая дверь из тёмного дерева, которая вела в подвал. И она была открыта. Придерживаясь за стену ладошкой, Лида спустилась вниз по бетонным ступенькам. В подвале сразу пахну́ло запахом цементной пыли и свежеструганной древесины.

У самого входа под низким потолком тускло горела лампочка, а дальше коридор разделялся на два прохода, в один из которых свернула Лида и попала в подвал второго подъезда. Справа было множество деревянных дверей с номерками, как на квартирах, а слева тянулись толстые трубы, обмотанные серебристым утеплителем. На одной из труб был установлен большой красный вентиль, похожий на руль. Лиде очень хотелось его покрутить, но тут она уловила лёгкий сквознячок.

От трубы отделился белый комочек, мягко спрыгнув на пол. Кот помчался вдоль кладовок и исчез за поворотом. Не раздумывая, Лида азартно бросилась за ним. Казалось, что кот летел. В длинных прыжках вперёд его гибкое тело то растягивалось, то упруго сжималось. Он сильно отталкивался задними лапами от пола и неслышно нёсся дальше.

Лида бежала по стелющейся за ним позёмке из пыли. Её подстёгивали внезапно проснувшийся охотничий инстинкт и желание во что бы то ни стало заполучить этого необыкновенного зверя.

Других мыслей и эмоций не было: ни сомнений, ни усталости. Не было даже страха перед неизвестным полутёмным подвалом, встречей с недобрыми людьми или опасения, что могли прийти слесаря и закрыть дверь на ключ. Историю про Тома Сойера и Бекки, заблудившихся в пещере, Лида пока ещё не читала. Позже она станет одной из самых любимый её книжек, а сейчас ею двигали чистая воля и несокрушимая вера в свои силы.

Когда она станет взрослой, она будет вспоминать это состояние в тяжёлые минуты упадка духа и учиться у маленькой и всемогущей самой себя.

Они бегали по всему подвалу, словно связанные невидимым крепким тросиком, и, кажется, даже

сам процесс стал приносить удовольствие обоим. Но вот белое пятно заметалось в конце тупика. Запыхавшаяся Лида перешла на шаг. В паре метров от беглеца она остановилась и присела на корточки, даже не допуская мысли, что животное прошмыгнёт мимо неё и снова убежит.

Они смотрели друг на друга, как набегавшиеся, наигравшиеся в салки друзья-сорванцы, и больше всего Лиде хотелось вместе пойти домой.

— Котик, пойдём ко мне жить…

Он медленно прищурил глаза и несколько раз моргнул.

— Ты улыбаешься? Значит, да?—обрадовалась Лида и тоже прищурилась и несколько раз медленно моргнула.

— А ты не будешь меня будить и пугать пылесосом?

Кот развернул уши по сторонам «самолётиком». Снова сверкнули два кошачьих глаза, как два зелёных зеркальца.

Лида услышала внутри этот вопрос, и сразу поняла, хотя он не прозвучал.

— Что ты! Я сама поспать люблю, а пылесоса у нас вообще нет.

— А тискать и таскать за хвост?

Зрачки сузились в две тоненькие вертикальные щёлочки, а уши кота отвелись назад, плотно прижавшись к голове, как будто ему в мордочку дул сильный ветер.

— Никогда. Я буду гладить тебя, только когда ты захочешь.

— А забывать обо мне и бросать меня, как надоевшую игрушку?

— Котик, я дам тебе имя, мы будем всегда вместе. Завтра я схожу в школу на последний звонок, а потом начнутся каникулы. Днём мы будем играть в мячик. А по вечерам я буду рассказывать тебе интересные истории, а ты мне мурчать свои…

На пару секунд кот закрыл глаза. Потом по всему его гибкому телу прошла волна, он выгнул мостиком спину и ощетинился, отчего стал казаться вполовину больше.

— А ты не принесёшь домой другого кота?

— Откуда ты всё это знаешь? Мне не нужен никакой другой кот, ты самый лучший,—твёрдо сказала Лида и осторожно протянула руку.

Кот неожиданно оказался очень тяжёлым и мускулистым. Сначала его тело было напряжённым и твёрдым. Но когда Лида взяла его поудобнее, одной рукой поддерживая под задние лапки, а второй за плечики, и бережно прижала к груди, кот обмяк и тихонечко замурчал. И пока она его несла, всё время представляла, что это её маленький братик.

Недалеко от подъезда курила бригада строителей. Они ждали автобус, который забирал их после смены. Подобревший прораб Семёныч толковал про планы и нормативы каменщикам поневоле, но, заметив девочку с котом, переключился на них и одобрительно поднял большой палец вверх:

— Ишь ты, какой кот у тебя знатный: брови как у Брежнева, усы как у Сталина.

Работяги обернулись и засмеялись.

Лиде стало приятно, что все видят, какой замечательный у неё кот, и она, гордо подняв голову, прошествовала в подъезд.

«Ф-ф-фух, хорошо, что мы на втором этаже живём»,—выдохнула девочка, сдула упавшую на глаза взмокшую чёлку и постучала носком туфельки в дверь. Немного подождав, заколотила сильнее.

— Иду,—раздался за дверью настороженный бабушкин голос.—Кто там?

— Это я! Открывай, бабушка!

— А что, звонок не работает? В честь какого праздника ты барабанишь?—распахнув дверь, начала она и остановилась.—А это что такое у тебя?

— Это котик. И он теперь будет жить с нами.

Лида с нескрываемой радостью и облегчением поставила своего нового друга на пол в прихожей, и кот немедленно направился в сторону кухни.

— Где ты его взяла? Зачем он нам нужен? И где ты весь день пропадала? Я десять раз на балкон выходила тебя звать!

— Даже Баба Яга Иванушку в баньке попарила, накормила, напоила, спать уложила! А ты же моя родная и любимая бабулечка! Не ругайся!

— Вот, я тебя сейчас тоже попарю веничком, хитруля,—бабушка усмехнулась.—Зубы мне не заговаривай. Я же волновалась.

— Бабушка, я целый день его ловила, мы такие голодные…

— И грязные, как трубочисты. Иди мой руки, а потом уже про еду поговорим.

Бабушка отправилась на кухню разогревать ужин, по пути кышнув вертевшегося под ногами кота. Она поставила на стол перед внучкой тарелку с гречневой кашей и котлетой, а для кота нашла маленькое блюдечко и капнула туда немножко сметаны.

Лида решительно разделила свою порцию и отгрузила половину своему пушистому другу.

— Вот скоро мама с работы вернётся, скажет тебе, где он будет жить,—усевшись напротив на табуретку, многозначительно кивнула бабушка,—а скорее всего, это чей-то кот, а ты его украла.

— Ничего не украла, я его нашла. Ему там плохо жилось, я знаю.

Кот с аппетитом ел и, чутко поводя ушами, внимательно следил за беседой.

— А вот уже и пришла.

В прихожей щёлкнул замок, и послышались лёгкие мамины шаги. Мама заглянула на кухню и устало улыбнулась:

— Ну как вы тут? Ужинаете?

— Да вот кормлю тут нового жильца,—с чувством произнесла бабушка, показав рукой на кота, и многозначительно замолчала.

— А откуда у нас кот появился?

— Принесла откуда-то наша Лидуся. Целый день где-то бегала и только недавно вдвоём заявились. Садись, Тоня, с нами кушать. И послушаем, что она расскажет.
— Мамочка, посмотри, какой он чудесный, какие у него умные глаза!

Словно в подтверждение этих слов, таинственный кот поднял голову, отошёл от блюдечка, сел поодаль, укрыв пышным хвостом передние лапки, и застыл, как статуэтка.

Мама поразилась:
— Ты посмотри на него: неужели что-то понимает?
— Конечно, понимает,— с жаром подхватила Лида.— И не только понимает, но и сам умеет разговаривать, только по-своему, по-кошечьи.
— По-кошачьи,— поправила мама.— Тебе его кто-то дал?
— Да в подвале она его поймала! Может быть, ещё и с лишаём этот чудесный котик! — не выдержала здравомыслящая бабушка.
— Нет у него никакого лишая,— насупилась Лида.
— Да ты вообще не знаешь, что это такое, молчи уже, горе луковое. Доедайте да идите отдыхать, а я посуду помою! — рассердилась бабушка.

Лида с мамой поблагодарили за ужин и пошли в комнату, а кот остался с бабушкой на кухне. Сначала он облизал длинным розовым язычком-ленточкой усы, потом лапки и умыл мордочку. Бабушка поглядывала на него и вздыхала: «Не было у бабы хлопот, так купила порося». Потом, протерев вымытые тарелки насухо вафельным полотенцем, громко крикнула:
— А вы чего это без кота пошли? Забирайте, нечего мне его оставлять!

Кот, как по команде, вскочил и выбежал из кухни. А в это время Лида включила телевизор. На экране важный бородатый профессор обстоятельно и со знанием дела рассказывал о Египте: «Египтяне почитали кошек с незапамятных времён. Кошка в Египте и сейчас является животным, которого уважают и относят к категории посланных богами существ».

Лида в восторге захлопала в ладоши и закричала что было мочи:
— Ба!!! Иди к нам скорее! Тут про кошек рассказывают!

Котик замер на пороге, пронзительно мяукнул, прижался животом к полу и белой стрелой ринулся под кровать. Раздался ужасающий грохот бьющегося стекла, тяжёлый стук банок с заготовками на зиму, скрежет когтей по паркету.
— Ты куда полез, нечистая сила?! — грозно закричала бабушка.
— Ой, мои закрутки! Огурчики! Помидорчики! — запричитала мама и выскочила из комнаты.

Вернулась она вооружённая шваброй, легла на пол и начала изгонять кота, как самого настоящего злого духа.
— Вон отсюда! — заклинала она, тыкая деревянной ручкой в темноту.

В ответ послышалось возмущённое фырканье.
— Марш оттуда!

Фырканье перешло в громкое шипение и разъярённое рычание.

Лида плюхнулась на живот рядом.
— Мамочка, так нельзя! Мы и так своими криками его напугали. Пожалуйста, убери швабру. Я сама его оттуда достану.
— Надо его выкурить оттуда,— с озабоченным видом бабушка полезла в шифоньер.— Где-то тут у меня пучочек шалфея был…
— Вы мне тут ещё пожара наделайте! Не надо, пусть уже сидит. К утру вылезет. У меня уже никаких сил нет.

Мама поднялась, отряхнула халатик и, расстроенная, села на диван.

Телевизионный многоопытный египтолог всё ещё продолжал расписывать сладкие плюсы кошачьей жизни, делиться ценной информацией: «В России этим животным тоже уделяется много внимания. В этом нет ничего удивительного: пушистики не только ловят мышей, но и благоприятно влияют на нервную систему».

Лида чувствовала угрызения совести за негостеприимство их семьи. Она залезла под кровать, чтобы получше разглядеть животное.
— Котик, миленький, это случайно так получилось. Мы же не на тебя кричали. Не бойся, иди ко мне. Я никому не дам тебя в обиду.

«Дух тьмы» забился в самый дальний угол и теперь сидел тихо-тихо. Его присутствие выдавали снопы зелёных светящихся искр, которые метали его глаза.

Добравшись ползком до кота, Лида сняла с его усиков паутину и погладила по голове.

Бабушка достала свою ежевечернюю коробочку с катушками, напёрстками, ножницами, взяла из отложенной стопки белья наволочку и попросила Лиду вдеть нитку в иголку.
— О-хо-хо, живём как ошарашки, каждый вечер дранти штопаю. Очки старые, уже и в них не попаду в ушко, да и свет слабый. По-хорошему бы вкрутить в люстру все пять лампочек, то-то было бы светло, как днём. А при одной больше по пальцам тычешь…
— Бабушка, так давай все вкрутим. Что ж ты мучаешься?
— Ага, вкрутим — с нашими доходами… Электричество так нагорит, что не расплатимся, приставы придут, всё имущество опишут и квартиру отберут, а тебя в детдом определят.
— Что значит — в детдом? У меня мама есть!
— И слава Богу, что есть! С моей пенсией мне и рубля тратить в день государство не разрешает. Если б не дети, как прожить на семнадцать рублей? Да и вам же одеться, обуться надо, тебе в школу

деньги то на одно, то на другое… За квартиру заплати, за электроэнергию заплати, а у вас вон телевизор не выключается, как будто там что-то путное показывают.

Бабушка говорила серьёзно, и от этого Лиде стало страшно и грустно.

— Да мы только новости и смотрим,— попыталась успокоить бабушку мама.— Сейчас программу «Время» поглядим и выключим.

Бабушка нахмурилась, но промолчала.

На синем фоне экрана появился белый часовой циферблат. Секундная стрелка проделала семь маленьких шажков, и послышалась знакомая музыка. Вращающаяся и светящаяся огнями спутниковая антенна доставила в каждый дом приветственные слова дикторов: «Добрый вечер, товарищи».

После информации об официальных приёмах главы государства настал черёд международных новостей. Сюжет был посвящён африканским странам, освободившимся от колониального гнёта,— Анголе и Мозамбику, которые избрали в качестве ориентира построение социалистического общества. На экране прошла картинка, где чернокожий раб с вздувшимися на шее и руках венами разрывает оковы. Голос за кадром воодушевлённо рассказывал о происходящих изменениях: «История борьбы ангольского народа за свободу подтвердила идейное и моральное превосходство пролетарского интернационализма. Советский Союз, революционная Куба, другие социалистические страны по-братски помогают молодым народным республикам в мирном строительстве…»

— А говоря по-простому, везут они на Кубу пшеницу, а с Кубы везут обезьян… Тоня, а сколько у нас гречки осталось?— вдруг спросила бабушка.

— Да пара килограммов, наверно,— удивилась мама.— А что?

— А мукички?— продолжила свою неожиданную ревизию бабушка.

— Тоже столько же.

— Ну, как-то протянем, на оладушки хватит, да, может, пару раз на сырнички.

— Да должно хватить, в пятницу уже получка, не волнуйтесь.

— Я б не волновалась, да теперь же нас прибавилось. Мышей у нас нет, а кот вон какой здоровый…

«В Африку отправились советские культурные и торговые миссии, а в Советский Союз — темнокожие студенты. Там, где была выжженная империалистическими агрессорами земля, вырастут новые современные города, цветущие сады, будут открываться кинотеатры и библиотеки. Помогая Анголе, мы помогаем себе, мы строим новую Африку, новый мир…» В подтверждение слов комментатора операторская камера дала крупным планом толпу смеющихся длинноногих темнокожих девушек в коротких белоснежных платьях, с блестящими серёжками в ушах и серебристыми браслетами на запястьях.

Бабушка ещё больше помрачнела и снова обратилась с вопросом к маме:

— А сколько ж лет ты своё ситцевое платьишко носишь? Уже светится на плечах и локтях… И ей,— она кивнула в сторону Лиды,— ничего такого не укупишь, в магазинах одни мешки висят с дыркой для головы…

«Первый Первомай в бывшем „африканском алмазе Португалии“, а ныне независимой Анголе…» На экране появились радостно марширующие под звуки «Интернационала» колонны: дети, машущие флажками, стройные женщины в ярких сарафанах, мужчины с портретами канонического триумвирата Маркс — Энгельс — Ленин… «Постепенно, но уверенно возрождается жизнь в Луанде…» Крепкие, модно одетые ангольцы щётками подметают улицы, а под раскидистыми пальмами секаторами стригут траву.

— Вот не с одних фиников они такие!— продолжала комментировать бабушка.— Небось, и мясо туда гоним вагонами. А тут и рыбы не на что купить.

Лида крепче обняла своего друга и подбадривающе шепнула в розовое пушистое ухо:

— Не слушай, найдём. Я поделюсь!

А вслух сказала громко, стараясь быть убедительной и подражая дикторской интонации:

— Бабушка, у нас такая богатая страна, мы всему миру помогаем. И кота прокормим!

Было решено оставить нового жильца на ночь в коридоре и постелить в туалете газетку для его надобностей. Засыпая, Лида перелистывала этот день, будто увлекательную книгу, заново. Ей было приятно снова переживать самые яркие впечатления. А потом она представила, как вместе с котом они будут делать уроки. Он свернётся пушистым клубочком рядышком на стуле и будет мурлыкать, а она будет делиться с ним секретами, сделает ему игрушку из пёрышек…

Где-то вдалеке пронзительно затрубили в горн, а потом прозвенел бодрый и звонкий детский голос: «Здравствуйте, ребята! Слушайте „Пионерскую зорьку“!»

Это бабушка на всю включила на кухне радио, уже без двадцати восемь, и пора вставать в школу, хотя очень хочется повернуться на другой бочок, уткнуться головой в подушку и хоть минуточку ещё поспать…

И тут Лида вспомнила про кота. Остатки дрёмы мгновенно улетучились, и она вскочила с кровати. Майское утреннее солнце играло с хрусталём в серванте, и солнечные зайчики распрыгались по всей комнате. Бабушка стояла возле плиты и жарила на сковороде яичницу с колбасой, а кот сидел рядом, задрав мордочку вверх и принюхиваясь.

— Доброе утро! Ой, как же хорошо! — потягиваясь, радостно воскликнула Лида и погладила своего котика по выгнувшейся спинке.

Побежала умылась и села завтракать, откусывая кусочки колбасы и протягивая коту, который переместился от бабушки к ней.

— Ешь сама, я ему уже давала, а то он лопнет, — пыталась пресекать внучкины вольности бабушка, не одобряя здоровый аппетит нового подопечного.

Под бабушкино ворчание, информацию о достижениях в науке и технике, успехах советских школьников Лида уплела всё до крошки, тем более что к чаю были её любимые печенюшки с маслом, которые коту тоже понравились.

— Бабушка, завяжи мне сегодня белые бантики. Нам сказали, что сегодня в школе праздник последнего звонка! — попросила Лида, надевая коричневое школьное платье, белый кружевной фартук, белые гольфы и белые туфельки. — А ты, котик, жди меня, я приду и расскажу тебе всё, что будет интересного!

Лида аккуратно надела ранец, чтобы не помять лямками воланы на выглаженном фартуке, в котором она была похожа на весёлую бабочку-капустницу, и вприпрыжку побежала в школу.

Ещё издали она услышала громкую музыку, которая доносилась со школьного двора:

> Школьные годы чудесные,
> С дружбою, с книгою, с песнею,
> Как они быстро летят!
> Их не воротишь назад.

Перед школой на линейку собрались все классы. Лиде помахали рукой одноклассницы, она тоже помахала в ответ, подбежала и встала в ряд. Все были такие же нарядные. Учительница — в новом платье, с праздничной высокой причёской, розовая от волнения.

Рядом волновались и гомонили будущие первоклашки с многоцветными букетами. В прошлом году, а кажется, совсем недавно, и Лида с мамой тоже стояли здесь, и она была такой же растерянной и даже испуганной, что почти ничего не запомнила. Зато сейчас она с удовольствием следила за всем происходящим. Когда закончились песни, к микрофону подошли два старшеклассника — юноша и девушка, а за ними — директор школы и пожилой седой дядечка в военном кителе. Вся грудь у него была в медалях. Они блестели на солнце и, наверное, тихонько позвякивали. Лида пожалела, что стояла далеко и ей не было этого слышно.

Держа в руках красные папки, ведущие открыли линейку какими-то праздничными стихами, а затем передали слово ветерану. Он откашлялся, выпрямил спину, по-генеральски оглядел построившихся в каре, будто принимая парад или готовя их к бою.

— Здравия желаю, товарищи ученики! Равняйсь! Смирно! — скомандовал он вдруг.

Все засуетились, подтянулись и замерли. Потом он рассказывал, как таким же семнадцатилетним мальчишкой ушёл на фронт и воевал с фашистами. Самое трудное было то, что никто не знал, когда эта страшная и тяжёлая война закончится. Но они выстояли и победили. Потом ветеран пожелал всем крепости духа, хорошо учиться, а выпускникам так же любить, беречь и защищать нашу советскую Родину, как это самоотверженно и бескорыстно делало его поколение.

Когда он закончил, все захлопали. Со всех сторон к нему побежали дети с цветами. Ветеран улыбался и благодарил.

Потом слово взяла директор. Она повернулась лицом прямо к их классу и поздравила с первыми летними каникулами. А потом обратилась к десятиклассникам:

— Этот последний звонок провожает вас во взрослую жизнь. Удачи на экзаменах и в выборе трудовой биографии! Вы — молодые строители коммунизма, и перед вами открыты все пути!

Подготовишки подбежали к выпускникам и подарили им свои цветы. Высокий и сильный десятиклассник в костюме с галстуком поднял самую маленькую девочку на плечо, и она, крепко держа в руке большой колокольчик, старательно трезвонила изо всех сил. Вместе они совершили круг почёта по периметру школьного двора. Девочки-старшеклассницы, выросшие из коротких платьиц, вытирали платочками слёзы.

Лида не понимала их слёз. Она в мыслях уже бежала домой к бабушке и коту. «Как же его назвать? — думала она. — Он не какой-нибудь Мурзик-Барсик, Снежок-Пушок, нет! Может быть, там, где он жил раньше, его как-то и называли, но теперь у него будет новое имя и новая жизнь».

Когда она уже открывала ключом дверь в квартиру, её озарила замечательная мысль. Как же она раньше не додумалась? Это ведь так правильно и просто!

— Бабушка, я пришла! А котика мы назовём Май! Правда, здорово?

Из кухни появилась бабушка, вытирая мокрые руки о ситцевый кухонный фартук.

— А котик не дождался и убежал.

— Куда? Как это убежал??

Лида почувствовала, как будто на неё стеклянный колпак надели, под которым совсем нет воздуха.

— Я выходила за хлебом, открыла дверь, а он и прошмыгнул.

— Чего ему прошмыгивать?! Это ты, наверное, его нарочно выпустила?!

— Да что ж мне его — за хвост ловить? Захотел, вот и убежал. Не переживай ты так, у него ещё и лишай на ухе был…

— Так его же лечить надо! Он же пропадёт один!
— Не пропадёт. Все кошки травками лечатся. Они знают, какую нужно съесть, а в какой поваляться. Хватит уже про этого кота толковать. Пойдём кушать.
— Не буду я кушать, пока он там голодный, несчастный, больной бегает. Я пойду его искать.

Лида бросила ранец на тумбочку, снова надела на шею шнурочек с ключом и хлопнула дверью.

Первым делом она побежала к подвалу. Входная дверь теперь была закрыта на винтовой замок. Лида обошла весь дом и заглянула в каждое маленькое окошко. Присев на корточки, она звала и вслушивалась в каждый шорох. Долго вглядывалась в темноту: не мелькнёт ли, хоть краешком, белый пушистый хвостик, не сверкнут ли изумрудным светом его прекрасные глаза?

Но кота нигде не было. Лида вздохнула и смело направилась к стройке. Прошла в открытые ворота и поискала взглядом, к кому тут можно обратиться. Наверху работал кран. Его большая железная рука перетаскивала поддоны с кирпичами на растущие этажи.

Вдруг, откуда ни возьмись, перед ней появился высокий усатый мужчина в синем комбинезоне и жёлтой каске. Вскоре ещё несколько человек вышло из вагончика и подошло к ним.

Лида обрадовалась, что можно порасспрашивать о котике побольше людей.
— Девочка, ты чего тут делаешь? Сюда нельзя заходить! Читать умеешь? Видишь, что написано? — он показал пальцем на жёлтую табличку с большими красными буквами: «ВНИМАНИЕ! ОПАСНАЯ ЗОНА. ВЕДУТСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ».
— А как же вы тут работаете и не боитесь?

Работяги обступили её, улыбаясь и с любопытством разглядывая, как какую-то мелкую забавную зверушку.
— У меня, видишь, каска есть.
— В труде рождаются герои, — гоготнул другой, низенький, с голым торсом, в брезентовых штанах, с огрубевшими здоровыми руками, похожими на клешни краба.
— Так, что вы тут филоните? Что за собрание? — сурово врезался в толпу прораб Семёныч. — Чей это ребёнок?

Мужики обрадовались новому поводу подурить и позубоскалить. Они начали толкать друг друга, высказывать предположения о том, на кого больше похожа Лида.
— А вы здесь начальником работаете? — перешла к делу Лида.
— Самым главным, — добродушно улыбнулся Семёныч. — Рассказывай, зачем пришла.
— Котик у меня потерялся. Я уже везде его искала! Может быть, вы видели? Беленький, с большими зелёными глазками. Вы вчера говорили, что брови у него как у Брежнева…
— Тю-тю котик! Обменяли хулигана на Луиса Корвалана! — заржал рядом блёклый и тощий, как магазинная селёдка, тип с золотым зубом.

Семёныч двинул его локтем в бок:
— Ты давай кончай, при ребёнке не выражайся!
— А я и не собирался! Кыс-кыс-кыс!!! — дурным голосом заорал он.
— Ты где живёшь, девочка?

Лида показала на свой дом:
— В первом подъезде на втором этаже.
— Помню я твоего котана. Замётано. Иди домой, а мы, если увидим его здесь, изловим и принесём.

Лида кивнула, повернулась и побрела домой. Горло сдавливало и жгло, но она не могла плакать. Пришла, разделась, легла под одеяло и отвернулась к стенке. Бабушка пыталась её расспросить, но Лида крепко зажмурила глаза и притворилась спящей.

На следующее утро идти в школу было не нужно, и когда раздался сигнал «Пионерской зорьки», Лида не стала вскакивать. «Дудите, хоть лопните», — думала она сердито. В комнату заглянула бабушка и бравурно пропела:
— Вставай, поднимайся, рабочий народ! Иди на врага, люд голодный!

Раньше Лиду смешило, когда бабушка будила её «Марсельезой», а сегодня она молча встала и поплелась в ванную. За завтраком вяло поковыряла ложкой овсянку и отодвинула тарелку в сторону.
— Ты не заболела? — забеспокоилась бабушка. — Что-то ты ничего не ешь.
— Не хочется. Бабуль, а что такое корвалан?
— Не корвалан, а корвалол, — поправила бабушка. — Это лекарство такое успокоительное для нервов. А что?
— Мне бы сейчас корвалолу принять. А то совсем нервы расстроились…
— Веника по попе тебе надо! — рассердилась бабушка. — Вот тебе двадцать пять копеек, иди купи хлеба и булочку! И не обгрызай по дороге, а то, если, не дай Бог, кто придёт, подумают, что мыши у нас!

Ещё с весны Лида ждала летних каникул. Она мечтала вдоволь накататься на велосипеде, порисовать новыми красками, играть в мяч с подружками, ходить в бассейн.

А получилось так, что целыми днями она сидела дома и не могла ничем заняться. Слонялась по квартире без цели, останавливалась возле окна и, прижавшись лбом к стеклу, долго смотрела вдаль, не отмечая ничего, без всяких мыслей. Если давали какое-то поручение, делала механически, как заводная кукла, не вникая и забывая сразу же. Пыталась читать, но не могла сосредоточиться. Спать тоже не получалось. Иногда бабушка выпроваживала её на улицу «подышать воздухом». Лида послушно выходила, дышала, обходила дом вокруг, поглядывая на подвальные окошки, возвращалась и снова маялась и томилась.

Она догадывалась, чувствовала, что бабушка была с мамой в сговоре. И утром они специально открыли пошире дверь, и безымянный майский котик убежал подальше от цивилизации, в некомфортные, но привычные ему пампасы и прерии.

Они открыли дверь, и вслед за котом устремилась Лидина душа, полная заботы и нежности, в поисках слабых и маленьких, которых нужно опекать и выхаживать, кормить и любить, словно братишек и сестричек. А теперь она сидит, и внутри у неё пусто, а на сердце тяжело.

Через неделю у неё на плече появилось розовое пятно с красноватым ободком и шелушащимися чешуйками внутри. Оно было небольшое и немного чесалось, но бабушка, как только его увидела, ахнула:

— Таки лишай, чтоб его!

Мама не на шутку переполошилась, схватила Лиду в охапку и собралась вести в кожвендиспансер, но бабушка удержала их.

— С такой ерундой могут и в больницу положить. В школе узнают — будут сторониться. Ты, Тоня, прямо сейчас иди в гастроном за водкой, а потом съезди в магазин «Пчёлка» за настойкой прополиса. Сами вылечим. На живом всё заживёт!

Когда спецзаказ был доставлен, бабушка смешала йод пополам с водкой и помазала пятнышко. Через несколько часов натёрла его пчелиной настойкой. Вечером всё повторилось снова.

Оба выходных мама мыла с хлоркой полы, протирала едкими растворами стены и подоконники. Все Лидины вещи перестирала и прокипятила в эмалированном ведре, высушила и прогладила горячим утюгом. Кошачью мисочку, которую Лида спрятала у себя под кроватью, нашли и выбросили.

Лида не капризничала, не просила подуть, смирно сидела, терпела и думала про себя, чтобы как можно дольше лишай не проходил.

Изредка в её глазах вспыхивали маленькие искорки надежды. И тогда она думала: вот бы найти этого белого котика и тоже вылечить, мазать йодом его розовые ушки и тихонечко говорить, что всё пройдёт, до свадьбы заживёт…

Лишай постепенно исчез, но невидимая дырочка в сердце побаливала и продолжала чесаться. И в этот маленький проём незаметно проникло множество маленьких быстрых лапок, чтобы с течением времени оставить свои следы, царапки и ранки на сердце.

А пока Лида грустила, смотрела на бледнеющее пятно, тихонько гладила его пальцами, вздыхала.

Бабушка тоже вздыхала и как-то вечером, за своим привычным шитьём, будто продолжая начатый разговор или отвечая своим мыслям, не выдержала и повернулась к Лиде:

— Да заводи ты хоть крокодила! Лишь бы в нашу ванну поместился!

Родной обычай старины

Лида с облегчением сбросила тяжёлый ранец на тумбочку в прихожей, на ходу уперевшись носком в пятку, сняла туфельки, в ванной на всю открыла воду, не замечая её колючего холода, сполоснула руки и заскочила на кухню.

— Бабуль, давай быстренько пообедаем, а то скоро сказка начнётся!

— Залетела, как вихрь, сказка… тапочки надень!

Быстренько обувшись и вернувшись за стол, Лида склонилась над тарелкой, как гонщик. Она ещё хлебала суп, а мысленно уже включала первую программу на их чёрно-белом «Рекорде», стоявшем на высоких ножках за стенкой в комнате.

По-стахановски управившись с обедом, чмокнула бабушку в щёку, крикнула:

— Спасибо! — и уже через минуту устраивалась поудобнее в любимом уголке дивана напротив экрана телевизора.

С первых нот звучащей серебристыми капельками мелодии у Лиды сладко замерло сердце.

> Если вы не так уж боитесь Кощея
> Или Бармалея и Бабу Ягу,
> Приходите в гости к нам поскорее,
> Там, где зелёный дуб на берегу.

На заставке сиял и переливался волшебный цветок, и Лиде казалось, он цветёт и распускается под чарующую музыку у неё внутри, заполняя теплом и радостью.

Вот на экране появилась любимая ведущая Валентина Леонтьева, которую вся детвора Советского Союза называет тётей Валей. Лицо у неё доброе, голос такой мягкий и ласковый, и Лида уверена, что она обращается именно к ней и её семье: «Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые».

Лида просто обожала «В гостях у сказки». Благодаря этой передаче она посмотрела и полюбила навсегда столько поразивших её воображение и покоривших её сердце фильмов: «Конёк-горбунок», «Садко», «Каменный цветок», «Варвара-краса, длинная коса», «Королевство кривых зеркал»… Поэтому с особым трепетом ожидала, что же покажут сегодня.

Тётя Валя начала с рассказа об Александре Сергеевиче Пушкине и его няне и вдохновительнице Арине Родионовне. Бесчисленное количество народных песен, поговорок и пословиц, «преданий старины глубокой», которые она сказывала и пела великому поэту, превращалось потом в его знаменитые и любимые читателями произведения.

«Вот представьте, ребята, — улыбнувшись, продолжала тётя Валя, — простая деревенская светлица, за окном поздний вечер, в красном углу под образами стол, покрытый домотканой скатертью, на столе уютно пыхтит-поёт самовар, а за столом сидят юный Саша Пушкин и его „мамушка“. Как

вьётся сизый причудливый дымок над самоваром, так слово за словом течёт, сказывается сказка: „Вот что чудо: у моря-лукомория стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идёт—сказки сказывает, вниз идёт—песни поёт…“ Узнали, какая поэма начинается с чудесного лукоморья? Конечно же, это пролог к поэме „Руслан и Людмила“, фильм по которой снял режиссёр Александр Птушко, и сейчас вы его увидите, дорогие наши телезрители!»

После титров и героически-раздольной музыки из сумрака времени появляется книга с профилем великого поэта, перелистываются пожелтевшие страницы, и торжественно звучит пушкинская строка: «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» И вот уже послышались конское ржание и топот хищно скачущей на Русь пёстрой и дикой орды степняков, ощетинившихся копьями и стрелами. Затем—узколицые и темнолицые воители, падающие ниц и бьющие поклоны в мольбе о жизни. И над ними, на фоне чёрных клубящихся туч, благородное, открытое лицо Руслана, он весь озарён светом, доспехи сверкают, белый конь под ним чутко прядает ушами, за ним—грозная верная дружина, победно рдеют знамёна с золотым солнышком. «Я отпущу вас, печенеги, но помните наш уговор…» На Лиду повеяло духом русской старины, и её полностью захватила романтическая и таинственная атмосфера сказки.

Когда закончилась первая серия, Лида даже не стала смотреть традиционное завершение передачи—выставку детских рисунков и поделок, чтобы не нарушить и не спугнуть потрясающее впечатление от фильма. Она была в восторге, и всю неделю её не покидало ощущение волшебства, сердце сладко томилось в ожидании второй серии. Всю неделю она думала о том, как будет смотреть продолжение, о новых приключениях и испытаниях, выпавших на долю героев. Она ждала, когда снова распахнётся дверь в удивительный, чарующий мир—как в другое измерение, где торжествуют любовь и добро, и она войдёт и…

Час пролетел как один миг. Так же, как и в начале фильма, красивый низкий голос завершил повествование: «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой». Перевёрнута последняя счастливая страница поэмы, закрыт пушкинский томик с золотым тиснением. Тётя Валя приглашает телезрителей через неделю на новую сказку. А Лида сидит и не может опомниться.

Проходили дни, а перед внутренним взором продолжали являться фантастические и красочные картины, которые разворачивались и сменяли друг друга. Лида жила в обыкновенной и привычной маленькой комнатке с потёртым плюшевым ковриком над кроватью, на котором резвились утренние мишки, и одновременно среди туманных полей и долин, коварных волшебников и храбрых героев, пируя вместе с весёлыми гостями в княжеских палатах и жадно впитывая ароматы пенных медов и звуки звонких гуслей.

Ей хотелось говорить об этом фильме, обсуждать его с одноклассниками, подружками и мальчишками во дворе. Он понравился абсолютно всем. Девчонки восхищались богатством княжеского убранства и нарядами Людмилы, секретничали и грезили о доблестных витязях, смеялись и фантазировали, что бы они сделали, будь у них шапка-невидимка; а пацаны с видом знатоков разбирали бой Руслана с Головой, битву с печенегами и какие подвиги совершили, если бы у них был меч-кладенец.

Но Лиду же больше всего восхитил эпизод, о котором почему-то никто не вспоминал,—воскрешение убитого витязя. Когда старый колдун Финн, получив от горлицы весть, что Руслан погиб от руки Фарлафа, набирает в два сосуда из волшебных ключей воду и спешит к нему на помощь: «Водою мёртвой и живою кроплю тебя, чтоб, полный сил, ты ожил, встретился с княжною и вражьи силы разгромил».

Лида снова и снова пересматривала в памяти эту сцену. А поскольку это было так живо и ярко, она безоговорочно верила видению. И у неё появилась мечта.

Их встреча случилась возле гастронома, куда они с бабушкой пришли за продуктами.

Он лежал посреди своих ярко-красных собратьев в большой плетёной корзине, стоявшей на земле, и его чёрные глаза-бусинки были безутешно грустными. Лида почувствовала это всем своим маленьким сердцем и спросила бабушку, почему он такой красивый и печальный.

— Так рака смерть красит. Он бы лучше буреньким остался, да живым.

И поэтому, глядя на горькую участь этого несчастного, Лида сразу вспомнила про ключи с мёртвой и живой водой и ожившего, бодрого, полного новых сил Руслана…

И во что бы то ни стало решила попытаться.

— Бабушка, купи мне его, пожалуйста.

Он стоил рубль. Это было безнадёжно дорого. Три бутылки молока и буханка хлеба. Или целых двадцать румяных пончиков с повидлом, посыпанных сахарной пудрой, которые продавались на рынке, о которых Лида сладко грезила во сне и наяву. Бабушка всплеснула руками:

— А больше ты ничего не придумала?

Лида быстро вырвала свою руку из бабушкиной, схватила грустного рака и крепко прижала к груди.

— Ты что ж творишь? А ну положи на место!—хором закричали продавец и бабушка.

— Не отдам.

И отбежала не слишком далеко, но так, чтобы сразу не поймали.

— Ну, ты сейчас хворостины получишь! — бабушка сломила с ближайшего куста ветку и решительно двинулась к Лиде.

— Бабуль, ты её дома воспитывать будешь, а платить Пушкин будет?

— И где ты взялся на мою голову, спекулянт проклятый?!

— Обижаете. Какой я спекулянт? Я этими вот своими руками их ловил! А его в норе пока нащупаешь, вытянешь, он так и норовит клешнёй цапнуть! Смотри, трудовые, кусаные-перекусаные!

Сердито ругаясь и бросая грозные взгляды на внучку, бабушка полезла под фартук, в карман цветастой ситцевой юбки, за кошельком. А Лида галопом понеслась домой. Возле подъезда остановилась, заняла выжидательную позицию возле лавочки. И когда появилась бабушка, встала за спинку так, чтобы она не смогла её достать. Бабушка усмехнулась и бросила хворостинку.

— Да уж пойдём домой, совесть цыганская. Как из голодного края, будто я тебя не кормлю…

Лида знала, что бабушка никогда не обманывала её, ей стало немного стыдно, но нетерпение было сильнее. Она покаянно опустила глаза, подбежала к бабушке, потёрлась о её руку щекой и шустро нырнула в подъезд.

Дома забралась на кровать, положила свою добычу на подушку и с интересом стала её обследовать. Панцирь рака был твёрдым и пупырчатым, как броня, и пах укропом. На острой продолговатой голове на тоненьких стебельках крепились потухшие матовые глазки, по сторонам завивались длинные усики. Лида осторожно потрогала крепкие клешни с зазубринами и перевернула рака на спину. По бокам от брюшка располагались шесть пар мелких ножек. Хвостик с тоненькими плавничками и прозрачными ворсинками был поджат. Она попробовала его разогнуть, но он, как пружинка, опять свернулся в колечко.

Бабушка одобрительно кивнула:

— Хороший рак, правильно сваренный. Кушать его нужно так…

— Нет! — протестующее прервала её Лида и спрятала его под подушку.

— Что значит — нет?

— Потом. Я капельку полежу. Я так устала!

И она положила голову на подушку, закрыла глаза и стала думать про воду.

Как-то мама говорила, что если долго кипятить в чайнике воду, то она становится мёртвой. С этим понятно. А вот где взять живую? Лида перебирала в памяти всё, что ей было известно про воду, но ответа не находила. Незаметно она уснула.

Проснулась оттого, что почувствовала лёгкое прикосновение маминых рук.

— Малышка, что же ты прямо в платьице и гольфах уснула? Нужно переодеться.

В комнате уютно-оранжево горел ночник. Было тепло, ласково улыбалась мама, а за окном мерно шелестел дождь. И вдруг яркая догадка радостно озарила Лиду. Вот же она! Настоящая живая вода! Нужно только набрать её! И она спрыгнула с постели, побежала на кухню. Быстренько достала из шкафчика самую большую чашку, распахнула окно и, вытянув руку, подставила ёмкость под дождевые струи.

Сзади появились встревоженные мама и бабушка.

— Лидочка, что ты делаешь?

— Мне надо срочно набрать, пока дождь не кончился!

— Зачем? Закрой окно, ты простудишься!

— Сейчас-сейчас! Это вопрос жизни и смерти! Не мешайте!

Мама заморгала и растерянно повернулась за поддержкой к бабушке.

Та, зевнув и перекрестив рот, начала распекать обеих:

— Лучше б ты её не трогала! Спит ребёнок и пусть спит — нет же, разбуркала! А ей если чего в голову втемяшится, колом оттуда не выбьешь! Вот до чего дожились: «Не мешайте!» Ни днём, ни ночью от вас покоя нет, о-хо-хо… А ну быстро марш отсюда! И без разговоров! — грозно подступила она к окну.

Не дожидаясь продолжения, Лида захлопнула окно, повернула шпингалет и понесла драгоценную добычу в комнату.

— Не вздумай пить! Давай я тебе лучше молочка подогрею, — не могла успокоиться мама.

— Да, только не молока, а кипячёной воды горяченькой, пожалуйста, — попросила Лида, бросая быстрые взгляды по сторонам и прикидывая, куда спрятать чашку с драгоценной живой водой.

Когда мама вышла, она на цыпочках подошла к серванту, осторожно отодвинула стеклянную дверку и поставила чашку в уголочке за праздничным сервизом с яркими золотыми розами и хрустальной вазочкой.

Лида лежала в кровати с закрытыми глазами, чутко прислушиваясь к дыханию мамы и бабушки, ждала, когда они покрепче уснут, чтобы начать ритуал. Когда бабушка стала негромко похрапывать, Лида сунула руку под подушку, аккуратно вытащила своего подопечного, взяла чашку с мёртвой кипячёной водой и, осторожно ступая босыми ногами, подошла к окну.

Положив рака на подоконник, ещё раз внимательно осмотрела его, опустила пальцы в чашку, а потом быстро вытащила и три раза брызнула на него водой. В этот миг из-за летящих тёмных облаков показался лунный диск. Холодный и чистый свет упал на подоконник — «и раны засияли вмиг»:

на красном панцире как будто стали показываться зеленовато-бурые тени. Лиде было и жутко, и радостно, всё шло как надо.

Решив, что окончательно оживлять и брызгать живой водой нужно при солнечном свете, она отправилась в постель, предусмотрительно положив рака под голову и накрыв подушкой.

Как только рассветно-алое золото разлилось в бледном утреннем небе, Лида бодро вскочила, достала из серванта чашку с живой водой и, подражая вещему старцу, торжественно начала заклинание:

— Водою мёртвой и живою кроплю тебя, чтоб, полный сил, ты ожил…—и запнулась.

Говорить про княжну и вражью силу раку было странно, менять магическое заклинание боязно, поэтому, поколебавшись, она закончила:

— И цел и невредим вернулся бы домой!

В комнату зашла улыбающаяся бабушка.

— Ранняя моя пташечка, я думала будить, а она уже щебечет!

С трепещущим сердцем Лида сунула мокрого рака в привычный тайник.

— С добрым утром, бабушка! Будить не надо, я собираюсь.

Проводив внучку в школу, бабушка решила сварить к обеду красный борщ с молодой капустой, который был любим всеми в их семье. Кинулась в холодильник, а свёклы нет. А какой же борщ без неё? Пришлось идти в магазин. Пока всё порезала, да обжарила, да проследила, пока сварится, времени как не бывало. Солнце перевалило за полдень. Натоптавшись на кухне и настоявшись у плиты, она устала. Решив передохнуть, бабушка зашла в комнату и присела на диван.

И тут же почувствовала странный и неприятный запах. Она не могла понять, откуда он шёл. У них и раньше, бывало, частенько приносило вонь то с мясокомбината, то с завода лимонной кислоты, то с очистных сооружений или силосных ям, которые находились за городом. Поэтому она поспешно подошла к окну и закрыла форточку. Но зловоние не проходило, а даже усиливалось.

Бабушка переполошилась не на шутку, в панике она подхватилась и прошлась по комнате, напряжённо вытянув шею и втягивая носом воздух. Возле Лидиной кровати она в ужасе остановилась. Откинула одеяло, а следом и подушку…

— Да что же это за ребёнок такой!!!—во весь голос вскричала она, схватив протухшего рака, от которого шёл тяжёлый и отвратительный запах разложения.

Завернув его в газету, бабушка не стала даже выбрасывать его в мусорное ведро, иначе он завонял бы всю квартиру. Открыв везде окна, она вышла во двор и отнесла его на помойку.

Когда вернулась, с облегчением отметила, что уже почти всё выветрилось, нужно только поменять Лидину постель. С простынями, пододеяльниками и наволочками бабушка промаялась ещё полчаса. «Отдохнула, называется! А сейчас придёт из школы, и вторая смена начнётся! Ладно, пусть поест, а после поговорим»,—сокрушённо качая головой, успокаивала сама себя.

— Бабулечка, я сегодня две пятёрки получила,— раздался звонкий голосок из прихожей.

— Молодец. Мой ручки, и будем обедать.

— А что у нас есть?—Лида подняла крышку и заглянула в кастрюлю.—Ура! Я так люблю твои борщики! Сейчас, бабушка, я на минуточку…

Лида держала в руках подушку, смотрела на чистую простыню и чуть не плакала. Она перетряхнула пододеяльник, заглянула под кровать, обследовала все углы. Рак исчез. Медленно и понуро Лида вернулась на кухню, села на табуретку и потухшим голосом спросила:

— Ба, ты не знаешь, куда делся рак?

Бабушка, внимательно глядя на внучку и поражаясь этой перемене, даже не решилась ругаться. Вместо этого буркнула:

— Делать мне нечего, как за твоим раком смотреть.

Лида с надеждой заглянула ей в глаза:

— Ты правда не брала?

— Да говорю ж тебе: когда мне за ним следить? Я не присела ни минуты!

Лидино лицо просветлело, и она робко предположила:

— Может, он уполз?

— Ну, не знаю, может, и уполз, вон сколько у нас дырочек в полу…

— А куда?

Дивясь на внучку и чувствуя, как в груди защемило от нежности, стараясь не выдать своих чувств, бабушка ровным и спокойным голосом предположила:

— Может, сидит у соседей,—и, спохватившись, предвидя перенос поисков и туда, продолжила:— А может быть, выбрался на волю, дополз до прудика и живёт в своей норке.

С аппетитом пообедав, Лида села сразу за домашние задания. К приходу с работы мамы всё было сделано и выучено назубок. Старательно сложив в ранец учебники и тетрадки на завтра, Лида взяла с полки с книжку и, удобно усевшись в кругу мягкого приглушённого света от стоявшего в углу торшера, принялась читать.

Подождав, пока все освободятся от вечерних дел и забот, довольная и счастливая, предложила:

— Бабушка! Мама! Давайте не будем сегодня телек включать! Я вам Пушкина вслух почитаю! Слушайте:

Птичка

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

ДиН ревю

Альманах «Культурная критика» №1

Красноярск: «Литера-Принт», 2023

Массовая культура стала религией современности. Поэтому просветитель наших дней должен бросаться в бой не с религией, а с разновидностью светского мракобесия — с масскультом, обывательским сознанием. Критика массовой культуры, таким образом, есть косвенно познание современного мира и проникновение в сознание обывателя, человека толпы.

К сожалению, современная критика отказалась от своих славных традиций и уронила своё имя. С одной стороны, она выродилась в узкопрофессиональные штудии, в нагромождение невразумительных псевдонаучных терминов. Такого рода «научные исследования» не дают науке ничего нового, не служат для приращения знания. Под лозунгом борьбы с «догматизмом, идеологической зашоренностью и мрачной помпезностью», в сущности, был осуществлён отказ от идеалов, но при этом — не от идеологии. Идеология такой критики — превознесение собственной цеховой избранности.

Такого рода критика убивает читательский интерес. Более того, она ему активно противостоит, ибо истинные тексты, с её точки зрения должны быть понятны лишь избранным. Поэтому и читают их лишь узкие специалисты в столичном конгломерате «Москва — Петербург» да день ото дня истончающаяся прослойка преподавателей провинциальных вузов.

С другой стороны, мы имеем так называемую рекомендательную критику — разновидность (полу-)скрытой рекламы того или иного культурного продукта. Эта критика убивает в читателе доверие.

В результате широкие читательские массы всё более отходят от критики и серьёзной культуры вообще, выталкиваются в разряд потребителей масскульта.

И тем не менее задача познания действительности посредством культуры не теряет своей актуальности со времён Белинского, Герцена, Добролюбова и Чернышевского — разгрызать золочёную скорлупу произведений массовой культуры, чтобы вынести на всеобщее обозрение их идеологическую суть. Из этой предпосылки мы и выводим необходимость нового журнала.

Почему именно сейчас? По-хорошему, «Культурная критика» была нужна и прежде, но именно сейчас интеллектуально-культурное поле достигло такой степени упадка, что пустота начинает зиять. И одновременно по мере углубления перемен в нашем обществе среди граждан усиливается запрос на познание окружающего мира, овладение им. Мы предлагаем лишь один из методов такого познания.

Однажды Герцен сказал о литературной критике: «Литературные вопросы, за невозможностью политических, становятся вопросами жизни. Появление замечательной книги составляло событие; критики и антикритики читались и перечитывались с тем вниманием, с которым, бывало, в Англии или во Франции следили за парламентскими прениями». В наше время появление новой книги уже не составляет общезначимого события, но критика даже ничтожного произведения может принести немало пользы и массу ценных знаний.

Чему там учат нас магнаты заокеанской «фабрики грёз» и их отечественные эпигоны? Какой лапшой наделяют они развесистые уши наших сограждан?

Впрочем, не стоит относиться к массовой культуре как к чистой пропаганде. Просто художественные произведения создаются живыми людьми, нашими современниками, со своими убеждениями, заблуждениями и страхами. Все их тайные помыслы находят выражение в их творчестве, будь то литература, кино или даже музыка и танцы.

Владимир Блинов

За что мне такая награда?

Последний конструктивист[1]

Пропивая пропилеи,
Не надейся на кредит…

По задумчивой аллее—
Зодчий. Снег.
Радикулит
Не отнимет вдохновенье!
Куб на куб, и—лента окон…
Белое на белом, тени,
Бог бетона—серый тон.

Там, где Мельников старался,
Ты усилишь синь стекла
(У завистников-поганцев
На планшет—слюна стекла).
Чтоб витраж, а не оконце,
Чтоб Любовь, а вместе с ней—
Будет солнце, больше солнца!
Дети прыгают в бассейн…

Ватман, «кохинор», картошка…
Спит за ширмою жена.
Алюминьевая ложка
Нежности не лишена.

Ты—поклонник новой веры,
От супруги втихаря
Наполняй стакан мадерой:
За идеи Октября!

Воплотиться Кампанелле
Чрез эпохи-жернова,
Чтоб взошли на соцпанели
Справедливость и жратва.

(Плагиаторы ограбят,
Без таланта им—куда?..)

Будет, будет Дом-кораблик
Плыть по зеркалу пруда.

Вспомнят ли того потомки,
Кто мечту свою творит?
Или карточка—
и только:
Стройка. Снег. Радикулит.

1. В 1936 году в газете «Правда» была опубликована статья «Коробчатая архитектура», положившая конец авангардным исканиям советских зодчих *(прим. автора)*.

На Святках

Может, прогнозов промахи—
Мёрзнет, чернея, земля…
И вдруг, будто гроздья черёмухи,—
Снежный заряд Января!
Эх, понеслось, завьюжило!
Жаден печурки зев,
Кинь в него чурку нужную,
Против огня присев.
Взгляд никогда не насытится,
Сладостен губ твоих плен…
Ах, как шафраново светятся
Яблоки круглых колен!
Щёлкая, хворост корчится…
—Добрая тяга в трубе!
—Слышишь, запели скворчики?
—Милая, мнится тебе.
Зря ты над блюдцем склоняешься,
Ярый расходуешь воск,
Вечным вопросом маешься…
Жизнь понеслась на авось.
Лучше ложись-ка рядышком—
Жаркой, забытой, родной,
Стань мне по-прежнему ладушкой…
Год пролетит и другой,
Небо с землёй перемелется…
—Тихо! Молчи! Ни гу-гу!
Слышишь, как корни шевелятся,
Приподымая избу?

Русское меццо-тинте

Я обожаю графику Зимы,
Её правдивые эстампы:
На белом—чёрное,
А мы—
На лыжах, будто арестанты,
Побег свершаем от шумов,
От визга визовских трамваев,
От жёлтой зависти врагов…
Хоть далеко ещё до рая,
Спеши застать пейзаж нагой,
Где в роднике—вода святая,
Не торопись, взгляни, постой,
Где снег, не тронутый ногой,
Где в небе Сириус сияет.

Снежная бабочка

Снежная бабочка, белая бабочка
Бьётся в ночи о стекло.
— Что тебя манит — горящая лампочка
Или печное тепло?
— Было б со мною тепло.

То улетает, сливается с тучами,
Рвётся к латунной луне,
Или находит пристанище лучшее,
Вроде забыв обо мне.
— Как бы забыв о тебе.

Там, на просторах российских немереных,
Много прекрасных путей…
Но улетела,
И что-то потеряно.
Буду я думать о ней.
— Ты затоскуешь по ней.

То налетает опять лунокрылая,
Странный посланец Зимы.
— Что потеряла ты? Что, тебе, милая,
Ветры февральские злы?
— Ветры колючие злы!

Белы огромные крылья метельные
В искрах лиловых огней…
Может быть, кем-то приказано, велено,
Чтобы летел я за ней?
— Чтобы летел ты? Не смей!

Страшно и сладко.
Закрыта ли форточка?
Кто опрокинул фужер?
Пурпур на белом… А чья это кофточка?
— Ich — butterfly это, cher![2]

Белое безмолвие

…да сибирская привычка
от тоски не умирать.
Юрий Казарин

Где никто никого не увидит,
Не запомнит, не позовёт,
Где заплот, виноградом увитый,
Под снегами вот-вот упадёт,
Постою, погрущу, не заною,
Одинокой слезой не прольюсь.
Я отвык умирать от запоя,
На закат золотой помолюсь.
Отчего же тревожит затишье?
Не пойму, не возьму себе в толк…
Сквозь снега — камышовые шишки,
Как гусаров затерянный полк.

Банька

Баня, банька, банюшка,
Дом желанных встреч…
Где ты, моя Аннушка?
Истопилась печь!

За окошком ветрено,
Иван-чай отцвёл,
И сверчок заветную
Песенку завёл.

Помнишь, как мы парились,
Не жалели дров,
На полочке жарились,
Целовались в кровь?

Обливались шёлковой
Ледяной водой…
Выдыхала шёпотом:
— Ты — навеки мой!

Аня, Нюся, Нюрочка,
Где другому врёшь?
Неужели, дурочка,
Больше не придёшь?

Просто невозможно мне
Без тебя никак.
Я б купил пирожного.
Дорогой коньяк!

Анька, твою фотку я
Ставлю на поло́к,
Отпиваю водку я,
И — тебе глоток.

Я с тобою чокнулся,
Значит — не один.
Может, малость чокнулся,
Помешался, блин?

Сколько зим и сколько лет
С той поры прошло,
А тебя всё нет и нет —
Эх, нехорошо!

Скроюсь я за веником
И надраю плоть,
Но любовь заветную
Мне не побороть.

Верещите, камушки,
Завивайся, дым!
Нет со мною Аннушки,
Парится с другим.

2. Я — бабочка это, дорогой!

Благодарение

За что мне, за что мне такая награда:
Синиц разнопенье, варенье из вишни и вид снегопада,
Серебряной ложки витраж из янтарного чая,
Улыбки твоей белозубой свеченье, моя дорогая?..
От первого крика до стона последнего — песня,
Как радуга счастья, у каждого есть поднебесье.
И пусть по вискам провела неожиданно старость,
Но лист на столе и перо под рукою остались,
Звонки от друзей и поэта любимого томик...
Вот только бы всё удержать, унести и запомнить!
А кто-то, а кто-то родиться не может, не хочет.
Останется где-то в потёмках, в утробе комочек.
А кто-то и этим не будет — ни семенем и ни водицей,
Ни ветром.
        ни громом,
                ни древом,
                        ни спичкой,
                                ни птицей...
За что же его?
                И за что мне такое, за что же?
Ответь, Милосердный, Великий, Всезнающий Боже!

Белые кувшинки

Белые кувшинки ты вплела в венок.
Все мужчины встали!
А каков итог?
Глядь, мужчинки «вышли замуж».
Вроде не война...
Зеркало вздыхает: «Да уж!»
Ты вокруг одна.
Не стара, не молодая.
В чём твоя вина?
Вроде май, а холодает...
Выпить, что ль, вина?
Есть один чудак-художник —
Странный он сосед.
Не придёт, наверно: дождик.
Вот и пью абсент.

ДиН ревю

Сергей Хомутов

Я просто жил

Рыбинск: 2023

Новая книга стихов Сергея Хомутова приурочена к 55-летию литературной деятельности поэта. Её разделы отражают разные периоды творчества известного автора. В небольшой, по сравнению с другими книгами избранных стихов, сборник вошли произведения, наиболее характерные для конца прошлого века, начала нынешнего, стихи, не опубликованные ранее в книгах и написанные за последнее время. Сергей Хомутов издал более 30 поэтических книг, он член Союза писателей России, лауреат многих литературных премий, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

● ● ●

В мире людном, похожем на вече,
Неспокойном и ночью, и днём,
Как живётся тебе, человече,
Замурованный в теле моём?

Хоть понятно, что это не бочка,
Только всё же — предел жития,
Не тесна ли тебе оболочка,
Не скудна ли дорога моя?

Странный сгусток безмолвья и речи,
Отзвук неба и вечных могил —
Много всяческих противоречий
Ты явленьем своим породил.

Кто ты: свет удивительной силы,
Что не сможет стереть забытьё,
Или тьма, что меня поглотила
И присвоила имя моё?

Алексей Саков

В полумраке ночном

Воскресение

Льёт на землю без устали дождь ледяной,
Словно плачет о чём-то и слёзно скорбит.
Тот, кто небо покрыл облаков пеленой,
Плащаницею чистой во гробе повит.

Кустодия[1] у камня дежурит всю ночь,
Мироносицы-жёны ко гробу спешат.
Отступает печаль, и кончается дождь.
И на веки крестом побеждается ад.

Сходят ангелы с Неба в одеждах как снег,
Возвещая о Том, Кто из гроба исчез.
Так исчезнет из жизни земной человек,
Но воскреснет потом, как Спаситель воскрес!

Отключили в доме свет

Отключили в доме свет
Неожиданно под вечер.
За окном кружился снег,
Людям падая на плечи.
Замолчал магнитофон
И, конечно, телевизор.
Снег кружился за окном,
Оседая на карнизе.

Шла по улице метель.
При луне, в неярком свете,
По земле стелил постель
Ледяным дыханьем ветер
И на кухонной стене
Тени заставлял качаться.
За окном кружился снег
И не думал прекращаться.

Дом остался в темноте,
И жильцы достали свечи.
Газ включили на плите,
Отогрев холодный вечер.
И, собравшись у стола,
Посмотрели друг на друга.
За окном метель мела
И свистела песни вьюга.

Добрый лес

Если город запылит суетой,
Родником тебя омоет, скорбя,
Добрый лес, в котором мир и покой—
И прохлада среди жаркого дня.

Где листвы над головою покров,
Тишину лесной природы храня,
Шелестит среди овражных ручьёв
Под молчание трухлявого пня.

Там роса неспешно падает с трав,
С паутины—слышен капелек звон,
Крик ворон среди высоких дубрав
И осины надломившейся стон.

Плачущее небо

Над лесом небо потемнело,
И дождь зашелестел в листве,
Стекая с веток неумело,
Пошёл кругами по воде.
Всю ночь стучал по нашим крышам,
Но не открыли люди глаз.
И вряд ли кто-нибудь услышал,
Как небо плакало о нас.

Мелькали пузыри на лужах,
Бежали вдоль дорог ручьи.
Проснулся город неуклюжий
И взялся за дела свои.
И дождь пошёл ещё сильнее,
Но не подняли люди глаз.
Себе все под ноги глядели,
А небо плакало о нас.

Когда же небо прояснилось
И побелели облака.
Зонты на улицах закрылись,
Гром прогремел издалека.
Мерцали вдалеке зарницы,
Едва заметные для глаз.
И лишь о том кричали птицы,
Как небо плакало о нас.

1. Кустодия *(греч.)*—стража, охрана.

Храм

В центре города высится храм.
Спят вокруг пожилые дома.
Мимо люди спешат по делам—
Кто-то крестится на купола.

Из сетей проводов на простор
Золотой вырывается крест.
Захожу я в церковный притвор,
Как в знакомый до боли подъезд.

Здесь светло от поблёкших икон,
Как от окон, распахнутых в сад.
Чей-то вдруг зазвонит телефон—
Обернусь я невольно назад.

Этот храм для меня—словно дом.
Сверху Небо взамен потолка.
Тихо ангел стоит за плечом,
И молитва, как воздух, легка.

Промолчать…

Благословите промолчать,
Оставив праздность без ответа,
И даже ценного совета,
Пока не просят, не давать.

Произнесённые слова
Лишь тяготят напрасно душу.
Благословите больше слушать,
Сказав немногое едва.

Огни зажгутся городские

Огни зажгутся городские—
И звёзды свой утратят свет.
Из жизни временной святые
Уходят—мы лишь смотрим вслед.
Но их словам уже не внемлем
И утверждаемся во зле.
Когда вернётся Бог на землю,
Найдёт ли веру на земле?

Кто жив, тот тянется ко свету,
А нам приятней больше тьма.
Забыты прежние обеты,
И на душе метёт зима.
И сердце крест свой не приемлет,
Как неудачный амулет.
Когда вернётся Бог на землю,
Найдёт ли веру на земле?

Когда все храмы восстановят
И обновят монастыри,
Мы будем думать, что здоровы,
Хотя болеем изнутри.
Беспечно на молитве дремлем
И празднословим в алтаре.
Когда вернётся Бог на землю,
Найдёт ли веру на земле?

Старое кладбище

Поздняя осень кружит листопадами,
Птиц собирая в последний полёт.
И тополя золотыми нарядами
Машут им вслед у церковных ворот.

Между деревьями кладбище старое
Всё заросло пожелтевшей травой.
То, что тревожило душу усталую,
Погребено под опавшей листвой.

Всё наносное и ненастоящее
Воском растаяло, как от огня.
Спите спокойно, до времени спящие,
Пусть колыбелью вам будет земля.

Небесная тень

Солнце встаёт над домами—
Над горизонтом из крыш.
Скоро исчезнет в тумане
Утра морозного тишь.
Вновь заведутся моторы,
Чтобы работать весь день.
Неутомимый наш город—
Града небесного тень.

Здесь уживаются вместе
Тысячи разных людей.
Каждый поёт свои песни,
Полон великих идей.
Не прекращаются споры
За перемычками стен.
Объединяющий город—
Града небесного тень.

Парки деревьями дышат
На перекрёстках аллей.
Благовест утренний слышен.
Гаснут огни фонарей.
На городские просторы
Льётся покой деревень.
Богоспасаемый город—
Града небесного тень.

Домашний кот

Нетороплив домашний кот,
Живёт он не спеша.
Не знает будничных забот
Кошачая душа.

Лакает он густой кефир
Из блюдца перед сном,
И не тревожит его мир
За кухонным окном.

Не беспокоит суета
И важные дела.
Ведь, с точки зрения кота,
Всё это—лишь игра.

О талантах

От одного Источника таланты
Даны как милость солнцу и луне.
В созвездиях встречаются гиганты
И карлики, горящие во мгле.

Как между звёзд—среди поэтов встречи:
Вернулся Пушкин в Царское Село,
Ахматова накинула на плечи
Седую шаль, а может, серебро…

Вот наш черёд. Среди многоголосья
Талант неброский легче закопать.
Но Господин у каждого попросит:
Свою свечу не прятать под кровать.

Море зовёт

Нас прождал целый год
Терпеливый вокзал.
Снова море зовёт:
«К поездам, к поездам!»
От бесчисленных дел
И мирской суеты,
От холодных дождей
И от пресной воды.

Над горами взойдёт
Одинокий рассвет.
Море вновь позовёт
В край, где солнечный свет.
Набежит на песок
И отступит волна,
Отпечатки от ног
Осушая до дна.

Где застынет закат
Над простором воды,
В темноте заблестят
Блики первой звезды.
Озарится луной
Наступившая ночь,
И пройдёт стороной
Кратковременный дождь.

Лица

К чему нам бесстрастные лица
И речи про ангельский свет?
Своей глубиною гордится
Лишь тот, у кого её нет.

На каждом шагу без причины
Цитируя древних отцов,
Мы носим «святые» личины
Поверх бестолковых голов.

Что дальше? На что покушаться?
Обманчив напыщенный вид.
Желание выше казаться
О низкой душе говорит.

Звезда за окном

В полумраке ночном
Появилась звезда
И взошла за окном,
Зацепив провода.
Загорелась свечой
И вдоль каменных стен
Повела за собой
В древний град Вифлеем,

Где сидят у костра
В тишине пастухи
И гуляют ветра,
Как стада по степи.
Озаряется тьма
Светом ангельских сил,
И прозрачный туман
Над полями висит.

Где с дарами волхвы
Пред Младенцем стоят
И седые главы
Поднимать не хотят
Перед Тем, на Кого
Указала звезда
И осталась гореть
За окном навсегда.

Наталья Бакирова

Пельмень на счастье

Домой на Новый год никого не отпустили — от графика отставали заметно.

— Ничо, мужики, — решил Егорыч. — Тут отпразднуем. Завтра наш механик в город едет, я ему уже велел фарша взять, ну, ещё там… Верку попросим, она теста замесит. Пару вечеров посидим, сотни три пельмешков налепим, заморозим. А в Новый год после бани кастрюльку на печку — ух!

Он зажмурился, представив эту булькающую кастрюльку, и пар от неё, и запах: мясо, перец, лавровый лист.

— Пельмени — это вещь, — согласился Савик.

Егорыч засмеялся, хлопнул Савика по спине:

— Вещь!

В его, Егорычевом, детстве первого января всегда ели пельмени. «Прошлогодние», — называла их баба Маня. Это было смешно и странно: как же прошлогодние, когда лепили вот только вчера?

Сначала баба Маня заводила тесто, тугое, неподатливое, совсем не похожее на то, из которого она пекла воздушные картофельные шаньги и сладкие тающие ватрушки с творогом. Из этого тугого теста полагалось накатать тощих колбасок, которые баба Маня ловко нарезала на маленькие одинаковые кругляши, уминала каждый кругляш большим пальцем — получались толстенькие лепёшечки, которые раскатывали потом в сочни. На середину сочня щедро выкладывался фарш, который тоже крутили, конечно, сами: свинина с говядиной и луком. И обязательно — обязательно! — на каждую сотню пельменей был один «счастливый», набитый клюквой.

Пели куранты, менялся порядковый номер года — но именно пельмени, за ночь становящиеся прошлогодними, показывали всего наглядней: время-то и правда бежит… Наварит их баба Маня, вывалит на тарелку — горячие, солёные, сочные, — и ты давай наворачивать: со сметаной, с горчицей. И вдруг во рту горько, кисло! — это попался он, клюквенный. Проти-ивный! Зато обещает счастье.

На следующий вечер, вернувшись с профиля и перекусив, Егорыч и Савка сели за стол лепить пельмени. Стол помещался у единственного в балкé окна, затянутого льдом. От окна заметно сквозило, и если ветер дул с запада, то они, садясь ужинать, не снимали шапок.

Вообще-то ужинать полагалось в столовой, но успеть в столовую удавалось не всегда.

— Что, поварихи не люди — вас до полуночи дожидаться? Мы в три утра встаём! — орала Раиса, пустоглазая и косопузая баба.

В три утра она встаёт… В тепле весь день, в чистоте! Кобра. Небось, если Камыш будет в дверь скрестись, она и среди ночи поднимется, кобель драный ей дороже человека… Вот поэтому за тестом Егорыч пошёл не к Раисе, а к тихой и покладистой Верочке. И сейчас на столе были расстелены газеты, тонко присыпанные мукой, стояла миска с фаршем, а тесто Егорыч прикрыл полотенцем, чтоб не заветрелось.

Савик пустой пивной бутылкой раскатывал круглые сочни. Егорыч лепил. Пельмени у него выходили одинаковые, как с конвейера, он выкладывал их ровными рядами на лист фанеры, подцепленный вчера возле бани.

— Как-то ты не по-нашему лепишь, — пригляделся Савик. — Я думал: пельмень — он везде пельмень… А ты их будто фигушкой заворачиваешь.

— Щас — «везде пельмень»! Где, говоришь, твоя деревня-то? Под Челябинском? — Егорыч прищурил глаз и завернул ещё одну «фигушку». — Едал я ваши пельмени. Не пельмени это — вареники с мясом.

Дверь в балок отворилась — с белыми клубами морозного воздуха вошёл Севастьянов.

— Пельмешки лепите, — уличил он и адресовался к Егорычу: — Неправильно лепишь. Разойдутся, когда варить станете. А ты, — повернулся к Савику, — скалишь неправильно!

Савик скрипнул зубами.

Севастьянов был злостная угрюмая зануда. С людьми незнакомыми он обычно мрачно молчал и только губы складывал брюзгливой скобкой: мол, знаю я вас всех. А знакомым рассказывал в подробностях, что именно они не так делают и какое безобразие может из этого получиться. Каждое утро, только проснувшись и видя, как Севастьянов вяло садится на кровати, почёсывается, позёвывает и, наконец, поднимается, шумно вздохнув, — Савик испытывал сильное желание

дать ему в морду. Уж такой это был непроходимо мерзкий вздох, столько в нём было вечного севастьяновского недовольства работой, погодой и белым светом — уж так он, гад, вздыхал однозначно и так глядел тусклыми своими глазками!

— Слышь, Севыч, — подал голос Егорыч, защипывая очередной пельмень, — а чего это ты нашей кладовщице голову вскружил?

Севастьянов моргнул:

— Как это?

Егорыч, притворяясь, что занят пельменем, лихорадочно соображал, что сказать. Ляпнул он первое, что пришло в голову, — уж больно нехорошее было у Савки лицо. Но теперь приходилось, сделавши морду лопатой, гнуть своё дальше.

— Знал бы как — я б тут с вами-то не сидел! — заявил он. — Тоже бы пошёл охмурил кого… Иду сегодня, она мне: где, мол, этот ваш, не видать давно? Позавчера, мол, целый вечер у меня проторчал, а теперь и носа не кажет!

Севастьянов действительно позавчера заходил к Таисии, надеясь выпросить лишний ватник. Егорыч нащупал тему и вёл уже вполне уверенно:

— Вот она и говорит мне: привет, мол, передай, да пусть заходит когда хочет. А что? Ты — вдовец, она — разведёнка. Лет вам на двоих сотня стукнет. Домик у неё. Сам подумай: как без мужика-то? Да и тебе без бабы тоже, знаешь… Кормила бы тебя, стирала бы…

«То-то бы ей счастье!» — подумал внимательно слушавший всё это Савик.

— Так что, — велел Егорыч, — топай давай.

— Куда? — не понял Севастьянов.

— Вот, последние мозги пропил, — скорбно констатировал Егорыч. — К ней, куда же?

Савик не удержался, прыснул, и Егорыч показал ему украдкой кулак.

— Да как есть-то не ходи, оборванцем-то… Рубашку хоть погладь, что ли, — вон, возьми у Савки утюг!

Севастьянов задумался. Пошёл за утюгом, включил его и принялся на табуретке — стол был занят пельменями — гладить единственную свою приличную рубашку, выкопав её из кучи остального белья.

«А ведь и правда пойдёт! — удивился Егорыч, и в груди его шевельнулось весёлое озорное чувство. — Ага!» Он потёр руки и задвигался, засуетился.

— Савка, кончай стряпню! — хватит на сегодня. Сейчас пузырь достану. Надо этому дуриле, — он нежно поглядел на Севастьянова, представляя, как Таська раскатает его в тонкий сочень, — налить для просветления ума. А то ведь на трезвую-то голову перепутает всё…

«Пьяных-то она на дух не выносит!» — радостно представлял Егорыч.

Через два часа Севастьянов в отутюженной рубашке лежал поверх одеяла и храпел. Савика тоже сморило — он пробормотал что-то и полез на свою верхнюю койку. Егорыч, недовольно косясь на собутыльников и ворча, убирал со стола.

На следующий вечер Савик с Егорычем опять сидели за стряпнёй. Готовые пельмени Егорыч сложил в пакет и вывесил его снаружи возле окна, специально вбив для этой цели гвоздь. Можно было и у крыльца подвесить (где уже был, кстати, хороший прочный крюк), но там дорожка к столовой и вечно народ — туда-сюда. А бережёного всё-таки Бог бережёт. Вчера вон двоих новеньких со станции привезли, вместо Равиля Зиганшина с братьями.

Зиганшины уехали ещё в начале декабря.

— Меня начальник как нанимал? С одним выходным в неделю нанимал. Где мой выходной? — горячился Равиль. — Раз в месяц у меня выходной? Я — работать нанимался. Я всю жизнь ему отдать не нанимался…

Сказал так, написал заявления за всех троих (младшие братья по-русски писали плохо), и они уехали.

Егорыч вздохнул: хороший мужик Равиль. А эти новенькие — ещё неизвестно, что за люди. Ну, посмотрим…

Севастьянов, теперь по собственному почину, гладил рубашку. Видно было, что за прошедшую ночь и день в его мозгу совершилась какая-то работа. Объяснил Егорычу и Савику, кося мутным голубым глазом:

— Таська, она… — Севастьянов наморщил лоб, очевидно, первый раз в жизни силясь сказать что-то хорошее в адрес другого человека. — Таська, она… — повторил он и закашлялся. — Она… это… своя.

Он выключил утюг и начал бриться, встав возле умывальника и глядя в маленькое круглое зеркальце, подвешенное тут Савкой. В зеркальце прыгал то нос, то щёки.

Мысли тоже прыгали. Севастьянов представлял, как придёт сейчас к Таисии, скажет: давай, мол, сойдёмся, что ли, вместе поживём. Ведь даст, поди, тогда ватник-то? Отказать-то после такого неудобно уж будет… Ведь не чужие.

Не смыв пены, он крепко обтёр лицо полотенцем и посмотрел на Егорыча.

— Я, это… непривычен с бабами-то… Мне бы это, ну… — тут Севастьянов выдал слабый смешок.

Егорыч вышел за дверь, вернулся с бутылкой.

— Ну, давай, — сказал, откупоривая, — для храбрости!

Строя планы на счастливую семейную жизнь Севастьянова, бутылку незаметно усидели. Жених,

не балуя разнообразием программы, снова уснул, не раздевшись.
— Зря ты на него только водку переводишь!—сказал Егорычу Савик.—Не выйдет ничего.
— Не выйдет? Ну, мы посмотрим, как не выйдет,—пьяный и оттого азартный Егорыч стукнул ладонью по столу.—Заколебал уже тут лежать и вонять! Переселить его к кладовщице!
Савик хмыкнул.
— На хрен он ей сдался?
— Ей-то? Ты баб не знаешь, молодой ещё. Баба за сорок, да одинокая,—что ей, мужик лишний?
— Так смотря какой мужик.
— А где их, нормальных-то, взять? Мужика растить надо, воспитывать. Как кабанчика. Никогда кабанчика не держал? Ладно, я сам с ней поговорю.

На следующий день, только вернувшись с профиля, не умывшись и не поужинав, Егорыч постучал в дверь бал́ка кладовщицы. Вошёл, стягивая шапку. От него, как от почтовой лошади, повалил пар.
— Слышь, Тася… Любовник-то твой совсем одолел! Каждый вечер рубашку гладит: щас свататься, говорит, пойду…
— Какой там ещё любовник?—отмахнулась Таисия.—Говори, чего надо, зачем пришёл?
— Дак за этим и пришёл. Заколебал потому что. Погладит с вечера рубашку, за стол усядется… Ты уж подбодри его как-нибудь,—Егорыч искательно улыбнулся,—пусть он язык-то развяжет—а там как знаешь: да, так да, нет, так нет—но хоть от нас-то он отстанет, по крайней мере!
— С ума вы все посходили,—задумчиво проговорила Таисия.

В этот вечер Севастьянов снова нагладил рубашку, но уходить не спешил. Наоборот, устроился у стола и глядел на Егорыча с каким-то хозяйским ожиданием. Савик пробормотал что-то и бросился на улицу курить. Егорыч вышел следом.
— Что с этим нашим женихом делать, уж и не знаю…—сознался он.—Сидит, старый хрен, ждёт ведь, пока налью! У меня и так уж три пузыря всего осталось, а завтра Новый год.
— Так не наливай,—сказал Савик.
— Не нальёшь—так ведь и будет сидеть, колода.
— И нальёшь—будет сидеть. Что, думаешь, он правда жениться собрался? Ага, щас! Ему выпить на халяву охота.

Тридцать первого декабря натопили баню. От души натопили: пришлось распахнуть наружную дверь, которая мгновенно обросла снежной шубой. Мороз клубами вваливался внутрь, в этих клубах едва можно было разглядеть сидящих на лавках людей. В парной—кряканье, плеск, веники хлещут—аж листья летят, прилипая к мокрым бокам и спинам.

Вернувшись оттуда, распаренный, красный Егорыч обнаружил Севастьянова, с сырыми ещё волосами, но уже чисто выбритого и в отглаженной рубахе,—а Савка лежал на своей койке и дрых.
— Савелий!—гаркнул Егорыч.—Вставай, судьбу проспишь! Желание-то кто за тебя будет под ёлочкой загадывать?
Но Савка, по-детски подложив руки под щёку, спал крепко.
Егорыч потряс его за плечо. Савка не шевелился.
— Вот ведь…—ругнулся Егорыч.—Ничего… пельмени сварятся—живо у меня подскочишь!
Однако он уже понимал: Савку не поднять, а если и поднять, то толку от него не будет—станет сидеть, клевать носом и жевать пельмени вяло и сонно, словно перловую кашу. Эх!
— Ну,—с преувеличенной бодростью повернулся он к Севастьянову,—я воду-то ставлю на пельмени? Давай, что ли, выпьем по одной, пока закипает?
— Я не буду,—сказал Севастьянов.
— Чего?—не понял Егорыч.
— Не наливай, говорю, мне—не буду. Меня Тайка в гости позвала.
— Чего?
— Тайка. Подошла, говорит: чё не заходишь? Или ватник, говорит, не нужен уже?
— Чего?—сказал Егорыч в третий раз.
— Ватник. Пойду я,—и Севастьянов ушёл.

Егорыч, упрямо выпятив челюсть, выставил на стол банку горчицы и сметану в столовской миске. Закинул в кипящую воду лаврушку, засыпал горохи чёрного перца. Потом вышел на улицу за пельменями.
Завернув за угол бал́ка, он чуть не подскочил от неожиданности: под окном возился кто-то огромный и мохнатый. Прошла целая долгая секунда, пока Егорыч сообразил, что это поварихин пёс Камыш. Он стоял на задних лапах, показывая наросшие под мощным брюхом сосульки, и зубами пытался снять с гвоздя задубевший на морозе пакет.
— Ах ты, зараза!—завопил Егорыч, замахиваясь.
Камыш скакнул, как лошадь,—мешок сорвался, распоролся сбоку. Пёс, не выпуская его из пасти, помчался в сторону леса.
Егорыч рванул за ним. Тут же понял: не догнать. Камыш нёсся вскачь, проваливаясь в сугробы и мощно выпрыгивая. Из прорехи в мешке выстреливали крепкие, как орешки, ледяные пельмени.

Над снегом, над лесом, над балка́ми с их светящимися окошками замерли далёкие звёзды. И Егорыч замер в сугробе—разгорячённый, с прилипшими ко лбу волосами. В лицо ему подуло холодным ветром. Простыть не хватало ещё, после бани-то…
Если эта мысль была его собственной, то другая, возникшая после, явно принадлежала кому-то

ещё. Может быть, другу Равилю? «Пра-аздника захотел! На что тебе праздник? Работать надо. Ты ведь работать остался. Я-то уехал: жена ждёт, дети ждут, вот у меня сейчас—праздник. А ты остался».

Егорыч помотал головой. «А счастливого-то пельменя я не слепил!»—пожалел запоздало. И ведь можно было… Клюквы у той же Верки попросить и слепить. Почему ж не слепил-то? Ведь даже мысль такая в голову не пришла…

Кряхтя, он выбрался из сугроба обратно к крыльцу и пошёл туда, где возле столовой мигала разноцветными огнями привезённая с профиля ёлка.

ДиН ревю

Литературное будущее Московской области

Альманах молодых литераторов
Коломна: «Серебро слов», 2022

Представляем вниманию читателей альманах «Литературное будущее Московской области». В него включены произведения молодых поэтов, прозаиков и публицистов, проживающих на территории Подмосковья. Тексты прошли конкурсный отбор и представляют собой самые интересные образцы творчества современной подмосковной молодёжи.

Альманах был подготовлен Союзом молодых литераторов «Финист» (г. Королёв) на средства стипендии Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Московской области в 2022 году при поддержке Совета молодых литераторов Московской области Союза писателей России (смл мо спр).

В альманахе представлены 25 литераторов из 13 населённых пунктов Московской области. География выпуска обширна и включает в себя Красногорск, Химки, Мытищи, Сергиев Посад, Хотьково, Королёв, Раменское, Воскресенск, Каширу, Серпухов, Одинцово, Голицыно, Лотошино. Публикуемых авторов волнуют многие вопросы, современные и вечные: как сохранить память о прошлом страны и семьи, как проложить мост в светлое будущее для своей Родины, как сберечь родную природу и построить гармоничные отношения с близкими людьми. Кому-то ближе философские рассуждения о Боге и смысле жизни, о нравственных ценностях, кому- то—лирические зарисовки и проникновенные описания… Но все авторы поражают свежестью восприятия, оригинальностью мышления и широтой взглядов на жизнь. С помощью точно подобранных слов каждый создаёт свой неповторимый мир, где читателя ждут удивительные открытия.

Надеемся, что знакомство с альманахом подарит вам много незабываемых моментов и ярких эмоций, а также поможет понять, чем живёт современная молодёжь.

Будем рады сотрудничеству! Наша группа в социальной сети «вКонтакте»:

www.vk.com/lk_fenix

Руководители лк «Феникс» и смл «Финист»
Иван Величко и Елена Воробьёва

Денис Гербер

Павлиний глаз

Когда вечером в дверь постучали, Юра сразу почувствовал: пришли по его душу. Он отложил смартфон и, сидя на кровати, слушал, как мать, шаркая тапками, идёт открывать.

— Здравствуйте! — раздалось из-за порога. — Простите, что поздно… Меня зовут Олег. Олег Геннадьевич. Я из двенадцатого дома.

— Здравствуйте! Я знаю вас, Олег, — в голосе матери появились тёплые нотки — как всегда при общении с мужчиной её возраста. — Вы работаете в пожарной части.

— Да, правильно. Я хотел поговорить о вашем сыне. Юрий — кажется, так его зовут.

— Что ж, проходите.

Возня в коридоре. Звук закрывающейся двери.

— Что он натворил? — спросила мать.

— Не то чтобы натворил, — протянул гость. — Видите ли, на днях мы купили Виктору кроссовки. Виктор — мой сын.

— Да, я поняла.

— А сегодня выяснилось, что кроссовок нет. Он обменялся с вашим сыном. Сколько Юре сейчас?

— Двенадцать.

— А нашему только девять исполнилось. Я не скажу, что ваш Юра как-то обманул Виктора. Но обмен, выразимся так, был неравноценный. Виктор, в силу возраста, согласился. Ну, или Юрий как-то его уговорил, не знаю. Кроссовки четыре тысячи стоили.

Мать вздохнула.

— Я не видела у него новых кроссовок. А на что он их поменял?

— На бабочку, — ответил гость, помедлив. — Обычная какая-то бабочка в банке. У неё к тому же половина крыла оторвана.

— Бабочка… — безразлично повторила мать. Информация её, судя по всему, не удивила. Она громко позвала: — Юра, выйди-ка сюда!

Юра вышел. Олег Геннадьевич, одетый в лёгкую серую куртку и джинсы, стоял у двери и глядел на него сверху. Похоже, гостю было немного неловко.

— Где кроссовки? — строго спросила мать. — Почему я их не видела?

— Я в них не хожу, — соврал Юра.

Уже два дня он выносил кроссовки в рюкзаке и переобувался в подъезде.

— Зачем маленьких обманываешь?

— Я не обманывал. Он сам согласился.

— Тебе, обормоту, — двенадцать. А там мальчишка девятилетний. Девятилетний же? — уточнила она у Олега Геннадьевича. Тот кивнул. — Это для взрослых три года ничто. А в вашем возрасте — небо и земля, — пояснила она сыну. — Тащи сюда кроссовки.

Юра принёс из комнаты рюкзак. Вынул пару белых кроссовок и отдал матери.

— Свободен! — буркнула мать и передала обувь гостю.

Вернувшись в комнату, Юра с ногами забрался на кровать и прислушался к происходящему в коридоре.

— Подобное уже не в первый раз, — жаловалась мать Олегу Геннадьевичу. — Раньше такие фокусы проделывал: поймает какого-нибудь мышонка или воробушка и говорит девочкам во дворе, что собирается его убить. Опыты какие-то или что придумает… Девочки плачут, скидываются карманными деньгами, выкупают этого несчастного мышонка… Или воробушка. Через две-три недели — опять… Извините, что нагружаю вас проблемами. Трудно одной им заниматься.

— Да ничего, — как-то виновато пробормотал Олег Геннадьевич.

— Вы не подумайте, он не садист какой. И этих мышат ни за что бы не убил. Но вот изображает из себя живодёра, чтоб деньги из малышни вытягивать. Теперь вот — бабочка.

— Не переживайте. Это всё возраст. А насчёт бабочки… Можно, я завтра днём её принесу? Или Виктора отправлю.

Мать ничего не сказала, но Юра безошибочно определил, что она в этот момент махнула рукой: дескать, не стоит.

— Нет, обмен есть обмен, — настоял Олег Геннадьевич. — Пусть всё будет по справедливости.

— И то верно. Приходите. Я завтра днём дома.

Не успела закрыться входная дверь, как мать уже ворвалась в комнату.

— Ты что, совсем эбонитовый? — закричала она. — Опять выделываться начал? Плохо понимаешь?

— Не кричи… — насупившись, пробормотал Юра. — Мы просто поменялись. Я не думал, что он отцу настучит.

— Я тебя самого сейчас настучу! Только и можешь, что мелюзгу облапошить.
— Он сам согласился.
— Сам! Сам! Завтра сам дома сидишь.
— Завтра суббота…
— И без интернета!

Погода на следующий день выдалась на редкость хорошей. Прижавшись щекой к подоконнику, Юра долго глядел через стекло на небо. В вышине, держа дистанцию, плыли аккуратные тучки. Затем прошёл грибной дождь. Между двух полосатых труб ТЭЦ в небо вытянулась радуга—где она заканчивалась, из окна было не разглядеть.

Олег Геннадьевич пришёл к четырём. Мать пригласила его на кухню—«переговорить за чаем». Юра поднёс к стене большой картонный стакан—единственное, что нашлось в комнате из посуды,—и приложил ухо.
— …не думал, что так произойдёт,—говорил Олег Геннадьевич.—В общем, бабочку я вам не принёс. Пришёл вернуть кроссовки.
— Почему?—искренне удивилась мать и брякнула ложками.
— Виктор отказывается её отдавать. Его, видите ли, обмен устраивает. Никакие аргументы не убеждают. И что мы четыре тысячи потратили—плевать. Говорю: значит, в рваных и вонючих будешь ходить. И буду!—отвечает.

Некоторое время было тихо. Лишь пустота в стакане ровно шумела Юрию в ухо.
— Вы пейте чай, Олег,—сказала мать.—Конфеты вон берите. Я сама сладкое не очень.
— Простите, что я не совсем трезвый. На работу пришлось зайти—угощали по случаю.
— Да ничего. Я и не заметила.
— Говорю ему: эта обычная бабочка. Такие везде летают. Она сдохнет со дня на день. А он, представляете: не со дня на день, а через два месяца. Подготовился, оказывается. В интернете всё перерыл. Говорит, что бабочка называется павлиний глаз, и с латыни ещё что-то переводит—про какого-то речного бога и его дочь Ио. Определил, что его бабочка—самка. Банку ей зеленью облагородил. Кормит, воду подливает.
— Привязался. Все в девять лет такие.
— И я поначалу так подумал. Но Виктор объяснил мне: для него не важно, сколько она протянет—день или месяц. Ему важно, что она пока живая—в отличие от кроссовок. Пытался объяснить ему: если животное потомство не оставило, то жизнь его бесцельна. С точки зрения биологии, конечно.
— А он?
— Тут самое интересное. Говорит: не важно—оставило, не оставило. Есть и другие законы, помимо наследственности. Этот павлиний глаз возник откуда-то из небытия, и через некоторое время его опять не станет. Но за эти дни или месяцы она капельку своей жизни в океан всего живого добавляет. Живое по своей сути не исчезает и не появляется, оно бесконечно меняет формы. В общем, обладая этой бабочкой, Виктор как бы приобщается к этому процессу. Его задача—обеспечить бабочке достойное существование, а её—увеличить количество радости и благополучия в мире.
— Ого! Он всё так и сказал?
— Ну, не такими словами. Передаю как могу.
— Откуда он всё это взял?
— Не знаю. Наверное, сам додумался. Сказал: когда лев пожирает зебру—для неё ничего не заканчивается. И ещё что-то в этом роде. Прямо мистика какая-то. Я слушаю его и поверить не могу, что это мой сын говорит.
— Да, удивляют они нас время от времени. Вы пейте чай.

Скрипнул стул—Олег Геннадьевич поднялся.
— Спасибо, но я пойду. Неудобно как-то: явился выпивший… А кроссовки оставляю. Обменялись ребята—ну и хорошо.
— Хотите, я вам четыре тысячи верну?
— Что вы! Ни в коем случае.

В понедельник Юра встретил у магазина Виктора. До этого ему было неудобно показываться перед ним в белых за четыре тысячи кроссовках, но сегодня всё обстояло иначе.
— Наш обмен неравноценный,—заявил Юра.
— Да ничего,—проговорил Виктор.
— Что—ничего? Ты не понял. Обмен неравноценный—значит, ты меня наколол.
— Я?
— Ты. Кроссовки, конечно, четыре «штуки» стоят, но бабочка—живая. Ты должен её вернуть.
— Уже не живая.
— Врёшь.
— Не вру. Сегодня утром проснулся—она мёртвая. Не знаю, чего ей не хватило. Да и не важно.

Около минуты они стояли молча. Люди входили и выходили из магазина. В кусте черёмухи бесновались воробьи. Юра ощутил, как в груди расширяется какой-то тёплый шар. От этого было тоскливо и одновременно радостно.
— Но ведь ничего не кончилось?—спросил он Виктора.

Тот коротко кивнул:
— Ничего.

Вадим Деревянский

На задержание по одному не ходят

«Что-то он там долго возится… долго возится… долго возится… Пойду посмотрю… Пойду посмотрю… Пойду посмотрю… Бах!..»

Опер Матвеев рывком оторвал голову от стола. Нет, сегодня уснуть не удастся. Деду «вышку» не дадут—возраст! Но на свободу он уже не выйдет. Никогда!..

В конце семидесятых годов минувшего столетия в центре крупного промышленного города на украинском Донбассе выросло красивое, облицованное белой плиткой пятиэтажное здание, в котором разместились два городских управления—внутренних дел и Комитета государственной безопасности. И нет ничего удивительного в том, что между работниками двух ведомств завязались знакомства, а между некоторыми установились даже дружеские отношения. Среди друживших были оперативные сотрудники Игорь Матвеев (увд) и Олег Григорьев (кгб). Дружили семьями: в выходные вместе ездили в областной центр в театр, возили детей в цирк и планетарий, выбирались на природу «на шашлыки» и просто позагорать, ходили в лес по грибы.

Все послевоенные годы одним из важных направлений деятельности Комитета государственной безопасности СССР было выявление и привлечение к ответственности военных преступников, пособников фашистов…

Был сентябрь 1981 года. В конце дня Матвеев заехал в горуправление сдать табельное оружие. Навстречу по лестнице спускался Олег Григорьев. После взаимных приветствий сотрудник кгб поинтересовался:

—Сильно занят?

—Нет, домой собрался,—ответил Игорь.—А ты?

—Еду бывшего полицая забирать.

—Ты на задержание едешь один?!—удивился Матвеев.

—Какое там задержание,—махнул рукой Григорьев.—Старый дед, далеко за восемьдесят, родных нет.

—Не знаю, не знаю,—сотрудник уголовного розыска засомневался в правильности такого решения.—У нас на задержание по одному не ходят.

—Поехали со мной, если хочешь.

—Ну, поехали.

Сели в комитетскую «Волгу», Олег назвал водителю адрес. Разговор в машине не клеился, больше молчали. На душе было неспокойно.

Через полчаса очертания города остались позади, и заасфальтированная дорога сменилась грунтовкой пригородного посёлка. Изрядно пропетляв по улочкам, остановились возле добротного дома за массивным забором.

Подошли к двери, подёргали за ручку—заперто. Звонка нет. Постучали, прислушались. Лая не слышно, значит, собаки либо нет, либо хозяин держит её в доме. Постучали ещё раз, громче, настойчивей. На сей раз с той стороны забора послышались шаркающие шаги. Отъехал в сторону засов, дверь приоткрылась.

—Гражданин …?—Григорьев назвал фамилию хозяина дома.

Бывший полицай не ответил, он сразу всё понял. Он все послевоенные годы жил ожиданием того, что случилось сейчас,—за ним пришли! Не годы, десятилетия ждал! И у него, как показалось оперативным работникам, был заранее заготовлен вопрос:

—Я вещи соберу?

—Давай, только быстро,—разрешил Олег.

Старик вошёл в дом, Григорьев с Матвеевым последовали за ним. Прошли в гостиную, дальше не стали, давая будущему сидельцу время на сборы. Дед же направился в спальню и затих.

—Эй, ты скоро там? Давай быстрее!—крикнул Игорь.

В ответ—тишина.

—Что-то он там долго возится. Пойду посмотрю,—сказал Олег и пошёл в спальню.

Прошло несколько секунд. Вдруг—бах!—выстрел!

Всё последующее Матвеев запомнил до мелочей, хотя действовал тогда исключительно рефлекторно. Влетел в спальню, выбил из руки стрелявшего немецкий, времён войны, пистолет—вальтер (успел заметить дымок из его ствола). Повалил бывшего полицая на пол, начал заламывать руки назад, тот заупирался, пришлось пару раз приложить кулаком. Наручников нет—сорвал с себя поясной ремень, связал им деду руки за спиной. Не сдержался:

—Здоровый, гад!

Только теперь посмотрел на товарища: может, нужна помощь?

На Олега и на стену за ним было страшно смотреть. Полицай стрелял от пояса, снизу вверх, пуля вошла Григорьеву в горло и вышла из затылка. Выстрел отбросил его назад, и он, подогнув одну ногу, сидел на полу, весь в крови, опираясь о стену спиной. Какая тут помощь!

«Олег как будто чувствовал, что всё так плохо кончится,—меня с собой позвал»,—промелькнуло у опера.

Пока давали старику возможность собраться, Игорь успел заметить в гостиной телефон. Он схватил убийцу за шиворот и поволок его, как собаку, поближе к аппарату. Набрал номер дежурного городского увд, коротко сообщил о произошедшем, затем достал из кармана пачку «Примы» и коробок спичек, успокаивая нервы, закурил…

Людей понаехало много: следственно-оперативная группа, руководство городской милиции и Комитета госбезопасности. Растерянный участковый никак не мог поверить, что под личиной добропорядочного старика скрывался матёрый военный преступник.

Начались предписанные в таких случаях действия. Матвеев рассказал следователю о случайной встрече и разговоре с Олегом на ступеньках горуправления, объяснив причину своего присутствия на месте преступления, потом—как всё произошло.

Тем временем двое его коллег развязали задержанному руки, надели на них наручники—спереди, так в машине удобнее ехать. Один из парней протянул Игорю ремень. Матвеев ремень не взял, отшвырнул в сторону, не захотел после фашистского прихвостня мараться. Прошёл в спальню, посмотрел на друга ещё раз. И всё в нём закипело! Такая злость охватила, что словами не передать!

Возникла необходимость везти задержанного в горуправление. Кто повезёт? Вызвался Матвеев. Не просто так вызвался—у него уже был готов план.

Сели в ту же комитетскую «Волгу», в которой приехали, двинулись в обратный путь. Когда по обе стороны дороги потянулись колхозные поля, Игорь скомандовал водителю:

— Останови!

«Волга» остановилась. В салоне повисли минуты тягостного молчания, тишину нарушали лишь щелчки реле стоп-сигнала. Вокруг ни машин, ни людей. Опер провоцировал бывшего полицая на побег! Чтобы «при попытке к бегству»…

— Может, тебе по нужде надо выйти?—наконец нарушил молчание сотрудник уголовного розыска.

Дед сразу догадался, в чём причина такой «заботы», поднял вверх закованные в наручники руки и истерично заорал:

— Нет! Нет! Везите меня, везите!

— А ты подумай!—Матвеев толкал его локтем к дверце.

— Нет!—кричал дед.—Везите, я никуда не пойду!

Он изо всех сил сопротивлялся.

— Жить, значит, хочешь, мразь?

У Игоря возникло желание застрелить его прямо в машине, а дальше—будь что будет! Но внутренний голос отчаянно противился такому поступку, сдерживал его. Помедлив, Матвеев выдавил из себя:

— Чёрт с тобой, поехали.

Всю оставшуюся часть пути опер корил себя: «Зачем?! Зачем надо было у него ствол выбивать?! У меня же пистолет с собой, надо было его сразу застрелить, и всё!» Сказалась привычка, выработанная многолетним опытом до уровня рефлексов, задерживать преступников без применения оружия—иначе потом замучишься оправдываться и отписываться.

Матвеев определил задержанного в камеру, открыл дверь в кабинет, который делил с тремя коллегами, сел за письменный стол, достал из верхнего ящика чистые листы бумаги и стал всё подробно описывать…

Вернулся Игорь домой далеко за полночь. Стараясь не разбудить родных, прошмыгнул на кухню, достал из холодильника початую бутылку водки, налил полный стакан, не закусывая выпил. По телу разлилось приятное тепло. Снова закрутились мысли вокруг произошедшей трагедии: «А всё-таки я правильно поступил, что деда не застрелил. Он хоть и последняя сволочь, а всё же человек. Будут следствие, суд. Там всплывут его „подвиги“ во время и после Великой Отечественной войны, докажут его прежние преступления. Но кто, в сущности, знает, сколько он жизней загубил?! На свободу он уже и так никогда не выйдет, а я грех на душу не взял!»

Вылил в стакан оставшуюся водку, выпил залпом. «Шакал! Он ведь мог и меня положить… доля секунды всё решила…» В памяти тут же всплыл дымок из ствола вальтера. «Мы с Олегом там бы и остались, а его ищи-свищи потом по всему Союзу… Хорошо, что не дал гаду уйти!» Игорь сейчас даже сам удивился, откуда только силы взялись такого борова скрутить,—он ведь обычный опер, среднестатистический, в физическом отношении совсем не похожий на крепыша-коротышку капитана Бойкова, который подковы гнёт. «И там, на лестнице, когда случайно с Олегом встретились, тоже решили секунды. Ещё чуть-чуть, и разминулись бы. Олег уехал бы на задержание один, и…»

Открыл новую бутылку, налил третий стакан. «У Олега остались мама старенькая, жена и две маленькие дочки. Как они? К ним поехало комитетское руководство с бригадой скорой сообщить

о случившемся. Невозможно даже представить их состояние, когда к ним позвонят, и они, не ожидая ничего плохого, отворят дверь…»

Опер Матвеев—взрослый мужик, представитель мужественной милицейской профессии—сидел за столом на кухне, пил водку и тихо плакал. Под утро от дикой усталости, растраченных нервов и выпитой водки он даже не задремал, а провалился в какое-то небытие. Уронил голову на стол, и: «Что-то он там долго возится… долго возится… долго возится… Пойду посмотрю… Пойду посмотрю… Пойду посмотрю… Бах!..»

Елена Величко

Мы выучили свой край

Новый год

Теперь мне известно: в России времени нет.
Когда на Дальнем Востоке гремят салюты,
То речь президента сливается в интернет—
В Москву донести из будущего минуты.

И вот, как сомнамбула, шествует Новый год,
Дорог гигантской страны под собой не чуя.
Где времени нет, там пространство уже не в счёт,—
Динамик колебля, в сибирскую ночь кричу я.

Рождество 2023 года

И бьёт мороз наотмашь по лицу,
И подставляем мы другую щёку.
Безмолвные ряды побитых стёкол,
Как поезда, по сторонам ползут.

И дан приказ солдатам «Не стрелять!»,
Пусть даже рухнет на головы небо—
Но нет, его удержит крыша хлева,
Что под собой скитальцев собрала.

Одна звезда особенно ярка,
Пока снаряды воздух не дырявят.
Обстрел, но кто сидит в подвале рядом,
Та женщина с младенцем на руках?

* * *

Песня неясно о чём,
Как заговор-речитатив.
Кто к нам приходит с мечом,
Не больно учён и учтив.
Так было десятки раз—
Но кто во внимание примет,
Что лёд выдержит нас
И с грохотом треснет под ними?
Зима убеляет землю,
Зима обнуляет горе.
Зима приходит за тем ли,
Чтоб третьей сделаться в споре?
Под ноги постелет наст,
Шарфом шерстяным обнимет.
И лёд выдержит нас,
Но с грохотом треснет под ними.
Мы выучили свой край,
Как азбуку первоклассник.
Куранты и крик «ура!»,
Но только победа—праздник.
Зима для отвода глаз
Скрывает крестильное имя.
Ведь лёд выдержит нас
И с грохотом треснет под ними.

Александр Костерев

А. Пушкин. История создания романа о Петре Великом

Поэт-историограф

Истории развития человечества известно всего два вида личности: своя и чужая. Гениальные творцы прошлого во все времена предавались искушению разгадать тайну превращения личности чужой в личность ближнего. В исконных понятиях русской равноправной общины, где в качестве единицы, целого воспринимается не отдельный человек, но народ, мир,—человек представлял только часть этого целого, а значение человеческой личности было им осознано в пользу ближнего. На Западе, напротив, народ, составленный из индивидуальностей, конкурирующих друг с другом, не мог представляться как целое, являясь совокупностью личностных единиц, а значение человеческой личности было им осознано в свою пользу.

Это вводное рассуждение представляется необходимым для лучшего понимания романического стремления великих русских писателей Пушкина, а позднее Толстого, изучить личность и глубже постигнуть душу великого преобразователя Петра I и доверить бумаге историю его великого царствования в личностном восприятии.

«Пушкин был, есть и будет единственным писателем, который мог своим божественным вдохновением проникнуть в гигантскую душу Петра,— уверенно оценивал Александр Куприн в 1929 году в статье «Пётр и Пушкин» творческие притязания поэта,—и понять, почувствовать её сверхъестественные размеры» [3, с. 217].

А между тем история создания пушкинской версии Петра начиналась буднично, со случайной встречи с Николаем I.

Поэт Дмитрий Садовников приводит воспоминания историка Василия Комовского—современника Пушкина—о том, что именно государь поручил Пушкину написать историю Петра Великого во время прогулки в царскосельском парке. На предложенный императором вопрос, почему он не служит, «Пушкин ответил: „Я готов, но кроме литературной службы не знаю никакой“. Тогда государь приказал ему сослужить службу по призванию—написать историю Петра Великого» [1, с.108].

Факт такого поручения подтверждает Пушкин в письме к Плетнёву от 22 июля 1831 года: «Кстати, скажу тебе новость: царь взял меня на службу, но не в канцелярскую, или придворную, или военную—нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем чтобы я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: „Puisque il est marié et qu'il n'est pas riche, il faut faire aller sa marmite“ („Поскольку он женат и небогат, нужно позаботиться, чтоб у него была каша в горшке“—*франц.*). Ей-богу, он очень со мною мил» [2, с. 108].

В письме Бенкендорфу, датированном концом июля 1831 года, поэт напишет: «Более соответствовало бы моим занятиям и склонностям дозволение заняться историческими изысканиями в наших государственных архивах и библиотеках. Не смею и не желаю взять на себя звание историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее моё желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III» [6, с. 80].

Справедливости ради нужно отметить, что Н. М. Карамзин, ранее назначенный историографом по высочайшему повелению Александра I, писал: «Между тем с сожалением удаляюсь от публики, которая обязывала меня своим лестным вниманием и благорасположением. Одна мысль утешает меня: та, что я долговременною работою могу (если имею какой-нибудь талант) оправдать доброе мнение сограждан о моём усердии к славе отечества и благодеяние великодушного монарха» [4, с.397].

Сохранившиеся архивные документы того времени в отношении назначения Пушкина, исповедуя сухой, деловитый, беспристрастный стиль, представляют читателю исчерпывающую картину этого назначения. Так, в Деле 1831–1837 годов за №27 «О допущении к занятиям в архивы Александра Пушкина для извлечения материалов по истории Петра Великого и к прочтению дела о пугачёвском бунте, также о принятии того дела из бывшего Государственного архива старых дел» находим запись о высочайшем повелении определить в Государственную коллегию иностранных дел «известного нашего поэта, титулярного советника Пушкина, с дозволением отыскивать в архивах материалов для сочинения истории императора Петра I» и с назначением г. Пушкину жалованья, на основании сообщения графа Бенкендорфа от 23 июля 1831 года за №3716 [5, с. 17].

Что до сохранности государственных секретов, то Его Императорское Величество, изъявив высочайшее соизволение о допуске Пушкина к архивам, повелел, чтобы хранящиеся в архиве секретные бумаги времён императора Петра I (о первой супруге его, о царевиче Алексее Петровиче; дела бывшей Тайной канцелярии) открыты были Пушкину не иначе как по назначению его превосходительства тайного советника Блудова и чтобы он прочтением оных и составлением из них выписок занимался в Коллегии иностранных дел и ни под каким видом не брал бы вообще всех вверяемых ему бумаг к себе на дом [там же, с. 18]. Высочайшим указом от 6 декабря 1831 года император пожаловал коллежского секретаря Александра Пушкина чином титулярного советника с назначением жалованья пять тысяч рублей в год, ввиду отсутствия в министерстве вакантного штатного места [там же, с. 25].

Более того, Отношением по Департаменту хозяйственных и счётных дел Министерства иностранных дел от 9 января 1833 года за №116 к казначею Министерства иностранных дел последний уведомлялся о том, что с Пушкина взысканы следуемые с него по случаю производства в чин деньги, а именно семьдесят два рубля двадцать шесть копеек [там же, с. 26].

Пётр Плетнёв в своих сочинениях вспоминает: «С 1831 года Пушкин избрал для себя великий труд, который требовал долговременного изучения предмета, множества предварительных занятий и гениального исполнения. Он приступил к сочинению истории Петра Великого…» [1, с. 150].

В поисках истинного образа Петра Великого…

В феврале 1832 года Пушкин в письме Бенкендорфу благодарит за подарок императора — свод законов Российской империи с памятной надписью: «С чувством глубочайшего благоговения принял я книгу, всемилостивейше пожалованную мне Его Императорским Величеством. Драгоценный знак царского ко мне благоволения возбудит во мне силы для совершения предпринимаемого мною труда, и который будет ознаменован если не талантом, то, по крайней мере, усердием и добросовестностью. Ободрённый благосклонностью Вашего Высокопревосходительства, осмеливаюсь вновь беспокоить Вас покорнейшею просьбою о дозволении мне рассмотреть находящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера, пользовавшегося разными редкими книгами и рукописями, доставленными ему Шуваловым для составления его истории Петра Великого» [6, с. 95].

Понимая масштаб задачи, Пушкин стремился привлечь к архивным изысканиям квалифицированных помощников, в частности историка Михаила Погодина, которому 5 марта 1833 года сообщил (по секрету, как указано в оригинальном тексте): «Наконец на масленице царь заговорил как-то со мною о Петре I, и я тут же и представил ему, что трудиться мне одному над архивами невозможно и что помощь просвещённого, умного и деятельного учёного мне необходима. Государь спросил, кого же мне надобно, и при вашем имени было нахмурился — он смешивает вас с Полевым; извините великодушно; он литератор не весьма твёрдой, хоть молодец, славный царь. Я кое-как успел вас отрекомендовать, а Блудов всё поправил и объяснил, что между вами и Полевым общего только первый слог ваших фамилий — сему присовокупился и благосклонный отзыв Бенкендорфа. Таким образом, дело слажено; и архивы вам открыты, кроме тайного» [6, с. 102].

Весной 1834 года Пушкин, после тщательной подготовки и изучения документов, приступил к сочинению истории Петра Великого: «К Петру приступаю со страхом и трепетом, как вы (*Погодину*) к исторической кафедре. Вообще пишу много про себя, а печатаю по неволе и единственно для денег: охота являться перед публикою, которая нас не понимает, чтоб четыре дурака ругали вас потом шесть месяцев в своих журналах только что не по матерну» [6, с. 118].

По воспоминаниям князя Долгорукова, во время сочинения истории Петра I Пушкин просил представить его графине Ягужинской, старухе-невестке одного из ближайших друзей Петра; та отказалась принять Пушкина со словами, что «у неё нет в обычае делить общество с рифмачами и писаришками». Ей возражали, что Пушкин принадлежит к одной из древнейших фамилий русского дворянства; на что Ягужинская ответила, что охотно приняла бы его, если бы он не был прикосновенен к писательству, и прибавила: «он напечатает, что я могла бы ему рассказать или сообщить, и бог знает, что из этого может выйти. Моя бедная свекровь умерла в Сибири, с вырезанным языком, высеченная кнутом; а я хочу спокойно умереть в своей постели» [1, с. 230].

В силу живости своей неудержимой натуры, по предварительно собранным архивным материалам Пушкин приступил к написанию текста — последовательному, в стиле Карамзина, повествованию о жизни и эпохе Петра I — задолго до осмысления и критической разработки всех имеющихся в наличии исторических свидетельств. Но очень скоро Пушкин осознал свою ошибку, о чём свидетельствуют многочисленные следы его сомнений относительно достоверности источника или правильности трактовки событий в виде вопросительных знаков почти на каждой строке повествования. Как ни расстраивали такие сомнения целостность начатого труда, Пушкин продолжал его, откладывая серьёзный анализ

новых первоисточников до последующего времени, доведя таким образом повествование до 1689 года — года объявления Петра самодержцем. 11 июня 1834 года Пушкин напишет жене: «Пётр 1-й идёт; того и гляди напечатаю первый том к зиме», — однако этим оптимистичным прогнозам сбыться не удалось [7, с. 244].

Весь 1835 год Пушкин был занят исключительно Петром, о чём сохранились его дневниковые записи [2, с. 230].

И всё-таки историограф Пушкин одержал верх над Пушкиным — поэтом и литератором, потребовав радикального изменения принятого подхода к работе и фактически возвращения к началу — хронологическому подбору фактов, выписок из указов, документальных свидетельств. По замечанию Анненкова, эта система прослеживалась и поддерживалась Пушкиным в последующих пяти с половиной тетрадях до самого года смерти императора…

Однако грандиозные планы Пушкина при жизни не сбылись. Отрывки романа «История Петра I» были впервые опубликованы в «Материалах для биографии А. С. Пушкина» Анненкова, в том числе из глав об основании Петербурга, о кончине Петра и в дополнительном томе (в 1857 году) набросок первой главы. Отдельные заметки к «Истории» появились впервые в «Вестнике Европы» 1880 года.

Участь великих героев

По многочисленным источникам, воспоминаниям друзей, письмам первой половины девятнадцатого века становится ясно, что первоначальные наброски романа, с учётом глубокого погружения в исторические материалы, не могли удовлетворить Пушкина.

«Недели за три до смерти историографа Пушкина, — вспоминал надворный советник Келлер, — был я по приглашению у него. Он много говорил со мной об истории Петра Великого. „Об этом государе, — сказал он между прочим, — можно написать более, чем об истории России вообще. Одно из затруднений составить историю его состоит в том, что многие писатели, не доброжелательствуя ему, представляют разные события в искажённом виде, другие с пристрастием осыпали похвалами все его действия“. Александр Сергеевич на вопрос мой: скоро ли будем иметь удовольствие прочесть произведение его о Петре, отвечал: „Я до сих пор ничего ещё не написал, занимался единственно собиранием материалов: хочу составить себе идею обо всём труде, потом напишу историю Петра в год или в течение полугода и стану исправлять по документам“. В то же время возложенное на Пушкина поручение писать историю Петра весьма его обременяло. „Эта работа убийственная, — сказал он мне, — если бы я наперёд знал, я бы не взялся за неё“» [1, с. 352].

«Последнее время мы часто видались с Пушкиным и очень сблизились; — писал близкий друг поэта Александр Тургенев, — он как-то более полюбил меня, а я находил в нём сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные… Никто так хорошо не судил русскую новейшую историю: он *созревал* для неё и знал и отыскал в известность многое, чего другие не заметили. Разговор его был полон жизни и любопытных указаний на примечательные пункты и на характеристические черты нашей истории. Ему оставалось дополнить и передать бумаге свои сведения» [там же, с. 362].

Знаменитый и образованнейший цензор Никитенко 21 января 1837 года оставил такую запись: «Вечер провёл у Плетнёва. Там был Пушкин. Как обидно, что он так мало ценит себя как человека и поэта и стучится в один замкнутый кружок общества, тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом. А ведь он умный человек, помимо своего таланта. Он сознавался также, что историю Петра пока нельзя писать, то есть не позволят печатать. Видно, что он много читал о Петре» [там же, с. 363].

Пушкин не был ослеплён, опьянён или разочарован прекрасным, величественным, ужасным, непостижимым обликом Петра. Словами трезвого аналитика он давал оценку деяниям могучего преобразователя России: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости; вторые — нередко жестокие — своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности или, по крайней мере, для будущего; вторые вырвались у нетерпеливого, самовластного помещика. Это внести в историю Петра, обдумав. — А. П.» [7, с. 264]. Вот как правдив и честен, но вместе с тем осторожен Пушкин, как проницательны его глаза. Вероятно, поэтому с особым вниманием читаешь такие его строки: «Пётр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо он доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. Гений его вырывался за пределы его века» [3, с. 218].

Двойственное сознание личности Петра (в пользу ближнего и в свою пользу, даже имеющей в виду столь великие планы) привело к душевному разладу, послужившему препятствием к эффективному развитию России по западному образцу. Удивительно точно оценил двойственность личности Петра М. Юзефович: «Мы не станем дерзко налагать ответственности на великого человека за реформу, исторически необходимую, но совершённую им по неверным понятиям об отношении нашем к Западу. Мы не дерзнём даже

осуждать в нём крутости мер, исходивших не из корыстных побуждений, а из глубокого убеждения во благе им совершаемого и в необходимости совершить в одну жизнь несокрушимую громаду. Но мы не будем и слепы к заблуждениям и ошибкам великого деятеля: осознав историческую необходимость реформы Петровой и признав неизбежность тех понятий, которые ею руководили, мы должны стараться, в интересах самого преобразователя, очищать его подвиги от тех плевел, которые, конечно, не входили в виды и расчёты его. Пётр Великий, приняв нас за одно с остальной Европой, вместо того, чтобы посеять у нас семена просвещения, для возделывания их сообразно естественным свойствам нашей почвы, задумал пересадить к нам готовую образованность западноевропейских народов» [8, с. 29]. Насильно «превращаясь в европейцев, мы, сами не подозревая того, переставали быть русскими» [там же, с. 31].

Чем яснее восставала перед Пушкиным целостная картина деятельности Петра, тем сильнее укреплялось его представление о гениальном императоре как об олицетворении страшной бури, «одинаково сметающей перед собой, без выбора и сожаления, всё, что ни встречается на пути, до тех пор, пока не истощится сама собой её природная феноменальная сила». Убеждённому типу людей александровской эпохи, к которым, несомненно, можно отнести Пушкина, казалась непосильной ношею даже и сама благодарность за великие подвиги во славу Отечества, при условии, что они совершены с помощью крутых и нравственно-оскорбительных мер. Ещё менее расположен был Пушкин, по личному характеру своему, оправдывать реформы, которые шли наперекор некоторым существенным традиционным народным особенностям, и возмущался ими, когда они не оставляли в покое частного, безвредного убеждения или грубо вторгались в наивные, патриархальные, чистосердечные верования. «Сквозь призму своего установившегося воззрения на Петра I Пушкин видел или думал, что видит двойное лицо—гениального создателя государства и старый восточный тип „бича Божия“. Рука Пушкина, вероятнее всего, дрогнула… Пушкин так и умер, не отыскав способа примерить два совершенно противоположных требования (изобразить Петра, соответствующего своим представлениям о нём, не оскорбляя тех, кто ожидал безусловной апофеозы преобразователя)» [7, с. 244].

Примечателен тот факт, что все романы о Петре I, начатые великими мастерами слова, так и не были окончены: сомнения остановили Льва Толстого в самом начале сочинения, Алексей Толстой в 1943 году начал работу над третьей книгой, но успел довести роман только до событий 1704 года.

Позволю предположить, что общей причиной таких результатов является необычайно глубокое понимание гениальными литераторами масштаба личности Петра, последовательное проникновение, по мере изучения архивных материалов, в безграничное величие и безмерную жестокость его славных дел.

Как точно заметил Куприн, говоря о Петре и Пушкине: «И в одном ещё сходятся судьбы обоих великих людей, увы, уже после смерти. Память обоих загрязнена непроверенной клеветой. Участь героев» [3, с. 220].

Библиография

1. *Вересаев В. В.* Пушкин в жизни.—М.: Советский писатель, 1937.—500 с.
2. Дневник Пушкина. 1833–1835 гг. Государственное издательство.—Москва-Петроград, 1923. Труды Государственного Румянцевского музея.—607 с.
3. *Куприн А. И.* Собрание сочинений. Том 9. Воспоминания, статьи, рецензии, заметки.—М.: Художественная литература, 1973.—336 с.
4. *Погодин М.* Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Часть I.—М., 1866.—399 с.
5. Пушкин. Документы Государственного и Санкт-Петербургского Главного архивов Министерства иностранных дел, относящиеся к службе его 1831–1837 годов.—спб, 1900.—96 с.
6. Пушкин. Под ред. проф. С. А. Венгерова. Т. VI. Библиотека великих писателей. Брокгауз—Ефрон.—Петроград, 1915.—662 с.
7. Сочинения А. С. Пушкина с объяснениями их и сводом отзывов критики. Том 5. Прозаические произведения. Письма.—М.: Издание Льва Поливанова, 1887.—632 с.
8. *Юзефович М.* О значении личности у нас и на Западе (С присоединением письма авт. кн. П. А. Вяземскому от 9 июля 1857 г.). Старина и новизна. Исторический сборник. Книга одиннадцатая.—спб.: тип. М. Стасюлевича, 1906.—299 с.

Марат Валеев

Фёдор и золотой карась

Неожиданный улов

Собираясь в тот тёплый июньский день на рыбалку на озеро, на своё любимое место у Караталова куста, тринадцатилетний паренёк Фёдор, светловолосый, чуть скуластый, с прямым честным взглядом серых глаз, вряд ли мог предполагать, что с ним случится нечто такое, что перевернёт всю его недолгую пока жизнь.

Он, как обычно, размотал удочку, насадил червяка и закинул снасть подальше от камышей. Погода была солнечная, тихая, на гладкой поверхности озера поплавок, булькнув и пустив круги по воде, вскоре застыл на месте. Но спустя минуту-другую он мелко-мелко закивал и поехал в сторону. Фёдор торопливо дёрнул удочку на себя. Из воды, сверкнув серебристым телом, выскочила краснопёрая сорожка, которых здесь называли чебаками, и заплясала на крючке.

Фёдор солидно поздравил себя:

— Ну, с почином! — опустил чебачка в бидончик с водой, поправил червяка на крючке и снова закинул удочку.

Сегодня он пришёл на рыбалку ранним утром, и пока никто не мешал ему удить рыбу. Но что-то она перестала клевать. Поплавок уже минут десять скучно торчал на месте.

И тут Фёдор вспомнил, что он ещё с вечера, по совету отца, тракториста Кирилла Камушкина (понятно, что такая же фамилия была и у Фёдора, и у его мамы Людмилы, заведующей сельским клубом, и у старшей сестры Лены, студентки медицинского колледжа в областном центре), замесил немного теста с примесью анисового масла. «Вот так будет клевать! — убеждал его отец. — Мне мой отец рассказывал, а ему — его батя, твой прадед, значит». — «А что ж ты мне раньше не говорил?» — спросил Фёдор, принюхиваясь к пряному запаху, шедшему из пузырька с отвёрнутой пробкой, который нашёлся в их домашней аптечке. «Да как-то не припоминалось раньше, — пожал плечами отец. — Ну ладно, пошёл я спать, мне с утра в поле». И Фёдор сам с вечера замесил пахучее тесто и завернул его в полиэтиленовый мешочек.

Сейчас, вспомнив про него, он достал из кармана брюк мешочек, отщипнул кусочек с теста, скатал его в шарик и, нацепив на крючок, закинул в воду. И не успели по воде разойтись круги от поплавка, как он резко ушёл в глубину.

Фёдор сделал подсечку и потащил леску из воды. Оно шла туго, но в конце концов в толще воды стало видно всё увеличивающееся золотистое пятно.

— Карась! — радостно завопил Фёдор, рванул удочку ещё сильнее, и к его ногам в траву упал, сорвавшись с крючка, и запрыгал буквально отливающий ярким золотистым светом довольно крупный, с мужскую ладонь, карась. Он изумлённо таращил глаза и пытался мелкими прыжками доскакать до уреза воды.

— Куда?!! — издал очередной вопль Федя и упал на рыбу животом. — Я тебя не упущу! Ты ж мой первый карасик!

Действительно, в этом озере Фёдор ловил сорожек и окуньков, даже пару щук как-то выворотил на жерлицу. А вот караси ему почему-то никак не попадались. Хотя местные рыбаки и ловили их сетями и вентерями. Но вот на удочку они не шли, и всё тут. А сейчас — надо же — попался!

— Ты что делаешь? Раздавишь же!

Фёдор завертел головой по сторонам. Но никого рядом, кто отчаянно пропищал эти слова, не было. Послышалось, подумал он.

— Да слезь ты с меня, балбес! — прокричал тем же тонким голосом кто-то опять.

И Фёдор понял, откуда доносился этот писклявый вопль. У него из-под живота!

— Уф-ф! — сказал карась и слабо шевельнул хвостом, который был чуть больше, чем у обычного карася. Да и плавники были подлиннее. — Ты что, думаешь, такой лёгкий? Чуть не раздавил меня.

У Фёдора отвисла челюсть.

— Ты… Ты умеешь разговаривать? — наконец смог он спросить у рыбы, не сводя с неё изумлённых глаз.

— Умею, да! — пошевелил карась круглым ртом. — А теперь выпусти меня в воду, мальчик. Ты же, надеюсь, юннат? Ну вот, значит, обязан меня спасти.

И вновь резво запрыгал по траве, приближаясь к спасительной воде.

— Постой!

Фёдор наконец пришёл в себя и кое о чём начал догадываться. Он осторожно взял отливающего

золотом карася в обе руки и заглянул ему в круглые глаза с тёмными зрачками—как показалось, хитро поблёскивающими.
—Я, конечно, в это не верю,—рассудительно сказал парнишка,—но помню из сказок, что разговаривать может только эта… золотая рыбка, вот. Верно?
—Ну, верно,—досадливо шевельнул плавниками карась.—Ты, мальчик, много говоришь. А мне в воду надо, я же задохнусь так.
—Отпущу, конечно,—охотно отозвался Фёдор.—Но я же помню, что при этом полагается, чтобы ты выполнил моё желание. Даже три. Так?
—Да так, так!—сварливо сказал золотой карась.—Ты смотри, какой мне корыстный мальчик попался! А если я не выполню твоего желания?
—Ну, тогда в бидончик, к чебачкам,—вздохнул Фёдор.—Отнесу тебя в школу, будешь у нас в живом уголке в аквариуме жить.
—Ладно, ладно,—пошёл на попятную золотой карась, он же—золотая рыбка.—Давай загадывай желание. Да не тяни только, мне уже дышать тяжело…

Летающий Фёдор

И Фёдор задумался. Чего же ему попросить у золотого карася?

Дело близилось к полудню, и солнце уже начало припекать. «Как мороженого хочется!»—подумал Фёдор.
—Мороженого?—переспросил золотой карась.—Один момент!
—Постой!—закричал Фёдор.—Это я просто так подумал. А ты что, и мысли можешь угадывать?
—Так какое тебе и сколько?—пропустила рыба его вопрос.—И давай побыстрее думай, иначе я засну, и всё…
—Нет, нет, не мороженое!—затряс головой Фёдор.—А хочу я…

Он поднял голову кверху, как бы ища там ответа, чего же он хочет. И увидел парящего высоко вверху жаворонка, испускающего свои заливистые трели.
—Вот: летать я хочу!—обрадовался неожиданной подсказке Фёдор.
—Ну так и лети!—сердито молвил золотой карась.
—А как?
—Просто подпрыгни на месте и взмахни руками—и полетишь!—терпеливо пояснил карась.—Захочешь выше подняться—в полёте задери голову кверху. Захочешь на большой скорости мчаться—прижми руки к туловищу. Влево-вправо—так же регулируй поворотом головы. Снижаться захочешь—наклони голову к земле и постепенно разводи руки в стороны, скорость снизится, и ты приземлишься. Всё понял?
—Вроде понял!—обрадованно заявил Фёдор.
—Ну, ты тогда лети, а меня отпусти уж в воду!
—А как я узнаю, что ты меня не обманул?—с подозрением спросил Фёдор, поднося золотого карася к лицу.

Тот посмотрел ему в глаза и укоризненно сказал:
—Эх, Федя, Федя!
—Ладно, плыви!—устыдился Фёдор, опустил рыбу в воду и разжал пальцы.

Золотой карась плеснул хвостом на прощание и исчез в зеленоватой воде озера. По гладкой поверхности разошлись круги.

Фёдор ещё с минуту вглядывался в толщу воды, потом вздохнул, огляделся вокруг. Неужели всё это было взаправду: золотой карась, их разговор, вроде бы дарованное ему умение летать? Может, это Фёдор просто задремал на бережку под солнышком и всё ему только приснилось?

И паренёк решил прямо вот сейчас попробовать, сможет ли он летать! Он нерешительно потоптался на месте, потом подпрыгнул, задрав голову вверх и прижав руки к туловищу, как ему сказал карась. И… взмыл в небо! Причём так быстро, что уже через несколько секунд увидел далеко у себя под ногами становящееся всё меньше озеро, свою деревню на высоком берегу реки, автотрассу, по которой ползли коробки автомашин, убегающую вдаль высоковольтную линию со спичками столбов.

Несмотря на жаркий летний день, Фёдору стало ощутимо прохладно, сильный ветер сильно трепал ему волосы, вышибал слёзы из прижмуренных глаз. И тут Фёдор вспомнил, что надо делать, чтобы сбавить скорость и начать приземление. Он склонил голову, постепенно разводя руки в стороны, и, снижаясь, со свистом пролетел над деревней в сторону озера. Залаяли собаки, осталась стоять с разинутым ртом их соседка баба Лиза. От изумления она выпустила рукоятку ворота уличного колодца, и тот теперь с грохотом вращался в обратную сторону, стремительно унося вниз на лязгающей цепи почти поднятое кверху ведро с водой.

«Лишь бы не узнала меня!»—с беспокойством подумал Фёдор, подлетая к озеру. И тут он увидел ошеломившую его картину. На середине водоёма, около надутой автомобильной камеры—обычное плавсредство для детей в любых деревнях,—в воде барахтались двое. Причём один старался приподнять над водой и затолкнуть на камеру второго, поменьше.

Фёдор, не раздумывая, плюхнулся в воду рядом. И узнал в том, кто пытается спасти второго, свою одноклассницу Настю. В которую он, между прочим, был давно и, как говорится, безнадёжно влюблён.

Впрочем, самая красивая девочка их сельской школы и не догадывалась о чувствах этого одного из своих, ничем не выделяющегося среди других, одноклассников. Насте как-то было не до Фёдора,

как, впрочем, и до других воздыхателей. Она была отличницей и изо всех сил старалась не снижать эту планку, так что почти вся её пока маленькая жизнь была посвящена только зубрёжке!

Настя одной рукой держалась за выскальзывающую камеру, а другой, обхватив за подмышки, тащила кверху своего младшего брата Антошку. И помочь им было некому: на берегу суетливо бегали и кричали несколько ребятишек, не знающих, что делать. Взрослых в этот полуденное время на озере почему-то пока ещё не было.

Фёдор подхватил Антошку с другой стороны, и они с Настей общими усилиями втолкнули на камеру с самодельным сиденьем из переплетённых верёвок перепуганного и нахлебавшегося воды шестилетнего мальчонку.

— А ты откуда здесь взялся?—срывающимся голосом спросила Настя.

Она и мокрая была красива, как русалка, только в лёгком платьице, облепившем её худенькие плечи. И Фёдор невольно залюбовался объектом своих тайных воздыханий—русоволосой, голубоглазой, с симпатичным прямым носиком, ямочками на щеках…

— Да так, рыбачу я тут рядом,—неопределённо сказал он.—Ну, давай будем подгребать к берегу, а то, я вижу, вы уже замёрзли совсем.

И они, устроившись по бокам камеры и взявшись за неё одной рукой, второй стали грести. Им помогал и лежащий на камере Антошка, причём шлёпая по воде сразу обеими руками. Так, общими усилиями, они и догребли до берега. Ступив на сушу, вытащили камеру, и Антошка тут же покатил её в сторону подъёма от озера к селу, крайние дома которого высыпали на высокий берег.

— Спасибо тебе, Федя!—сказала Настя.—Если бы не ты, прямо не знаю…

И посмотрела на него так, как никогда ещё не смотрела: одновременно и с благодарностью, и с интересом. И ласково улыбнулась, и ямочки заиграли на её щеках, на которые вновь вернулся румянец. Фёдор вспыхнул от смущения и, пробормотав:

— Да ладно, чего там…—тут же развернулся и пошёл, не чуя под собой ног, к тому месту, где он оставил рыболовные снасти.

Солнце стояло уже высоко и вовсю припекало, на озере появилось больше купающихся, стало шумно от их криков и смеха, так что рыбачить дальше уже не имело смысла.

Фёдор смотал удочку, ещё немного посидел на берегу, пристально вглядываясь в воду. Потом, оглянувшись по сторонам, негромко крикнул:

— Эй, золотой карась, ты ещё здесь?

Но недвижна была зеленоватая озёрная вода, как и виднеющиеся в глубине водоросли, а на поверхности—лаковые круглые листья кувшинок с жёлтыми бутонами цветков.

Фёдор вздохнул и пошёл домой, хлюпая мокрыми кроссовками—он ведь в них свалился с неба в озеро, решив помочь Насте и её брату. В ушах Фёдора звучал её благодарный голосок, и он счастливо улыбнулся. Обратила, наконец, внимание на него! То ли ещё будет…

В аптеку через реку

Домочадцев Фёдор застал в необычайном смятении. Мама лежала в горнице на диване с побледневшим лицом и прерывисто дышала. Рядом суетился отец, приехавший с работы на обед, и неумело пытался пристроить тонометр к руке больной. Наконец мама сказала:

— Подожди, Кирилл, я сама!

Она надела манжету аппарата на предплечье левой руки, а правой нажала на кнопку. Тонометр зажужжал, все замерли.

— Высокое,—вздохнула мама.—То-то голова с утра болела. А у меня, как на грех, таблетки от давления кончились. Фельдшерский пункт уже два года не работает. В аптеку бы, да это ж в райцентр ехать надо. Кирюша, походи по соседям, поспрашивай. У Сычёвых может быть или вон у Ляпиных. Какие, какие!.. Капотен лучше всего, какие у меня были. В крайнем случае—кто что даст.

— Мам,—неуверенно подал голос Фёдор.—А ты запиши на бумажку название и дай мне деньги—может, я тебе доставлю таблетки.

— А, сынок с рыбалки пришёл!—слабо улыбнулась мама.—Ну как, будет у нас на ужин уха?

— Мам, я серьёзно: напиши!

— Феденька, что за фантазии?—запротестовала мама.—Где ты возьмёшь таблетки?

— Да, сынок, где?—подключился, обернувшись, отец, уже собравшийся уходить.

— Вас лекарство интересует или где я его возьму?—рассердился Фёдор.—Можете засечь время: через десять минут я буду дома с таблетками!

Родители переглянулись и пожали плечами.

— Кирилл, ты всё же сходи к Сычёвым,—сказала мама отцу.—А ты, сынок, неси-ка мне ручку и бумагу.

Она написала название лекарства, завернула в бумажку деньги и протянула Фёдору:

— Держи! Это лекарство продают без рецепта. Только я не понимаю…

Но Фёдор уже выскочил во двор. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что его вроде бы никто не видит, он вышел через калитку на зады, подпрыгнул и взлетел.

— Ай!—послышался чей-то сдавленный крик.

Это соседка Камушкиных баба Лиза, вышедшая из птичника с лукошком собранных яиц, снова увидела летящего Федора и, поняв, что это ей не кажется, как она подумала в первый раз, упала в обморок.

Белые и жёлтые куриные яйца неспешно раскатились из лукошка по двору. И что характерно—

ни одно не разбилось! Так что хоть в чём-то бабе Зине сегодня, можно сказать, повезло.

А Фёдор всего за пару минут преодолел расстояние до реки, перелетел её по возможности в безлюдном месте—ну, там, где никто не купался, не ловил рыбу с берега.

И всё же, уже подлетая к противоположному берегу, он попал в поле зрения одинокого рыбака, удившего рыбу с приякоренной лодки. Это был мужчина в рубашке с короткими рукавами и широкополой соломенной шляпе. От удивления он привстал с сиденья и выронил из руки удочку.

Фёдор не удержался и помахал ему рукой. Рыбак машинально сдёрнул с головы шляпу и, так и оставаясь с открытым от изумления ртом, помахал ею в ответ.

Посёлок Приреченск хоть и был районным центром, но оставался просто большой деревней. Улицы его в эту ещё жаркую послеобеденную пору были пустынны. Фёдор, широко расставив руки, снизил скорость и, распугав воробьёв, благополучно спикировал в тень большого дощатого забора, опоясывавшего чей-то большой двор. Похоже, его приземления никто не заметил, лишь за забором забегала, гремя цепью, и зашлась лаем невидимая собака.

Фёдор ещё сверху заприметил, где находится двухэтажный районный универмаг—до него надо было пройтись метров сто. А рядом, он знал, есть аптека. И наш герой, не теряя времени, почти бегом направился в ту сторону.

В аптеке было прохладно, и покупателей у окошка провизора, кроме Фёдора и стоящей перед ним пожилой женщины, не было. Но вот она ушла, и Фёдор протянул бумажку с названием лекарства в окошко. Аптекарша сначала внимательно посмотрела на паренька, потом в бумажку, потом снова на Фёдора и спросила:

— Мальчик, а ты чей? Что-то я тебя никогда раньше не видела…

— Да мы недавно здесь живём,—соврал Фёдор.— Пожалуйста, продайте мне лекарство, да я побегу обратно. У мамы давление.

— Так скорую бы вызвать надо,—проворчала провизор, покачав головой в белом колпаке.

Но за лекарством в застеклённый шкафчик полезла.

— Вот,—сказала она.—Если мама твоя раньше принимала этот препарат, то она знает, как и когда его пить. А вообще всё есть в инструкции.

Фёдор протянул ей деньги. Женщина отсчитала сдачу и отдала коробочку с лекарством. Фёдор вышел на улицу, не глядя по сторонам и пересчитывая сдачу. А зря: его тут же приметила троица местных мальчишек, куда-то идущих по своим делам. Разве могли они пройти мимо незнакомого пацана с деньгами на ладошке?

— Эй ты!—грубо окликнул его самый небольшой из этой троицы и, похоже, самый задиристый.— А ну иди сюда, лох! Ты откуда такой взялся?

Фёдор не ответил, а лишь прибавил шагу.

— А ну стой, тебе говорят!—неокрепшим баском грозно окликнул его другой мальчишка, повыше первого и покрепче.

«Не справлюсь я один с ними,—озабоченно подумал Фёдор.—Отлупят и деньги заберут, а то ещё и лекарство. Нет, надо лететь!»

И он, ничего не ответив хулиганам, подпрыгнул на месте и, прижав руки к туловищу, взмыл в небо. Описав в воздухе небольшую дугу и чуть не сбив шарахнувшуюся от него ворону, Фёдор полетел в сторону реки.

— Сами вы лохи-и-и-и-и!—донеслось с неба.

Замершие на месте подростки, синхронно поворачивая головы, зачарованными взглядами проводили стремительно удаляющегося неизвестного мальчишку. Летающего мальчишку! Будет что рассказать сегодня своим друзьям и знакомым, родителям. Да только поверят ли им? Они уже и сами переглядывались с недоверчивым и вопрошающим видом: «Ты видел? А ты? Вот это да-а-а…»

Фёдор, перелетев реку и быстро миновав зелёную луговину с там и сям раскинувшимися на ней кудрявыми вербами, аккуратно приземлился около своего забора. Он уже всё лучше и лучше управлял в полёте своим телом, и это не могло не радовать.

Что видала баба Лиза?

— Свят, свят, свят!—заголосила у себя во дворе часто крестившаяся баба Лиза.

Она пятилась, не спуская широко раскрытых глаз с только что приземлившегося Фёдора.

«Да что ей дома-то не сидится сегодня!»—с досадой подумал Фёдор, отпирая заднюю калитку. А вслух сказал утешающе:

— Баб Лиз, да я это, я, Федя! Учусь вот летать, задание такое дали на летние каникулы. Вроде получается, да?

Оставив соседку осмысливать полученную невероятную информацию, он прошёл в дом. Отца то ли ещё не было, то ли уже не было. Мама всё так же лежала на диване и, похоже, спала. Фёдор на цыпочках прошёл к ней и положил таблетки на стул, где уже лежали какие-то лекарства, стоял стакан с водой.

— Федя, это ты? Уже вернулся?—сказала, открыв глаза, мама.

И тут она заметила упаковку с таблетками, взяла её, рассмотрела и довольно кивнула:

— Да, эти должны помочь.

Она тут же раскрыла упаковку, вылущила одну таблетку, положила её в рот и запила водой. Фёдор присел у изголовья матери. Она прикрыла глаза и с минуту полежала молча. И вдруг спросила:

— Сынок, а как ты так быстро обернулся? Ты в райцентр, что ли, ездил, и с кем? Кто тебя согласился подвезти?

Фёдор смущённо заёрзал на месте, не зная, что ответить маме. Но тут скрипнула входная дверь (в деревне не принято стучаться), прошаркали чьи-то проворные тапочки, и на пороге горницы выросла запыхавшаяся… их соседка баба Лиза!

Фёдору ещё больше стало не по себе, и он хотел было улизнуть, но баба Лиза цепко ухватила его за рубашку.

— Люда, Люда, а ты знаешь, что вытворяет твой сынок? — заголосила она. — Я вон даже в онборок упала! Что, Федюня, скажешь — нет? Ну-ка расскажи маме, как ты это… ну как его…

Баба Лиза, видимо, сама осознала, какую нелепицу ей сейчас предстоит сказать — ведь, похоже, только она видела это! — матери Федора, и потому неожиданно стушевалась. Она нервно дёрнула Фёдора за рубашку:

— Давай-ка лучше сам расскажи!

— Что такое там опять случилось? — заволновалась мама.

— Да я не знаю, где и чего увидела баба Лиза, — зачастил Фёдор. — Но я ничего такого не сделал. Правда же, баба Лиза? Вам, наверное, что-то показалось. Сегодня, кстати, день нехороший. Вон у мамы давление, голова болит. У вас тоже может быть не всё в порядке с головой…

Баба Лиза, опешив от такого напора, лишь молча разевала рот, как попавшая на сушу рыба. Потом обречённо махнула рукой и, не отводя от Фёдора глаз, попятилась к двери, толкнула её спиной и, как пробка из бутылки, выскочила наружу.

— Что это с ней? — с удивлением сказала мама.

Щёки у неё порозовели, дыхание выровнялось — видимо, лекарство, которое ей принёс Фёдор, начало помогать.

— А я знаю? — пожал плечами Фёдор. — Всё же немолодая уже наша баба Лиза. Может, что почудилось ей?..

Фёдор всё же чувствовал себя не в своей тарелке. Получалось, что он обманывал и бабу Лизу, и, что было особенно неприятно, свою маму. Но не мог же он вот так, ни с того ни сего, признаться, что поймал в их обычном озере золотую рыбку и она наделила его умением летать? Конечно, со временем он всё расскажет, да и покажет. Но не сейчас!

— Мама, тебе уже лучше? — с надеждой спросил Фёдор.

— Да, сынок, лучше, намного лучше!

— Можно, я тогда пойду и немного ещё погуляю?

— Иди, Феденька! — разрешила мама. — Только не забудь встретить Зорьку с пастбища и пригнать домой. Да, ты уже покушал? А то я со своей головной болью совсем замоталась. Даже не помню, обедал отец или нет… Ну иди, иди!

Настя

Фёдор прошёл на кухню, съел пирожок с картошкой, выуженный из миски, накрытой полотенцем, запил его холодным молоком из трёхлитровой банки, которое нашёл в холодильнике, и, жуя второй пирожок на ходу, отправился на улицу. Солнце ещё не закатилось, но дело шло уже к этому. Жара спала, тени от домов, деревьев в палисадниках стали длиннее и накрывали собой улицу, по которой и шёл к околице деревни наш герой, также отбрасывая длинную и худую тень. У Фёдора в голове между тем шла напряжённая, совсем не детская работа.

«Ну, вот умею я летать. А кому я могу показать это, чтобы не напугать, не вызвать разных вопросов, на которые не смогу ответить? — думал он, проглатывая последний кусок вкуснющего маминого пирожка. — А если, ещё хуже того, меня насильно отвезут куда-нибудь в город, к учёным, чтобы они могли разгадать, почему это я могу летать? Нет, я так не хочу! Ну ёлки-палки, почему же я не попросил у золотой рыбки чего-нибудь другого, чтобы то, что она мне даст, так бы не бросалось в глаза?.. А что, например? Может, чтобы я был самым умным? Или самым сильным? Кстати, как там он поживает, золотой карась? Может, сходить к нему ещё раз завтра, пока его не перехватил кто-нибудь другой?.. И вообще, как он попал к нам в озеро?»

Вопросов было много, в отличие от ответов на них.

— Федя, ты куда так торопишься?

Мелодичный голосок вернул Фёдора к действительности. Оказывается, он уже поравнялся с домом с синими наличниками, в котором жила с родителями и братом его одноклассница Настя. Она как раз вышла со двора, помахивая хворостиной.

— Да вот, это, как его… Зорьку встречать иду, — сбивчиво заговорил Фёдор.

Он всегда терялся под взглядом её больших голубых глаз. Но сейчас они были не как обычно — насмешливыми или же равнодушными, а светились как-то по-особенному, тепло.

— Спасибо тебе ещё раз за то, что помог нам с Антошкой на озере, — ласково сказала Настя, вновь пройдясь по лицу Фёдора голубыми огоньками своих глаз, из-за чего у него в ответ запылали уши. — Ты так вовремя, прямо как с неба упал к нам! Я родителям рассказала, так они хотят на днях прийти к вам, поблагодарить твоих маму и папу. Ну и тебя, конечно.

— Зачем это? Не надо! — запротестовал Фёдор, хотя в душе ему было приятно: он никогда ещё не оказывался в центре внимания к своей скромной персоне. — Подумаешь, помог выбраться из воды. Да на моём месте любой бы так…

— Любой — не любой, но там был именно ты! — веско сказала Настя. — И, признаться, я не ожидала

от тебя такой храбрости. Хочешь, будем с тобой дружить?

О, хочет ли он дружить с Настей, первой красавицей и умницей не только в их классе, но и в школе? Ему хотелось от радости подпрыгнуть на месте, а ещё лучше — взлететь. И Фёдор с трудом удержался, чтобы не сделать это на глазах Насти.

— Ну, если ты так хочешь, то давай, — почти равнодушно сказал Фёдор, взяв себя в руки.

— Давай я тебе буду помогать по алгебре, хорошо? — предложила Настя.

— По алгебре? — переспросил Фёдор. — Это было бы здорово. А то у меня одни трояки.

— Вот и хорошо, — поощрительно сказала Настя. — Если будут какие вопросы по домашке, подходи ко мне, вместе решим.

Вот тут Фёдор не выдержал, подпрыгнул и немного, метра на два, взлетел! Правда, тут же приземлился обратно.

— Ты где так прыгать научился? — ахнула Настя.

— Да это меня этот... паут ужалил в шею, что ли, — неубедительно начал оправдываться Фёдор и даже схватился за шею. — Вот я и сиганул от боли.

— Дай посмотрю, — озабоченно сказала Настя.

— Да ладно, пройдёт! — отмахнулся Фёдор. — Смотри, коровы уже идут! Дядя Гоша сегодня их вроде как пораньше пригнал. Пошли встречать!

— Ну, пошли! — взмахнула прутиком Настя, и они, весело поглядывая друг на друга, пошли навстречу приближающемуся в облаке пыли, с мычанием и редким позвякиванием ботал, стаду коров.

Фёдора вдруг осенило. А что, если золотого карася попросить что-нибудь сделать и для Насти? Он внезапно остановился и взял одноклассницу за руку.

— Слушай, — сказал он ей. — А у тебя есть мечта?

— В смысле? — спросила Настя.

— Ну вот о чём ты мечтаешь? — уточнил Фёдор. — Что бы ты хотела такого пожелать себе... ну, скажем, необычного?

— Вот прямо возьму и сейчас скажу тебе! — хмыкнула Настя. — Мало ли о чём я мечтаю? Почему я должна тебе рассказывать?

— Ну... Мы же с тобой вроде уже как дружим, — неуверенно заметил Фёдор. — И, может, я бы тебе помог... ну, это... чтобы сбылось твоё желание.

— Ты — мне? — удивилась Настя. — Как бы ты мне помог? А может, у меня есть такая несбыточная мечта, что только сказочному волшебнику её под силу осуществить? Это если сразу. А так — нужны годы и годы. Учёбы там, работы...

Настя замолчала с мечтательной улыбкой на улице.

«М-му-у-у!» — протяжно промычала остановившаяся рядом с Настей пузатая палевая корова с белым пятном на морде и большими грустными глазами. Она энергично махала хвостом, отбиваясь от осаждающих её и всё пришедшее с пастбища стадо жалящих насекомых.

— Пулька пришла! — обрадовалась Настя. — У ты, моя хорошая!

Девочка поцеловала корову в мохнатую щёку.

— Ну ладно, — кивнула она Фёдору. — Мы пошли домой. До завтра!

— До завтра, — мотнул головой в ответ Фёдор.

И пошёл навстречу медленно бредущему стаду, чтобы сопроводить домой Зорьку.

Стычка с Дрыгой

— А что это ты, Камушек, крутишься около Насти, а? — услышал вдруг Фёдор знакомый ехидный голос и обернулся.

К нему быстро приближался некий вредный субъект из класса постарше — Костян Дрыгин по прозвищу Дрыга. Фёдора иногда тоже называли не по имени, а Камушком, кличкой, как можно понять, образованной от его фамилии. Но она никак к нему не шла. А вот Костян как будто родился со своим прозвищем. Он никогда не мог ни сидеть, ни стоять спокойно, всегда дёргал то рукой, то ногой или даже головой. Вот и сейчас он стоял, возвышаясь над Фёдором (был выше его на целую голову), и беспрестанно притопывал носком кроссовки. Одно слово — Дрыга. И был он не только выше, но и гораздо сильнее Фёдора, как, впрочем, и многих других ребят в их небольшой сельской школе. Он учился в седьмом классе, хотя по возрасту был уже восьмиклассником — оставался не то в третьем, не то в четвёртом классе на второй год.

Его многие побаивались из-за вздорного, драчливого характера. У Фёдора с ним конфликтов ещё не было. И вот, похоже, Дрыга решил почему-то взяться и за него.

— Ну чего молчишь? — Дрыга оглянулся по сторонам и цепко взял Фёдора за плечо. — Отойдём-ка в сторонку, поговорим.

— Да у меня же Зорька сейчас уйдёт, ищи её потом на лугах! — засопротивлялся было Фёдор.

— Не бойся, мы недолго! — мерзко захихикал Дрыга.

И они отошли за угол сарая крайнего дома, в котором жили старики Пахомовы. Здесь их уже никто не видел, и Дрыга сразу схватил Фёдора за грудки, подтянул его к себе и зашипел, брызжа слюной:

— Ещё раз спрашиваю: ты чего лезешь к Насте, а?

— Ничего я не лезу, — пыхтел Фёдор, пытаясь освободиться от хватки Дрыги. — Она же моя одноклассница. Просто болтали. А тебе вообще какое дело?

До Фёдора доходили слухи, что Дрыга неровно дышит в сторону Насти, но он не верил этому. Болтают почём зря. Кто Настя, и кто этот охламон Дрыга? Так неужели у этих слухов есть основания?

— А такое! — почти закричал Дрыга и стал трясти Фёдора. — Такое, что она… что мы с ней…
— Не ври! — с отчаянием перебил его Фёдор. — На фиг ты ей сдался, урод!
— Ах, так! Получай!!!

Дрыга, не выпуская из одной руки ворота рубахи Фёдора, другой широко размахнулся. Но Фёдор не стал дожидаться удара. Поняв, что против Дрыги ему не устоять, он очень кстати вспомнил о своём умении и, сложив руки по швам и задрав голову повыше — по инструкции золотого карася, неловко подпрыгнул. Возможностей для манёвра из-за того, что Дрыга продолжал его удерживать, было немного. Тем не менее взлёт получился. Промелькнуло искажённое лицо Дрыги с выпученными от изумления глазами, послышался треск рубашки, и его противник, успев взлететь вслед за Фёдором метра на три вверх, тут же рухнул вниз, держа в кулаке оторвавшийся ворот от его рубашки.

Фёдор ещё успел приметить, что Костян Дрыгин, он же Дрыга, похоже, не шибко расшибся от падения, поскольку проворно улепётывал на четвереньках от места своего падения, одновременно с этим провожая взглядом улетающего вдаль Фёдора.
— Это что такое, а? — бормотал он, тряся головой, словно пытаясь избавиться от наваждения. — Так не бывает… Так не может быть!

Фёдор, почти никем не замеченный, пролетел сторонкой на небольшой высоте к лугу. Несколько не встреченных в селе своими хозяевами коров там уже паслись, хотя бока у них и так уже были раздуты от дневного беспрестанного поедания травы на пастбище. Фёдор приземлился рядышком, обошёл всех бурёнок, но своей Зорьки среди них не увидел. Может, всё же сама пришла домой? Изредка, но она бывала такой покладистой. Особенно когда чувствовала, что пора бы её отяжелевшее вымя освободить от молока.

Поднявшись по некрутому подъёму в село, Фёдор направился к своему двору. Он изредка опасливо посматривал по сторонам: не подкарауливает ли его Дрыга?

Фёдор всего ожидал от этого обормота, но только не вот этого наглого объявления своих прав на Настю. Да она, насколько ему известно, вообще ни с кем ребят не дружит, ей не до этого, как и всякой отличнице. Надо думать, и не до Фёдора. А сегодняшнее внимание к нему — не больше чем благодарность за помощь, оказанную при происшествии на озере.

Фёдор вздохнул — ему бы хотелось не такого снисходительного внимания от неё. А вообще — как к заинтересовавшему её мальчику. А чем он плох? Ну, может, и не красавец, как Витька Пушков из их класса — с тёмными волнистыми волосами, правильным овалом белого-пребелого лица и пунцовыми, прямо как у девчонки, пухлыми губами. Но Настя же и на него ноль внимания! Где уж тут Фёдору с ним равняться? Хотя, если они действительно начнут дружить с Настей, он, может быть, станет для неё более интересным. Вот только Дрыгу как-то надо поставить на место. Раз и навсегда дать понять, что Настя — она сама по себе, а не его собственность, как он вдруг себе вообразил. И это ей выбирать, с кем общаться!

И снова — к золотому карасю!

Фёдор подошёл к своему дому как раз в тот момент, когда его отец загонял Зорьку во двор.
— Где ты её нашёл, пап? — смущённо спросил Фёдор. — Я немного опоздал и упустил Зорьку.
— Да я её и не искал, мы вместе пришли, — улыбнулся отец. — Я со своей работы, она со своей. Как мама?
— Лучше, — тоже заулыбался Фёдор. — Это она мне напомнила, чтобы Зорьку встретил.

На другое утро Фёдор снова отпросился на рыбалку.
— Кстати, а где твой вчерашний улов? — спросила мама, хлопотавшая с завтраком на кухне.

Она выглядела, бодрой и жизнерадостной, что с особым удовольствием отметил Фёдор: значит, не зря он слетал в Приреченск за лекарством.
— Да что-то не клевало вчера, — сказал Фёдор. — Может, сегодня повезёт.
— Ну ладно, иди, — разрешила мама. — Особых дел пока для тебя по дому нет.

Фёдор позавтракал яичницей и стал собираться на рыбалку. Он снова замесил тесто с анисовым маслом, как в прошлый раз, взял из дровяника удочку и, позвякивая бидончиком для улова, отправился к озеру.

Водоём в это время утренней прохлады был ещё пуст, никто не купался, не было видно и рыбаков. И Фёдор тут же устроился в знакомой выемке среди камышей, где рыбачил прошлый раз. Он подрагивающими от нетерпения пальцами размотал удочку, налепил на крючок приличный колобок пахучего теста и закинул снасть. Поплавок шлёпнулся в воду среди зелёных листьев кувшинок с желтоглазыми цветами и закачался в центре расплывающихся кругов. Не прошло и пяти секунд, как он резко исчез в воде.

Фёдор заполошно дёрнул удилище на себя. Крючок оказался пустым. Наш рыбак немедля нацепил на него новый комок теста, только куда меньше первого. И это сработало. Поплавок мелко-мелко закивал и торжественно начал уходить в толщу озера. Фёдор тут же сделал подсечку и потащил режущую воду леску на себя. На крючке кто-то был, и он отчаянно сопротивлялся. Но Фёдор сумел всё же выдернуть добычу к себе под ноги. Это было он, золотой карась!
— Это опять ты! — тонким голосом завопила рыба, выплюнув крючок. — Так нечестно — злоупотреблять моей слабостью к анисовому маслу!

Фёдор присел на корточки и осторожно погладил карася по блистающему золотым отливом чешуйчатому боку.

— Ты прости, карасик, но очень надо! — заискивающим тоном сказал он.

— Что на этот раз? — сухо осведомился золотой карась и требовательно пожевал своими толстыми губами.

— Щас, щас! — заторопился Фёдор.

Он вынул из кармана пакетик с тестом, отщипнул благоухающий кусочек и вложил его в рот рыбе. Карась с наслаждением зачмокал, проглатывая лакомство.

— Ну говори, — уже более покладисто сказал он, косясь на пакетик с тестом.

— Хочу быть самым сильным человеком на Земле, вот! — выпалил Фёдор.

— Ого! Летающим, да ещё и самым сильным! — удивился золотой карась. — Это к чему ж ты готовишься, парень, а?

— Да так, — засмущался Фёдор. — Надо.

— Ну да ладно, — миролюбиво вильнул хвостом волшебный карась. — Моё дело маленькое: ты меня поймал, выразил своё желание, я по всем законам жанра обязан его выполнить. Всё: ты — самый сильный человек на Земле! Отпускай меня, а то я опять начинаю задыхаться.

— А как я узнаю, что я самый сильный? — спросил Фёдор.

— Не сомневайся, ты это узнаешь очень быстро. Ну, отпускай меня!

— Погоди, — сказал Фёдор.

Он снова отщипнул кусок ароматного теста, от которого золотой карась, по всему, был в восторге, и осторожно вложил его рыбе в рот.

— Ну, плыви! — сказал мальчик, опуская карася в воду.

Тот булькнул хвостом и скрылся под лакированными листьями кувшинок. Но тут же вынырнул и, высунув голову из воды, прошлёпал толстыми губами:

— Учти, парень, у тебя осталось всего одно желание!

И снова скрылся в глубине, мелькнув золотым боком.

— А, ну да, — вспомнил Фёдор. — Два я уже у него попросил. Ладно, карасик, пока! Может, я к тебе больше уже и не приду…

Для приличия Фёдор ещё с часок посидел на берегу озера — надо же было принести домой хоть немного рыбы. У него с собой были ещё черви, накопанные загодя на огороде и прекрасно чувствовавшие себя в консервной банке, наполненной влажной землёй. Вот на них-то Фёдор и наловил полтора десятка приличных сорожек и с пяток окуней.

С эти уловом он и отправился домой. Солнце поднялось уже довольно высоко, и на озере появились купальщики. Они плескались в воде, радостно кричали и смеялись.

А Фёдор шёл и думал: как же и на чём ему проверить свою силу?

Фёдор — силач!

И такая возможность ему скоро представилась. Когда Фёдор подошёл к подъёму с лугов в село, глазам его предстала такая картина: в песчаной колее отчаянно пробуксовывал на месте задними колёсами небольшой, но тяжело гружённый досками грузовик «Газель». Он был один такой в их селе и принадлежал фермеру дяде Егору Батыгину. Видимо, дядя Егор купил эти доски в Приреченске и теперь вёз их домой. Да вот незадача — застрял. «Газель» отчаянно выла, сдавала то вперёд, то назад, выбрасывая из-под задних колёс фонтаны песка, но вперёд продвинуться не могла.

Тогда Фёдор, оглядевшись по сторонам, положил в сторонку свои снасти и бидончик с уловом. Стараясь не попадать в поле зрения водителя через зеркала заднего вида, он подошёл к машине сзади, упёрся руками в задний борт и, покраснев, изо всех сил стал толкать «Газель» вперёд. И машина поддалась его усилиям и, рыкнув ещё раз, уверенно двинулась вперёд и выскочила из продавленной в песчаном грунте колеи.

Грузовик резво побежал по подъёму и вскоре скрылся на улицах села. Дядя Егор Батыгин, конечно же, и подумать не мог, что это не он сам, благодаря своему водительскому мастерству, вызволил машину из западни, а кто-то вытолкал её!

А этот кто-то, отдышавшись и отряхнувшись от песка, подобрал свои снасти и, весело помахивая бидончиком, бодро потопал вслед за скрывшейся машиной.

Дома Фёдор отдал рыбу маме.

— Молодец! — похвалила она его. — Вечером пожарю твой улов на ужин. А пока иди умывайся и перекуси. Я схожу ненадолго на работу. Кстати, сегодня фильм хороший будет, приключенческий, «Одиссея капитана Блада» называется. Наш, не импортный! Сеанс на шесть часов. Хочешь сходить?

— А вы пойдёте? — спросил Фёдор.

— Да нет, папа сказал, что сегодня задержится на работе, — вздохнула мама. — Что-то там у него с трактором, он срочно устраняет поломку. А ты иди, Зорьку я сама встречу с пастбища. Дать тебе денег, или у тебя сдача осталась от покупки таблеток?

Фёдор про себя улыбнулся: помнит!

— Не надо, — сказал он. — Мне сдачи хватит.

Прикинул про себя, и него получилось, что денег у него больше, чем на один билет. А что, если?..

Торопливо съев бутерброд с домашним маслом и запив его горячим чаем с ежевичным вареньем, Фёдор переоделся в выходные брюки и чистую рубашку и отправился на улицу. Он шёл в сторону

дома Насти, особенно ни на что не надеясь. Но с конкретной целью — пригласить одноклассницу в кино. Конечно, это означало, что он как бы предлагает ей показать всему селу, что у них — дружба, и он не знал, согласится ли Настя пойти на это. И тем не менее считал, что попытаться надо.

Фёдор шёл не спеша, заготавливая в уме фразы, с какими он обратится к Насте по поводу совместного проведения сегодняшнего вечера. И не заметил, как его кто-то обогнал и тронул за руку. Оказалось, что это была она, Настя!

— Куда это ты? — спросила она, с каким-то особенным интересом вглядываясь в него.

— Да я это… хотел тебе предложить… — сбивчиво заговорил Фёдор.

Увы, но он по-прежнему продолжал теряться при встрече со своей одноклассницей.

— Слушай, я была сейчас в магазине, — сказала Настя, как бы в подтверждение этому взмахнув пакетом с покупками. — Так там ваша соседка баба Лиза такое про тебя всем рассказывает, такое!..

Лиза даже поперхнулась и закашлялась.

— И что она там говорит? — вздрогнул Фёдор.

Но взял себя в руки и осторожно похлопал Настю по худенькой спине. Девочка перестала кашлять и подняла на Фёдора покрасневшее лицо с выступившими на глазах слезинками.

— Она говорит, что видела, как ты… летаешь! — выпалила Настя. — Конечно, там все её подняли на смех, хотя она и крестилась, и божилась. Что ты скажешь на это?

Настя пытливо смотрела на Фёдора, при этом в глазах её читались и изумление, и испуг, и недоверие. В общем, вот такая мешанина чувств сейчас бушевала в её душе.

— А что я должен сказать? — забормотал Фёдор. — Привиделось ей что-то, вот и болтает почём зря…

— Тогда скажи откровенно: как ты так неожиданно оказался около нас в воде тогда, на озере? — продолжала наседать на него Настя. — Как будто и в самом деле с неба свалился…

Фёдор открыл было рот, чтобы высказать свою версию. Но тут за их спинами зашуршал песок и дилинькнул звонок. Около беседующих ребят притормозил велосипед. С него слез не кто иной, как Дрыга.

— Привет, Настенька! — сказал он, опуская велосипед на землю. — Ну а с тобой, Камушек, сейчас будет особый разговор. Я тебя предупреждал?!

— О чём это он? — с удивлением спросила Настя.

— Он считает, что никто, кроме него, не имеет права с тобой общаться, — усмехнулся Фёдор.

Он был уверен в себе, тем не менее внутренний холодок пробежал по его спине и остановился где-то в районе затылка. Кто знает, всё ли получится так, как Фёдор сейчас представлял себе? Хотя золотой карась не должен был подвести.

— Кто? О-о-он?!! — с возмущением протянула Настя и метнула в сторону Дрыги такие гневные голубые молнии, что тот должен был тут же задымиться. — Костя, я ведь тебе уже говорила: даже не думай, что мы с тобой… что у нас с тобой… В общем, отстань от меня, и всё!

Лицо у Насти пылало, она сжала свои кулачки и смотрела на Дрыгу с таким презрением, что его всего передёрнуло. И он не придумал ничего лучшего, как тут же броситься на своего соперника. Однако ни сам он не успел что-либо сделать, ни Настя охнуть, как Фёдор схватил Дрыгу одной левой рукой за пояс брюк и завертел им у себя над головой, озираясь по сторонам, как бы высматривая, куда подальше его забросить.

Из карманов Дрыги посыпалась мелочь, семечки, с ноги слетела растоптанная кроссовка, а сам он в ужасе верещал:

— А-а-а-а! Отпусти меня, отпусти! А-а-а-а-а!!!

И Настя негромко, но обеспокоенно повторила за ним:

— Ну его, Федя, отпусти.

Фёдор послушался и опустил Дрыгу на землю, хотя ему и очень хотелось зашвырнуть его куда подальше. Тот, растрёпанный, с обезумевшими глазами, тут же дал дёру и, не оглядываясь, скрылся в ближайшем переулке.

Откровенный разговор

Теперь пришёл черёд Насти смотреть на Фёдора во все глаза. Парень пришёл в смущение и, как нашкодивший проказник, опустил глаза и стал чертить носком кроссовки по земле.

— Ты мне ничего не хочешь рассказать? — пытливо заглянула в глаза Фёдору Настя.

— А что рассказывать? — переспросил Фёдор и тяжело вздохнул, понимая, что рассказать всё же придётся. Иначе какие они друзья?

— Ну вот, например, как ты так неожиданно оказался рядом с нами в воде, хотя я тебя нигде перед этим на берегу не видела? — повторила Настя уже заданный сегодня вопрос. — Или каким это ты образом так запросто справился с таким бугаём, как Дрыга? Откуда у тебя такая сила?

Фёдор осмотрелся по сторонам и увидел лавочку у палисадника ближайшего двора. Она пустовала.

— Пойдём вон там присядем, и я тебе всё расскажу, — обречённо сказал Фёдор.

Запинаясь и время от времени останавливаясь, чтобы перевести дух, он поведал однокласснице, как познакомился, если это можно так назвать, с золотым карасём и к какой цепи невероятных приключений это его привело. Причём всегда за два дня!

Настя слушала, не отрываясь и не сводя своих голубых глаз с Фёдора. Она то улыбалась, то вздыхала, то ойкала и прижимала руки к груди. В общем, проявляла самый неподдельный интерес

к тому, что случилось с её одноклассником. И, как можно было понять, верила ему.

— А ты… ты не покажешь мне, как ты летаешь? — застенчиво спросила она.

— Прямо здесь? — удивился Фёдор. — Так увидят же. Знаешь что, пойдём за село.

Они вышли за околицу, где пока никого из односельчан не было видно. Фёдор подпрыгнул и, к изумлению Насти, воспарил! Но далеко не полетел, а сделал небольшой круг и приземлился.

— Здорово! — только и могла вымолвить Настя. — Прям глазам своим не верю! Значит, точно баба Лиза тебя видела в небе!

— Ох уж эта баба Лиза! — с досадой сказал Фёдор. — Всё-то она видит, до всего-то ей есть дело. Теперь из-за неё уже полсела, наверное, болтают про меня.

— Так всё равно рано или поздно все бы узнали, — убеждённо сказала Настя. — Ты же не собираешься от нас улетать?

— Да ну, куда я полечу? — неуверенно ответил Фёдор.

А сам неожиданно подумал: а в самом деле, он сейчас самый сильный человек на планете, умеет летать, так что вполне мог бы и сам устроить свою жизнь, без дальнейшей учёбы, без родительской опеки… Но ведь и без Насти! Хорошо бы и её забрать с собой. Но как? Нет, это всё пока что досужие фантазии. Никогда он не бросит родителей, да и школу всё же надо доконить, негоже оставаться с пятью классами образования.

Поток его сумбурных мыслей прервала Настя.

— Слушай, а вот ты почему вчера спрашивал меня о моих мечтах? — спросила она.

— А ты смеяться не будешь? — немного замявшись, ответил вопросом на вопрос Фёдор.

— Не буду! — заверила его Настя, а в глазах её всё сильнее разгорался огонёк любопытства.

— Ну, я хотел узнать твоё заветное желание, чтобы, если ещё раз встречусь с золотым карасём, попросить выполнить его и для тебя, — скромно сказал Фёдор и покраснел.

Настя потрясённо молчала. Потом она протянула тоненьким голоском:

— Для меня-я-я? А разве так можно?

— Ну, если честно, то я пока не знаю, — признался Фёдор. — Но попробовать можно. В следующий раз так и сделаю. Ты только не затягивай с желанием, ладно?

— Хорошо, я подумаю, — пообещала Настя. — Ну ладно, мне пора идти.

— Ой, подожди! — спохватился Фёдор. — Чуть не забыл. Сегодня в клубе кино хорошее, на шесть часов. Пойдём?

— С тобой в кино? — в очередной раз поразилась Настя. Она ещё никогда не ходила в кино с кем-либо по приглашению. — Даже не знаю. Вообще-то я хотела тебе сказать, что сегодня мои родители собрались идти вечером к вам… Ну что ты делаешь большие глаза? Я ведь тебе уже говорила, что они хотели бы поблагодарить и тебя, и твоих родителей за то, что ты помог мне с Антошкой выбраться из воды.

— Вот и хорошо! — неожиданно обрадовался Фёдор. — Пусть взрослые сами посидят, чаю попьют, поговорят, если им так хочется. А мы с тобой пойдём в кино! Пойдёт?

— Ну хорошо, — сдалась Настя. — Только мне всё равно надо будет сказать маме и папе, что я пойду с тобой в кино. Почему-то думаю, что они будут не против.

Она приветливо улыбнулась Фёдору.

— Так мне за тобой зайти? — почти с восторгом спросил он.

Настя подумала и сказала:

— Лучше подожди меня у клуба.

Фёдора и такой вариант устраивал. Он понимал, что идти рядом с мальчиком на виду у всей деревни, даже таким хорошим, как он, для Насти было бы непростым испытанием. Поэтому он согласно кивнул, и они разошлись каждый в свою сторону.

Последнее желание

Дома Фёдор застал необычную суматоху. В горнице у дивана толпились вездесущая баба Лиза, ещё пара женщин, живущих по соседству, растерянный отец. Мама лежала бледная, с закрытыми глазами. Она дышала прерывисто, с каким-то хрипом.

— Похоже на инсульт, — мрачно сказала баба Лиза. — Её надо срочно в больницу. Тут каждая минута дорога.

— Я пошёл искать машину, — кинулся к выходу отец.

Федя испуганно спросил:

— Пап, что случилось-то?

— Да опять высокое давление было, с работы еле пришла и уже дома упала, — уже на бегу пояснил отец. — Пока будь здесь.

Фёдор бочком подошёл к дивану, осторожно взял мать за руку. Но она никак не отреагировала и только продолжала тяжело и редко дышать. У Фёдора на глазах выступили слёзы.

— Баб Лиз, а что это такое — инсульт? Это опасно? — дрожащим голосом спросил он у соседки.

Та положила ему неожиданно тяжёлую, узловатую ладонь на голову, слегка погладила по волосам.

— Врать не буду, нехорошая это болезнь, Федя, — участливо сказала она. — Но, Бог даст, сдюжит твоя мамка, молодая ещё, сильная. Только бы отец скорее машину нашел.

Фёдор вывернулся из-под руки бабы Лизы, присел на корточки в изголовье матери.

— Мам, мам, ты меня слышишь? — взывал он к матери.

Но она оставалась безучастной. А в голове у Фёдора пульсировали слова бабы Лизы: «Тут каждая минута дорога». И мальчик понял, что

именно он может спасти сейчас самого дорогого человека на Земле. Когда ещё папа найдёт машину, да сколько времени пройдёт, пока её довезут в районную больницу. А спасение—рядом!

Фёдор бросился к холодильнику. Там в углу одного из отделений лежал пакетик с остатками пахучего теста с прошлой рыбалки. Фёдор затолкал его в карман рубашки, метнулся в дровяник за удочкой и, уже ни от кого не прячась, взлетел прямо с двора и устремился к озеру. До захода солнца ещё было далеко, день стоял ясный и солнечный. «Должно клевать!»—подумал Фёдор, приземляясь у своего излюбленного места. Метрах в ста от него ещё плескались в тёплой воде задержавшиеся на озере ребятишки. Скорее всего, никто из них и не обратил внимания на приземление Фёдора. Да он больше и не собирался скрывать этого своего умения. Село—это ведь такая общность, что если кто-то что-то про кого-то разузнал необычного, то в считанные дни, а то и часы эта новость становится достоянием всех односельчан.

Впрочем, голова Фёдора сейчас была занята совсем другим. Он лихорадочно размотал удочку, облепил крючок всё ещё дразняще-пахнущим тестом и закинул снасть туда, где ему уже дважды попадался золотой карась. Поплавок булькнул и замер, слегка покачиваясь.

— Ну где ж карасик?—бормотал Фёдор, не спуская глаз с поплавка.—Клюнь же, очень нужно!

И поплавок слегка просел, пустив лёгкие круги. Но это всего лишь зелёная стрекоза решила отдохнуть на удобном для неё устройстве.

— Уйди, стрекоза!—шикнул Фёдор на живой миниатюрный вертолётик.—Не мешай, а то из-за тебя непонятно, клюёт у меня или нет.

И, как бы услышав его слова, стрекоза затрепетала своим слюдяными крылышками и улетела. И почти в это же время поплавок резко ушёл под воду. Фёдор тут же рванул удочку. Из воды вылетела небольшая серебристая сорожка.

— Не до тебя мне сейчас!—сердито пробурчал мальчик, отпуская рыбку в озеро.—Я вон даже бидончика с собой не взял. Ну где же ты, карасик?

Снова клюнуло. И опять это был небольшой чебачок, который также был отпущен. Фёдор пал духом. Неужели золотой карась покинул их озеро? Но, с другой стороны, он никак этого сделать не мог, потому как у озера сейчас не было выхода к реке. Обычно их воды на неделю-другую смешиваются только во время весеннего половодья, да и то не каждый год. Бывает, что из-за бесснежной зимы разлива Иртыша не хватает, чтобы охватить все пойменные водоёмы. Но это к слову. Значит, волшебная рыбка сейчас должна находиться в озере.

И, как бы в подтверждение этой мысли Фёдора, поплавок косо ушёл под воду. Фёдор проворно потянул леску на себя. Есть! К его ногам в траву шлёпнулся он, золотой карась.

— Ну конечно, это опять ты!—с досадой сказал своим тонким голосом карась.—С чем, а вернее, зачем на этот раз пожаловал, юноша? И сразу позволь тебе сделать замечание. Замеси-ка тесто посвежее и аниса не жалей! А то в этот раз я его запах с трудом уловил в воде.

— Хорошо, хорошо!—торопливо сказал Фёдор, устраиваясь на корточки у отливающей золотом рыбы.—Так и сделаю в следующий раз. А сегодня я просто очень торопился.

— И что же у тебя случилось?—полюбопытствовал карась и требовательно пошевелил толстыми губами.

— Щас, щас!—понял Фёдор и, отщипнув пахучего теста, сунул его рыбе в рот.

— М-м-м!—сладострастно промычал карась, заглатывая угощение.—Ну, говори.

— Я хочу, чтобы у меня мама снова стала здоровой и никогда не болела!—выпалил мальчик.—Вот.

— Мама?—переспросил карась. Помолчал и сказал:—Боюсь, не получится. Твоя мама сейчас в таком состоянии, что её нет ни среди живых, ни среди, извини, мёртвых.

— Это как?—испуганно спросил Фёдор.—Неужели ничего нельзя сделать? Помоги мне, карасик, пожалуйста! А я тебя каждый день буду кормить твоим любимым анисовым тестом.

Карась в раздумье молча пошевелил губами. Потом попросил:

— Ну-ка подержи меня немного в воде, а то мне уже трудновато дышать.

Фёдор тут же исполнил его желание: сунул карася в воду и задержал его там на пару минут. Потом вынул обратно.

— Понимаешь,—пропищал золотой карась.—Для того, чтобы не просто вернуть твою маму из комы, но и сделать её здоровой, одного твоего желания мало… Ну вот таково обстоятельство, не от меня зависящее.

— А чьё ещё желание тут нужно?—севшим от волнения голосом спросил Фёдор.

— Два твоих предыдущих,—сообщил ему карась.

— Что я должен сделать для этого?—непонимающе спросил Фёдор.

— Не ты, а я,—поправил его карась—Я аннулирую два твоих предыдущих желания. А их потенциал пойдёт на то, чтобы поддержать твоё сегодняшнее желание. И тогда оно сбудется! Но ты уже не сможешь ни летать, ни быть самым сильным человеком на Земле.

— Да ничего мне не надо!—закричал Фёдор.—Пусть только моя мама выздоровеет и никогда не болеет. Слышишь, золотой карась: ни-ко-гда!

— Да слышу, слышу!—проворчал карась.—Раскричался тут. Ну, в общем, беги домой, Федя! С мамой теперь всё будет хорошо…

Фёдор тут же сорвался с места. Но его остановил возмущённый писк:

— А я?!!

— Ой, извини, карасик!

Фёдор подобрал лежащего в траве золотого карася и понёс его к воде.

— Прости меня, пожалуйста,—смущённо говорил он при этом.—И за всё тебе большое-пребольшое спасибо!

— Да ладно, бывает!—снисходительно молвил карась. И, уже вынырнув из воды, добавил голосом волка из мультфильма «Жил-был пёс»:—Ну, ты это... заходи, если что!

И подмигнул Фёдору. И это было так неожиданно, что Фёдор, забыв обо всём на свете, прыснул, а затем и расхохотался во всё горло.

— Я буду приходить к тебе обязательно, карасик,—улыбаясь, пообещал он волшебной рыбе.— Просто так.

— Что, с пустыми руками?—деланно обиделся золотой карась.

— Да нет же!—поспешил разуверить его Фёдор.— С самым вкусным на свете анисовым тестом!

— То-то же!—довольно сказал карась.

И скрылся в глубинах озера.

А Фёдор поспешно шагал домой и думал. О том, что если с мамой всё будет хорошо и она выздоровела, впредь он всё будет делать для того, чтобы ничем не расстраивать её, помогать ей как можно больше, даже в ущерб любимой рыбалке. И папе тоже, конечно. Думал о Насте. О том, какая она на самом деле не заносчивая и гордая, как он ранее ошибочно представлял себе, а простая, хорошая и добрая девочка, и как здорово будет, если их дружба продолжится и он, если надо, будет защищать её.

О Дрыге думал—что вряд ли он теперь решится задирать его, Фёдора. А если попробует, то непременно получит сдачи, пусть теперь уже не от силача, а от обычного своего одноклассника. Который, впрочем, сегодня «сделал» его одной левой, и Дрыга это, конечно, долго будет помнить.

Думал Фёдор и о том, надо ли будет ему каким-то образом опровергать начавшие распространяться слухи о его невероятных способностях, и в конце концов пришёл к выводу: раз теперь у него этих способностей нет, то и опровергать нечего. А слухи, если их больше нечем будет подпитывать, скоро сами собой прекратятся.

Размышляя таким образом на ходу, Фёдор и не заметил, как оказался возле своего дома. Волнуясь, он открыл калитку и... увидел во дворе маму, поливающую из лейки свои любимые георгины, высаженные ею на небольшой клумбе под окнами, огороженной белёными кирпичами.

— Мама!—кинулся Фёдор к ней.—С тобой всё хорошо?

— Всё хорошо, сыночек!—улыбнулась мама.—Всё как рукой сняло! Прямо чудо какое: меня уже в машину погрузили и повезли в райцентр, и я, папа говорит, как только мы от села отъехали, так и пришла в себя. Как будто просто спала, представляешь?

Она счастливо засмеялась и, обняв Фёдора, привлекла его к себе.

— Спасибо тебе, золотой карась!—прошептал мальчик.

— Что ты там бормочешь?—спросила мама.

— Да так, ничего, особенного,—ответил Фёдор.— Что я очень за тебя рад. За всех нас!

стр. 12
Ампилогов Олег Константинович
Красноярск, 1952 г. р.

Профессор Сибирского федерального университета, почётный работник высшего профессионального образования, лауреат Золотого знака профессора главы города Красноярска П. И. Пимашкова. В 1978 году окончил Московский полиграфический институт. Художник-график. Оформил свыше 130 книжных изданий. Призёр международных, российских и региональных художественных конкурсов. Участник Красноярских международных музейных биеннале. Участник международных, российских, региональных художественных выставок. Участник Международных биеннале, триеннале современной графики в Новосибирске. Работает в сфере визуальных искусств: книжная графика, графика, фотография, проектирование, кино и видео.

стр. 87
Астафьева Анастасия Викторовна
Костромская область, 1975 г. р.

Родилась в Вологде. Писать начала с пятнадцати лет. Автор многих сказок, повестей, рассказов и статей; участник семинаров и совещаний молодых писателей Вологодчины и Северо-Запада. Печаталась в местной прессе, в «Литературной России», в журналах «Нева», «Очаг», «Мир женщины», «День и ночь», «Невский альманах». По детективу «Сети Арахны» в 1998 году на вологодском областном радио был поставлен одноимённый спектакль. Член Союза российских писателей с 2000 года. В 2003 году окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького (Москва).

стр. 3
Астраханцев Александр Иванович
Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более 20 лет работал в строительстве в Красноярске. Прошёл путь от мастера до заместителя начальника домостроительного комбината. Очерки, рассказы, повести публиковались в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др., в альманахах «Енисей», «Новый Енисейский литератор». Автор более 10 книг прозы, публицистики, драматургии, изданных в Москве и Красноярске. Отдельные рассказы выходили в сборниках «Лучший рассказ года» (Москва, Новосибирск и др.). Лауреат журнала «Молодая гвардия» (1984) в номинации «Очерк». Член Союза российских писателей. Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр. 29
Ахадов Эльдар Алихасович
Красноярск, 1960 г. р.

Родился в Баку. Российский писатель. Окончил Ленинградский горный институт. В течение 10 лет руководил краевым литературным объединением при Государственном центре народного творчества Красноярского края и краевой литературной студией «Былина» для незрячих и слабовидящих. Автор более 30 книг поэзии и прозы. Основатель сайта «Миры Эльдара» и международного русскоязычного поэтического конкурса «Озарение». Произведения автора публиковались в журналах «Молодая гвардия», «Мурзилка», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Кукумбер», «Сибирские огни», «Неизвестная Сибирь», «День и ночь», «Обская радуга», «Intelligent New-York» и др. Обладатель многочисленных литературных премий и наград.

стр. 170
Бакирова Наталья
Заречный (Свердловская обл.), 1975 г. р.

Окончила Уральский государственный университет. Публиковалась в журналах «Новая Юность», «Причал», «Сибирские огни». Лауреат литературных конкурсов, в том числе фестиваля-конкурса «Русский Гофман» в 2022 году.

стр. 45
Барсуков Александр
Вестфалия (ФРГ), 1956 г. р.

Родился на Сахалине, с 1994 года проживает в ФРГ. Издатель и главный редактор русскоязычного литературного журнала «EDITA». За двадцать лет издательством «Edita Gelsen» под руководством А. Барсукова выпущено более тысячи книг, свыше 150 номеров журналов «EDITA», «Мастерская» и др., десятки номеров альманахов «ВЕК XXI» и «Без цензуры». Автор 12 книг прозы (пять на немецком языке). Публиковался в Германии, Канаде, России, США.

стр. 164

Блинов Владимир Александрович

Екатеринбург, 1938 г. р.

Окончил Уральский политехнический институт. Член Союза архитекторов, заслуженный работник высшей школы России, автор учебника «Градостроительная экология». Член Союза писателей России, автор более 10 книг прозы и поэзии; исторических повестей «Последняя сказка для Алёнушки» (о Мамине-Сибиряке), «Любовь и маета Артамона Тагильского» (об изобретателе велосипеда), «Степан Эрьзя. Автограф в камне», «Хлебная карточка» (о военном детстве). Печатался в журналах «Урал», «Уральский следопыт», «Наш современник», «Студенческий меридиан», «День и ночь», «Врата Сибири», в «Литературной газете». Лауреат литературных премий.

стр. 139

Брагина Людмила Петровна

Белгород, 1967 г. р.

Родилась в Белгороде. Окончила филологический факультет Белгородского государственного университета. Создатель и бессменный руководитель молодёжной литературной студии «Младость», работающей на базе Пушкинской библиотеки-музея. Лауреат премии «Молодость Белгородчины» в области литературы (1995), лауреат Всероссийской литературной премии «Прохоровское поле» (2012). Член Союза журналистов России, Союза писателей России. Автор шести поэтических книг.

стр. 183

Валеев Марат Хасанович

Красноярск, 1951 г. р.

Родился в Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятерыжск в Казахстане. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты. После армии работал сварщиком в тракторной бригаде. Окончил факультет журналистики КазГУ имени Аль-Фараби (Алма-Ата). Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 1993 года — «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в которой прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. Написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Автор и соавтор нескольких сборников юмористических рассказов и фельетонов, прозы и публицистики, изданных в Красноярске, Павлодаре, Кишинёве, Москве. Член Союза российских писателей. С 2011 года живёт в Красноярске.

стр. 183

Величко Елена

Королёв, 1993 г.р.

В 2016 с отличием окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Член координационного бюро Совета молодых литераторов Московской области СПР. Руководитель Литературного клуба «Феникс» и Союза молодых литераторов «Финист», победитель и лауреат литературной премии им. С. Н. Дурылина (2015, 2017), победитель премии им. Роберта Рождественского (2015), межрегионального поэтического конкурса «Россия — земля моя» (2019), Конкурса молодых авторов Московской области «Живая память Великой Победы» (2021). Публиковалась в журналах «День и ночь», «ПОЭЗИЯ. Двадцать первый век Новой эры», «Маяк», альманахах «Пятью пять», «Муза», «Литературное Подмосковье», газете «День литературы» и др.

стр. 174

Гербер Денис Владимирович

Ангарск (Иркутская обл.), 1977 г. р.

Родился в Ангарске. Окончил факультет филологии и журналистики Иркутского госуниверситета. Писатель, журналист, радиоведущий. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Сибирские огни», «Новый берег», «Сибирь», «Традиции и авангард»» и др. Автор трёх романов. Лауреат литературных премий «Русский Гофман» (2021), «Прыжок над бездной» (2022), «ДИАС» (2021) и др. Пишет в разных жанрах, чаще с элементами фантастики и исторической прозы.

стр. 80

Гошев Сергей Аркадьевич

Советск (Калининградская обл.), 1957 г. р.

Прозаик, детский писатель, публицист. Родился в городе Котласе Архангельской области. Образование высшее. Свою жизнь связал с армией, прослужив от рядового до офицера. Выполнял спецзадания в Афганистане, Таджикистане, Чечне. Проходил службу в Сирии. С 1998 года проживает в городе Советске. Издано 11 книг: сказки, повести, роман и сборники рассказов. Соавтор нескольких альманахов и коллективных сборников, имеет публикации в литературных журналах и СМИ. Призёр, финалист, лауреат международных, всероссийских и региональных литературных конкурсов. Член жюри международных, всероссийских и региональных литературных конкурсов. Пишет картины, иногда сам иллюстрирует свои книги. Занимается патриотическим и духовно-нравственным воспитанием молодёжи. В 2019 году награждён медалью «За заслуги в военно-патриотическом движении России». Имеет государственные, литературные и общественные награды. Член Союза писателей России с 2015 года.

стр. 44

Громова Екатерина

(Кузьмина Екатерина Андреевна)

Петрозаводск, 1993 г. р.

Родилась в Петрозаводске. Фрилансер, Член Совета молодых литераторов при Карельском региональном отделении Союза писателей России.

Публиковалась в литературных журналах «Север», «Литкультпривет», в коллективных сборниках. Лауреат всероссийского конкурса «Литкон» (Королёв, 2022); московского межрегионального поэтического конкурса «Россия — земля моя!» (Москва, 2022); всероссийского молодёжного литературного конкурса патриотической поэзии и прозы «Пою тебе, моё Отечество!» (Казань, 2023), дипломант Открытого ежегодного конкурса православной поэзии и авторской песни «Мысли о главном» (Зеленодольск, 2023).

стр. 176

Деревянский Вадим Юрьевич

Макеевка (ДНР), 1969 г. р.

Родился в городе Макеевка (Донецкая область, УССР). По образованию — горный инженер-электромеханик. Работает старшим научным сотрудником в Макеевском НИИ по безопасности работ в горной промышленности. В России публиковался в журналах «Смена» и «День и ночь».

стр. 32

Ерёмин Николай Николаевич

Красноярск, 1943 г. р.

Родился в городе Свободном Амурской области. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Автор ряда поэтических сборников и книг прозы: «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья» и др. Лауреат премии «Хинган». Победитель конкурса «День поэзии Литературного института-2011» в номинации «Классическая лира». Дипломант конкурса «Песенное слово» имени Н. А. Некрасова. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Бийский вестник», «Вертикаль» (Нижний Новгород), «Огни Кузбасса», «Провинциальный интеллигент», «Интеллигент» (Санкт-Петербург), «Русский берег» (Благовещенск), «Флорида» (Майами), «Лексикон» (Чикаго) и др. Член Союза писателей СССР, Союза российских писателей.

стр. 61

Живнач Светлана

Минск (Республика Беларусь)

Публиковалась в литературных журналах и альманахах «Маладосць» (Минск, 2019), «Метаморфозы» (Гомель, 2019, 2020), «Литерра Nova» (Саранск, 2020), «Между строк» (Тольятти, 2020). Лауреат международных литературных конкурсов памяти Константина Симонова (2018), «Созвездие Духовности» (2020). Дипломант I Международного литературного фестиваля сатиры и юмора «СЮИТА в Зелёном Доме» (2020), Шестого Международного литературного конкурса короткого рассказа LITER-RM (2020), Межрегионального литературного конкурса «Ты сердца не жалей, поэт» памяти Фатыха Карима (Казань, Калининград, 2020).

стр. 76

Закиров Рашит Назипович

Красноярск, 1956 г. р.

Родился в Норильске. После окончания школы уехал строить Камский автозавод. В 1977 году вернулся в Красноярск, окончил юридический факультет Красноярского госуниверситета. С детства увлекался фокусами, работал на сцене, гастролировал в составе Красноярского театра маленьких чудес. Более 20 лет публиковал кроссворды в краевых газетах, печатал стихи, рассказы, очерки, в «Красноярской неделе» вёл рубрику «Строкой закона», работал на Красноярском БХЗ, ЦБК, «Сибтяжмаше», «КрасТЭКе». В настоящее время на пенсии. Публиковался в журналах и сборниках «Литература Сибири», «Поэзия на Енисее», «Проза Сибири и Дальнего Востока», «Провинциальная проза. XXI век», «День и ночь». Издал книгу стихов и рассказов «Кора и лист».

стр. 179

Костерев Александр Евгеньевич

Санкт-Петербург, 1958 г. р.

Автор стихов, эссе, коротких рассказов, пародий, опубликованных в периодике: «Смена», «Советская культура», «Новгородская правда», «Тюменский комсомолец», «Уральский рабочий», «Юрмала», в иностранных журналах Латвии, Чехии и др. Участник нескольких питерских ЛИТО. Сочинять стихи начал в 1975 году в качестве автора и исполнителя Ленинградского городского клуба песни, работал в различных ВИА и рок-группах Ленинграда. Всего в творческой биографии Александра Костерева не только стихи, но и песенные тексты более чем 100 песен на музыку Александра Зацепина, Аркадия Укупника, Вячеслава Малежика и других композиторов, в исполнении Валерия Леонтьева, Виктора Зинчука, Эдиты Пьехи, групп «Ариэль», «АРС», «Пламя» и др.

стр. 65

Орлов Александр Владимирович

Москва, 1975 г. р.

Поэт, прозаик, историк, критик, педагог. Родился в Москве. Окончил Московское медицинское училище №1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории, обществознания, права, и литературы в ГБОУ «Школа №1861 „Загорье“». Автор стихотворных сборников «Московский кочевник» (2012), «Белоснежная пряжа» (2014), «Время вербы» (2015), «Разнозимье» (2017), сборника малой прозы «Кравотынь» (2015), книги для дополнительного чтения по истории Отечества «Креститель Руси» (2015), книги стихов «Епифань» (2018). Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. П. Платонова (2011), Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки (2012), Всероссийского конкурса

поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014). Обладатель золотого диплома VII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2016); лауреат VIII Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» (2017); обладатель специального приза ИС РПЦ «Дорога к храму» за стихотворную книгу «Разнозимье» и в благословение за труды, понесённые на ниве духовного просвещения и издательской деятельности; лауреат XIII Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Издательского совета РПЦ (2018) за книгу стихов «Епифань». Публиковался в широком круге изданий: «День и ночь», «Дон», «Дружба народов», «Литературная газета», «Литературная Россия» «Литературная учёба», «Лучик», «Наш современник», «Подъём», «Православная Москва», «Сибирские огни», «Учительская газета», «Юность», антология стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института имени А. М. Горького «Поклонимся великим тем годам», антология военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!».

стр. 40 **Плёсов Владимир Иванович**
Москва, 1959 г. р.

После школы окончил техникум, служил в армии. До выхода на пенсию работал проходчиком в Метрострое, кровельщиком. Пишет стихи и рассказы. Печатался в журналах «Луч», «Воин России», «Дон», «Двина», «Южная Звезда». В 2013 году в «ДиН библиотеке» №1 был опубликован рассказ «Дорога».

стр. 42 **Попов Георгий Игоревич**
Москва, 1961 г. р.

Публиковался в сборниках серии «Textum araneum» (2010, 2012, 2013, 2015). Дипломант Международного литературного конкурса «Большой Финал» (2018–2019) на литературном форуме «Ковдория». Дипломант Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» (2 место в конкурсе «Ностальгия по настоящему», 2013).

обл. **Поспелова Татьяна Олеговна**
Красноярск

Художник-живописец, график. Член Союза художников России с 2016 года. Родилась в Хакасии. Окончила отделение живописи Красноярского государственного художественного института. В настоящее время работает в Детской школе искусств №13. Активный участник выставочных проектов и фестивалей с 2010 года.

стр. 167 **Саков Алексей Андреевич**
Москва, 1982 г. р.

Окончил ПСТГУ. Пишет стихи с 2000 года. Лауреат международного конкурса современной духовной литературы «Молитва». Публиковался в конкурсном сборнике Всероссийской литературной премии «В начале было Слово».

стр. 20 **Солнцев Роман Харисович**
Красноярск, 1939–2007

Российский писатель, поэт и сценарист. Родился в селе Кузкеево Мензелинского района Татарской АССР. С 1962 года жил и работал в Красноярске. Окончил физико-математический факультет Казанского государственного университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. После окончания института работал в геологических партиях в Сибири. В 1962 году начал работать преподавателем в Красноярском политехническом институте. В этом же году в журнале «Смена» появилась его первая публикация. После Совещания молодых писателей Сибири в Чите в 1965 году был принят в члены Союза писателей СССР. В годы перестройки активно занимался общественной деятельностью. Избирался народным депутатом СССР от Красноярска, депутатом Верховного Совета РСФСР, членом Верховного Совета СССР (1989–1991). В марте 1992 года стал госсекретарём — председателем Комитета по общественным и политическим связям администрации Красноярского края. С июля 1993 года являлся ответственным секретарём координационного совета краевой администрации, был членом Комитета по вопросам правопорядка и борьбы с преступностью. Также в 1993 году возглавил инициативную группу красноярских писателей по созданию литературного журнала для семейного чтения «День и ночь», в дальнейшем работал главным редактором этого издания. По его пьесам поставлены спектакли в Красноярске, Москве и других городах России. Сценарий фильма «Торможение в небесах» в 1993 году получил гран-при на международном кинофестивале в Страсбурге. Лауреат премий Министерств культуры СССР и России в области драматургии, заслуженный работник культуры РСФСР, кавалер ордена «Знак Почёта».

стр. 68 **Татарников Евгений Феликсович**
Ижевск,1959 г. р.

Родился в Удмуртии. После школы в 1976 году поступил в МВТУ имени Баумана, которое окончил в 1982 году, работал на ПО «Ижмаш» в отделе главного технолога, печатался в заводской многотиражке «Машиностроитель» на производственные темы. В 1988 году окончил высшие курсы МВД СССР и был направлен в МВД Удмуртии на оперативную работу, где и проработал до пенсии. Подполковник милиции в отставке. Печатался в альманахе «Ковчег», в журналах «Новая литература», «На русских просторах», «Кольцо „А“»,

«Москва», «Чайка» (США), в газетах «День Литературы», «Российский писатель», в историческом журнале «Суждения» и других изданиях. Третье место в литературном конкурсе имени С. Н. Сергеева-Ценского (2021). Лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси-2022». Лауреат «Российского писателя» (2022). Любимый жанр — юмористические рассказы.

стр. 33

Тимченко Николай Николаевич

п. Имбинский (Красноярский край), 1950 г. р.

Родился в предгорье Саян в Красноярском крае. Окончил Красноярский педагогический институт. Автор трёх поэтических сборников. Проза печаталась в альманахах «Истоки» (Москва, изд. «Перо»), «Новый Енисейский литератор» (Красноярск). Лауреат премии Игнатия Рождественского в номинации «Я себя не мыслю без Сибири» (2014).

стр. 125

Толстиков Николай Александрович

Вологда, 1958 г. р.

Родился в городе Кадникове Вологодской области. После службы в армии работал в районной газете. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького в 1999 году (семинар Владимира Орлова) и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Священник храма Святителя Николая во Владычной слободе Вологды. Публиковался в российских и зарубежных периодических изданиях, сборниках. Автор книг «Пожинатели плодов», «Без креста», «Лазарева суббота», «Приходские повести». Награждён медалью Василия Шукшина, учреждённой Союзом писателей России. Член Союза писателей России.

стр. 111

Чучилина Римма Петровна

Красноярск, 1948 г. р.

Родилась в Охотске. По специальности — техник-электромеханик, трудилась на заводах Ташкентской области, в Красноярске. Позже получила приглашение работать художественным руководителем заводского клуба. Закончила Высшую профсоюзную школу культуры в Ленинграде. 30 лет работала в клубе Красноярского завода телевизоров и во Дворце культуры Красноярского алюминиевого завода. Член литературного объединения «Енисейские острова». Стихи публиковались в коллективных сборниках «Оттенки серебра», «Лекарство от хандры», «Свет родных берёз», «Шипы и розы любви», в альманахах «Московский Парнас», «Новый Енисейский литератор». Автор книги «Поздняя женщина».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В. Н. Наговицын

РЕДАКТОРЫ

Марина Наумова-Саввиных

Дмитрий Косяков

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель:

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издатель:

Краевое государственное автономное учреждение «Организационно-методический Медиацентр»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр Астраханцев
Красноярск

Наталья Ахпашева
Абакан

Юрий Беликов
Пермь

Михаил Бондарев
Калуга

Елена Буевич
Черкассы

Лидия Довыденко
Калиниград

Вера Зубарева
Филадельфия

Александр Кердан
Екатеринбург

Сергей Кузнечихин
Красноярск

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Орлов
Москва

Олеся Рудягина
Кишинёв

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Лидия Сычёва
Москва

Андрей Тимофеев
Москва

Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использованы картины Татьяны Поспеловой.

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 660049, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22; Медиацентр
т. +7 950 991 4349

Наш сайт: krasdin.org

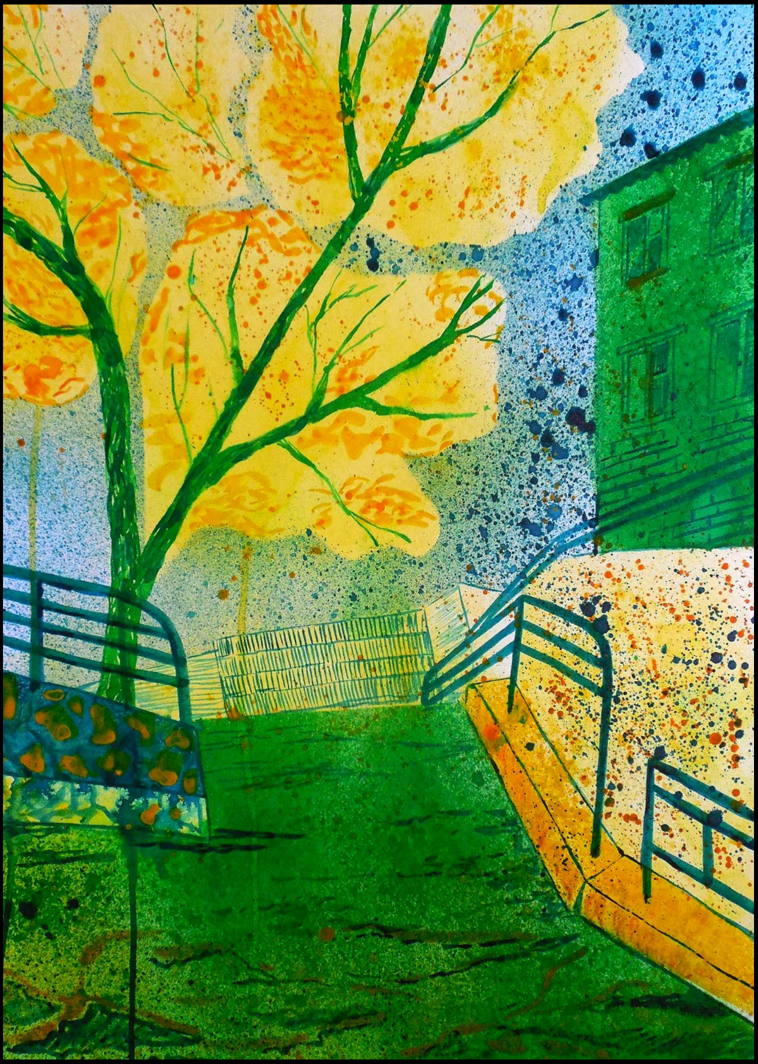
Подписано к печати: 10.08.2023
Дата выхода в свет: 31.08.2023
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Журнал выходит 6 раз в год

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт»
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

16+



Татьяна Поспелова

серия
«Городские джунгли»
листы 2 и 4
2019

Татьяна Поспелова серия «Городские джунгли» | лист 3 | 2019

На первой странице обложки: лист 1 *(фрагмент)*